ISSN 0130-6545

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

[7] 2000

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД "ДЖОЗЕФ КОНРАД: МЕЖДУ МИРАМИ" – БЕРТРАН РАССЕЛЛ, ФОРД М. ФОРД, КАРЕН ХЬЮИТТ, СТЕФАН ЖЕРОМСКИЙ / РОМАН БЕРИЛ БЕЙНБРИДЖ "МАСТЕР ДЖОРДЖИ" / ИСПАНСКАЯ ПЕСЕННАЯ ПОЭЗИЯ В ПЕРЕВОДАХ АНАТОЛИЯ ГЕЛЕСКУЛА / РАССКАЗ ИНГЕБОРГ БАХМАН "СМЕРТЬ ПРИДЕТ" / ЭССЕ МАЙКЛА СКАММЕЛЛА "ПЕРЕВОД НАБОКОВА, ИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПЕРЕПИСКЕ"

Основан в 1891 году

[7]

2000

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Ежемесячный
литературно-
художественный
и публицистический
журнал

3 Берил Бейнбридж. *Мастер Джорджи.* Роман. Перевод с английского Е. Суриц

84 *"Капли дождя".* Испанская песенная поэзия. Перевод с испанского и вступление А. Гелескула

97 Ингеборг Бахман. *Смерть придет.* Неоконченный рассказ. Перевод с немецкого С. Шлапоберской

103 Каванна. *Сердце не камень.* Роман. [Окончание]. Перевод с французского Алсу Губайдуллиной

Литературный гид "Джозеф Конрад: между мирами"

169 Карен Хьюитт. *Джозеф Конрад: проблема двойственности.* Перевод Д. Иванова

179 Лео Гэрко. *"Один из нас".* Перевод Д. Иванова

184 Джозеф Конрад. *Традиционное предисловие.* Перевод А. Ливерганта

191 Джозеф Конрад. *Караин: воспоминание.* Перевод Л. Мотылева

220 Джозеф Конрад. *Зверюга.* Перевод И. Бернштейн

235 Джозеф Конрад. *Письма.* Перевод М. Красновского

246 Форд М. Форд. *Конрад и море.* Перевод Л. Сумм

251 Бертран Рассел. *Джозеф Конрад.* Перевод М. Красновского

255 Стефан Жеромский. *Джозеф Конрад.* Перевод Г. Языковой

262 Мария Кунцевич. *Открытие Патюзана.* Перевод Г. Языковой

269 Джозеф Конрад: краткая летопись жизни и творчества

Трибуна переводчика 274 Майкл Скаммелл. *Переводя Набокова, или Сотрудничество по переписке.* Перевод с английского Сергея Ильина

Авторы номера 286

© "Иностранная литература", 2000

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основан в 1891 г.
До 1943 г. выходил
под названиями "Вестник
иностранной литературы",
"Литература мировой
революции",
"Интернациональная
литература".С 1955 года –
"Иностранная литература"

Из общего тиража
в 12 900 экземпляров
Институт "Открытое
общество" ежемесячно
выкупает и безвозмездно
направляет
в библиотеки России
и ряда стран СНГ
3 852 экземпляра.

Ежегодные литературные
премии журнала
спонсирует ЗАО Конверсбанк
[Акционерный банк Конверсии].

Главный
редактор

А.Н. Словесный

Редакционная коллегия:

Н.А. Богомолова
*заведующая отделом критики
и публицистики*

Л.Н. Васильева
*заведующая отделом
художественной литературы*

А.В. Михеев
ответственный секретарь

Г.Ш. Чхартишвили
заместитель главного редактора

Международный
совет:

Чингиз Айтматов
Жоржи Амаду
Малькольм Брэдбери
Криста Вольф
Януш Гловацкий
Гюнтер Грасс
Тонино Гуэрра
Морис Дрюон
Милан Кундера
Зигфрид Ленц
Артур Миллер
Ананта Мурти
Милорад Павич
Кэндзабуро Оэ
Умберто Эко

Общественный
редакционный совет:

С.С. Аверинцев
В.П. Аксенов
С.К. Апт
А.Г. Битов
П.Л. Вайль
М.Л. Гаспаров
Е.Ю. Гениева
А.А. Генис
В.П. Голышев
Т.П. Григорьева
Б.В. Дубин
А.Н. Ермонский
В.В. Ерофеев
Д.В. Затонский
А.М. Зверев
Вяч.Вс. Иванов
В.Б. Иорданский
Т.П. Карпова
А.С. Мулярчик
Д.Б. Рюриков
М.Л. Салганик
Е.М. Солонович
П.М. Топер
Н.Л. Трауберг
М.А. Федотов
Б.Н. Хлебников

Берил Бейнбридж

Мастер Джорджи

Роман

Перевод с английского Е. Суриц

Пластинка первая. 1846 г. Девушка перед лицом смерти

МНЕ двенадцать было, когда мастер Джорджи мне в первый раз приказал замереть и не мигать. Голова у меня была вровень с подушкой, он велел положить руку мистеру Харди на плечо; и меня, от кончиков пальцев, всю прошибло холодом через его рубашку, белую, полотняную. День был субботний, праздник, Успенье, и чтобы вдруг не затрепыхались веки, я воображала, что, если сморгну, Господь меня поразит слепотой, вот почему у меня получился такой запуганный вид. Мистеру Харди никто не приказывал замереть, он и так был мертвый.

Вот я говорю — двенадцать, но точно я не знаю. Не знаю своей матери, никого не помню, и дня рождения у меня никогда не бывало, пока семья Харди меня не взяла к себе. По словам мастера Джорджи, меня нашли лет девять назад в одном подвале на Крутой, я сидела рядом с мертвой женщиной, и горло ей сглодали крысы.

У меня не было имени, и меня назвали Миртл — Миртовой называлась улица потому что, где стоит сиротский приют. А меня собирались туда определить, и так бы оно и вышло, не разразись оспа. И тут один деловой господин из Ливерпульского медицинского комитета, знакомый мистеру Харди, сказал, чтоб он меня призрел, пока не кончится эпидемия. А когда она кончилась и мне время было съезжать, мисс Беатрис стала реветь, так она ко мне прикипела. Любовь прошла через год, когда мистер Харди завел собаку, но тут уж меня приспособила миссис О'Горман, меня и оставили.

© 1998 by Beryl Bainbridge
© Е. Суриц. Перевод, 2000

Мне жилось хорошо, миссис Харди учила меня читать, мистер Харди потреплет, бывало, по подбородку, спросит, как дела. Иной раз даже позволяли играть с мастером Фредди, пока он в школу не уехал. И порола-то меня одна только миссис О'Горман, и то для моей же пользы. Никто меня не любил, а я и рада; так сердце мое не тратилось понапрасну и билось для одного лишь мастера Джорджи.

Я совсем не помню, как меня нашли. Мастер Джорджи когда-то сказал, что, если очень сильно сосредоточиться, память вернется, как на его фотографических пластинках проступает изображенье. Я перепугалась — он же такие дива чудные творил в темноте, — и бывало, это уж после того, как он меня надоумил, проснусь от того, что лист шуршит в канаве, лежу и воображаю, как вот-вот жуткая картинка отпечатается на оконном стекле. Миссис О'Горман, бывало, заметит круги у меня под глазами, выпытает причину и объявит, что опять негодяй мальчишка разным вздором меня дурил.

Сходила я два раза к тому дому на Крутой, сходила, постояла у забора. Подвал затопляло, и окна были такие грязные, что не заглянешь.

Тот памятный сырой вечер в августе — который так удивительно кончился — начался с того, что на миссис Харди опять нашло. Меня призвали заняться тигровой шкурой. Опять пес наведывался в столовую, и миссис О'Горман шуганула меня наверх, чтоб я его серую шерсть вычесала с этих проклятых полосок. Мастер Джорджи и миссис Харди сидели по разным концам обеденного стола.

Тигра этого я не терпела: челюсти разинуты, а, в отличие от мистера Харди, век у него не было, так что он вылупил глаза. Миссис Харди ненавидела ковер не меньше моего, но совсем по другой причине. Мистер Харди божился, что самолично уложил зверя в Мадрасе в ту пору, когда там надзирал за оросительными работами. Но это была наглая ложь, и миссис Харди не раз под горячую руку вдребезги ее разбивала: шипела, что он купил эту пакость на аукционе и самолично приволок на закорках домой.

Шкура лежала у стеклянных дверей, которые смотрели на двор и дальше на сад, так что я была спиной к столу, когда миссис Харди сказала:

— Джорджи, мальчик, ты же не пойдешь сегодня на твои эти занятия, правда?

Он признал, что да, не пойдет.

— Но ты, конечно, уйдешь по делам.

Хоть и маленькая, а я почуяла, что это скорей обвинение, чем догадка. Щетка у меня застыла в руке. Я боялась миссис Харди, она так таращилась. Часто даже губы у нее улыбались, но это совсем не потому, что ей весело. Но она меня все равно спасла, выучила грамоте, и мне было жалко, когда она огорчалась. Я уставилась на сливовые деревья в саду. Мисс Беатрис кружилась под гнилыми круглыми сливами. Толстый доктор Поттер таскался за ней, задрав лицо к облакам.

Я услышала, как мастер Джорджи говорит:

— Да нет, отчего по делам, мама. Просто мне надо встретиться с Уильямом Риммером.

— Ну разумеется,— сказала она. — Вечно вас, мужчин, ждут приятели... или дела неотложные.

Была долгая минута молчанья, и в тишине постукивало что-то. Я развернулась на корточках, якобы принялась за костлявую голову тигра. Миссис Харди вилкой пронзала еду на тарелке, и глаза ей перепол-

няла и распирала тоска; соус брызгал на скатерть. Мастер Джорджи мне объяснял, что подобный взгляд развивается на почве расстройства щитовидки, это железа такая, которая у всех у нас есть, только у миссис Харди она стала расти. Ну а тоска развивалась исключительно на почве мужа; миссис Харди была заброшенная жена. Мистер Харди обещал прийти в полдень, а было уже пять минут четвертого на каминных часах.

Мастер Джорджи встал и наклонился, чтобы поцеловать свою мать в щечку. Она увернулась, и он недовольно хмыкнул.

— Пожалел бы ты меня, — простонала она. — Помоги мне, сама я не справлюсь.

— Но я не знаю, чем я могу помочь вам, мама, — сказал он, и его виновато поникшие плечи меня прямо резанули по сердцу.

Обычно, когда она бывала не в себе, он предлагал ей остаться, и почти всегда она отвечала — ну зачем же, какие глупости. А тут он ни слова не вымолвил. Просто стоял смотрел на это залитое слезами лицо. Она больше им помыкала, чем мастером Фредди или мисс Беатрис. Он был у нее первенец, вот почему, наверно; и ее всю распотрошили, пока он не выскочил. Это мне миссис О'Горман рассказала. Конечно, он ее любил по-прежнему, но детские дни, когда он мог постоянно это доказывать, прошли безвозвратно.

Она сказала с досадой:

— Зачем расстраиваться, Джорджи. Пусть мои мелкие горести не омрачают твой день.

На что он с такой же досадой ответил:

— Слушаю и повинуюсь.

Тут я выскочила за дверь, просто не могла этого больше терпеть.

Прихожая светлела, потом снова темнела, когда облака набегали на солнце. Я выбрала с зубьев щетки комок собачьей шерсти, ветер залетел в лестничное окно, подхватил его, понес по пролету, как одуванчик, закружил, завертел над рогами оленя на верхней площадке.

Накануне вечером миссис О'Горман меня зажала в судомойне, чтобы ознакомить с Успеньем. Больше-то, она сказала, некому меня наставить, раз я в безбожном доме воспитываюсь. Это она метила в доктора Поттера, который попал под обаяние новых наук. Доктор Поттер считал, что мир создан не за семь дней; на такое и тысячи лет не хватит. Да, и даже горы не вечно стояли на тех же местах. И гора Святого Иакова рядом с затопленным кладбищем, может, тоже была когда-то плоским куском земли, лысым, бестравным под ледяной коркой.

Я из-за этого не так убивалась, как миссис О'Горман, которая причитала, что не ей сомневаться в незыблемости скал. Ее скала и твердыня — Царствие небесное, и вовсе ей не надо, чтоб его туда-сюда перемещали.

Она вжала меня в стул у стола в судомойне и возвестила, что завтра — день знаменательный, день, когда тело Пресвятой Божьей Матери было взято на небо, дабы там соединиться с душой. Ее не отдали червям на съеденье, как отдадут, к примеру, меня, настолько любит ее Господь Бог. Я не очень-то ей поверила.

Там, наверху, паутина волосков уже расползалась. Мои губы складывали: "Любит — не любит", только я не Господа Бога имела в виду.

Тут появился мастер Джорджи и стал застегивать свой уличный сюртук. Плащ на меху, тот, который потом я выхватила, висел в кладовке заброшенный. Он его перестал носить, потому что мистер Харди,

когда возвращался с утренних торгов на Хлебной бирже навеселе, уж слишком часто кричал : "O, vanitas vanitatem"[1].

В столовой с треском раскокали фарфор. Мастер Джорджи вздрогнул; сердце миссис Харди в несчетный раз было разбито, и она за это мстила обеденному сервизу. Луч прошел сквозь стекляный веер над парадной дверью, посеребрил волосы мастеру Джорджи.

В ту же минуту снизу поднялась миссис О'Горман и сказала, совершенно спокойно:

— Собрались, так и ступайте, мастер Джорджи. Обоим-то нам терпеть — какая печаль.

Он замешкался на минутку, и миссис Харди успела выскочить из столовой, вопя, как наемная плакальщица, и стала карабкаться вверх по ступенькам. Миссис О'Горман не шелохнулась, у нее было каменное лицо. Солнце опять зашло за тучку, и — потух мастер Джорджи. Глянул через прихожую, подманил меня скрюченным пальцем.

Я, как он велел, бежала за ним, когда он вышагал по аллее и потом пошел дальше, по проулку между кустов ежевики, который вел на бульвар Принца. Эту щетку миссис О'Горман я в крапиву забросила. Он ни разу не оглянулся. А зачем? Я ж была его тень. Махал, как солдат, руками, расплескивал сапогами лужи.

Мастер Джорджи взял меня с собой, чтоб ему не дергаться из-за того, что творится дома, и спокойно проводить время. Подберется хорошая компания, захочется вместе поужинать — и меня можно послать поглядеть, в каком состоянии мать. Если доктор Поттер ее накормил порошками или мистер Харди вернулся, мне незачем возвращаться. Если же тоска у нее продолжается, я пулей слетаю за ним.

На бульваре, под летними ветками, няни колыхали в колясках детишек. Совсем недавно лило, и девчонки визжали, когда налетал ветер и ссыпал им за шиворот брызги. Хозяин Панча и Джуди расставлял свой театр у каретной стоянки. Мальчишка-еврейчик, нанятый для зазывания публики, уже мял свой аккордеон.

В жизни ну никогда никто из моих знакомых не видывал того человека, который оживлял мистера Панча. Кто говорил — он карлик, а кто — будто он трехметрового роста. Он расставлял свою ширму возле двери фургона и подныривал под нее сзади: так сохранялась тайна. А вдобавок, когда наступало время еврейчику нас обходить с шапкой, мы живо смывались. Песик Тоби был настоящий; и если кто сунется под ширму, он того кусал за ноги.

Я задержалась — ждала, пока откроется полосатый занавес. Больше всего я обожала то место, когда Джуди уходит снимать с веревки белье, а мистер Панч принимается колотить ребеночка, чтоб перестал орать, — и дети кричат и хохочут, те особенно, кого регулярно дерут.

Мастер Джорджи ушел вперед, но я не беспокоилась. Знала, что увижу его в гостинице "Вашингтон", где его ждал друг, Уильям Риммер, товарищ по медицинскому институту.

Занавес как раз пошел на сторону, показал мистера Панча, который нагнулся над люлькой и раскачивал вопящую детку туда-сюда, и тут произошел несчастный случай. Толпа зашипела, отхлынула, сверху посыпались брызги — ширма качнулась, прочесала нижние ветки и рухнула.

1. О, суета сует (*лат.*). (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Мистер Панч вывалился и смирно лежал в луже. Песик Тоби прыгал и рычал, прыгал и заливался.

Все случилось вмиг, мы и ахнуть не успели. А потом — о, чудо из чудес! — хозяин Панча и Джуди возник перед нами, он с трудом поднимался на ноги, махал руками, отбивался от складок полосатого занавеса. Он лил потоки ругательств, но выходило смешно и не страшно, потому что кричал он тем же своим попугайским голосом. И нос изгибался под мокрым цилиндром до самого подбородка.

Фургон с золотыми буквами на боку отделался царапиной, хотя его так шарахнуло, что сорвало с подпор ширму. Под шумок какой-то парень схватил аккордеон еврейчика, но тут тетка одна как даст ему зонтиком по башке, он его и бросил. Это тоже была потеха, она хлопает его и визжит: "Кто у нас гадкий мальчишка?" Ну вылитый мистер Панч, когда он наказывает ребенка, очень у нее выходило похоже. Мы прямо чуть не лопнули со смеху, бесимся, прыгаем по лужам, а песик Тоби кусает нас за ноги.

Все скоро выяснилось и уладилось, господин, виновный в переполохе, раскошелился и покрыл убытки. Оказывается, ни свет ни заря из овощной тележки повывалилась на дорогу капуста, кое-что собрали обратно, кое-что стибрили, а один вилок остался. А конь господина проходил прежде службу в кавалерийском полку, он принял этот вилок за свернувшуюся кобру, встал на дыбы, прянул в сторону и боком толкнул фургон.

Животное недавно вернулось из Африки, а там эти кобры на каждом шагу. Зубов у ней нет, но как ужалит, из языка у нее выделяется яд, и это исключительно вредно.

Потом господин снова взобрался на своего коня и ускакал прочь, а хозяин Панча и Джуди сложил свою покалеченную ширму в фургон и на сегодня закрыл представление. Он еще ругался, но уже не так громко.

Я еще не добежала до "Вашингтона", как стало накрапывать. Я была без шали, но сырость мне нипочем. Зимой, бывало, ветер несется с реки, воет, а я притулюсь у двери Звездного театра и там стою. Как-то вышел один артист и сказал, что я премиленькая и почему бы, мол, мне не зайти — погреться у камелька в фойе. Я не пошла, у него были размалеваны щеки, и вид потому не добрый, а злой. Да я и поняла, что он меня просто умасливает, у меня так растянут рот и глаза чересчур глубоко посажены, от этого всегда грустный вид — что уж тут такого премиленького. Еще как-то раз, в декабре, у меня совсем посинели ноги, и миссис О'Горман пришлось растирать их гусиным жиром, чтоб восстановилось кровообращение. А мне что! Я бы с удовольствием в сосульку превратилась ради мастера Джорджи.

Летом мое любимое место были гранитные ступеньки на Липовой при выходе на железнодорожную станцию. С них я смотрела вниз по склону, и там, в квадрате сада, стояла гостиница и красные розы подпрыгивали на ветру. В ясные дни под синим высоким небом скакали по горизонту Уэльские горы. А сейчас небо сливалось с серой рекой и низкое белое солнце, на дольки поделенное мачтами, плыло и разбрызгивало красные лепестки.

У мистера Харди в точности тот же вид висел на стене в кабинете, в рамке, нарисованный масляными красками. Тут как тут были мачты, и домики сбегали по склону к табачной фабрике, не было только гости-

ницы: ее пока не построили. Картина была ужасно старинная, перешла к мистеру Харди еще от отца, а цвета всё свеженькие, как новенькие, не то что фотографии мастера Джорджи, которые одна неделя — и почернеют.

Я просидела час или больше, смотрела, как туда-сюда снуют люди, как дымки пароходов протыкают низкие тучи, и вдруг я стала свидетельницей христианского поступка. Возле нижней ступеньки с ребеночком на руках и плетеной корзиной у ног стоит женщина, и к ней подходит другая, дама, она получше одета и подбирает юбки, чтобы не замочить. В корзине живая утка, шея привязана к ручке, бечевкой завязан клюв. Женщина откинула шаль, видно, показать прикорнувшего у груди малыша. И тут какой-то мальчишка подкрадывается из толпы, хвать корзину — и был таков. Женщина ничего не замечает, воркует себе над ребеночком. Так проходит несколько секунд, и тут другой мальчик подходит и кладет к ее ногам ту самую корзину. И ни слова не говорит. Распрямляется и видит, что я на него уставилась. Года на три старше меня, темный, не то от грязи, не то от природы, и на верхней губе какая-то пакость, по-моему, это эпителиома. Я замечала такие вещи, мастер Джорджи давал мне свои медицинские книжки читать, хотя я их еще не совсем хорошо понимала.

Тут из гостиницы вышел Уильям Риммер. Я дождалась, пока появится мастер Джорджи, а потом дунула вниз по ступенькам и спряталась за дверь магазина. Мастера Джорджи раздражало, когда я путаюсь под ногами. Слов я разобрать не могла, но Уильям Риммер сперва убежал на несколько шагов вперед, потом вернулся, все время он дергался, и я поняла, что они не то что беседуют, а скорей ссорятся. Обычно они рассуждали про трупы, про кровеносные сосуды, я и подумала сперва, что это у них противоречия на медицинской почве. Но у мастера Джорджи вид был почему-то как у побитой собаки — совсем на него не похоже, — и вдруг я почуяла беду. Рассудила, что они увлеклись, ничего вокруг не замечают, подкралась поближе и спряталась за розами. Еще лило, и со шляпы мастера Джорджи стекала вода.

Уильям Риммер говорит:

— Я не желаю слушать твоих оправданий.

Мастер Джорджи говорит:

— Но мне не в чем оправдываться.

Говорит спокойно, он всегда так говорил. Он считал, что, если хочешь, чтобы к твоему суждению прислушивались, всегда надо его высказывать холодно и бесстрастно.

— Ты не можешь отрицать, что был не на высоте, — сказал Уильям Риммер. — Черт возьми, Джордж, ты же знаешь мои чувства.

— Не постигаю, в чем моя вина, учитывая обстоятельства дела. Ты сам слышал, что сказала миссис Прескотт... Что тут прикажешь?.. Отказаться в твою пользу?

— Будь я на твоем месте, я так бы и сделал...

— Вот как? Рискуя прослыть невежей?

— Так друзья не поступают, — крикнул Уильям Риммер и снова шагнул вперед, но на сей раз он не вернулся, он совсем ушел, не оглядываясь.

Мастер Джорджи постоял, хотел было его догнать. Но через несколько шагов передумал и чуть не побежал через площадь. Даже головы не повернул, проверить, бегу ли я за ним.

Я никак не могла взять в толк, из-за чего у них вышла ссора. Миссис Прескотт была богачка, она жила на широкую ногу за Земляничными полями. У нее были три дочери, две, говорили, уродины, а третья красавица. Я слыхала, какие мистер Харди отпускал замечания насчет ее внешности, а уж он разбирался в таких вещах. За неделю до того миссис Прескотт давала вечер с танцами, и мастер Джорджи был приглашен. Уильям Риммер, выходит, тоже. Но что такого сказала миссис Прескотт, и что такого сделал мастер Джорджи, и за что Уильям Риммер его ругал, было покрыто мраком неизвестности.

Я никак не могла отвязаться от своих мыслей, они все вертелись, вертелись у меня в голове, пока я бежала за мастером Джорджи по Прибрежной. И как посмел этот Уильям Риммер его ругать! Небось когда заразил себе палец — резал печенки в прозекторской, — два дня лежал потом на краю погибели, метался в горячке, мастер Джорджи одну ночь совсем не отходил от его постели. А когда пришел домой и рассказывал миссис Харди о мученьях друга, в глазах у него стояли слезы. Сердце у меня переворачивалось от такой черной неблагодарности.

Мастеру Джорджи надо бы пойти налево от церкви Святого Иоанна; а он вдруг взял направо, на мощеный подъем к горе Святого Иакова. То ли уж так задумался, то ли нарочно время тянул, не хотел домой возвращаться. Дождь перестал, между дымовыми трубами катило мокрое солнце. Глаза миссис О'Горман не глядели бы на эти места. От нужды, она говорила, ее аж в дрожь кидает, довольно она навидалась нужды из-за Ирландии и картошки этой.

Давным-давно, когда был жив еще отец мистера Харди, купцы селились по этой улице, поближе к берегу и к собственному делу. Но разливом вод и напором рода человеческого, так мастер Джорджи говорил, их погнало наверх, и пришлось им ставить дома на холмах. Прежде богатые дома стояли теперь в разоре, галереи сгнили, окна законопачены тряпьем. Иногда набитые людом подвалы затопляло, и вместе с крысами тонули дети. Эти бедствия успокаивали миссис Харди, потому что, когда она работала в разных комитетах для помощи бедным, она могла отвлечься от своих мыслей.

Мисс Беатрис, когда злилась, кричала, что я тоже небось вылезла из ирландских болот. То-то, когда меня нашли, зелененький лоскуток догнивал у меня в волосах. Только миссис О'Горман говорила, что все это враки. Ведь кто мне волосы обстригал, чтоб вшей извести? Так что кому лучше знать? Да мне все равно. Мало ли откуда я вылезла — важно, куда я иду.

Все же я ускорила шаг, взбираясь в гору за мастером Джорджи. У бедняков хищный вид, а все из-за этих костей, голых костей, кости, кости — у оборванцев на углу, у драчливых беспризорных детишек в канаве, у осоловелых, навалившихся на заборы мужчин. Ко мне они не лезли, видели, что взять с меня нечего. Одна женщина прицепилась к мастеру Джорджи, но он от нее отмахнулся, вовсе не из-за бесчувственности, просто задумался. Среднего роста, сильный, крепкий, идет выворачивая ступни, как струнка прямой. Как это странно, что даже походка может внушать любовь.

Вдруг он бросил через плечо:

— Что ты плетешься, Миртл. Не отставай.

Секунд тридцать, наверно, пока отворялась обшарпанная дверь, за которой была эта воющая женщина в рваной рубахе, я была счастлива:

ведь окрик его означал, что он не забыл, что я здесь, не хотел, чтобы я потерялась.

Лицо женщины исказилось от ужаса. Зубов у нее почти не было, и рот получался черной дырой. Мастер Джорджи хотел пройти мимо, но опять она закричала, и крик был жуткий, пронзительный, как вот у чайки, когда она падает на добычу. Тут он сразу остановился. Поискал глазами, кто бы ей мог помочь, да в этом проклятом месте вопи не вопи, кто заметит. Он поднялся по скрипучим ступеням и прошел за ней в дом.

Я побежала следом, боясь пропустить интересное. Женщина карабкалась по лестнице впереди, а я разглядывала жесткие черные волоски на толстых белых икрах; от подъема она задохнулась и перестала кричать этим своим страшным птичьим криком. Вдруг я чувствую, кто-то дышит мне в спину, оглядываюсь и вижу — да это же тот самый мальчишка, который сегодня спас утку. Я чуть не сковырнулась; перила на повороте сломались, и щепка впилась мне в руку, так я рванула наверх.

Наконец-то мы ввалились в открытую дверь на четвертом этаже. То есть вошли мастер Джорджи и женщина, а я на пороге осталась. И вижу — в камине горит огонь, тень и свет играют на латунных прутьях кроватной спинки. Рядом круглый столик, а на нем бутылка, стакан и карманные часы. На кровати, вытянув руки над головой и зажав в кулаках прутья, лежит кто-то в одной рубашке, выставив голую задницу. Я удивилась, как можно спать в такой позе, он не лежал, он скорей висел, и спина напружена, как для упора на летящих качелях. Что на кровати мужчина, это я поняла, потому что на спинке висели брюки.

И опять жуткий крик раздался в комнате, и это было пострашней всего, что вытворяла та женщина, потому что на сей раз кричал мастер Джорджи. Я перепугалась, хотела подобраться поближе, но тут утиный мальчишка оттолкнул меня и спрашивает:

— Что случилось, Маргарет? Беда какая?

— Он на мне кончился, — голосила женщина. — Я знать ничего не знаю!

Мастер Джорджи повалился на колени возле кровати. Он и не пробовал перевернуть тело, нащупать пульс; только пальцем провел по складке рубашки, там, где она вздулась у шеи. Стало тихо-тихо, и мне делалось все страшней и страшней, будто сейчас вот случится ужасное что-то в темнеющей комнате, пока на столике тикают и поблескивают эти часы.

Наконец мастер Джорджи поднял глаза, и стало в комнате от ужаса душно, потому что он весь побелел и в глазах у него было то же смятение, как у меня. Я к нему подбежала, положила руку ему на плечо, и вот даже не знаю, понял он, кто это, или нет, только вдруг он наклонил голову и щекой потерся о мою руку. Потом отпрянул и сразу встал.

— Нужно его перенести, — это он сказал тому мальчишке. — Ты мне поможешь его перенести. — Он не просил, он молил.

— В лазарет, что ли? — хотел знать мальчишка, но мастер Джорджи крикнул:

— Нет, черт тебя побери! — Но сразу он постарался взять себя в руки и сказал уже понятней: — Я знаю этого господина. Будет лучше для близких, если мы его отнесем домой.

Тут он меня заметил и велел той женщине увести в другую комнату.

— А нету ей, другой-то, у меня, — она сказала. Но она все равно меня вытолкала на площадку и попробовала захлопнуть перед носом дверь,

да не тут-то было, я с ней схватилась, а где ей было со мной сладить. Руки у ней были слабые, и от нее воняло спиртным.

Понадобилась большая сила, чтоб разжать кулаки на прутьях и перевернуть тело. Мастер Джорджи поскорей обдернул на нем рубаху приличия ради. И тут уж пришел мой черед заорать, потому что это лежал мистер Харди — седые патлы, плоские, как водоросли, губы синие, как сливы в его саду.

Тут женщина ко мне подходит и шепчет:

— Это кто ж такой будет, а, милок?

Но я не проронила ни слова. Она мне волосы дергала, чтоб от меня добиться ответа, а я — ни единого звука. Пусть бы она хоть все волоски по одному мне повыдергала, и то бы я ей ничего не сказала, потому что это бы было предательство.

— Мне надо на чем-то его отвезти домой, — сказал мастер Джорджи.

Мальчишка кивнул в сторону окна:

— Там на дороге фургон стоит, а в конюшне лошадь. Мне деньги нужны.

— Деньги у меня есть, — сказал мастер Джорджи и сунул руку в карман.

Женщина подкралась поближе к столику, а сама глаз не спускает с часов. Я раскусила, что у ней на уме, кинулась к этим часам, схватила, к груди прижала. Тут она на меня как бросится и такую мне влепила затрещину, что я задом на кровать повалилась. Ногой задела мистера Харди за щиколотку, еще чуть теплую щиколотку, и мне стало так тошно, так жутко, что я вскочила, как молнией ударенная.

Часы я отдала мастеру Джорджи. Он стоял у окна, смотрел на улицу. Взял их у меня, даже не кивнул, стал перебрасывать из ладони в ладонь. И чтоб не мельтешить перед ним, я села на пол и привалилась к грязным обоям.

Тут вернулся утиный мальчишка. Сказал, что лошадь вводят в оглобли, а нам надо выйти черным ходом, через кухню, во двор. Мастер Джорджи говорит: “Хорошо, хорошо”, а сам все глядит на кровать. Потом сдернул со спинки брюки и стал в них запихивать ноги мистера Харди; пальцы на этих ногах были все в мелких таких белых мозолях, как в бисеринках.

Женщина нет чтоб помочь, наоборот, отскочила, стоит и руками всплескивает. Я бросилась было на выручку, но мальчишка оказался проворней. Когда на мистера Харди почти уже натянули штаны, рубашка задралась, и я даже удивилась, какая тряпочка болталась у него между ног. Я уже видела эту вещь раньше, как-то на Пасху, когда ему захотелось мне ее показать, но тогда что-то твердое вроде морковки торчало у него в пальцах.

Мастер Джорджи вместе с мальчишкой поволокли его вниз. Он был такой статный, он от своего веса прогибался посередине. Женщине заплатили, чтоб открыла черный ход, но она подвела, обманула, прибежала обратно в комнату и голосила, что у ней сердце заходится. Я крепко держала сапоги мистера Харди, а когда на повороте по лестнице покатилась шляпа, я ее тоже спасла. Глаза у него были закрыты, но челюсть отвисла, его растрясли потому что.

Мне пришлось протиснуться мимо, чтоб отпереть дверь чулана. Когда она приотворилась, наши лица выхватил вечерний тусклеющий свет. У мастера Джорджи опять раскраснелись щеки, но это от напря-

жения. Ворота разболтались на петлях и были укреплены гвоздями. Мастер Джорджи с мальчишкой шарили у забора, искали вроде тарана что-нибудь, чтобы их выбить. Мистера Харди усадили к срубленному платану, а мне велели за ним присматривать — будто сейчас вот он возьмет и уйдет. Я и присматривала, правда издали, смотрела, как блестит на пуговицах у него дождь.

Пока он не умер, мне нравился мистер Харди. Такой веселый, не злой и если вдруг меня замечал, мне подмигивал. Когда были гости, он после ужина всегда пел, и голос гудел по дому, всем слышно. Песня была одна и та же, про мальчика-барабанщика, павшего на поле брани, который перед смертью зовет свою мать, и в конце ему хлопали, и он начинал все сначала. Такая печальная песня, но он так завывал, дойдя до слов "Матушка, родимая, смерть моя близка", что все прямо лопались со смеху.

А теперь, если бы требовалось доказательство, что душа отлетает от тела, я могла бы ткнуть в него пальцем; вот уж яснее ясного — он внутри был пустой. И я понадеялась, что правильно уверяла миссис О'Горман, что у богатого всегда есть приятель, который его поджидает по ту сторону ясного синего неба; он не больно кому-то был нужен сейчас, без дружков, один. Я слушала нежное гулюканье голубей на крыше и с удовольствием думала про то, как же все ненадежно в жизни, и как она мимолетна, и как мне повезло вдобавок, что я живая. Конечно, лучшая моя часть печалилась, но сама я понимала, что мне сейчас хорошо. Да уж, уму, как и глазу, все понятнее при дневном свете.

Вдруг чем-то стукнули по воротам, но они только дрогнули, потом еще два раза ударили, и они поддались, распахнулись. Снаружи стоял тот самый бордовый фургон с уродскими золотыми буквами на боку. Только в оглоблях стояла не лошадь хозяина Панча и Джуди, та клячонка была не больше осла, а тут — битюг, какие выгромыхивают с мощеного двора пивоварни.

Я держала дверцу, пока мастер Джорджи и утиный мальчишка волокли через двор мистера Харди. Мальчишка остановился было перевести дух, но мастер Джорджи крикнул: "Скорей... надо его положить". Может, мальчишка и подумал, что это укладывание требуется из уважения, но я-то знала, что мастер Джорджи торопится, боится трупного окоченения потому что. Ведь не дело же если мистер Харди прибудет домой весь как складной нож.

Внутри фургона еще валялись увечные останки кукольного театра, хотя не было ни мистера Панча, ни Джуди, ни полицейского. Нам пришлось сдвинуть на сторону доски, и когда освободилось место и выпрямили эти коченеющие ноги, мне велели запрыгнуть внутрь. Мастеру Джорджи нужно было сесть на козлах с мальчишкой, чтоб ему объяснять дорогу. Мне не очень нравился этот план, но я не успела высказаться, дверь захлопнули, закрыли на засов, и мы с мистером Харди погрузились во тьму, непроницаемую, как могила.

Нас трясло и мотало, потому что фургончик был хлипкий, а конь здоровенный. Мне пришлось вытянуть ноги поперек мистера Харди и как следует придавить его, чтоб не коробился. Когда колеса попадали на рытвины, нас прямо подбрасывало на воздух. Когда заворачивали за угол, что-то острое меня ударило в грудь. Моя рука в темноте узнала бедного ребеночка мистера Панча, я прижала деревянную щечку к своей и стала его колыхать, чтобы он не боялся.

Во тьме разные картины проплывали у меня в голове. Миссис Харди и мисс Беатрис узнают страшную новость. Мисс Беатрис рыдает, но оплакивает скорей не несчастного своего отца, а себя, потому что теперь ей придется остаться со скорбящей вдовой и лопнет план удрать к морю. Миссис О'Горман винила за эти бредни исключительно образованность, никогда мисс Беатрис ни по чему такому диковинному не сохла, пока в пансион ее не услали. Миссис Харди лежит в постели и кличет доктора Поттера, чтобы принес ей портвейн. Но он и бровью не ведет, он слишком занят, он утешает мисс Беатрис, дорвался, наконец-то она у него в объятьях, и его дурацкое от счастья лицо сияет над ее дрожащим плечом. Я наливаю вина из кухонного ледника и несу миссис Харди; прежде чем пригубить бокал, она хватает меня за руку и бормочет с выпученными глазами: "Ты мой единственный истинный друг на всем белом свете". И я говорю: "Это мой долг", но потом соображаю, что это звучит суховато, и я прибавляю: "Что вы, я с большим удовольствием".

Но на этом самом месте мистер Харди перекатился у меня под ногами. Я испугалась, как бы его не поцарапало деревяшкой, хотя, конечно, мертвому телу не нужно защиты от стрел судьбы. Но все же я его подтянула за пиджак к себе поближе; я мастера Джорджи оберегала.

Слезы выступили мне на глаза, когда я подумала про миссис Харди, потому что я же понимала, что она любит своего мужа, что бы там сама она ни причитала, и, наверно, все между ними было иначе, когда они только-только поженились. Она умней его, и ей не понравилось, как он поет, и с этого, видно, у них и пошли разногласия. Миссис О'Горман рассказывала, что познакомились они на конских скачках в Индии, а там жарища такая, что мутятся мозги у людей и средь бела дня приходится закладываться в постель. Видно, великая вещь — сила привычки, потому что миссис Харди не отучилась средь бела дня закладываться в постель в любую погоду.

Вдруг фургон рывком стал, непонятно вздыбился и попятился. Я услышала звон копыт по булыжнику, и меня кинуло к двери. Потом нас еще подергало, потом накренило влево, и меня швырнуло вперед. Уж не знаю, где оказался мистер Харди, но мне было все равно. Я подтянула к подбородку коленки и все шепчу, шепчу, что Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться[1].

Еще несколько минут мы помотались по ухабам, а потом встали как вкопанные. Засов отодвинули, и не успела я вывалиться, моргая от света, как мастер Джорджи схватил меня за руку, увел в сторонку и стал шепотом давать срочные указания.

— Перед домом карета, Миртл... пройди черным ходом и посмотри, где миссис О'Горман и слуги... поразведай, в какой комнате мисс Беатрис...

Его дыханье так сладко щекотало мне ухо, а далеко, на горизонте, бежал, торопился поезд и длинная клякса дыма лезла из паровозной трубы.

— ... Возвращайся как можно скорей... да поглядывай в сторону двора, вдруг этого идиота Поттера носит по саду. И чтоб ни одна душа тебя не увидела, а если попадешься, ни слова не говори о том, что произошло.

— Не скажу, — ответила я.

1. Ср. Псалтирь, 22, 1.

— До дому вишь сколько еще тащиться, — вставил утиный мальчишка, — нам надо на чем-то его снести.

— Ни единого слова, — повторил мастер Джорджи с таким видом, как будто вся жизнь его зависит от этого. — Ты поняла?

— Верьте мне, — сказала я. — Я буду нема как могила.

Сказала и побежала через свиную закуту сбоку от дома, обошла стороной свирепую, красноглазую, упертую в землю рылом свинью, перепрыгнула канаву перед забором.

Миссис О'Горман приковало к ее креслу, на голове был передничек для защиты от остатнего света. Она спала крепким сном, белый передничек вздувался и опадал от храпа, а рука сжимала кусочек тоста; пес, уткнувшись ей носом в колени, слизывал масло. Я слышала, как рядом, за стенкой, повариха со служанками стрекочут над стуком кастрюль. Одна вскрикнула: "Ой, да чтобы он...", другая провизжала: "Вот те крест".

Я прокралась по задней лестнице и заглянула в прихожую. Муха кружила, кружила под канделябром, и от этого ее жужжанья и диких кругов, а еще потому, что у меня грохало сердце, я не сразу услышала голоса в гостиной. Слишком близко я подойти боялась, дверь стояла приотворенная, и я на цыпочках подкралась к напольным часам, там затаилась и стала слушать. До меня долетали только обрывки разговора, а в них ни складу ни ладу.

— Правда, уверяю тебя... Всю дорогу домой. — Это мисс Беатрис говорила.

Тут другой голос, я его не узнала, сказал умоляюще:

— Нет, неужто он?.. Ты это знаешь наверное?

— Можешь на меня положиться... ну, посмотри мне в глаза...

— Заклинаю тебя, не поддавайся только сестринским чувствам.

— Но это истинная правда, поверь. Остается применить чуть-чуть женской хитрости.

— Которой кое у кого предостаточно, — вставил мужской голос, голос доктора Поттера, с заметной досадой.

Затем обсуждался какой-то званый чай, безумно, кажется, растревоживший ту невидимую незнакомку, потому что она воскликнула:

— И ты убеждена, что можно его будет уговорить?

Мисс Беатрис сказала:

— Можешь быть спокойна... хотя он вечно сидит уткнувши нос в книгу.

— О Господи, — был ответ, — не броситься ли мне сразу домой, поскорее прочесть хоть одну. — И тут обе они с мисс Беатрис покатились со смеху.

— Бедный малый, — мрачно сказал доктор Поттер. — Боюсь, что он обречен.

И тут широко распахнулась дверь, и прихожая наполнилась шелестом юбок. Меня как ветром выдуло из-за часов и швырнуло в платяной шкаф.

Целую вечность они стояли у парадной двери, целовались и сюсюкали, хотя мисс Беатрис, я не сомневалась, это уже надоело. Голос у нее заметно прокис, и вскорости, когда вдруг на время умолк дождь, она объявила, что "милой Энни" лучше поторопиться к карете. Доктор Поттер предложил сопроводить ее по аллее, но вмешалась мисс Беатрис и сказала, что в этом нет особенной надобности. И хлопнула дверь. Тишина теперь прерывалась только легкой возней. Потом доктор Поттер сказал: "Ты думаешь, кажется, что я каменный", и мисс Беатрис ответи-

ла: "По мне, так оно бы и лучше". И шаги отступили к гостиной, и я услышала, как затворяется дверь.

Я сдернула с крючка тот мастера Джорджи плащ на меху и бросилась вниз по лестнице, по коридору, во двор. Плащ стегал по штокрозам у стенки сортира, сбивал и пускал по ветру завялые лепестки. Сад стемнел, тени путались у меня под ногами. Я не рассчитала ширину канавы, угодила прямо в грязную глубь. И, вся забрызганная, метнулась через поле, туда, где меня ждал фургон Панча и Джуди.

Утиный мальчишка сидел на пригорке задрав голову, а мастер Джорджи изучал то багровое пятно у него на губе. Видно, чтобы отвлечься, изображал из себя доктора. Я подошла, он выхватил у меня плащ и хоть бы слово сказал, а ведь пола-то намокла. Не поблагодарил, не обругал — даже обидно, мне что выговор, что похвала, все равно, только бы он заметил, что я существую на свете. Я сказала, что гостья ушла, а мисс Беатрис с доктором спорят в гостиной. Отчета о миссис Харди не требовалось, сон был ее обычным вечерним делом.

— Миссис О'Горман, — я сказала, — слегка вздремнула и едва ли встрепенется раньше чем через полчаса.

— Что за гостья? — он спрашивает.

— Мо́лодая барышня, — я отвечаю. — Сохнет по какому-то знакомому мисс Беатрис.

— Следи за домом, — приказал он, и я отошла, и смотрела издали, как они с мальчишкой вытаскивали мистера Харди из фургона и вываливали на этот плащ. Вывалили и понесли через поле. Сначала сапоги и шляпу пристроили у него на груди, но они все время соскальзывали. Я бросилась было на помощь, но мастер Джорджи от меня отмахнулся, и мальчишка в конце концов нахлобучил шляпу себе на голову. А сапоги куда подевались, не знаю, та́к их потом и не видела, может, до сих пор в той канаве гниют.

Я пробиралась по высокой траве, и мысли у меня стали печальные. Спрятанное солнце садилось, брызгало багровыми пятнами на торопливые облака, и этот кровавый вид, мне казалось, был не к добру. Мне совсем не нравилось, что умер мистер Харди, потому что из-за этого могла перемениться вся моя жизнь. Я вызывала в памяти пример царя Давида, как он, когда сын его лежал на одре болезни, умолял Иегову сохранить младенцу жизнь, а когда его просьба не была уважена, щелкнул пальцами и думать про это забыл[1]. Все случается, я говорила себе, в силу необходимости, и ничего поэтому не избежишь. Слабое утешение.

Мистера Харди без помех доволокли до третьего этажа и положили на его кровать в синей комнате в конце коридора. Миссис Харди редко допускала мужа в главную спальню этажом ниже из-за головных болей и несходства во взглядах. Комната у мистера Харди была мужская, без рюшек-безделушек, кроме китайской вазы, которую обожала его мать, и знамени 52-й Легкой кавалерийской бригады, которое кто-то там нес в битве при Ватерлоо.

Лицо и руки у мистера Харди были в грязи из-за недавней поездки, и меня отрядили за водой на кухню. На столике, правда, стоял полный кувшин, но мастер Джорджи сообразил, что, если обнаружится, что вода использована, это будет подозрительно: мистер Харди не очень налегал на мытье.

1. Этот сюжет изложен во Второй книге Царств, 12, 16, правда, в несколько иной трактовке.

Повариха с Лолли, служанкой, сидели за столом и резались в карты. Миссис О'Горман проснулась, но еще не вставала с кресла. Она захотела знать, где меня носило, и я правдиво ответила, что ходила в город с мастером Джорджи. Прежде чем она приступила к дальнейшим расспросам, я сослалась на жажду и нырнула в судомойню, а там уж налила полный таз, вынесла через боковую дверь и понесла к лестнице. Второпях половину воды расплескала, но, слава тебе Господи, доктор Поттер тренькал на фортепьянах и дверь гостиной так и стояла закрытая.

Когда я вернулась, утиный мальчишка уже ушел, и вскорости, когда мастер Джорджи велел мне открыть окно — беспокоился, видно, что мистер Харди вот-вот гнить начнет, — я увидела, как бордовый фургон подпрыгивает по тропке мимо свиной закуты.

Скоро мистер Харди мирно лежал на постели: одежда вся почищена, волосы назад зачесаны, щекой к подушке — челюсть чтоб не отвисала, один кулак откинут, другой прижат к груди. Он, умирая, закрыл глаза, может, от боли, а может, не хотел видеть, что на него надвигалось, так что мы обошлись без монет. Мы его уложили поверх одеяла, чтобы казалось, будто так он и рухнул после гулянки в клубе. Когда все было готово, я плеснула грязную воду в окно, а мастер Джорджи откопал вторую пару сапог и поставил к качалке у гардероба.

Он сказал:

— Запомни, Миртл, он умер в постели от разрыва сердца.

И это, в общем, ведь чистая правда была, если не вникать, в какой именно постели.

Когда мы уже выходили, бабочка-капустница запорхнула в окно, села на голую пятку мистера Харди. Я хотела ее согнать, но мастер Джорджи удержал мою руку.

— Ты только подумай, Миртл, какой контраст между летучим и незыблемым.

И заплакал, хотя без звука. Потом прошел прямо к конюшням, оседлал своего коня и ускакал в реденькую темноту.

Когда ударили в гонг к ужину, а мистер Харди не явился, решили, что его нет дома. Его нашла служанка, через час примерно, — поднялась приглядеть за огнем. Так перепугалась, что даже кричать не могла и шепотом выложила свою новость. Она — это она поварихе рассказывала — сперва подумала, что пальцы у него на ногах шевелятся, а это ей показалось из-за свечи. Меня послали за доктором Поттером, он только-только ушел.

Я потом такого понавидалась, что никогда не забуду: как мисс Беатрис билась головой о металлические лепесточки, бегущие в гостиной по овальному зеркалу, как колотила кулаками в грудь доктора Поттера, когда он старался ей утереть кровь со лба своим носовым платком; как миссис О'Горман пнула ногой пса за то, что скреб линолеум перед синей комнатой; миссис Харди, вся собравшись, спокойная, как могила, стояла в прихожей и не спускала глаз с входной двери, будто ждала, что муж ее все же придет домой.

Около полуночи вернулся мастер Джорджи вместе с дальним родственником миссис Харди, капитаном Таккеттом, который случайно гостил по соседству. Доктор Поттер отвел их наверх, в гостиную, чтоб сообщить про мистера Харди, и я не видела, как мастер Джорджи притворялся, что не ожидал. Миссис Харди осталась внизу, а когда капитан Таккетт

спустился, чтобы ей соболезновать, она сухо кивнула и поворотила ему спину. Минутку он постоял, грустный, как и положено, потом взял свою шляпу и отбыл. Я рассказала про это миссис О'Горман, и она объяснила, что у этого капитана Таккетта дурная слава, он в самого графа Кардигана[1] пальнул в Уимблдоне, хорошо — не попал, а миссис Харди он седьмая вода на киселе, так что невелика честь и Господь с ним совсем.

Еще приходили, уходили, чуть ли не до утра, меня, правда, услали спать. Я не сомкнула глаз почти до света, и это странно, ведь я с ног сбилась.

* * *

Наутро меня разбудила служанка, трясла за плечо, велела встать. Я открыла глаза: сиял яркий свет, пели-заливались птицы. В каждом оконном квадратике плавало синее небо.

— Тебя вниз зовут, — Лолли сказала, — ты мастеру Джорджи нужна в синей комнате. Он, похоже, всю ночь не ложился.

Он мне показался таким, как всегда, — этот его нежный рот, эти глаза расставленные, которые на меня никогда не смотрели, просто скользили по мне; но тогда я, наверно, и не видела его таким, как он есть, — а когда я видела? Он устроил свой фотографический аппарат, разложил поддоны. Ртутный шарик пролился на ковер и блестел от солнца.

Я глянула на постель, и вчерашний день, было полинявший, как смутный сон, снова встал передо мной во всех безобразных подробностях. Мистер Харди усох, кожа пошла пятнами, как вот фрукт, когда залежится в вазе. Кто-то около него не спал в эту ночь: слезы воска застыли на серебряных шандалах.

Мастер Джорджи сказал:

— У нас с тобой теперь общая тайна, Миртл. Я виню себя в том, что тебя ею обременил.

Я ответила:

— Я никому не скажу.

— Мне бы не следовало тебя втягивать...

— Пусть каленым железом жгут — не скажу, — уверяла я.

— Я не требую от тебя, чтобы ты лгала, Миртл. Это было бы несправедливо. — Он прилаживал свои пластинки к аппарату, пока говорил, и от йода у него были желтые пальцы. — Я не о себе пекусь. Я должен оберечь свою мать.

Я удивилась даже, от чего это ему надо оберегать миссис Харди. Ведь не в первый раз мистера Харди доставляли домой в непотребном виде, хотя, конечно, в последний.

— Меня теперь ушлют? — я спросила, и голос у меня дрогнул, такой это был страшный вопрос.

Он не ответил, был занят установкой этой своей треноги. Я знала, что скорость очень важна, когда уже пластинка всунута в аппарат, и попробовала терпеть и не дергаться. Когда он убедился, что все готово, он потянул меня за руку и поставил в головах кровати. Приказал:

— Положи руку ему на плечо.

— Меня теперь ушлют? — я повторила, а он, уже с раздражением:

1. Скорей всего, это тот самый граф Джеймс Томас Брюднелл Кардиган (1797—1868), который (впоследствии, и это время еще настанет для героев книги) руководил знаменитой "атакой Легкой кавалерийской бригады" при Балаклаве в 1854 г., воспетой Теннисоном.

— Нет, Миртл, нет. Я только прошу тебя, чтобы ты скрыла то, что ты знаешь. Не дело, если все станет известно миссис О'Горман.

— Да мало ли чего я миссис О'Горман не говорю, — возмутилась я. — Даже когда она меня бьет.

— Тише, пожалуйста, — он взмолился, — у стен есть уши. — И прибавил загадочно: — Теперь все изменится... вот ты увидишь. Как раньше уже не будет. А теперь наклони-ка голову... еще чуть-чуть... пальцы расправь... ты прощаешься с ним.

Я прощалась с незнакомым человеком, потому что тот, кто лежал сейчас на кровати, ничуточки не напоминал мистера Харди. Рот — тонкой жуткой чертой, из пятнистых ноздрей торчат волоски. На меня дохнуло чем-то мерзким, как йод с жимолостью, и я сморщила нос.

— Оставь, — приказал мастер Джорджи. — Замри и не двигайся. Не мигай.

Я уперла взгляд в мертвеца и про себя повторяла, что Господь меня поразит слепотой, если сморгну. И так я сильно сосредоточилась, что мастер Джорджи один и дышал в солнечно крапчатой комнате. Там, за окном, пели-заливались птицы. Всю мою жизнь, всю жизнь, я думала, я буду рядом с тобой; тут-то я и сморгнула, потому что от величия этой мысли мне на глаза навернулись слезы.

Пластинка вторая. 1850 г.
Пелена спадает

Джордж Харди заглянул ко мне по дороге из лазарета домой. Поинтересовался, хочу ли я наутро на него поработать. Я сказал — хочу.

— Тогда я тебе предлагаю быть в доме в пять часов, — он сказал.

Так он разговаривает, манера такая. Купись я на это его "предлагаю" и явись на пять минут позже, он бы мне голову откусил. Его все считают книжником, прямо святым, но я-то лучше знаю. Сказал, что может мне обещать интересный день, осветил свою затею, и, судя по всему, день действительно обещал быть интересным, что правда, то правда.

Я отправился в город еще под звездами и на час раньше вошел в дом. Распорядки здешние я достаточно изучил и прикинул, что, поскольку сейчас зима, слуги пока валяются по постелям. А если старуха О'Горман случайно и встала, ей надо бы вскарабкаться наверх по лестнице, чтоб меня застукать. С годами она оглохла, а с тех пор как пса похоронили в саду, поднять ее по тревоге на звук шагов уже некому. Да если она меня и сцапает, я в секунду наплету ей с три короба, и кое-что мне от завтрака перепадет в придачу. Ну вот, значит, я преспокойненько перехожу темный двор, иду мимо служб и конюшен и отодвигаю на кухонной двери засов. Снимаю сапоги и вхожу.

Мне было не впервой войти в дом так, что никто об этом и не догадывался. Я ничего там не портил, по крайней мере всерьез, и я не воровал. Не такой я идиот и сам себе не враг. И выше первого этажа я никогда не совался. Мои предрассветные обходы гостиной, столовой и кабинета имели характер разведки. Я передвигал предметы и ждал, проверял — кто заметит. Начал с мелочей, возьму передвину кочергу в камине слева направо, или вазу, например, на полке перемещу, или шкатулки музыкальные на фортепиано переставлю в другом порядке. Потом, уж

через несколько месяцев, осмелел и стал со стены на стену перевешивать картины. Доктор Поттер только через пять недель хватился, что картина с пароходами и рекой, которая в кабинете над столом висела, вдруг оказалась у самой двери.

Как мне доложили внизу, тут поднялся такой переполох, о каком я мог только мечтать. Поттер все подступался к миссис О'Горман с расспросами насчет прислуги. Она, добрая душа, божилась, что все они люди честные и вдобавок в своем уме, так что он создал теорию о лунатиках и две ночи торчал на стуле в прихожей — надеялся кого-то схватить. Молодой миссис Харди, хлипкой после второго неудачного разрешения от бремени, ничего не сообщили. Ну а старую миссис Харди, ту нисколько не интересовало, где что находится, только бы ее кровать не трогали с места.

И вот когда мне эта возня уже слегка надоела, старуха О'Горман проговорилась, что Беатрис Поттер убеждена, что в доме духи, и даже просила мужа посоветоваться со священником. Он отказался, обозвал ее дурой, и далее последовало состязание в крике, в которое и миссис Харди внесла свою лепту, сообщив доктору Поттеру, что она знает единственного дурака и это как раз он и есть, и она клянет тот день, когда отдала за него Беатрис. А потом Беатрис призналась миссис О'Горман, что боится, не проделки ли это неупокоенного отца, — вот почему в то утро я оказался так рано в доме. Я решил сыграть свою последнюю шутку.

Сперва я пошел в столовую. Шторы были еще задернуты, и комната в темноте, но я достаточно ее знал, чтоб найти, что мне надо. Сгреб персидский коврик под окнами и через прихожую прошел в кабинет. Жиденький рассвет уже прокрался сквозь стекла и вычертил голову тигра, которая прильнула возле стола к каминной решетке. Я выволок шкуру за дверь, вместо нее положил у камина коврик и, приглядывая за лестницей, поволок эту тварь за собой. Я сперва буквально обомлел, когда когти заскребли по плиткам, и мне пришлось приподнять тигра за лапы и так — вальсом — его доставить в столовую.

Я затеял его положить под окнами, где он лежал, когда еще мистер Харди был жив, но я так лопался со смеху из-за своего идиотского танца, что бросил его пока грудой, а сам подзаправился из графина на столике. Кое-что расплескалось на куртку, зато остальное ударило в голову, и тутто я и сообразил, что самая потеха будет, если его положить на кресло так, чтоб он смотрел прямо на дверь. За окнами мерцал морозный сад.

Я сидел за кухонным столом, когда миссис О'Горман поднялась с постели. Она стала вокруг меня хлопотать, как это она всегда, сразу увидела, что я без сапог и растираю босые ноги, разворошила огонь в камине и поставила на угли чайник. Я ей подыгрывал и стучал зубами, так как знал, что у нее в шкафчике припасена кой-какая выпивка, причем я сам ее снабдил, и, между прочим, на свои кровные.

Ну, не то чтоб совсем на свои. Во всяком случае, не с самого начала. Это процентики понарастали с вклада, который Джордж Харди внес когда-то в связи с одной бабой, чтобы усыпить ее память. Он вообще был в простых вопросах болван, баба та настолько проспиртовалась, что не помнила даже, что с ней минуту назад было. Те средства я пустил на покупку фотографического аппарата и разных химических причиндалов, а когда уж дело у меня наладилось и пошло, мог побаловать миссис О'Горман. Она простая душа, я ей ничем не обязан, но родных своих у меня нет, и почему бы не купить старухе гостинчика.

Само собой, когда чайник вскипел, она мне поднесла стопочку коньяку с горячей водой — подкрепиться и вдобавок выставила кусок холодной баранины. Поинтересовалась, зачем я понадобился мастеру Джорджи в эдакий час.

— Мы едем к дядюшке Уильяма Риммера в Инсвуд, — сказал я. — Что-то там с обезьяной будем делать.

Она не расслышала, а когда я заорал громче, поняла и запричитала:

— Обезьяна... это как же, зверюга дикая?

— Кошмарно дикая, — завопил я. — Вчера ее переправили к мистеру Бланделлу из зоологического сада в Западном Дерби. Мистер Харди и мистер Риммер хотят ей выколоть глаза.

Она вся побелела и сказала, что в жизни своей не слыхивала про такие ужасы. Ну это она, между прочим, прилгнула, или, может, память ее подвела, потому что разве сама она лично не изведала кой-каких еще более тяжких мучений? На прошлом Рождестве, примерно когда молодая миссис Харди в третий раз скинула, миссис О'Горман вся в слезах мне призналась, что совсем еще девочкой родила от старшего братца и тот живьем схоронил младенчика в торфяном болоте.

Пришлось черт-те сколько возиться со всей этой аппаратурой. Дважды на полпути по лужайке Джордж спохватывался, что еще что-то там позабыл. Отправились было так — я на козлах, а он впереди верхом, но вдруг ни с того ни с сего он передумал, отвел назад коня, а сам пересел ко мне: в карете не было места.

— О, проклятье, — сказал он, когда наконец мы двинулись. — Какие чудовищные вещи приходится помнить человеку.

— Да уж, — отрезал я и наклонил голову против ветра.

Я не то что от всей души презирал Джорджа Харди, хоть я считал его ханжой. Он зла мне не делал, наоборот, и у него были хорошие качества, это нужно признать, в том числе он, например, не жадный. Конечно, он себе это мог позволить, но он часто возился с переломами, нарывами и тому подобное, хоть отлично знал, что у пациентов гроша ломаного нет за душой. Да и мне лично кто починил губу, подпорченную, было дело, глотаньем огня!

В начале, когда случай нас бросил друг к другу, он предлагал мне работу на полный день у него по дому, вроде лакеем — ну там сапоги почистить, присмотреть за лошадьми, бегать на побегушках, но я прямо и откровенно ему сказал, что не из того я теста сделан, чтоб быть слугой, не в моем это характере подчиняться. Кое-кому, может, нравится через всю жизнь проползти на коленках, и на здоровье, ну а я предпочитаю держать мой хребет в том положении, какое ему назначила природа. Вдобавок у меня уже были кой-какие средства на прожитье, а с тех пор как он меня научил обращаться с аппаратом, я и вовсе стал сносно зарабатывать дешевенькими портретами.

Мне бы благодарность испытывать, а я нет, не очень-то был ему благодарен. Он со мной держался натянуто, вот что меня бесило, как-то меня отстранял, и это никак нельзя приписать неравенству происхождения и воспитания, потому что в лазарете он с низшими держался свободно, как с равными. А меня на расстоянии держал. Когда он прямо ко мне обращался, я даже замечал, что голос у него делается будто глуше, будто идет из заколоченного ящика. С нашей самой первой встречи он никогда, ни единого разу не затрагивал в разговоре тот дождливый день, когда мы через поле волокли мертвеца, но воспоми-

нание то все равно между нами стояло, и часто, когда он на меня смотрел, я так и чувствовал, что он видит отцовскую шляпу, нахлобученную на мою голову.

Мы взяли по Риджент-роуд, которая шла за доками, и ветер нес тошно-сладкий дух сырого зерна, а воздух скрипел от визга голодных чаек. Мы еле-еле продвигались, встряв в толчею запрудивших дорогу повозок. Неподалеку от Брунсвикской таверны партия скота, только что выгруженного из Ирландии и отправляемого на бойню, тряско оскользаясь, перегородила нам путь. Джордж ревел: "Тпрру!" — будто бросал боевой клич, хоть вожжи натягивал я, между прочим. Мы задерживались на четверть часа, а то и больше. Он начал дергаться, боялся опоздать на свидание со своей обезьяной. И клялся, что в жизни не простит Уильяму Риммеру, если тот приступит к делу без него.

— А я какую роль буду играть? — поинтересовался я.

— Твоя работа будет в том, чтоб удерживать животное, — он ответил.

Это мне не очень пришлось по вкусу. Одно дело — бросить на кресло тигровую шкуру и совсем другое — подмять дикого зверя.

— И тут-то вы ей и вырежете глаза?

— Не вырежем! — он крикнул. — Мы только удалим катаракту.

Я понятия не имел, с чем это едят, но спросить не мог, потому что он уже вскочил на ноги, буквально джигу выплясывал от нетерпения, тряс двуколку, пинал самую ближнюю корову, орал погонщику, чтоб поторопился.

— Самообладание — прекрасное свойство, — заметил я, и он метнул в меня бешеный взгляд, однако же сел.

Возле Банк-холла кончились доки, а прилив отступил, и мы свернули на берег, который гнал мимо чернильно-черные волны, а песок после ночного морозца был твердый, как дуб. На хорошей скорости миновали Миллерс-Касл, он теперь был пустой, весь в шламе, и купальные кабинки пообрушились в грязные лужи.

— Какие новости про Миртл? — спросил я. Миртл услали в пансион в Саутпорте. Я за два года всего разок и видел ее, когда приезжала на летние каникулы. Она еще сказала — как хорошо, что то пятно сошло у меня с губы.

— Мисс Миртл, — поправил Джордж.

— Мисс Миртл, конечно, — сказал я. — Кто ж когда сомневался.

— Она должна стать настоящей леди, — уступил он.

— Ну и как ей пока что это дело — нравится?

— Она цветет, — он ответил. — И отличается во французском.

Я сберег фотографию Миртл, хоть, кроме меня, никто ее там не узнал бы. Снимок сделали в спальне у старого мистера Харди и выбросили, потому что он получился черный. Я булавкой проколол ей глаза, процарапал черточки там, где были, наверно, волосы, и мне тогда показалось, что я ее ясно вижу, хотя, возможно, она просто была у меня в голове и мой мозг сам напечатал сходство.

У Малого Кросби мы свернули с берега, попали на твердую тропу среди дюн, поерзав, она вывела нас на дорогу от моря, и мы молча трусили по ней целую милю картофельными полями. Здесь я вырос, мать батрачила в одной крестьянской семье в деревушке под Сефтоном.

Мы проехали по горбатому мостку над камышами, воткнутыми в заледенелую воду, и вошли в голый лес и в грачиный грай. На шум вылез из сторожки старый инвалид и заковылял к воротам. Был он хилый,

неповоротливый, и Джордж мне велел слезть с козел и ему подсобить. Так я и сделал, но только-только распахнулись большие железные ворота — карета в них занырнула и загрохала по гравию, а мне пришлось плестись пешком. Тут такое меня зло взяло, хоть обратно уходи, но любопытство одолело.

Я уже хаживал по этой дороге, мать, когда при смерти лежала, послала меня, только тогда была самая весна. Мне было семь лет, клочья неба, синие, как васильки, плясали над взбухшими ветками. Теперь дорога тянулась, как фотография, так черно и уныло, и зимние ветки стыли в белом холодном небе.

Бланделл-холл был приземистая мрачная постройка из бревен и песчаника. У крыльца с каждой стороны лежал каменный лев с человечьим лицом и ехидно улыбался. Я прошел на зады, и мне конюх, который как раз выводил лошадь из оглобель, сказал, что господа-де в теплице за кухонным двором, а мне велено принесть фотографическую аппаратуру. Он, как увидел все эти склянки да поддоны, какие требовалось волочить, тут же ушел и воротился с тачкой.

Теплица была добрых сорока шагов в длину, и в ней давно ничего не растили, на длинных подмостях не было никаких горшков, а стояли разные статуи, все как есть в чем мать родила и обросшие паутиной. Мистер Бланделл был собиратель всяких таких вещей, про него даже в газетах писали в тот год, когда стали строить Дом моряков и принц Альберт закладывал первый камень.

Обезьяна очень меня удивила. Я думал, она втрое меня выше и дико мечется по клетке, а она оказалась с маленького совсем человечка и, скрючившись, привалилась к брусьям среди пожелтелой капустной ботвы и опилок. Бояться тут было нечего; я даже ткнул ее пальцем. Шкура у нее была в проплешинах, и мутные глаза. От нее воняло старостью.

Уильям Риммер и Джордж разбирали свои инструменты. Ножницы разложили, щипцы, свалили кучей ватные тампоны, поставили какую-то штуку из проволоки со спиральной пружиной, резиновый мешок с трубкой, сложенной кольцами в металлическом тазу, и бутылку с бесцветной жидкостью. Обезьяна смотрела мимо стола, туда, где стояла статуя с отнятой ногой. Мраморный мужчина, стало быть, и член у него — как розовый бутончик.

— Вона как, — сказал я. — Поди не больно много радости от него будет девчонке, а? Вот и обезьяна со мной согласная.

— Обезьяна почти слепая, — сказал Уильям Риммер.

Джордж, тот вообще ни звука не проронил, и это даже хуже. Мне самому противно сделалось, что выставил себя деревенщиной.

Через четверть часа примерно клетку отперли, и я вошел внутрь с ватой, намоченной эфиром. Я отводил подальше руку, чтоб у меня голова не закружилась, знал я этот эфир. Он входит в раствор коллодия, который наносят на фотографические пластинки, правда, я лично чаще пользовался выгодным покупным препаратом, из которого эфир улетучивается, чуть откроешь бутылку; мне уже щипало глаза. Обезьяна пятилась, но вообще-то вела себя смирно. Я извернулся и сзади шлепнул ее этим эфирным тампоном по морде. Тут она жутко дернулась, поднялась на ноги, стала колотить руками, трясти головой и так въехала мне по лбу, что я чуть не грохнулся на пол. "Держись, брат, — крикнул мне Уильям Риммер, — не отодвигай тампон", а я и так держался — куда денешься, ведь раздавит она меня, — хоть совсем уже задыхался и сопли

текли из ноздрей. Я ловил ртом воздух, как будто тону, и вот, как раз когда мне стало совсем невтерпеж, чувствую — все, не могу, зверюга оттолкнула меня, страшно взвыла и, царапая себе глотку, упала без памяти. Моча ударила по опилкам, брызнула между брусьев.

Мы обвязали пациента ремнями по груди и рукам и все втроем перетащили на стол. Я даже удивился — до того похожи были эти вывернутые руки-ноги на человеческие, стало даже жалко обезьяну. Голова свесилась набок, показалась шея, безволосая, сморщенная, как заношенная кожа. Когда проволочную ту штуку ей прикрепили к черепу и пружиной подняли веки, я хотел отвернуться, но Риммер гаркнул: "Не двигайся ты, черт тебя побери... прижми ей к ноздрям мешок", а Джордж прибавил: "Пожалуйста, Помпи", и мне это понравилось. Не часто он меня по имени звал.

Я почти не видел, что там было дальше, глаза слезились до жути. Ума у меня хватало их не тереть зараженными пальцами, хоть голова была легкая-легкая, как пустая. Пульс на шее грохотал барабаном, и сам я слышал, что глупо хихикаю.

Джордж орудовал ножницами, Риммер щипцами.

Лица они себе снизу завесили, мне это показалось смешно, разговор их тоже.

— Пациент готов, — тихо-тихо так сказал Джордж.

— Начнем? — спросил Риммер.

— Я как ты...

— Мне надо кашлянуть.

— Нет, потерпи.

— В правом глазу смещен хрусталик... зрачок узкий... Понадобится иридектомия.

— Готовимся проделывать отверстие, — сказал Джордж.

Мне было велено накачивать грушей эфир; не слишком много, потому что, меня предупредили, у бедной твари тогда остановится сердце, и не слишком мало, потому что тогда она проснется, станет биться и чересчур глубоко могут вонзиться лезвия. А еще мне полагалось следить за ее дрожаньем, щупать мышцы, а ничего я этого в моем состоянии толком делать не мог, сам-то еле дышал, при каждом вздохе аж кричать хотелось от боли. Вдобавок меня мутило, и, не сомневаюсь, я был белее бумаги. Я в два счета оставил бы свой пост, да боялся, что не вынесут ноги.

Когда с безбожным деянием было покончено, обезьяну отнесли в клетку, и я кое-как, шатаясь, выбрался наружу. Меня скинуло с души, но на пустое брюхо ничего из меня не вышло, только одна провонявшая коньяком прозрачная жижа. Я еще толком не очухался, а Джордж уже велел вернуться в теплицу ширму ставить. Только я разгреб пыль и обломки, воздвиг, значит, этот вигвам, а он уже снова внутрь заглядывает и объявляет, что, мол, это не надо. Объясняет, что здесь чересчур много света. Тут он, конечно, был прав; кругом стекло сплошь, что так, что прямо на воле устроиться. И он послал меня сарай какой-нибудь найти.

Это оказалось не так-то просто, все службы были либо разным хозяйственным хламом завалены, либо до отказа забиты поломанными статуями, а они тяжеленные, не сдвинешь. Попалось мне что-то размалеванное, вроде как домовина, на попа поставленная, и деревянная обшивка вся снизу прогнила. И оттуда комом торчат перепачканные бинты, изъеденные мышами, и три пальца высунуты, костлявые, как медо-

вого цвета. Тут-то я, кажется, понял, отчего Уильям Риммер решил податься в доктора, но, хоть убей, не мог сообразить, что повлияло на Джорджа, разве что маменькино лицо над люлькой, с круглыми, как шары, глазами.

Спасибо, конюх надоумил, показал вырытый под рододендронами ледник, шагах в двадцати всего от теплицы. Джордж этим остался доволен, я привез тачку, и мы начали покрывать пластинки составом.

Когда мы вернулись, обезьяна уже проснулась, и ей, кажется, хуже не стало после перенесенной пытки. Она сидела, сжимала руками брусья и качала головой из стороны в сторону, будто дивилась. Уильям Риммер в восторге, возвышенно, как проповедник, объявил, что пелена спала с ее глаз и теперь она отчетливо видит мир.

— Ловко, а? — Он хохотнул и шлепнул Джорджа по плечу.

— Куда как ловко, — согласился Джордж с довольной ухмылкой.

Я держал свое мнение при себе; ловко-то ловко, кто ж будет спорить, но что за радость от этого мира, если видишь его из клетки?

Когда пришло время фотографироваться, обезьяна повернулась спиной к камере. Я пробовал было кидать в нее камешками, но она хоть бы хны, и тогда я прогрохал ножницами по брусьям клетки. Плечи у нее дрогнули, но она не повернулась. И тут Риммер сообразил ей спеть. Голос у него был приятный, и он завел колыбельную не колыбельную, что-то вроде; и, ясное дело, это сработало, тварь повернулась, чтоб на него поглядеть. Джордж сделал пять снимков, последний, правда, испорченный, потому что обезьяну вдруг вырвало.

Воротясь в ледник, он проявлял снимки при слабеньком свете занавешенной свечки, каждую пластинку обмакивал в смесь пирогаллола и уксусной кислоты. А как доведешь каждое изображение до правильной плотности, надо его закрепить в растворе цианистого калия, и это была уж моя работа. Потом мне полагалось выносить поддоны и сливать на землю лишние химикалии, до того они вредные. Ну а я часто мыл в этих выплесках руки, пятна серебра сводил; Джордж чересчур, по-моему, осторожничал.

Ужинал я в людской, почти без охоты. Так болела голова, что кусок не лез в горло. Лакей один меня отчитал за то, что сел за стол с черными пальцами. Мне было до того тошно, что я даже не мог обороняться и его не срезал. Одна женщина тут, оказалось, служила на Земляничных полях и знавала миссис Прескотт и ее дочек. Она меня стала пытать про мисс Энни, и я ей сказал, что она на четвертом месяце и на сей раз, видно, доносит. Она стала удивляться, как, мол, чудно́, в детстве мисс Энни такая здоровенькая была, а теперь все хворает. Я сказал, что ничего тут чудного не вижу, случается и наоборот.

— А ведь он верно говорит, — сказала старуха рядом со мною, по левую руку, — гляньте хоть на Генри на нашего, — и она ткнула ножом в дальний конец стола, где сидел как бык здоровенный мужичище. — Скажешь разве, что дитем что былинка на ветру колыхался?

Тот же лакей стал дознаваться, на что нам сдалась обезьяна; он помогал переносить клетку в теплицу. Когда я его просветил, он смерил меня взглядом, этак презрительно, а потом говорит — вот уж никогда бы не подумал, что я помощник у доктора.

— А кто сказал, помощник, — говорю. — Я фотограф.

— Фото-о-граф, — он эдак протянул, — тоже не верится. Хотя, когда ты тачку волок, может, и была от тебя польза.

Тут уж я вскипел, я крикнул, что наружность обманчива и что мой отец был джентльмен и таким остается, несмотря на стесненные обстоятельства. Я видел, что он мне не верит, и обрадовался, когда его кликнули наверх. Папашу моего, так мне говорили, зачислили в Ланкаширский кавалерийский полк за два месяца до моего рождения и сразу же отправили в Индию. Так он с той поры и не вернулся, насколько мне было известно, — то ли по своей охоте, то ли не поладил с Творцом.

* * *

Вечером Джордж меня хватился. Ясно было, что он как следует заложил за галстук, язык у него заплетался. Сказал, что заночует здесь, а я чтоб ехал один. Риммер ему поутру даст коня. И пусть я держусь большой дороги, на берегу могут напасть головорезы. Я-то понял, что это он о своем бесценном аппарате хлопочет, а вовсе не обо мне.

— Если жена моя нездорова... — начал он и запнулся.

— Я за вами вернусь, — подсказал я.

— Возможно.... — Он совсем запутался. На лице у него была му́ка, пухлые губы уныло по краям сникли. На нем сейчас все как есть было написано, пропащий он человек. Наконец он решился, буркнул:

— Нет, ничего не надо. Я до завтрака ворочусь.

Я его чуть не пожалел. Годами был под каблуком у матери; теперь вон с другой бабой мается. Миссис О'Горман считала, что это стыд и срам, но я-то догадался, что просто ему нравится из себя строить святого мученика.

Не прошло и пяти минут — я на дворе складывал аппараты, — он послал мне сказать, чтоб все-таки я его обождал. Семь пятниц на неделе, другого я такого не видел. Наконец явился — еле шел, Риммер его чуть не на себе волок, — объявил, что полезет в карету, там раскидал все, что я только-только кое-как уложил, и в результате забился в уголке под складками ширмы. Небось уснул, пока мы еще за ворота не выехали.

День совсем убывал, когда я выехал из Холла. Сразу же за деревьями я пустил лошадь в галоп, колеса кренились на рытвинах, ветер вздувал на мне одежу, выдувал из головы моей боль. В вышине над полями, как по белому скользкому льду, катили по небу черные тучи. На душе у меня была тоска оттого, что этот лакей меня поставил на место, я ругал себя, что клюнул на его наживку, но могучее небо меня ободрило, меня охватил вдруг какой-то даже восторг. Сердце радовалось, что Джордж лежит бесчувственный среди поддонов и склянок. "Вот ужо! — крикнул я громко и встал на вожжах, как колесничий. — Ужо..."

Когда мы спустились к дюнам, был прилив, море накатывало на пустынный берег, солнце кровавым шаром падало за горизонт. Я пустил лошадь спокойной рысцой на желтую дымку далекого города.

На полпути между Ватерлоо и Сифортом нам попался старик у костра, он жег сплавной лес, над головой у него метались искры. Я взял было мимо, но едва поравнялся с ним, из кареты раздался отчаянный стук, и пришлось мне остановиться. Джордж изволил проснуться.

Если он и разозлился, что очутился в песках, то виду не подал. Может, его увлекла вся эта красотища — меркнет пустынный берег, ветер вздувает пламя, дерево в костре щелкает, трещит, перекрывает свист напористых волн. Так ли, иначе ли, он спросил у старика, можно ли

присесть к его огню. Сказал, что продрог до костей; в своей хлопающей одежке он и вправду трясся так, будто его колотит горячка.

Старый чудила не сразу ответил. Он, я заметил, глянул проверить, под рукой ли его здоровенная клюка. А потом сказал Джорджу: почему же, мол, милости просим, только чтобы с поведением, — просто потеха.

Он был болтливый, этот старик, а Джордж перед ним стелился, величал его сэром, а меня никогда, хотя, может, тут в годах все и дело. Я сидел в сторонке, смотрел, как отступают сумерки, как взбирается по небу месяц. Я думал про Миртл, как сидит она в классной комнате там, далеко за бухтой, чирикает по-иностранному и учится падать в обморок, если тявкнет погромче какой кабыздох.

Раньше старик рыбачил, ловил угрей, он рассказывал, возил в Уинд, там пирогами торгуют, берут для начинки, ну а потом — сколько лет уж тому — напился как-то мертвецки, вышел в большую волну и размозжил свою лодку у Рок Ферри. Старшие дочки было его призрели, и скитался он от одной к другой, от порога к порогу, вспомнить грех. В этом смысле, Джордж сказал, он очень напоминает одного короля — и тут ясно стало, до чего он нализался. Наконец старик решил приклонить голову у младшей, в пристройке к кузнице, теперь он весь в ее власти, вот и спит под открытым небом. У ней — как у матроса язык, раки-странники здесь, на берегу, не так больно укусят, как жалит ее язык.

— У ней шестеро, мал мала меньше, — сказал он как бы ей в оправдание. — И без мужа живет, сама себе голова.

— Жизнь жестока, сэр, — поддакнул Джордж и подпихнул головешку в костер, так что вовсю посыпались искры.

— Коли сызнова жизнь начинать, — сказал старик, — я бы в солдаты пошел. Там тебе пенсию платят.

— И зато снабжают тебя прекрасной возможностью быть убитым, — сказал Джордж, на что старик ему ответил, что есть и похуже способы покинуть сей мир, чем пуля тебя поцелует, миг — и вся недолга.

Мы распрощались. Истинный философ — так назвал его Джордж, и он плюхнулся на четвереньки при третьей попытке взобраться ко мне на козлы. Я запихал его в карету — расшибет еще свою забубенную башку, а я потом отвечай. Когда я стал закрывать дверь, он схватил меня за руку и хотел втащить к себе. Выражения его я не видел, была ведь ночь, но в голове у меня напечаталась его хитрая улыбка, совсем как у тех не людей — не зверей, которые охраняют вход в Бланделл-холл.

Я у него уже один раз видел такое лицо, это когда мы уложили его отца, а Миртл послали за водой на кухню. Он меня благодарил за помощь, говорил, что я необыкновенно толковый для моих лет и он, мол, вовек не забудет ни моей доброты, ни моей скромности. Я такой тонкий, он говорил, что не способен извлечь выгоду из сложившегося положенья. Он это говорил совсем искренне, и его слова очень меня удивили. Я, между прочим, до тех пор только и думал, как бы из него выжать пять шиллингов, перед тем как уйти. Мы стояли по обе стороны кровати, между нами — его мертвый отец, и была такая странная минутка, когда я вдруг возомнил, что я и в самом деле такой необыкновенно прекрасный и тонкий. "Ты хороший мальчик", — он пробормотал, и тут он встал коленом на одеяло, приподнялся и потянулся рукой к моей щеке. Я мигом сообразил, что у него на уме, и выскочил из комнаты. Мне такое было не внове, так что пугаться мне было нечего, и, если бы он не стал приплетать свою лесть, я бы, может, ему и уступил — этот грех рас-

пространен во всех слоях общества, правда, я так замечал, богатые ему уступают по своей охоте, а бедные из нужды. Вот то, что он меня надул, заставил поверить, что я лучше, не такой, как я есть, вот что меня допекло. Доктор Поттер выходил из гостиной, когда я сбегал по лестнице. Я вцепился в перила и ждал, что будет. Он меня раньше ни разу не видел и мог, очень даже мог меня принять за вора, по крайней мере, хоть поинтересоваться, зачем я пожаловал, но он только глянул на меня и, мне показалось, все понял по моим глазам. Я никак не мог справиться с засовом; он подошел, его отодвинул и меня выпустил.

На часах Обзорной башни было без нескольких минут семь, когда мы поднялись на гребень холма за бульваром и свернули в Ежевичный проулок. Джордж у себя в карете во всю глотку орал "Матушка родимая, смерть моя близка". Странно — когда мы стали и он спрыгнул на дорогу под лунным лучом, он произнес те же самые слова похвалы: "Ты хороший мальчик", — только на сей раз — поздновато, по-моему, — уже, кажется, от души.

* * *

Я, конечно, и в ус не дул, думал, что вышел сухим из воды, улик против меня никаких ведь не было. Но ко мне подступился доктор Поттер, и так хитро подступился, он же насквозь человека видел.

Он поджидал Джорджа и отозвал его в кабинет, только-только мы переступили порог. Я тут же вышел, чтоб заняться разгрузкой, а когда вернулся с треногой и ширмой, Джордж вылетел из комнаты и, впереди меня, бросился вверх по лестнице. Я снова спустился — доктор Поттер стоял в прихожей и пристально на меня смотрел. Он сказал:

— Помпи Джонс, я хотел бы с вами переговорить, когда вы разгрузите карету.

При первом же взгляде на его лицо я понял, что дело неладно; у меня ёкнуло под ложечкой. Как ни спущусь, он все стоит, все смотрит. Наконец мне уже нечего было таскать, и я стал водить по двору лошадь, но тут он выходит на крыльцо, велит мне оставить все дела и немедля идти в комнаты.

Я прошел за ним в кабинет. Сердце у меня колотилось. От эфира небось, не только от дурного предчувствия. Он не сразу взял быка за рога, откашливался, перебирал на жилетке пуговицы. Толстые — они по большей части выглядят идиотами, когда на себя серьезность напустят; но только не доктор Поттер. Я все твердил про себя, что я же ничего такого худого не сделал, но глаза его меня убеждали, что нет, сделал кое-что.

В конце концов он сказал:

— Мне небезызвестно то положение, какое вы заняли в этом семействе... и, быть может, сами мы во всем виноваты. Я не убежден, что вы получили здесь необходимое руководство...

— Я здесь только одну доброту и видел, — перебил я. Я не притворялся. С ним этот номер бы не прошел.

— Очень и очень возможно, — сказал он. — Вы явились здесь почти мальчиком... — Он помолчал, и глаза его рыскали по моему лицу. Я потянулся рукой к губе, прикрыть то багровое пятно, как будто оно вернулось. — Но вы теперь взрослый человек, мужчина, — сказал он. И опять он замолчал.

— Да, — сказал я. — Похоже на то.

— Мужчина, — повторил он. — А мужчина несет ответственность за свои поступки, пусть даже учиненные по невежеству или в полной невинности.

— Вы бы лучше сказали, в чем дело-то, — сказал я, задетый этой его ссылкой на невежество.

И он меня просветил. Рано поутру миссис Харди пошла в столовую за рукоделием, которое с вечера оставила там на столике.

— Занавеси еще не раздвигали, — сказал он, — и шкура в сумраке ей показалась живой и свирепой...

— Шкура, — крикнул я. — Какая еще шкура?

— Вне себя от ужаса, — прогремел он, — она бросилась бежать и споткнулась...

— Споткнулась, — эхом отозвался я.

— Она ударилась о стену. Итог — перелом запястья. Но это не все...

Я стоял немой, как пень, но лицо у меня горело от стыда. Я на самом деле угрызался.

— Можно вылечить перелом, — сказал он. — Но как вернуть разбитые надежды? Вы меня поняли?

Я не понял — тогда я не понял, — но я кивнул.

— Сначала, — продолжал он, — все приписали нерадивости Лолли. Но миссис О'Горман ее взяла под свою защиту. Она сама проверила комнату, прежде чем отойти ко сну, и все было в совершенном порядке. Она сказала, что вы были в доме на рассвете.

— Мне велели прийти, — защищался я. — Мастер Джорджи велел. И ничего я ни про какую шкуру не знаю.

Миссис О'Горман плакала, когда я уходил. Отчасти оттого, что молодая миссис Харди опять выкинула, отчасти из-за меня. Причитала, что она не перенесет этой разлуки. Я сказал ей, чтоб не убивалась, все обойдется. "Никуда ваш Джордж от меня не денется, — я сказал. — Вот увидите".

Я шел домой под густыми звездами. Я не падал духом. Век живи — век учись, я так рассуждал.

Пластинка третья. 1854 г.
Превратности войны на водах Европы

Злосчастное свое путешествие мы начали 27 февраля, выплыв из ливерпульских доков на "Камбрии", судне Кьюнардской компании. Я определяю нашу экспедицию в столь безнадежных терминах по причине участия в ней женщин и детей, не говоря уж о няньке и горничной, якобы необходимых для ухода за ними. Сперва предполагалось, что едем только мы с Джорджем и Миртл. Я чувствовал, что, если разразится война, которая с каждым днем представлялась все вероятней, оба мы можем пригодиться, он в качестве хирурга, я — как наблюдатель. За двадцать лет до того мне уже пришлось осматривать Крым, Балаклаву, береговую линию, и даже издать на собственные средства статью о строении степного песчаника, распространенного в западной части Ногайской степи. Итог — решительно ни малейшего отзыва, но, впрочем, сей-

час речь не о том. Миртл мы собирались взять с собой просто потому, что она не в состоянии выпустить из виду Джорджа.

Когда именно склонили взять с собой Энни, от меня решительно ускользает. За два года перед тем была эпидемия холеры, и, боясь ее повторения, она доказывала, что для детей будет безопасней на лето покинуть город. Никто не спорил. Она, как я понимаю, написала к тетушке, у которой дом на Англси подле Менайского пролива[1], испрашивая разрешения у нее погостить, и с возвратной почтой получила ответ в том смысле, что ей будут рады, равно как и моей Беатрис. Сколько мне известно, женщины были обе вполне довольны такими видами. И вдруг ни с того ни с сего за две недели до отплытия Джордж, помявшись, объявляет, что Энни тоже едет. "Она настаивает, Поттер, — сказал он. — А в моих обстоятельствах — как я могу ей отказать? В конце концов, она моя жена". Подозреваю, тут Миртл приложила руку — из-за детей.

Тщетно толковал я Энни о суровом климате, морозных ночах и буйных веснах, палящем июле и августе, о выжженной растительности, о мухах — она и слышать не хотела. Наивный осел, я даже всучил ей книгу на сей предмет, которую она приняла из моих рук так, как берут расколотый стакан, и положила в гостиной на каминной полке, где она и пребывала неоткрытой. Да, у меня доказательство есть. Энни имела пристрастие к засахаренному миндалю, бедная Лолли вечно сметала с мебели сахар. Закладка, которой я отметил соответственные пассажи — пересыхающие русла рек и прочее, — так и осталась незыблемой на девственной странице. Надо ли упоминать, что, если Энни стала участницей экспедиции, нельзя было не включить и Беатрис.

Наша "Камбрия" была до того набита, что осела ниже ватерлинии; на борту было две сотни солдат, четыре механика, ветеринар и представитель торгового департамента Ливерпуля, которому надлежало на месте определить, какие срочные поставки могут сразу понадобиться в случае войны. "Патриотический долг граждан Ливерпуля, — уведомил меня сей джентльмен при первой возможности, — жертвовать всем ради поддержки армии". Фамилия его была Нотон, и более гнусного и раболепного субъекта и представить себе невозможно. Я несколько раз с ним спорил за время пути и составил суждение, что веления презренной пользы, а никак не патриотизм воспламенили в нем это его чувство долга.

Погода нам благоприятствовала на первом галсе нашего пути к Мальте, хотя вы бы этого никак не сказали, услышав жалобные стоны и охи Беатрис. В первые три дня ничего не произошло, достойного упоминания, разве что судовая сука — колли — произвела на свет восьмерых щенков. Миртл потребовала пометить по ушку самого хилого из помета — для деток. Им полезно будет, она объявила, опекать что-то такое беспомощное и малюсенькое. В тот же вечер так называемая жена одного из солдат разрешилась девочкой. Спасибо, младенец умер три часа спустя, не то Миртл заставила бы нас и на него распространить свои заботы.

На борту нас потчевали дивной пищей. Не будет преувеличением сказать, что ели мы как короли. На завтрак подавали голубей, бифштексы, паштеты, всевозможными способами приготовленные яйца — омлеты, вкрутую, гоголь-моголь, глазуньи. Этот пир сервировался в восемь часов ровно. Двое механиков и, по воле злополучной моей судьбы, противный Нотон обыкновенно составляли мне компанию. Ни Джордж, ни

1. Этот пролив отделяет остров Англси от Уэльса.

женщины к завтраку не выходили. Джордж — оттого, что слишком много пил накануне; бедняжка Беатрис, которая так бодро и так настойчиво рвалась бороздить моря, теперь за это расплачивалась, торча, едва живая, в каюте и получая облегчение лишь тогда, когда Миртл вытаскивала ее наверх и, совершенно зеленую, прогуливала по палубе. Возможно, я был жесток — видит Бог, Беатрис давала мне слишком много поводов для этого, — но я придерживал язык. При всех недостатках, на нее можно положиться, особенно по части тех тайных услуг, какие требуются от жены. В отличие от Энни Беатрис исполняет супружеский долг с удовольствием и трогательно вносит свою долю вдохновенья в минуты наших блаженных кувырканий.

На четвертый день пути стало очевидно, что Нотон не на шутку увлекся Миртл. Она, как всегда, ничего не замечала, а ведь он просто ей проходу не давал. Миртл не в первый раз вызывала трепет в мужественной груди, хотя Нотона, сказать по правде, даже при самом разнузданном воображении трудно отнести к разряду мужественных. Его увлечение Миртл меня удивляло. Вот уж я бы не подумал, что у него на это достанет проницательности; такой пустой малый, мне казалось, должен быть падок до более очевидных чар — розовые щечки, сияющие глазки, пышная грудь et cetera. А тут девушка небольшая, бледная, плоская как доска, угрюмые глаза, не зеленые, не карие, и уныло сложенный рот. Правда, если с Миртл разговориться или видеть, как она играет с детьми, как она улыбается, — тогда дело другое. Тут было просто колдовство какое-то. Беатрис ее обожала, и даже Энни, у которой, видит Бог, были все основания ее ненавидеть, дарила ее всеми знаками искренней преданности.

Нотон, совершенно ошалев, до того дошел, что отвел как-то Джорджа в сторонку и открыл ему свои чувства. "У вас очаровательная сестра, — так, не вполне впопад, он выразился. — Воображаю, какая у ней бездна поклонников". На что Джордж опрометчиво отвечал, что есть у нее лишь один, и она с ним обручена, и он ее ждет в Константинополе, чтобы с ней соединиться.

Я говорю "опрометчиво", потому что было весьма вероятно, что Нотон будет вертеться рядом, когда мы достигнем места нашего назначения, и что же Джордж намеревался тогда делать?

— Не собираешься ли ты нанять юного гусара на роль возлюбленного? — спросил я его.

— Когда приедем, тогда и видно будет, — отрезал он, а потом так пил до самого ужина, что забыл предупредить Миртл о надвигающейся свадьбе.

Итог — за ужином влюбленный Нотон вдруг повернулся к ней и во всеуслышание брякнул:

— Счастливый человек ваш избранник, мисс Харди.

Эффект, какой произвело в нашей части стола это поразительное открытие, был поистине комичен. Энни, нацелившаяся вилкой на корочку пирога, застыла, открыв рот и подняв свое орудие. Бедняжка Беатрис, которая уже работала челюстями, подавилась куском и задохнулась бы, не догадайся ветеринар постучать ее между лопаток. Одна Миртл осталась безмятежна; глядя прямо на онемевшего Джорджа, она ответила:

— Вы очень добры, мистер Нотон, но, уверяю вас, это я счастливый человек.

Уж не знаю, что она потом говорила Джорджу. Ничего, надо думать. Джордж ни в чем и никогда не мог быть виноват. Если когда была на свете женщина, ослепленная любовью, — так это Миртл. Как-то я попросил ее удержать Джорджа от пьянства, которому после кончины отца он стал не в меру предаваться.

— Кто я такая, чтобы вмешиваться, — она ответила. — И ему же надо отвлечься.

Я, признаться, даже спрашивал себя, уж не предпочитает ли она его в подпитии: быть может, так упрочивалось ее влияние. Джордж убивался несколько больше, чем было необходимо при обстоятельствах отцовской смерти. Хотя доверился он мне лишь несколько месяцев спустя, я уже имел кой-какие догадки, что все случилось не так, как могло казаться. Родственник старой миссис Харди, некто капитан Таккетт, явился в дом в самую ночь события, так вот он мне рассказал, что Джордж вечером перед тем был в самом жалком положении, трясся, нес несусветицу, бормотал почему-то про Панча и Джуди. Ну и потом, конечно, это внезапное водворение Помпи Джонса — утиного мальчишки, как упорно именовала его Миртл, — не говоря уж о собственном ее необъяснимом и странном возвышении: этой отсылке в пансион — будто она дочь семейства.

Миртл теперь была необходима. Старый мистер Харди был мошенник и стервец, и, как это бывает с сыновьями таких людей — тонкими юношами, Джордж совершенно соответственно его любил и боялся. Не будет натяжкой сказать, что Джордж поместил его на пьедестал, и притом довольно высокий. При падении мистера Харди с высоты — они разбились оба. И теперь Миртл суждено было убеждать Джорджа, что он не распался на осколки.

Спустя несколько дней, когда я слонялся по палубе, озирая однообразный простор неба и волн, ко мне прицепился Нотон и завел дурацкий разговор об изготовлении скрипок; какое дерево лучше et cetera. Он их производил, имел процветающее дело, он хвастал, в двух шагах от таможни. Я не любитель музыки, правда, однажды, во время торжеств, посвященных открытию Альберт-дока, мне посчастливилось присутствовать на фортепьянном концерте, неожиданно оживленном тем, что пианист сделал сальто со сцены.

Нотон был достаточно неприятен, когда молол свою непрошеную чушь про инструменты, но скоро стал и вовсе невыносим; он имел наглость поделиться со мною своими соображениями о надвигающейся войне. Невежество его в истории меня бесило, сужденья были плоски. По его мнению, дела наши *были в надежных руках.*

— И тут вы разумеете, я полагаю, — сказал я, — тех шутов, которым лишь титулы и богатство дали власть в правительстве и в армии?

— Шутов... — пролепетал он.

— Идиотов, ничтожеств, — пояснил я. — Никакое уважение к древним традициям, никакое чинопочитание, пусть самое искреннее, не сделают человека невежественного пригодным для высоких постов.

— Невежественного? — возмутился он. — Лорд Абердин, герцог Ньюкаслский, лорд Рассел, лорд Раглан...

— Нехватка людей образованных, — разразился я, — стала причиной всех наших бед на востоке. Что они знают об огромной Оттоманской империи? Члены нашего консульства, все сплошь аристократы, живут там в своих чертогах так, будто Темза течет у них под окнами. Приемы в

саду, парады, посещения опер — вот и все их заботы. Стоило ли ехать так далеко от Букингемского дворца... Какие рапорты они посылали о климате, территории, об ископаемых, о хозяйстве, о состоянии дорог?

Я уже просто кричал. Он выглядел оскорбленным, это мне было лестно.

— Вы с собой захватили, надеюсь, образцы строительных материалов, чтобы показать возможным покупателям, — продолжал я. — Кирпич... камень et cetera. Там, знаете ли, очень мало дорог.

— Не захватил, — процедил он сквозь зубы.

— Помяните мое слово, — сказал я. — Там будет большой спрос на кирпич... и никакого на скрипки... если только вы не рассчитываете, что Севастополь падет от звуков музыки.

Я думал, что поставил его на место и теперь он отвяжется и оставит меня в покое. Ничуть не бывало; пристал ко мне как репей. Неловко, когда по пятам за тобой таскается человек, которому ты нагрубил. Я готов уже был пуститься в рассуждения о волнах, облаках, их движеньях, особенностях очертаний et cetera, но тут он сказал:

— Мистер Поттер, а какое положение у того молодого человека, за которого выходит мисс Харди?

— Положение?..

— Ну да. Какое у него занятие?

— Война, — сказал я. — Он капитан Одиннадцатой гусарской бригады.

И тут уж он от меня отлип, ибо кто же может соперничать с блистательной Легкой бригадой, пусть даже и вымышленной?

На тринадцатый день мы вошли в гавань Валетты. Невозможно было уломать Беатрис оставаться на борту те двадцать четыре часа, которые требовались для загрузки углем и пополнения припасов. Она хотела спать на твердой земле, в этом она была непреклонна и даже не уловила шутки в моем замечании, что в таком случае ей придется спать на валунах.

— На всем острове нет ни крупицы почвы, — сообщил я ей.

— Чушь, — отрезала она, показывая на поля, золотящиеся над гаванью.

— То есть *естественной* почвы, — растолковывал я. — Эта вся завезена из Сицилии и еще откуда-то. Мальтийские рыцари пускали суда в гавань только при условии, чтобы им платили пошлину гравием и грязью.

— Что за чушь, — не сдавалась она. — Чего-чего, а грязи, куда ни сунься, везде хватает, — и настояла на том, чтобы я подыскал для них с Энни гостиницу.

В тот вечер мы долго бродили по улицам всей компанией; женщин увлекала пестрая толпа, запрудившая узкие переходы. Я нашел здесь все сильно изменившимся за два десятилетия, прошедшие с моего первого визита. То, что взгляду юнца, прельщенного причудливой архитектурой, экзотическими одеждами арабов, нубийцев и иезуитов, казалось тогда оплотом старины, теперь предстало вульгарным, пошлым, и, увы, весьма заметно ощущался английский новомодный и тлетворный дух. Время от времени дамам приходилось подбирать юбки, дабы их спасти от выплесков солдатни, которая, вывалившись из кабаков, тут же на улице и облегчалась. Перемены эти меня расстроили, я чувствовал гнет своих лет.

— Когда я приехал сюда впервые, — сказал я Беатрис, — волосы у меня были рыжие...

— Знаю, — сказала она, — я еще застала кой-какие прядки. Седи́ны уж и то лучше.

Перед обедом мы наняли ослов и вихляющими тропками, мимо пышных садов, под сенью финиковых пальм добрались до ячменных полей, золотисто подмигивающих солнцу. Дети, спускаемые наземь, ковыляли в пыли и раскачивались в такт мерно наплывавшему из города нежному колокольному звону. Их мать, вдали от любопытных глаз, осыпала их щечки поцелуями и тихо им что-то напевала.

Я ночевал в гостинице вместе с Энни и Беатрис. Лишний расход, конечно, но мне не спится, когда я не чувствую ее тепла у себя под боком.

Мы выходили в море на другое утро, и за завтраком разговор шел о неизбежности войны. Через день-другой три французских транспорта, не меньше, зайдут в гавань en route[1] к Галлиполи, уже для торжественной встречи объявлен сбор стрелковой и гвардейской бригад — сведения эти принес на хвосте Нотон, накануне ужинавший на батареях. Один механик, слову которого можно верить, имел сведения, что после нашего отъезда из Англии в Вулидже собрали обоз из восьмидесяти тяжелых орудий. Чего же я и ожидал? — но эта новость меня повергла в уныние; на войне, я убежден, нет иных победителей, кроме Костлявой.

Третью ночь нашего пути в Константинополь я провел на палубе, чуть не силком вытащив за собою упиравшуюся Беатрис. Когда я щекоткой ее разбудил на рассвете, ей пришлось-таки признать, что матрас и одеяла под звездами во многих отношениях удобней и приятней, чем наша тесная каюта.

Не одно только внезапное устремление к природе погнало меня на палубу; мне захотелось еще разок взглянуть на место обитания отшельника Малеи, бородатого пустынника, который, тому полвека, построил скит на самом краю мыса, чтобы с этой выигрышной позиции, сидя по-турецки, наблюдать волненья океана. Двадцать лет назад суда и яхты имели обыкновение, подав предупредительный сигнал свистком, спускать лодки, груженные галетами, маслом и солью, и эти припасы, если позволяло море, доставлялись на голую скалу под его жилищем.

— Согласно легенде, — просвещал я далее Беатрис, — он явился из Афин, где жил прежде богатым судовладельцем. В точности как у тебя, любовь его к морю, — тут она в меня метнула взор, который человека менее закаленного испепелил бы на месте, — была столь велика, что он всегда сам вел один из своих кораблей. И трижды корабль, который он вел, сбивался с курса... по вине шального ветра... и разбивался о скалы мыса Малеи.

— Какие скалы? — перебила она. — Никаких я не вижу скал.

— Там они есть где-то, — уверил я ее. — В отчаянии и чтобы искупить свою вину перед потонувшими матросами, он дал обет удалиться от мира.

— А свистки на что? — спросила она. — Если он только и делает, что пялится на горизонт, он же и без них суда увидит.

— Отшельник, пустынник, — возразил я, — на то и называется так, что прячется в пу́стыни, в пустынном месте. Ему нужно время, чтобы спрятаться. Отшельник не может без конца устраивать приемы.

— Ну, сейчас он определенно спрятался, — с раздражением заметила моя супруга, подрагивая у перил и щурясь на отуманенные воды. Чуть погодя она объявила, что соленые брызги ее огрели по губам, и направилась вниз.

1. По дороге (*франц.*).

— Не уходи, — взмолился я. — Мне так приятно, когда ты рядом.

— Нет, — отрезала она. — Я вот подумываю, не стать ли и мне отшельником.

И, выпустив эту прощальную стрелу, она ушла. Я так и не увидел ни промелька земли, хоть битый час не оставлял своего поста, глядя на скачущие волны и с тоскою вспоминая давно минувшие холостяцкие дни.

* * *

Многое может нас вывести из колеи — смерть близких, утрата дохода или здоровья, внезапное открытие, что давно лелеемым надеждам не суждено сбыться. Что же до меня, ничто меня так не потрясло, как манифест новых наук, "Основы геологии" мистера Лайелла[1]. Мне было двадцать два, когда впервые я это прочитал. Итог — я навсегда стал другим человеком. Эхом отзываясь на чувства мистера Рёскина, я часто жаловался Беатрис: "О, эти страшные молоты! Они ударяют по каждому слогу Библии"[2].

Мой ум был потрясен не столько тем, как ловко Лайелл разделался с волшебной сказочкой о сотворении мира, сколько его утверждением, что суша и вода меняются местами постоянно. Так наше северное полушарие, некогда усеянный островками огромный океан, может, он утверждал, вернуться к изначальному своему виду, пусть и в весьма далеком будущем. Мысль не очень утешительная. Тут и так-то вечно маешься от переменчивости собственных чувств и настроений, порой не знаешь, на каком ты свете, а если и Земля непостоянна — это, согласитесь, несколько уж слишком.

Я никогда не чувствовал себя более уверенно, чем в ту нашу первую неделю в Константинополе, ибо ничто так не умиротворяет женщин, как вечные экскурсии, званые обеды и поздние светские ужины. Тут я, разумеется, исключаю Миртл, которая прилежно таскала детей на берег по утрам и вечерам, хотя это, кажется, совсем не так было для них полезно, как она воображала. Когда мы вошли в порт, Беатрис первая заметила мрачность атмосферы. Мне говорили, что султан издал приказ, согласно которому все суда должны сами уничтожать собственную копоть, — если так, эффект от его приказа был ничтожен. "Похоже на Ливерпуль, — заметила Беатрис, — если на него смотреть с другой стороны Мерси"[3].

Удивительно, как быстро приспособились женщины к новой для них обстановке. То, от чего дома они попадали бы в обморок, здесь им казалось не более чем оригинальным. Едва было установлено, что возвещавший каждый рассвет пронзительный вой — не жужжание гигантского москита, но призыв муэдзина к молитве, Беатрис тотчас потребовала открыть все окна, чтобы лучше слышать этот звук. "До чего мелодично", — бормотала она в прямом несоответствии с истиной. Даже гостиница — если точней, большой сарай, лишенный примитивнейших удобств, — не вызывала ни малейших нареканий.

1. Чарльз Лайелл (1797—1875) — английский естествоиспытатель; в упоминаемом труде противопоставил теории катастроф учение о непрерывных изменениях земной поверхности. Сторонник теории эволюции Дарвина.
2. Из письма Джона Рёскина (1819—1900), английского писателя, теоретика искусства. Речь идет о географических молотах; в викторианскую эпоху был предпринят ряд раскопок с целью опровержения Библии.
3. Река, в устье которой расположена ливерпульская гавань.

Тут помогало, думаю, то обстоятельство, что все мы были, так сказать, в одной лодке, город кишел англичанами, и в нашей лихорадочной суете мы не оставались одиноки. Случайные знакомцы, которые в рассчитанных пределах отечества могли бы встретить разве небрежный кивок, здесь попадали в число сердечнейших друзей в течение суток.

— Но это же прощелыга, — сказал я Джорджу, когда он привел к нам за стол молодого человека, неприличие которого было крупными буквами написано у него на лбу. — Дома ты к нему на пушечный выстрел бы не подошел.

— Мы не дома, — отрезал Джордж. — И он, по-моему, забавный.

—У нее сомнительная репутация, — сказал я Беатрис, когда, следуя примеру Джорджа, она завела тесную дружбу с некоей миссис Ярдли, прибывшей из Англии в обществе гвардейского полковника. — Она с этим господином в явной связи, не осеняемой брачными обетами.

Но Беатрис сказала, что едва ли именно нам пристало в нее бросать первый камень. И, признаться, мне нечем было крыть.

Военные известия озадачивали сбивчивостью. Сразу по прибытии нам рассказали о блистательной победе турок и заверяли, что угроза конфликта миновала, но на другой день оказалось, что герцог Кембриджский и лорд Раглан уже на пути к Мальте, с тем чтобы объявить войну. Многие среди нас — всё спекулянты, которых мистер Нотон служил ярчайшим образчиком — хотели верить последнему известию. Тем временем мы продолжали нашу увеселительную прогулку.

Из всех наших многочисленных забав танец дервишей ярче всего запечатлелся в моей памяти благодаря своей сверхъестественной глупости. Мы видели его в Пера, в маленькой, прилегающей к гарему мечети. Нам отвели места на галерее, и мы сверху смотрели на кружок мужчин, облаченных в долгополые одежды и конусообразные шапки, скорее подобающие ведьмам. В середине сидел первосвященник — глаза закрыты, будто он спит, да и кто бы мог его упрекнуть за это? На противуположной галерее некто длиннобородый в шелковом платье решительно женского покроя (Беатрис шепнула: какая прелесть!) бил в бубен, издавая по наитию дикие вопли. Час или даже больше мы осуждены были слушать их монотонные молитвы. Я уже терял сознание от скуки, как вдруг эти дервиши повскакали на ноги — все исполинского роста, — сбросили верхние одежды и обувь и начали плавно переступать, церемонно кланяясь первосвященнику и друг другу. А затем — ни с того ни с сего — кружиться, кружиться, как волчки. Ничего глупей и представить себе невозможно: они оказались в беленьких нижних юбочках и, с поднятыми над головой руками, больше всего напоминали гигантские кружащиеся колпачки для тушения свечей. И тщетны были все усилия угомонить зашедшуюся в хохоте галерку.

Потом Энни, Беатрис и миссис Ярдли удалось попасть в гарем, где их принимала мадам Кязим, красившая свои вороные локоны под цвет куриной слепоты и прочитавшая, по слухам, целый французский роман, весь от начала до конца. Других женщин не наблюдалось. Скоро рабыня подала воду в стаканах и блюдо с цукатами. За каковое угощение мадам Кязим потом, так и не подняв взора от книжки, истребовала мзды.

За всей этой неутомимой праздностью и безоглядной дурью сквозили мне черты лихорадочного веселья, окрасившего, верно, последние дни Рима. Как этих дервишей, несло нас вихрем от развлеченья к развлеченью. И на одном пикнике, покуда женщины щебетали стрижами,

меня с такой силой охватило предчувствие неминучей катастрофы, что пришлось подняться на скалу поодаль. Я смотрел вниз, туда, где мерцали среди кипарисов купола и минареты, и в мысли мне непрошено прокрались строки: "Сегодня мы одолели двадцать четыре мили, еще сорок восемь одолеем завтра. Но кто выдюжит гонки со смертью?" Вдали, под лазурью неба, узкие стрелки Босфора и Золотого Рога, тонко смешавши воду с сушей, указывали на Черное море.

Когда в тот вечер мы вернулись в гостиницу, нас встретили два скверных известия; первое — если считать, что личное, а не всеобщее обладает первостепенной важностью, — касалось Миртл. В наше отсутствие дети затосковали по своему новому щенку, которого пристроили в гавани. Его доставили, выпустили во двор, и, перепугавшись шума шагов, отдаваемых гулкими плитами, он попятился, скользнул за открытые ворота, и собаки, свирепыми стаями рыскавшие по улицам, тотчас растерзали его в кровавые клочья. К счастью, дети — старшая топотала на шатких ножках, меньшой сидел у няни на руках — были далеко и не видели этого ужаса.

Миртл сразу метнулась за щенком, все увидела и упала без памяти. Зная ее силу и недюжинный характер, мы бы и вообразить такое не могли, но увы — хозяин гостиницы бросился за нею следом и все это засвидетельствовал. Когда она очнулась, мистер Нотон и неизвестный в военной форме ей помогли уйти с места кровопролития.

Второе известие, не на один день просроченное, было о том, что Англия объявила войну России.

Неделю целую, последовавшую за роковой вестью, нам пришлось быть свидетелями тошнотворнейшей демонстрации патриотического пыла. Пушки палили с тех судов, которые уже вернулись в гавань якобы после разгрома Севастополя. Гостиница "Мессиери" стала главной явкой англичан, и все они жестикулировали, как иностранцы. И раньше-то не стоило выходить после наступления темноты, чтоб не наткнуться на пьяную солдатню, теперь это стало опасно не на шутку. Часто по ночам будили нас булькающие вопли несчастного, которому перерезáли глотку. Поневоле сидя взаперти, мы обречены были ежевечерне внимать вокальным упражнениям миссис Ярдли, которая под звуки, извлекаемые одним галантерейщиком из фортепьяно, исполняла чувствительные баллады, например "Солдатскую слезу" и "Хочу погибнуть как солдат". Слава Богу, она хоть не знала песни "Матушка, родимая, смерть моя близка", некогда популярной в нашем доме.

Джорджа тоже удручала вся эта атмосфера, впрочем, его томило кое-что повещественней, чем трели певчей птички в гостинице "Мессиери". Еще до отплытия в Константинополь он снесся с армейской медицинской службой в Манчестере и предложил свои услуги. Имея нужную квалификацию и опыт более чем пятилетней практики в хирургическом отделении ливерпульской больницы, он, однако, был отвергнут, как человек женатый. Ему не возбранялось выехать в качестве гражданского лица, добыть себе место в главных госпиталях Скутари или Галлиполи — это пожалуйста, но о приписке к полку не могло идти и речи. По прибытии нашем на восток он ни об одном из этих госпиталей даже не пытался наводить справки; если не был на берегу с Миртл, он возился со своим аппаратом, а то и вовсе пропадал в греческих кварталах с новообретенными друзьями. Надо признать, когда к нему обращались за помощью, он исполнял свой долг безотказно и бесплатно — лечил жену

одного пожилого грека от водянки, пользовал миссис Ярдли, обжегшую себе руку, вскрыл одному ребенку нарыв et cetera.

Теперь же он меня удивил: не теряя времени, стал собираться в Скутари. Тут-то ему и пригодились его недавние медицинские заботы о миссис Ярдли: ее приятель, гвардейский полковник, забросив все дела, платил ему услугой за услугу. Хлопоты эти, впрочем, потребовали больше времени, чем ожидалось, и Джордж дергался из-за проволочки. Но — опять-таки он меня удивил, ибо оставил всякое попечение о трактире герцога Веллингтонского, да и за ужином едва пригубливал стакан. Строчил длинные письма, все больше матери, даже миссис О'Горман не поленился черкнуть несколько слов.

Однажды вечером, когда мы сидели на гостиничной веранде, смотрели на закат и поджидали дам, он вдруг повернулся ко мне и сказал, что надеется всегда иметь во мне друга. Я ответил, что душою рад и жду от него того же.

— Вы всегда обо мне заботились, Поттер, — сказал он. — Но не всегда я слушался ваших советов.

— Милый мой... — начал я.

— Я хочу, чтобы вы знали... на случай... если что... со мной случится... я назначаю вас своим душеприказчиком. Я надеюсь, вы мне не откажете.

— Ну полно, полно, — сказал я. — Зачем такие мысли? — Мне сделалось не по себе.

Как человек, лишенный ресурсов — денежных, я разумею, — я всегда тяжело опирался на щедрость Джорджа. Мне мечталось, что в один прекрасный день я смогу ему отплатить — благодаря моим сочинениям; увы, это осталось мечтой.

— Когда я получу место в Скутари, — сказал он, — у меня камень спадет с души, если вы останетесь здесь и приглядите за возвращением домой детей и Энни.

Разумеется, я согласился. Как мог я ему отказать? Тут он, путаясь и запинаясь, стал говорить о прежней своей жизни, о сожалениях, о загубленных возможностях, о силах, потраченных напрасно, et cetera... и как он чувствует, что война наконец-то даст ему опору, в которой он всегда так нуждался.

— Опору? — переспросил я.

— Даже, если хотите, подпорку, костыль, — сказал он. — Человеку, как я, нужно на что-то опираться, чтобы не рухнуть. Ну, кроме Миртл. Я много сделал такого, о чем теперь жалею.

— Лет эдак через сто, — заверил я его, — мы позабудем все, о чем теперь жалеем.

— Мне бы не хватило и тысячи, — сказал он, и, ей-богу, у него на глазах были слезы. Его слова встревожили меня; когда люди, подобные Джорджу, ударяются в самоанализ, это скорее не к добру.

Тут-то и явился Нотон и был, конечно, удивлен сердечностью моего приема. После многих вяканий и околичностей он наконец спросил у Джорджа, участвует ли тот господин, с которым обручена его сестра, в военных действиях. Джордж посмотрел на него в недоумении.

— Нет еще, — сказал он. — Его полк покуда стоит на Мальте.

— Он недурен собой, — заметил Нотон со столь явственной тоскою в голосе, что тут уж пришла моя очередь недоумевать. Путем умелых расспросов мне удалось наконец выведать, что он при этом разумел гу-

сара, который учтиво поспешил к Миртл на выручку во время того ужаса с собаками.

— Они обвенчаются до войны или после? — спросил Нотон, и тут-то разозленный его назойливостью Джордж решил разорвать помолвку Миртл.

— Положим, он хорош собою, сэр, — ответил он, — но с моей сестрой он обошелся гадко. Никогда она не будет его женой.

Помню, в каком мы были восторге от собственной изобретательности. Так в нашей остроумной, пусть, надо признаться, не очень доброй шутке была удачно поставлена точка.

* * *

Решили, что Беатрис, Энни и дети отплывут на родину в начале мая, так нестерпимо заполонили Константинополь толпы чинуш и военный люд. К тому же с наступлением тепла возросло и число мух и разной кусающейся в ночи неудобопоминаемой дряни. Что толку было вытряхивать белье на балконе, как делала Беатрис по утрам и вечерам, если вредоносные твари таились в досках пола, в каждой самомалейшей стенной щели? Что до Энни, та не могла дождаться дня, когда укроется наконец в Англси под цивилизованным тетушкиным кровом.

В апреле Джордж достиг-таки вожделенной цели, и теперь трижды на неделе он пропадал в Скутари, в полевом лазарете, где был взят ассистентом к доктору-турку. Он мог бы на ночь возвращаться, до Скутари было не ахти как далеко, но осторожничал, боялся потерять место. Пользовать ему приходилось покуда вывихи и ушибы от падений с седла, раны, полученные в пьяных драках, и — реже — венерические болезни. Солдат в этих краях мог напиться на шестипенсовик и за шиллинг приобрести сифилис. Джордж говорил, что даже рад такому положенью дел — для более сложных операций условия лазарета мало приспособлены. И на каждого пациента там по крысе.

Джордж преобразился. Хоть он приходил домой измученный, грязный, с пропыленными волосами и пятнами на одежде, синие глаза выражали ясность и чистоту помыслов, каких им не хватало с самой юности. Миртл редко его сопровождала из-за надвигающегося отъезда детей. С которым она смирилась, ведь ее к ним любовь — лишь продолжение любви к нему.

Уступая желанию Беатрис, назначили прощальное развлечение: прогулку к Золотому Рогу с последующим посещением оперы. Легко вообразить мои чувства, однако я улыбался и прикидывался, будто меня вдохновляет и веселит дурацкая затея. Я любил свою жену, и мысль о разлуке Бог весть на какой срок меня наполняла тоской. Как я это вынесу? Я нежно думал о ее привычке поклевывать вилкой еду на моей тарелке, о том, как пухлые пальчики ласково трут перед рассветом клопиный укус на моей щеке. Нечего и говорить, все мои попытки облечь подобные мысли в слова всегда встречали негодующий отпор. Зато, когда она спала и я хотел высвободиться из кольца ее горячих ручек, оно сжималось еще тесней.

До бухты Золотой Рог, где располагался курорт, на котором паслось все, что было знатного и светского в Стамбуле и Пера, было два часа быстрой езды. Мы решили устроить наш пикник у стен дворца, принадлежавшего брату султана, человеку, прославленному великолепием рас-

численных своих садов, где по аллеям роз сотнями ступали павлины. Я сказал — быстрой езды, но поскольку тряский бег пони мог стать для детей роковым, нам поневоле пришлось готовиться к более долгой дороге. Тронулись мы спозаранок, но уже к восьми солнце забралось высоко, и Миртл державно, как скипетр, будто отваживая орлов, вздымала мухобойку над пушистыми детскими головами.

Места вокруг прелестные, и кабы не жара — человек дородный буквально плавится на таком свирепом солнце, — я бы посчитал, что приятней и нельзя провести утро. За нами по пятам, временами обгоняя, скакал Нотон, который сидел в седле весьма недурно для скрипичного мастера. За ним увязался еще один из инженеров и некая тощая личность в тюрбане. Оказавшись рядом, Нотон неизменно выкрикивал приветствие и приподнимал шляпу. И разумеется, глаз не сводил с Миртл.

— Он за тобой гоняется, как охотник, — сказала ей Беатрис. — Не пойму, как только ты такое терпишь.

— Мне знакома одержимость, вы и забыли? — ответила Миртл. — И какой от него вред?

Когда, огибая припавшие к берегу наивные виллы, мы приближались к заранее облюбованному месту, в синеву неба взмыла стая журавлей. Миг один мы отчетливо видели их, потом, рассекая золотые лучи, они растаяли в блеске.

Дворец стоял на широком плато в окружении деревьев и цветущих кустарников. Спешившись, мы поднялись по широким ступеням и посредством своеобразного туннеля проникли в это экзотическое владенье. Не одну сотню людей, сообщила Энни, приходится нанимать для содержания его в должном порядке.

Сады эти были, собственно, пространной и прихотливой смесью тщательных лужаек, декоративных каменных горок и цветочных бордюров. Сам я, увы, никогда не мог себя заставить умиляться достижениями садоводства, и мне надоела Энни со своими восторгами по поводу то одного, то другого *дивного*, как она это определяла, *растения*. Куда живей меня влекли поляны меж стволов, нежившие веселых дам, сверкавших алыми коготками. Как бы хотелось мне к ним присоединиться! Но вместо этого, понукаемые Беатрис, мы неслись мимо пурпурных рододендронов на звуки дальних хлопков и приглушенных расстоянь-ем криков, пока не вышли наконец к открытой поляне в кольце шумных наблюдателей.

Оказывается, здесь тешились спортом флотские под началом французского адмирала, которому, как ворчали зрители-англичане, лучше было бы заняться кой-чем поважней, хоть бы конфликтом, кипящим по ту сторону Босфора. Я готов был с ними согласиться, но вдруг увидел, как сей господин выходил, подкрепясь, из соответственного павильона, в торжественных позументах, при треугольной шляпе, с обеих сторон поддерживаемый моряками, — и решительно переменил свое суждение. Слюнявый рот, дрожащая походка, боязливая осторожность каждого шага, будто он ступал на зыбучие пески, уверили меня, что дни адмирала сочтены.

Беатрис нелепо увлеклась этим их бегом и прыжками; не в силах более торчком стоять на солнцепеке, я укрылся под иудиным деревом и, прикрыв платком потное лицо, погрузился в грезы наяву. Мысль моя — не оттого ли, что мне хотелось пить, — перекинулась на писания Гоме-

ра, а именно на те его стихи, где речь идет о смерти Антиноя, пронзенного в горло стрелой Одиссея в тот самый миг, когда он готов припасть к золотой чаше, — как вдруг удар по щиколотке пренеприятным образом вывел меня из задумчивости. Сорвав с лица платок, я успел увидеть, как престарелый господин падает прямиком мне на ноги, после чего он растянулся рядом.

Я часто думал о том, что все на свете предначертано и такого понятия, как случай, не существует вовсе. Никогда бы Галилею не додуматься, что Земля вращается вокруг Солнца, не родись при нем изобретатель телескопа, равно как и Миртл не видать ее нынешнего положения при Джордже, если б не вспышка оспы и посещение кой-кем борделя. Разумеется, два эти примера решительно несопоставимы по масштабам, но оба свидетельствуют о редком совпадении времени и места. Сам же я — вечная жертва предопределения, в согласии с которым все, что я хотел и мог бы изучать, всегда оказывалось уже исследованным более великими умами.

Я это лишь к тому упоминаю, что старец, вдруг оказавшийся со мною рядом под иудиным деревом, был не кто иной, как, директор Археологического музея в Керчи Густав Страйхер, с которым я двадцать лет тому назад водил знакомство. После заверений в том, что кости не поломаны, последовала одна из бесед, характерных для встреч относительной молодости — уж слышал-то я как-никак получше — и вполне законченной дряхлости. Не уверен даже, что он меня узнал, хотя помнил, кажется, мраморную голову Аполлона, чьи нежно нарумяненные щеки пленяли меня когда-то, равно как и саркофаг, оседланный по крышке двумя гигантскими фигурами, по милости турецких мародеров лишившимися головы. Я сказал ему, что помню его зажигательную лекцию на сей предмет.

— Варвары, — пробормотал он. — Варвары все до единого.

— А вы по-прежнему в Керчи? — спросил я, и он отвечал, что отправлен в почетную отставку с пенсионом.

— Вам больше по душе жить здесь... чем в Англии?

— Что такое Англия? — отозвался он. — Где эта Англия?

Сочтя вопрос риторическим, я промолчал. Заметив, что глаза у него закрылись, я понадеялся, что он заснул, а не потерял сознание вследствие ушиба. Я хотел уже спросить, как он себя чувствует, но тут он с незаурядным пылом вскричал:

— Чистейшая нелепость — переносить странствия Одиссея на Черное море. Он непременно бы упомянул Босфор и Дарданеллы, буде скитания его имели место не к западу от театра Троянской войны, а северней, на Понте Эвксинском[1].

— Да, в самом деле, — сказал я и прибавил: — Мои цели, однако же, насущней. Я хочу быть наблюдателем.

— Но чего? — осведомился он.

— Войны, разумеется, — сказал я.

— Какой войны?

— Нынешней, — ответил я, опешив от такого его вопроса.

— Я не знаю никакой войны, — объявил он. — Троя пала.

Нашу беседу прервала Беатрис, прибежавшая с известием, что Джордж решил попробовать себя в прыжках в длину, как разрешили всем желающим.

1. Понт Эвксинский (Гостеприимное море) — древнегреческое название Черного моря.

Я помог старику подняться на ноги и пожал ему руку.

— Я вспоминаю вас с признательностью, — сказал я, хоть и не совсем правдиво. Я не забыл унизительную сцену, когда, после одной своей лекции предложив задавать вопросы с места, он обозвал меня ослом и велел садиться.

— Скорей, — торопила Беатрис.

— Я надеюсь, мы еще свидимся, — говорил я, тряся его руку.

— Не думаю, мистер Лайелл, — отвечал он, обнаруживая лестную, хоть и не вполне точную память о моих геологических исканьях. — Мое почтение дочери вашей.

— Это он про меня? — заинтересовалась Беатрис.

— Про кого же еще? — ответил я, и она просияла.

Нельзя сказать, что на этих соревнованиях Джордж заметно отличился. Спортсменом в семье был брат его, Фредди, увы, рано умерший от воспаления мозга. И все же, когда он, разбежавшись, оторвался от земли и солнце литым золотым шлемом одело ему голову, мы орали до хрипоты.

Час спустя, когда Беатрис нас стала тащить домой, Джордж настоял на том, чтобы мы сфотографировались. Он заприметил человека с треногой возле фонтана. Мы выстроились, и кое-кто задобривал собственное изображение в жалких потугах преодолеть упущения природы; Беатрис под видом задумчивости подперла подбородок пальцем, Энни сбросила туфли, чтобы стать ниже ростом. Я же взял на руки старшую девочку и тщательно расправлял ее платьице по своему пузу, пока она не разревелась, и Джордж велел ее отдать матери, уже прижимавшей к груди младшего. Позади продолжалось состязание — офицеры против солдат — под упоенное хрюканье участников.

Долго стояли мы неподвижно, как статуи, все, кроме детей. "Тихо, миленькие", — приговаривала Миртл, а они рыбками трепыхались у нее на груди.

* * *

Час посещения оперы был поздний, мы давно отужинали. Театр стоял в Пера, в европейской части города, вплоть к питейному заведению, забитому солдатней. Оттуда несся гвалт, вопли, визг — впору подумать, что там тоже дается оперное представление.

Я злился на Беатрис: заставила меня припарадиться, а в театре этом грязь была несусветная. К счастью, мы сидели в ложе, слегка возвышенные над мерзостью. При всем при том, хоть скрыл это от Беатрис, я, перед тем как ей сесть, стряхнул со стула двух тараканов. Вонь снизу и из соседней лавки, смесь жареного лука, пива, еще чего-то мерзко сладковатого ударяла в ноздри, и нам приходилось без конца обмахиваться носовыми платками. По краю сцены, в опасной близости к истертому бархату занавеса, стояли рядком горящие керосиновые лампы, иные без стекол. Я предусмотрительно проверил узкий проход за нашими стульями и повыбрасывал на улицу кой-какую рухлядь, чтобы в случае пожара можно было выбраться.

Миртл сидела отвлеченно, ничего вокруг не замечая. Завтра детей отправят в Англию — от этой мысли она как окаменела. Потом уже, перед антрактом, я вдруг услышал странный звук, который мгновенно воскресил в моей памяти кухню миссис О'Горман и крик дворовой кош-

ки, обрыскивавшей ведро, в котором утопили ее котят. Я вздрогнул, глянул на Миртл — у нее были мокрые щеки.

Джордж счел, что это она растрогалась из-за музыки, но каким образом новомодный композитор вроде Джузеппе Верди своим нескладным грохотом и надсадным воем мог заставить человека плакать, если только не от злости, — выше моего понимания. Беатрис ласково обняла ее за плечи, а Энни, не находя в себе сил открыто выразить сочувствие, несколько смущенно искала нюхательные соли.

Только уж когда дали занавес, я заметил Нотона, он сидел в ложе напротив вместе со своим дружком-инженером, миссис Ярдли и ее гвардейским полковником. Нотон уставился влево от нашей группы, и негодование искажало его черты. Следуя за направлением его яростного взора, я перегнулся через перила и заглянул в соседнюю ложу. Там сидела юная смуглая особа в тесных объятьях молодого господина в блистательном мундире Одиннадцатого, лорда Кардигана гусарского полка.

А несколько минут спустя я увидел, как Нотон пробирался по партеру. Достигнув нашей пыльной клетки, он глянул вверх, сперва на Миртл, которая как раз утирала слезы, потом левей. Если такое и впрямь водится в природе, губы его, ей-богу, зазмеились усмешкой. Затем он демонстративно направился к задним дверям. Миссис Ярдли между тем подавала мне отчаянные знаки, махала программкой, выставляя себя притом на всеобщее обозрение. Что до инженера, он встал, набычился, как боксер, и бил кулаками воздух. Я счел, что оба они пьяны, и сказал об этом Джорджу, но когда мне удалось-таки привлечь его внимание к ложе напротив, инженера там уже не было.

— Удивительно, как дичают люди вдали от родины, — сказал я Беатрис, но в ответ услышал только шипенье: оркестровая яма снова заполнялась.

Уже начался второй акт, уже выл заунывно хор, когда я услышал шаги в проходе за нами. Затем были: грохот, невнятное бормотанье; стул подо мной затрясся так, будто что-то тяжко брякнулось о нашу ложу. Все смотрели на нас, в том числе и певцы на сцене. Голос, по которому я не сразу опознал инженера, отчетливо выкрикнул: “Не дурите, ч... вас побери совсем!” Вытянув шею, я потрясенно увидел Нотона, спиной прижатого к краю ложи под таким углом, что голова его болталась над оркестрантами. На Нотона, схватив его за горло, напирал гусар. Многие в публике повскакали с мест и постыдно подзадоривали дерущихся.

Далее последовало нечто превзошедшее своим драматизмом все, что мы видели на сцене. Нотон отчаянно вцепился в грудь противника и ухитрился продеть пальцы сквозь золотое шитье его великолепного ментика. Гусар явно ужаснулся мысли о таком оскорблении мундира, ослабил хватку и сам хотел высвободиться, но тут Нотон вывернулся, распрямился, обхватил гусара и кинул на край ложи. Гусар качнулся, поднял руку и, чертя невнятный знак, скорей всего крестясь, рухнул на пол в партере. Тут впервые открылось мне назначение музыки: чувства мои обострялись несмолкающим оркестром — несчастный приземлился под гром ударных.

Джордж бросился вниз, растолкал возбужденную толпу и подал пострадавшему всю возможную помощь. Мы стояли поодаль, чтобы не усугублять переполох. Из прохода донесся страшный шум; выглянув, я с удивлением увидел, как с десяток дюжих турок уволакивают Нотона. Инженер в отчаянии к нам бросился, крича, что сам он ужасно виноват.

— Мне надо было его удержать! — кричал он. — Господи! Я же видел, к чему клонится дело!

Я увлек его в сторонку и попросил объясниться удовлетворительней. Из-за чего вспыхнула ссора? Почему Нотон подвергся такому грубому нападению?

— Да он же сам полез на рожон! — крикнул вне себя инженер. — Ворвался в ложу и отвесил гусару оплеуху!

— Но за что? — спросил я, хотя в моей душе уже шевелилось жуткое подозрение, что мне и самому это известно.

— Как же, все из-за мисс Харди... за то, что так с ней обошелся. Сидит от нее в десяти шагах и обнимает эту непристойную особу... а мисс Харди от оскорбления в слезах.

— Знаете что, возвращайтесь-ка вы в гостиницу, — сказал я ему. — А утром... когда вы успокоитесь... мы, пожалуй, обратимся к английскому консулу.

— Мне надо было его удержать, — простонал инженер и побежал по проходу.

Все кончилось благополучней, чем можно было опасаться. Капитан, весь в синяках, едва дышал, но не сломал, однако, ни хребта, ни шеи. Он всего-навсего растянул себе лодыжку, и призванные из питейной лавки друзья ему помогли добраться до казармы.

На пути домой мы с Джорджем молчали как убитые, и неспроста. Нам было стыдно обоим. У меня не шел из головы утиный мальчишка, Помпи Джонс, и как я выговаривал ему когда-то за детскую проделку с тигровой шкурой.

Причина и следствие, думал я. Вот оно. Никогда нельзя недооценивать разрушительной силы наших необдуманных действий.

* * *

Я нанял верхнюю половину одного дома в Скутари. Джордж, до той поры ночевавший в лазарете, был в восторге от переезда. Окна наши смотрели на Мраморное море, и через двор мечети до казарм было рукой подать. Кроме самой необходимой мебели, в комнатах ничего не было, и Миртл постановила, что ничего не надо менять. Я кинулся было покупать шифоньеры и картины, но она сказала, что мы не у себя дома и незачем прикидываться, что жизнь идет по-прежнему. Так оно и вышло, нам недолго суждено было там оставаться.

Самая удивительная перемена произошла в Миртл — во внешности, я разумею. Тогда как мы с Джорджем заметно потеряли в весе, от жары ли, от вынужденной ли диеты, она, напротив, скорее пополнела; округлились щеки, шея и руки налились. Всегда бледное, лицо подрумянилось на солнце, и, поскольку она ходила простоволосая, в волосах блестели выгоревшие прядки. Итог — прежде словно сквозившая в тумане, Миртл как бы вышла на свет Божий. Едва ли Джордж замечал эту перемену, он слишком был занят другими материями, ну а я втайне радовался, что исчез со сцены бедный, одураченный Нотон. Если уж Миртл тогда свела его с ума, теперь, новая, искрящаяся, она бы довела несчастного до истинного помешательства. После того как для умасливания турецких властей была собрана кругленькая сумма — причем свою скромную лепту внес я или, точнее, Джордж, — Нотона услали в Англию. Я провожал

его в гавань, и, перед тем как взойти на борт, не в силах произнести ни слова, он, словно тонущий, вцепился в мою руку. Я придал своим чертам приличное случаю выражение, хотя, должен признаться, меня все еще жег стыд.

В июне Джорджа призвали в Константинополь, в военную медицинскую коллегию. Его поставили в известность, что отныне он приписан к расквартировываемой в Варне второй дивизии в качестве помощника хирурга. Он меня просил не открывать Миртл причину его назначения — три доктора, занимавшие это место до него, все, один за другим, пали жертвой холеры.

Я выразил тревогу, но он меня утешил, что опасность заразиться там не больше, чем везде. Уже несколько недель больные сотнями прибывали в Скутари. Болезнь приняла такой оборот, что смертники гниющими рядами валялись по коридорам лазарета. Столько смертей — и без единого выстрела!

Я не храбрец, и, должен признаться, мысль удрать в Константинополь и оттуда домой мне приходила в голову. Подозреваю, так бы я и сделал, если бы не Миртл. Ничто на свете не вынудило бы ее оставить Джорджа, ну, а когда всего лишь женщина выказывает такую твердость, кто ж себе позволит поддаться малодушию?

Через неделю, в сумерки, мы проплывали мимо сказочно затейливых дворцов пашей; мимо гробницы Барбароссы, покорителя Алжира; вдоль вечереющих садов и кипарисов мы килем пробивали кипящую бледную дорогу по фосфорным грядам Босфора. За нами следом неслись крошечные, не более зарянки, птицы; никто и никогда не видывал, чтобы они сели, всегда в полете. Турки, как мне приходилось слышать, считали, что это души женщин, которых утопил султан.

Дорога заняла у нас два дня; на второе утро за завтраком молоденький драгунский офицер, говоря о том, как он жалеет, что забыл дома теннисную ракетку, вдруг упал на тарелку лицом. Джордж приподнял драгуна — накануне вечером жаловавшегося, оказывается, на желудочные боли — и объявил, что тот умер. Так и остался он сидеть, с открытым ртом. Мы тоже сидели, будто боялись его потревожить. Когда наконец мальчишку уносили, Миртл встала и осторожно сняла с его волос хлебные крошки.

Сказать, что мы высадились в Варне, было бы преувеличеньем; мы скорее плюхнулись в воду, ибо пирс решительно сгнил. Хлюпая по грязи, мы выбрались на сушу. Одна лошадь сломала переднюю голяшку, пришлось пристрелить ее на месте. Труп подхватило волной, и он тихо поплыл под балдахином мух по Черному морю.

В городе из-за значительного перенаселения царила дикая неразбериха. Войска, лошади, обозные телеги, теснясь из порта, делали почти непроходимыми узенькие улочки. Крысы нагло, не таясь, рылись в отходах возле пищевых лавок. Даже Миртл замечала грязь и кавардак. Мои мечты о том, чтоб снять уютный домик, увитый виноградною лозой, рассеялись как дым. Почти все доступное жилье мало того что ютило несчетных представителей многообразного мира насекомых, вдобавок уже гостеприимно укрывало паразитов иного рода, а именно винных торговцев и лошадиных барышников, острым смрадом войны выманенных из всех щелей Леванта.

Джордж отбыл доложиться в главный госпиталь, а мы с Миртл отправились на несколько миль западней от города, где был разбит воен-

ный лагерь, и палатки по обе стороны дороги взбирались вверх, к нагорью над озером, образованным рекой Девней. Ниже по течению натекал еще пруд, окруженный болотистой местностью, днем довольно живописной, по ночам же окутываемой ядовитым туманом. С невнятных слов сопровождавшего нас болвана грека я заключил, что рядом кладбище, где позарыты шесть тысяч русских, павших от чумы в двадцать девятом году. Приобретя по баснословным ценам палатки и кастрюли, мы пристроились неподалеку от пруда. Что до питьевой воды — рядом били прелестные ключи.

Мне хватило нескольких часов, чтобы понять, в какую мы влипли передрягу; едва настала ночь, процессия бедолаг, волочащих на закорках своих собратий, провлеклась мимо нашего костра и растаяла во тьме. Кто-то говорил, будто они идут к реке помыться и страдают покуда всего-навсего поносом, но уже поползли слухи, что во французском лагере, разбитом на сравнительно благополучном месте, от нас к северо-востоку, вспыхнула холера.

На другой день к нам присоединился Джордж, облаченный якобы в форму офицера двадцатой дивизии. Мундир так выцвел и потерся, что исходные цвета не поддавались опознанию; его заметно поносил злополучный предшественник Джорджа — если не все трое. Вынужденный на свои любезные купить уставные сапоги, Джордж заполнял несчетные бланки, в результате чего был извещен, что желаемую обувь можно будет приобресть через неделю, а то и через месяц.

Обстановка в лазарете, он мне рассказывал, была зловещей. Не хватало людей для строительных работ, а власти, он считал, то ли не могли, то ли не хотели понять неотложность дела. Предприняли попытку улучшить вентиляцию, выломав доски на крыше, но палаты все стояли душные и грязные, служа достойной Вальхаллой[1] несчетным блохам, мухам, крысам, тараканам. Недоставало оборудования и лекарств. В первый же вечер ему пришлось спасать несчастного, в пьяном виде свалившегося с лошади и сломавшего нижнюю челюсть. Не имея ничего другого для наложения шины, пришлось использовать картонный переплет книги под названием “Вольный, вольный мир”. Если его не выскрести добела, лазарет непригоден для обитания, и, по убеждению Джорджа, человек там умрет скорей, чем брошенный в канаве. По ночам Джордж неистово чесался и не давал мне спать.

Сам же я являл собой весьма печальную фигуру, после того как безрассудно передал залубеневшую от шлепанья по грязи одежду прачке. Итог — день целый я простоял голышом, прикрытый замызганной лошадиной попоной, ожидая ее возвращения. Она так и не пришла, и, поставя окончательный крест на моем стремлении к элегантности, так и не пришел корабль с нашим багажом — как сообщалось, загоревшись в миле от Скутари. Миртл отправилась куда-то, разыскала торговца подержанным платьем и любезно купила и на мою долю священническую рясу, безусловно модную во времена моего деда. Еще она приобрела цилиндр, слегка траченный молью. И я его носил, предпочтя бесчестье солнечному удару. Сама она ходила в длинном платье, вот как турчанки носят, и чуть ли не непристойно ловко скользила в нем по лагерю.

Странно, до чего просто привыкаешь к первобытным условиям. Удивительно, до чего легко осваиваешься с чумазыми руками и сальной

1. Вальхалла (“Чертог убитых” — *древнеисл.*) — в скандинавской мифологии принадлежащее верховному божеству Одину жилище павших в бою храбрых воинов.

бородой. Ничто так верно не возвращает человека к его сущности, как жизнь под открытым небом.

Сказать по правде, я уже не знал, кто я такой — я потерял свой курс вместе со штанами. Я наблюдал, я вел свои записи днем — под адское жужжанье мух, ночью — под собачий лай и задушенные крики тех, кому приснилась родина... а то похуже.

Я пропал, я совершенно потерялся, разум мой был расстроен, мысли в беспорядке. Часто, погружаясь в неверный сон, я про себя повторял строки Гесиода:

> *...Сила ужасная собственных рук принесла им погибель.*
> *В затхлую область они леденящего душу Аида*
> *Все низошли безымянно*[1].

Боюсь, скорей тот жесткий барашек, которого мы жевали на закате, нежели интеллект, придавал такое направление моим мыслям.

Пластинка четвертая
Август 1854 г.

Места тут дивные, но все вокруг болеют, понять не могу отчего. Может быть, от этой бездны ягод, собирай сколько хочешь — вишня, клубника растут за палатками без всякого призора. Я в жизни себя не чувствовала такой здоровой.

Джорджи, как сюда приехали, поручил доктору Поттеру купить для меня пони. Он беленький весь, и на крупе черная полоса; если пугается, на лбу бьется синяя жилка. Понятливые животные совсем как дети. Я его глажу, а шкура под рукой нежная, просто бархат...

Джорджи меня еще ни разу не видал в седле, все ему некогда, но вчера пообещал, что мы вместе поедем в горы над озером. Уже нам через час отправляться, и тут он исчез. Оказался, конечно, в своей лазаретной палатке, сидит проверяет лекарства, все заносит в гроссбух. Помощника у него нет, и он вечно мучается, столько разных отчетов приходится писать по начальству. Мог бы сказать, как, мол, обидно, что он со мною не выберется, но нет, не сказал.

Только кинул через плечо: “Ты иди, Миртл. Мне никак нельзя отлучиться”.

Доктор Поттер — тот бы со мной поехал, если б я его взяла, хотя наездник из него никакой, и вообще он не любит шевелиться. Я очень люблю доктора Поттера, но он вечно погружен в свои мысли, и, когда его из них вырвешь, он неважный собеседник. Вечно приводит цитаты о смерти, сперва пробормочет на мертвом языке, потом старательно переводит, а это может ведь и надоесть. То есть не то чтобы сами слова неинтересны, почему, сидели бы мы в гостиной между дураков, я бы первая его посчитала умнейшим человеком. Но здесь, когда кругом без конца умирают люди, эти отсылки к древним побоищам раздражают, вот и все. По-моему, он удирает в прошлое от страха перед действительностью.

— Со мной согласилась поехать миссис Ярдли, — я ему сказала. — Да вы же и не любите жары.

1. *Гесиод.* Труды и дни, 152—154 (*перев. с греч. В. В. Вересаева*).

— Разумеется, разумеется, — поддакнул он, хоть вид был расстроенный.

Солнце в то утро было особенно злое, и я попросила у него цилиндр — чтобы подсластить пилюлю. Это подействовало. "Бери, бери, дитя мое", — крикнул он, сдирая с головы свою шляпу. Я, конечно, не собиралась в ней красоваться дольше, чем он будет добираться до палатки.

Миссис Ярдли и ее полковник стоят в городе, но все дни проводят в лагере. Я начинаю к ней привыкать. Иногда она, правда, может и выругаться, особенно когда укусит комар. Вся в укусах — один даже на кончике носа, — она все равно не теряет веселости. Она выступала на сцене, в живых картинах и не делает из этого тайны и характера своих отношений с полковником тоже не скрывает. Думаю, она не догадывается, как много между нами общего, хотя из-за того происшествия с глупым Нотоном несколько раз подступалась ко мне с не совсем скромными расспросами. Покамест я с нею не откровенничаю, но если мы сойдемся поближе...

Обе мы стараемся не терять присутствия духа и согласны в том, что кое-кому из наших "леди" стоило бы поучиться мужеству у жен и спутниц простых солдат, которых вдобавок дергают за подол орущие дети. Я вот все говорю мастеру... все говорю Джорджи... что глупо расспрашивать простого солдата про понос, ведь для того, кто вырос на тухлятине, это дело привычное. Я напомнила ему, как миссис О'Горман рассказывала про сестрину семью в Ливерпуле: они в речном устье, в иле, нашли давно утонувшего поросенка, принесли домой и чуть не сырым умяли. Итог — как сказал бы доктор Поттер, — хоть раз в жизни наелись досыта.

Не успели мы взобраться в горы, миссис Ярдли принялась выведывать; думаю, за этим стоял полковник, он же знает здешние сплетни.

— Мисс Харди, — она говорит, — я вот слыхала, этот ваш Нотон слег, едва вернулся домой. Видно, слух про его подвиги прежде его туда дошел. А тут еще денежные заботы, знаете, он же совсем запустил дело.

— Я не так уж близко с ним знакома, — я говорю. — Но мне грустно это слышать. Без денег жить несладко.

— А я думала, вы с ним по Ливерпулю знакомы, — она говорит.

— Вовсе нет. Мы познакомились на борту парохода... а потом снова в Константинополе. Он любезно мне помог вернуться в гостиницу, когда мне стало дурно на улице.

— Из-за жары, — она говорит: опять выведывает.

— Вовсе нет. Это из-за собак...

— Ах да, — сдавленный вскрик, — мне Беатрис говорила. Они вас чуть не растерзали...

— Да нет же, совсем не то, — сказала я. — Щеночка м-м... Моего брата детей разорвали у меня на глазах. — От одного упоминания о моих душеньках у меня навернулись слезы.

— Какой ужас! — простонала миссис Ярдли, и притом, кажется, искренне.

Мы проходили по-над рекой, там женщины стирали, руки у них были темные от загара. Тут же поставщики-болгары, снабжавшие лагерь мясом, разделывали забитую овцу и швыряли кровавые кишки в воду. Женщины колотили вальками, перекрикивались, хохотали. Рядом лежал ничком и закидывал ведро мальчонка. Полное, оно стало ему не в

подъем. Он его наклонил, расплескал, припал губами к краю, жадно хлебнул и, шатаясь, заковылял к палаткам.

— А мне так и вовсе детей не надо, — сказала миссис Ярдли. — Оно и к лучшему, раз уж я не беременею.

— И Беатрис тоже, — выпалила я. — И не то чтобы доктор Поттер не старался.

Тут обе мы фыркнули, замечание-то было скользкое, и в разговоре с женщиной иного сорта, чем моя спутница, я бы никогда себе его не позволила.

При мысли об этих интимных вещах в голове у меня встали картины: Джорджи меня забирает из школы в Саутпорте, по дороге домой я вишу у него на руке; Джорджи сопровождает Энни в сторону доков на ужин в гостинице, а я плетусь сзади, и только-только проклюнулся месяц, позажигали на пароходах огни, и сердце мне так стискивает чистая радость, что я закусываю губу, чтобы громко не закричать. Ну, не такая уж чистая...

— У-у, ч-черт, чтоб тебя... — взвизгнула миссис Ярдли и яростно хлопнула себя по шее.

Я ей посоветовала ногтем прочертить крест по укусу. Джорджи говорит, злость тогда сразу пройдет. Мной насекомые брезгают. Видно, в детстве так поискусали, что теперь во мне противоядие выработалось.

Скоро тропа вошла прямо в лес, и весь он сладко качался от птичьего пенья, от пчелиного гуда. Миссис Ярдли сказала, что тут вроде как в церкви, даже лучше, на коленки не надо плюхаться...

Я ведь только на похоронах мистера Харди в первый раз и была в церкви вместе с мастером... вместе с Джорджи... хотя сидела в другом приделе и дальше на двенадцать рядов. Лолли мне дала напрокат свою шляпку. Миссис Харди сидела между Беатрис и тем господином, в которого стрелял лорд Кардиган. Ни у кого плечи не дергались от слез, у одного Джорджи, хотя, если правду сказать, ни на чьи я больше плечи и не смотрела. Миссис Харди держала в руке платок, но ни разу им не воспользовалась. Некоторые плачут ведь про себя, а по-моему — разве так выплачешься...

— И почему они находят меня такой сладкой? — жаловалась миссис Ярдли, отмахиваясь от комаров, а те так и роились над ее головой.

Дружка за дружкой, след в след мы миновали двух полуголых молодых людей в крапчатой тени, один сидел прислонясь спиной к дереву, другой растянулся рядом, заслонил лицо руками и мел светлыми волосами землю. Оба лениво напевали, и над ними, свисая с веток, болтались красные куртки. Заслыша мягкий перестук лошадиных копыт, тот, который сидел, открыл глаза и учтиво поклонился; такой румяный, со вздернутым носом деревенский парнишка, а на коленях — целая груда вишни.

Как вышли из лесу, мы сразу стали забирать кверху. Миссис Ярдли, скребя щеку, спросила, чего бы мне сейчас хотелось. По кислому тону ясно было, что она вдруг вспомнила десятки способов более удачно провести время.

— Чего? Да того же, что и есть, — ответила я. — Всегда надо довольствоваться настоящим... другого нам не дано.

Только это неправда была; я так хотела, чтобы рядом был Джорджи.

Скоро деревья расступились, и мы увидели белую мазанку подле небольшого виноградника. Я была за то, чтобы сделать крюк, не подхо-

дить слишком близко. "Там уж, наверное, собаки", — предупредила я. Миссис Ярдли будто и не слышала, беззаботно трусила дальше.

Ну и конечно, нескольких минут не прошло, воздух задрожал от грозного, страшного воя; лошадь миссис Ярдли стала как вкопанная. Зверь ростом с теленка, весь тощий, выбежал из-за угла мазанки и ринулся к нам, а следом трусило существо поменьше, сплошь черное и на трех лапах.

— Не шевелитесь, — приказала я миссис Ярдли, хоть от скрежета когтей по каменной тропе и свирепого лая, надрывавшего сияющий день, она и так окаменела в седле. Слава Богу, лошади стояли смирно — привыкли, видно, к таким передрягам. Не добежав до нас метров шести, собаки, болтая языками, остановились. Я сосредоточилась на той, что крупней, и принудила себя смотреть в ненавистные глаза; взвыв, она улеглась и прижала уши к узкой костлявой морде. Миссис Ярдли постанывала, но неопасно — негромко.

Так, показалось нам, прошли долгие часы, но вот из виноградника вышел кривоногий мужчина и свистнул собакам. Приблизясь, он знаками подозвал нас к себе. Нас провели на задний двор, а там сидела в пыли на корточках женщина и месила тесто. Кривоногий, кланяясь, заставил нас спешиться и жестами пригласил к шаткому столу. С полдюжины ребятишек, некоторые ползунки, как бы чудом возникли из воздуха и стали нас дергать за платья.

Миссис Ярдли вся дрожала; на щеке у нее исходил кровью укус.

— Простите меня, — говорит, — что вас не послушала.

— Вы лучше подумайте, что бы такое им дать, — я говорю. — Деньги у вас есть?

— Деньги, — она говорит. — Но при чем тут деньги?

— Надо отплатить за гостеприимство, — я говорю раздражаясь. — Даром в этом мире ничто не дается.

Кривоногий поставил перед нами две такие маленькие миски и кувшин молока. Дети путались у него под ногами, он их распихал, и, волнуясь и гомоня, как цыплята, они разбежались по углам двора.

— Свинья, — крикнула я, изо всех сил стараясь улыбаться. И кажется, поняла, почему у меньшей собаки не хватает лапки.

Миссис Ярдли смотрела в кувшин, на плавающих в молоке насекомых.

— Нет, вы пейте, — сказала я. — Не то вам принесут что и похуже.

— Эти хоть уже не кусаются, — сказала она и храбро глотнула.

Женщина бросила круг теста на плоский камень; ткнула пальцем на солнце, потом похлопала себя по животу — так она объясняла, что хлеб будет вкусный, когда испечется. Она подняла руку, халат отпахнулся, а под ним — припавший к соску младенчик, и на голове торчат смолисто-черные волоски.

— Подумайте, — понукала я миссис Ярдли, — что бы такое им дать.

У самой у меня ничего не было, только за рукавом носовой платок, его Джорджи обронил; а у нее был шелковый шарф на шее.

И вдруг непонятный звук, вроде хихиканья, раздался совсем близко, из-за стены виноградника. Кривоногий вразвалку туда двинулся, скоро вернулся, неся на руках брыкающуюся козу, и швырнул ее на стол. Из углов прихлынули дети.

— Если он при нас станет ей резать горло, — пообещала миссис Ярдли, — я кричать буду.

У козы была голова как у аристократки, золотистые глаза; передние ноги дрожали. Женщина оставила тесто и подбежала к козе. Та жалобно проблеяла и объягнилась. Миссис Ярдли отскочила, разинув рот в молочной бахроме. Женщина счистила с головки новорожденного сорочковую слизь, подула ему в ноздри, потом взяла его на руки. Крошечный кулачок высунулся из-за халата и покачивался рядом с копытцем. Она пересекла двор и плюхнула козленочка на солнцепеке, рядом с поднимающимся хлебом.

Миссис Ярдли отдала свой шарф. Сказала, что это подарок полковника, но Господь с ним совсем, лишь бы поскорее смыться подобру-поздорову. Она уже не дрожала и, кажется, вполне оправилась после своего перепуга из-за собак. Я думаю, рождение возвышает душу, кто бы ни родился; жизнь во всех видах так удивительна.

Час или больше мы упорно взбирались к высокой лесистой гряде, которая синевато пушилась под бледным небом. Миссис Ярдли сообщила, что над нами кружит большая птица, только она не разберет, орел или нет. Тут я ей была не помощница; я выросла в городе и могла с уверенностью опознать одну-единственную птицу, и это был голубь. Вдобавок я чуть не ослепла от солнца и жалела уже, что не захватила с собой цилиндр доктора Поттера.

— Гарри, — миссис Ярдли отнеслась таким образом о своем полковнике, — просто обожает птиц. Он их стреляет в Норфолке.

Ей хотелось о нем поговорить, и она говорила, довольно долго говорила. Она впервые его встретила пять лет назад, на улице, где живет ее портниха. Он приподнял картуз, когда она проходила мимо, потом она оглянулась — а он стоит и смотрит ей вслед. "Потом, через неделю, — рассказывала она, — вдруг встречаю его опять, в гостях у одной моей знакомой. Мы почти ни словом не обменялись, но как друг на друга посмотрим, аж руки трясутся..." Она умолкла и глянула на меня искоса пустым голубым глазом — проверить произведенное впечатление.

— Как романтично, — сказала я из вежливости.

— Он пошел меня провожать, но мы друг к другу пальцем не притронулись... ну, тогда. Только смотрим друг на друга и не можем наглядеться... а наутро он приходит и говорит: "Это судьба". Так у нас с ним и началось.

Я молчала, не в состоянии придумать достойного ответа. Я ей ни на секунду не поверила — то есть насчет того, что они пальцем друг к другу не притронулись в тот первый вечер. И почему это женщинам всегда хочется подчеркнуть проволóчку? Или от сомнений прелюбодеяние делается менее грешным?

— Он, по-моему, из себя такой душка, — продолжала она. — Эти его шатеновые волосы, а борода.... Вы ведь заметили его роскошную бороду, дивный цвет...

— Да, заметила...

— Ну, а эти карие глаза... этот огонек... его просто нельзя же не разглядеть...

— Я, к сожалению, близорука, — сказала я.

Помимо внешности полковника миссис Ярдли ценила то, что он считал ее себе равной во всем, кроме физической выносливости. "В конце концов, мы слабее мужчин, — объявила она, — и к чему притворяться".

— Иных мужчин, — уточнила я.

— Мы с ним говорим часами не умолкая. И мне никогда не наскучит. Как удивительно, правда?

— Очень, — сказала я. Доктор Поттер считает, что язык нам дан для того, чтобы скрывать свои мысли, но это я оставила при себе. Джорджи не очень-то любит разговаривать, во всяком случае не со мной. И вовсе мне незачем быть ему равной — не приведи Бог вдруг еще придурь в нем углядеть.

На прошлой неделе полковник праздновал свой сорокалетний юбилей. Ужинали в самом шикарном ресторане во всей Варне. Гарри, бедненький, выпил лишнего, денщику пришлось подсаживать его в седло...

Спохватившись, что говорит только о себе, — черты мои не выражали того воодушевления, на какое она рассчитывала, — она спросила, не приближается ли, кстати, день моего рожденья.

— Нет, — сказала я. — Я даже не знаю в точности, сколько мне лет. Может быть, девятнадцать... но дата неизвестна.

— Ох ты, батюшки, — она даже задохнулась, — но почему же?

— Мое прошлое окутано тайной.

— Ох ты, батюшки. — И тут она смолкла.

Мы с собой захватили хлеба и фруктов и, добравшись до верху, под легкий шепот ветра спешились и уселись в траве. Под нами был изгиб Галатского мыса, и палатки третьей дивизии, как крылья бабочек, трепетали у линии скал. Крошечных солдатиков муштровали над глянцевым морем. Уильям Риммер, по слухам, стоит в этом лагере, хотя они с Джорджи пока не видались. Когда бы ни приходил в дом в Ежевичном проулке, он смотрел сквозь меня, а Джорджи из-за него всю ночь не ложился. Миссис О'Горман меня порола, чтоб избавить от страсти, но это не помогло. Как ненавидела я Уильяма Риммера, так по сей день ненавижу.

— Я не ради любопытства спрашиваю, — сказала миссис Ярдли (а что же тогда, интересно, называется любопытством?), — но у вас часто бывает грустный вид. Это из-за вашего прошлого... или из-за той истории в Константинополе?

— Ни то ни другое, — сказала я. — Просто у меня грустное лицо. Внешность у меня такая. А в душе, уверяю вас, я совершенно счастлива.

Она мне начинала надоедать, и я притворилась, будто прикорнула на солнышке.

На возвратном пути мы подальше уклонились от домика с виноградником. Так было куда дольше, но миссис Ярдли клялась, что лучше ей пройти по болоту, кишащему змеями, чем снова увидеть этих жутких собак. "Младенчик этот кошмарный, волосы, как иглы у ежа. Козочка эта новорожденная, вся от слизи мокрая... Молоко, как прогорклый сыр..."

Наконец-то мы вышли на ту тропу, что вела к лесу над озером. Было уже за полдень, и мы пустили лошадей в галоп, чтобы поскорей спрятаться от солнцепека. Вот впереди в листве мелькнули красные куртки. Одинокий луч пробивал крону и дрожащим серебром очерчивал контур мужчины посередине тропы. При нашем приближении он не сделал попытки сойти с дороги, и нам пришлось осадить лошадей. Он стоял, обхватив себя руками, как будто замерз, и смотрел мимо нас. Я извернулась в седле и посмотрела по направлению этого окаменелого взгляда. Деревенский парнишка по-прежнему сидел привалясь к дереву, только румянец сполз с щек и кожа пошла пятнами, как мясо, когда залежится

на прилавке. Вишни он не доел; мухи роились вокруг пальцев, жужжали у рта.

Есть в смерти однообразие, от которого притупляются чувства — оно и к лучшему, иначе пришлось бы без толку выть с утра до ночи. Вот почему Джорджи иногда кажется таким безучастным. Если вечно возишься с умирающими, надо отупеть, иначе ты спятишь.

Солдат к нам не подошел, не заговорил. Они с мертвецом уставились друг на друга. Мы сказали, что пришлем людей, чтоб отнесли тело в лагерь. Он как не слышал, стоял, ежился, стискивал сам себя руками. Миссис Ярдли сдернула куртку с дерева и укрыла от взглядов это сизое лицо. И ничто не изменилось; так же пели птицы; так же они смотрели.

Потом, когда мы отъехали, миссис Ярдли всплакнула. А я вспомнила сказку, которую читала когда-то, про одного монаха, который каждый вечер слушал, как поет соловей. И попросил он у аббата, чтоб отпустил его поискать эту птицу, а тот ему ответил, что смертному не дано слушать вблизи голос Божий. И вот как-то ночью выскользнул монах из своей кельи, пошел в лес и час целый упивался дивными звуками. А когда вернулся, оказалось, что пятьдесят лет пронеслось, пока его не было, и только один из всей братии мог его узнать, а остальные все лежали в земле, и над ними плескались старые тополя. Я хотела было рассказать эту сказку миссис Ярдли, чтоб ее отвлечь, но вдруг совсем запуталась. Непонятно — от радости годы промелькнули так незаметно, или монах был наказан за ослушанье?

Когда мы вышли из лесу, я уже и сама плакала, потому что прогнала того монаха и вставила в сказку себя, и пятьдесят лет промчалось с тех пор, как мы утром вышли из лагеря. Я глянула вниз, увидела блеск озера, трепет белых палаток и представила себе, какая бы горькая пошла жизнь, если бы кто-то другой, не Джорджи, уцелел, чтобы вспомнить меня. Потом я вообразила, что вот он старый, седой, а я молодая по-прежнему, и вся моя к нему любовь пропадает понапрасну, как те вишни на коленях у мертвого солдатика.

* * *

Доктор Поттер еще за два дня узнал, что группа артистов, составленная из людей стрелковой бригады, стоявшей на Галатском мысу, вот-вот наведается к нам в лагерь. Сочли, что надо поднять наш дух, потому что холера свирепствовала, а дата отправки в Крым все не называлась. Что именно предложат нам в качестве развлечения, оставалось неизвестным, но был такой слух, что среди прочих выступят двое солдат, которые прежде принадлежали к одной цирковой труппе из Парижа. Вбитые на расстоянии один от другого два мощных столба и туго натянутая между них проволока раззадоривали надежды.

В тот вечер, прознав о предстоящем удовольствии, несколько французских офицеров ворвались в лагерь и учинили нападение на доктора Поттера. Он, по его словам, крепко спал в своей палатке, как вдруг кто-то стал дико ее трясти. Доктор Поттер поднялся со своего матраса и осведомился о причине безобразия. Из невнятного ответа он заключил только, что ему предлагают сматываться, мол, он не один и не валяться же ему тут до утра. В полном недоумении он вышел в поле, а непрошеные гости ринулись под его кров, не сказав даже “Разрешите”, и стали вышвыривать докторские манатки во тьму. Кто-то ошибкой ли или со

зла донес этим французам, что палатка служит борделем. Доктор Поттер, в ночной рубашке, требовал извинений, но не дождался. И это особенно его огорчило, он-то всегда считал, что французы культурнее англичан. В довершение всех бед один офицер попытался его облобызать.

На другое утро я помогала ходить за осиротелыми детьми, их набралось уже двадцать или около того, пятеро совсем сосунки. Половина — настоящие сиротки, у этих родители оба умерли, остальных отцы не признали и побросали матери. Хлопочут о возвращении их в Англию, но покуда их не на чем отправить. Мне с ними тяжело; что угодно, самая черная работа — и то лучше. Нелегко любить чужих детей, таких страшненьких тем более и заморышей. Слава Богу, за ними чаще ходит добрая женщина, жена одного сержанта, у которой оба ее ребеночка умерли недавно горячкой. Я дивлюсь ее мужеству. Она говорит, что ей сладко воображать, будто эти бедняжки — ее родные дети, и мне то же советует. Она мне добра желает, и я не подаю вида, но при одной мысли сердце у меня так и обмирает от ужаса.

Вечером один малыш подполз слишком близко к огню и обжег ручку. Я понесла его к Джорджи, но только заглянула к нему в лазаретную палатку, он на меня руками замахал. Он был с доктором Холлом, начальником медицинской службы экспедиционных войск, который прибыл из Варны. Сержантская жена смазала ручку бараньим жиром и укачала малыша.

Появился Джорджи с убитым видом. Сказал, что доктор Холл тиран, не умеет вести себя с людьми. Требует слишком многого и все сразу. Ночью умерли девять человек, двое всего за час до прибытия начальства, вот Джорджи и не успел составить этот их отчет. И доктор Холл — при людях — объявил, что он негодный работник. Еще он дико ярился из-за того, что большинство санитаров пьяны. Орал, что Джорджи обязан излечить их от предрассудка, будто хмель отгоняет холеру.

Доктор Поттер говорил, что Джорджи следовало постоять за себя, чтобы какой-то Холл и думать не смел на него наскакивать. “Вам надо было защищаться”, — доказывал он.

— Я пытался, — сказал Джорджи, — но он меня перекричал.

— Какая низость. — Доктор Поттер даже задохнулся. — Вы же работаете за пятерых.

И тут Джорджи, такой уж он человек, вдруг совершенно переменил свое суждение, сказал, что Холл работает за десятерых, и ни за какие сокровища Индии он бы с ним не поменялся. И потом почтительно проводил начальство за лагерь, аж до грязной дороги.

Когда он вернулся, доктор Поттер предложил ему часок вздремнуть. Сперва Джорджи сказал, что об этом не может быть и речи, — а ведь он всю ночь не прилег и глаза у него слипались. Пока он мешкал, я сунулась было к нему в палатку, но он меня оттолкнул, пробормотав что хочет побыть один. Все, наверное, из-за моих месячных. Он этих вещей не выносит, хоть он же доктор и к крови привык. А через пять минут к нему преспокойно вошел доктор Поттер, я услышала их голоса. Я, в общем, могу понять, почему Джорджи предпочитает мужское общество, мужчины ведь так боятся нас, женщин, но иногда мне хочется даже, чтобы он заболел. Вот бы тогда я за ним ходила.

Артисты пришли в лагерь днем, они шагали следом за запряженной волами арбой, а на ней высоко качались расписные декорации и музыкальные инструменты. *Я была у ручья, полоскала белье, когда они прохо-*

дили. Вообще у нас есть вроде как слуга, мальчишка-грек, Джорджи его нанял в Скутари, ему и полагается исполнять такую работу, но у него, кажется, есть женщина на другом конце лагеря, и его не докличешься. Доктор Поттер говорит, надо гнать такого взашей; но Джорджи, по своей доброте, и слышать про это не хочет. Да и что мне стоит постирать; выполоскать грязь с его рубашки — мне ведь одно удовольствие.

В тот вечер он объявил, что мы будем ужинать вместе, это у него манера такая извиняться за грубость. Вообще-то он не очень любит со мной есть, все потому, что я не умею сдерживать свой аппетит. В пансионе, куда меня отослали, меня научили держать нож и вилку, но того, что он называет застольными манерами, привить так и не смогли. Дома, если меня приглашают обедать вместе с ним и Энни, он требует, чтобы я подкрепилась заранее; я не умею слегка поклевывать еду на тарелке, из-за того, наверное, что мне так ее не хватало когда-то. Здесь-то мы, слава Богу, едим из миски, ложкой, и надо скорей-скорей все заглотать, не то мухи понасядут.

Миссис Ярдли со своим полковником "ужинали" с нами, они из-за концерта остались в лагере. Еду они принесли с собой, у нас на этот счет негусто, пришлось затянуть пояса. Поставщики все реже заглядывают в лагерь, из-за этой болезни.

Полковник уселся со мною рядом, и не очень-то это было весело: у него препротивная привычка лягать коленом соседа, кто бы им ни оказался. Они с Джорджи обсуждали то, что доктор Холл, вперемешку с руганью, говорил про "адскую кашу войны", как он сам выражался. Поскольку с первоначальной целью кампании — помешать русским взять Константинополь — и без нашей помощи благополучно справились турки, предполагалась, он слышал, осада Севастополя.

— Что-то надо же предпринять, — рассуждал полковник. — Мы не можем поджать хвост и воротиться домой после всех этих фанфар и знамен.

— Да, но когда? — спрашивал Джорджи. — В этом году, в будущем...

Доктор Холл считал проволочку прямым следствием распрей в высшем командовании и метаний в правительстве, при том что ни там, ни здесь не знали наверное, каковы силы русских. Ответственность за сроки боевых действий переложили на плечи лорда Раглана, и тот терзался на кишащей тараканами вилле в Варне, обнаружа, что припасы всё истощаются, а люди мрут как мухи.

— И ведь никак нельзя сказать, чтобы он был обеими руками за план кампании, — объявил полковник. — Одну он потерял при Ватерлоо[1].

— Тараканы, — передернулась миссис Ярдли. — Ну ничего, теперь он на своей шкуре почувствует, каково приходится нам грешным.

— Это между нами, — сказал Джорджи, — но со слов доктора Холла я понял, что за этот месяц погибли восемьсот человек. Он советует нам всем перебраться повыше.

— Где французы, — сказал полковник. — Которые тоже, кстати, мрут.

— Dulce bellum inexpertis,[2] — вставил доктор Поттер. Миссис Ярдли сразу начала кивать с умным видом, и доктор Поттер воздержался от

1. Фицрой Джеймс Генри Сомерсет Раглан (1788—1855), который действительно потерял руку при Ватерлоо, руководил английской армией в Крымской войне. Погиб при осаде Севастополя.
2. Блажен не знающий войны (*лат.*).

обычного своего любезного перевода, так что из-за нее мы обе остались в дурах.

Представление началось час спустя. Доктор Поттер отказался нас сопровождать, решив, что слово "концерт" предполагает неминучую музыку. Самодельная, сооруженная из ящиков сцена стояла на самом берегу нижнего озера. Освещалась она фонарями, которые свисали с протянутой меж заранее вбитых столбов проволоки, развеивая надежды тех, кто предвкушал острые ощущения от искусства канатоходцев.

Декорации были оригинальные и забавные — складная такая перегородка, расписанная с обеих сторон: на одной изображена внутренность железнодорожного вагона и даже прорезано окно, а на другой — роскошный портрет королевы Виктории, и у ног ее лев.

В начале концерта совершенно по-новому исполнили "В венке из роз она была"[1], при том что "она" была представлена дюжим солдатом; переодетый в женское платье, он хихикал в глубине вагона, на голове — глупый веночек из виноградных листьев, над ушами — гроздья. Второй солдат стоял в проеме окна, пощипывал банджо и пел. Из тьмы ему стоном откликался тамбурин.

Первую и вторую строфу уже сопровождали громкие крики и хохот, но когда дошло до слов —

И снова вижу я тот лоб,
Но где венок из роз...

(Здесь тот, который на банджо играл, сдернул с "нее" виноградный венец, а взамен водрузил женские панталоны.)

И вдовий плат от глаз укрыл
Все золото волос;
И плачет в грустной тишине... —

последние ноты совершенно потонули в общем ликовании. Поднялся гвалт такой невообразимый, что певцам пришлось снова исполнять все сначала, и зрители подпевали хором, но были другие слова. Когда я попросила объяснений у миссис Ярдли, она сказала, что у армии своя версия и не кажется ли мне, что оригинал сам напрашивается на *doube entendre*[2].

Я так удивлялась и так задумалась — неужели весь сыр-бор из-за этих панталон, — что двух следующих номеров почти не заметила; сначала была военная песня, потом выступал жонглер, но того зашикали, согнали со сцены и закидали его же шариками. Эту грубость объясняли, может быть, наши обстоятельства, не знаю; наверно, вдали от дома, бок о бок со смертью человеку хочется, чтобы его услышали.

А потом была еще баллада, которая произвела странное, даже непонятное действие на Джорджи. Называлась она "Спасенный ребенком" и была весьма сомнительного свойства — про человека, который устал от мирской суеты, сидит в церкви и смотрит на ребенка. Он не может себя заставить молиться, так он разочарован во всем, но вот ребенок запел, и пенье его растопило остуженное опытом сердце.

Посреди этого сентиментального красноречия Джорджи вдруг сжал мне руку. Он теперь уже не пьет, так что я даже испугалась. Я не шелох-

1. "В венке из роз она была/ В ночь нашей первой встречи" — одна из самых популярных баллад Томаса Хейнса Бейли (1797—1839).
2. Двойной смысл, двусмысленность (*франц.*).

нулась и — ни слова, чтоб его не спугнуть. Он шепнул: "Миртл, бедная моя, ты прости меня".

— За что?— спросила я.

— За все, — он ответил. — Я так мало с тобой бываю.

— Но у тебя же важная работа, Джорджи.

— Это не оправдание, — он сказал, и он прибавил: — Я к тебе потом приду.

И тогда я стиснула его руку — от любви, вовсе ни в какой не в знак прощенья.

Я так обрадовалась, что рассказать не могу, и в перерыве побежала за доктором Поттером, чтобы тоже не сидел один как сыч. Он при свече искал на себе вшей. Он не мог противиться моей веселости, одернул на себе одежду и согласился пойти на концерт.

Джорджи подвинулся, давая ему место, и я оказалась притиснутой к полковнику, который дул вино прямо из бутылки. Коленкой он дергал еще больше обычного, но что мне за дело?

Прошла приблизительно четверть второго отделения — доктор Поттер от восторга хлопал себя по толстым ляжкам, беспечно потягивал вино из полковничьей бутылки,— но вот на сцену вышел глотатель огня. Он был в театральной кольчуге, а на груди вышит изрыгающий пламя дракон. Внизу было тесное трико, и в публике стали кричать: "Ах, какие ножки!" В парике черными локонами, нарумяненный, он легко бы сошел за девушку, если бы не усы, загнутые двумя тугими кончиками. Он выступал в вагоне, там он поджег паклю и положил перед собой на тарелку. "Прошу прощения у почтеннейшей публики, — сказал, — но я побалуюсь легким ужином". Сказал, взял на вилку кусок пакли, сунул в рот и — выдул пламя. Так было два раза, и он сжевал всю паклю, мы, по крайней мере, не видели, чтобы он ее выплевывал. Потом он то же самое проделал с сургучом, и багровые капли падали на подбородок и все горели, горели, это было лучше всего. А потом пришел помощник, принес мешок с наклейкой "порох" и помог ему снять парик и кольчугу. Мы увидели темные волосы, стройное бледное тело. Порох был самый настоящий; выбрали наобум офицера, он вышел на сцену и подтвердил.

Глотатель огня весь сгорбился, вытянул шею, как черепаха, распростер руки и так стоял, будто собрался тащить на себе крест Господень. В каждом кулаке он зажал, нам объявлено было, по луковице. Помощник не спеша открыл мешок, разыграл сценку: он туда заглядывает, содрогается. Тут глотатель закричал, что он закоченел и чтобы тот поторопился. В ямку между лопатками был насыпан порох, и так, как вот крестьянин сеет семена, помощник усеял серовато-сизым порошком эти простертые руки. А потом повернул глотателя, чтобы мы его видели со спины. В прорезанное окно сунули зажженный фитиль. Помощник его взял, поднял, подержал, чтобы все видели, и — медленно — опустил.

Все замерли — слышно было, как лягушки квакают в приозерных камышах. Я украдкой глянула на Джорджи. Он весь подался вперед и наморщил лоб.

Порох вспыхнул — толпа охнула; пламя голубым пушком прошелестело по обеим рукам до самых кулаков; пальцы разжались, выпустив дым; и клочья паленого лука упали на сцену. Сам он, кажется, не обжегся, но, когда раскланивался, болтал руками, как вот дети, если их по ладошкам отхлещут.

Полковник сказал, это жутко опасный номер. Хорошо еще руку не оторвало. Чуть спасовал бы, самую малость поднял голову, и у него загорелись бы волосы. Я повернулась к Джорджи, посмотреть, что он про это думает, но Джорджи не было. Я спросила миссис Ярдли, не видала ли она его, и она сказала, что он вдруг убежал, кажется, узнал кого-то.

Под конец вдохновение артистов нас окончательно проняло. Кроме глотателя и жонглера, все они, а с ними еще десяток или больше солдат из стрелковой бригады выстроились на сцене по стойке "смирно" и с чувством спели о смерти на войне. Доктор Поттер отчаянно сморкался — верный знак, что он тронут, и это было необычайно, учитывая его отвращение к музыке. Особенно мальчишка-горнист так жалостно дважды вторил строкам "*Над гробом пусть они твердят/ Он умер как солдат*", что просто обрывалось сердце.

Как странно: мы далеко, на чужбине, и королева Виктория жадно всматривается в мглистую ночь, и дрожат голоса под невидными звездами! А какой страшный у песни смысл, как плотно закутана чувством идея, что грош цена нашей жизни!

Доктор Поттер благодарил меня за то, что его вытащила. Сказал, что мужчине невредно поплакать. Они с миссис Ярдли качались на ходу. Мы споткнулись о двоих на дороге. Один еще стонал, другой был уже холодный. Полковник поспешил кликнуть носилки; люди явились сразу, но они едва держались на ногах, так были пьяны. "Ночью все кошки серы",— объявил доктор Поттер и уцепился, чтобы не упасть, за миссис Ярдли.

Я их оставила, как только позволила вежливость. В палатке я привела себя в порядок, как могла, протерла подмышки и другие, еще более интимные места. Потом задула фонарь и стала ждать. Я сама себе шептала — сейчас придет Джорджи.

Вдруг я испугалась, что от меня пахнет луком, но, видно, это в моих ноздрях застрял запах тех луковиц глотателя.

Долго я ждала. Стихли людские звуки, кваканье лягушек снова заполонило ночь. Порой я уплывала куда-то, вот в Чешире, брожу по саду — пузо выпучено, пальцы кромсают лепестки облетелых роз. И стучат-стучат в ушах Эннины спицы. А то вдруг нависла надо мной миссис Харди и давай добиваться, что я сделала с той тигровой шкурой. Из глаз вылилась капля ртути, но это просто в дырявый холст глянула звезда.

Когда наконец я встала и вылезла из палатки, туман катил по озеру, катил прочь, и через небо протянулись полосы рассвета. Совсем близко мужчина и женщина лежали навзничь в росе, и она широко раскинула вывернутые ноги. Они были не мертвые, они спали разинув рты и храпели оба. Наклонив котелок доктора Поттера, в него влезла мордой собака.

Джорджи был в лазаретной палатке, он крепко спал на соломенном матрасе рядом с рабочим столом. Рука его была закинута на грудь огнеглотателя, а тот в больничной рубахе, все еще пылая румянами, лежал на голой земле рядом с ним. Вблизи я его узнала: это был утиный мальчишка. У него был волдырь на губе, в усах застыл каплями сургуч.

Возле меня больной попросил пить. Попытался приподняться, когтя руками воздух. Не обращая на него внимания, я убежала. Он выругался мне вслед.

Когда пробили зорю, я оказалась возле озера, сама не знаю, как туда попала. Алая опушка холмов поблекла и растаяла в белом дне. Так стояла я, а сердце глодала червем обида. Но сама же я возомнила, что надо

только любить, и того довольно, что, если тебя тоже любят, не бывает такой одержимости. Когда страсть взаимна, огонь, глядишь, и сгорит дотла. А чем утратить любовь, лучше не знать ее вовсе.

Проплыл по небу журавль, опустился в камышах. Я испугалась, как бы тот ребенок, который на расстоянии плелся за мастером Джорджи, вдруг не стал наступать ему на пятки, требовать к себе вниманья. Я сама ведь знала, что не права; Джорджи никогда ничего мне не обещал, не будил ложных надежд, и все же... и все же...

Меня окликнул голос:

— Какой волшебный концерт, душечка! Сплошное наслаждение, не правда ли? — и миссис Ярдли, рассыпая шпильки, с помятым лицом, по траве пробиралась ко мне. С плеском взлетел журавль. И тут я вспомнила, как просил напиться тот больной солдат, меня как что толкнуло в сердце, и я разревелась.

Миссис Ярдли выказала большую отзывчивость. Я сдуру чуть было с ней не разоткровенничалась. Я призналась, верней, я прорыдала хрипло, что люблю Джорджи. От одних этих слов мне полегчало.

— Ну конечно любите — утешала она, похлопывая меня по руке, — это же так естественно.

— Вчера он обещал после концерта прийти ко мне...

— Прийти к вам, — эхом отозвалась она.

— А сам не пришел...

— Но его врачебный долг...

— Ну а я? — я крикнула. — Тут у него нет никакого долга?

— Ну же, ну, — лепетала она, — бедный ребенок.— И она меня заключила в объятья, тем мгновенно осушив мои слезы, потому что я больше всего ненавижу, когда меня жалеют. Я не "бедный" ребенок, и никогда я им не была, если только строго не связывать это понятие с нищетой. У меня так и вертелось на языке, что Джорджи кое-чем мне обязан по части детей, но тут она сказала: "Как бы я хотела иметь брата", и я прикусила губу. Я и забыла совсем, что она меня считает сестрою Джорджи.

Когда я вернулась, доктор Поттер уже снова развел огонь, поставил кипятить воду. И пытался молоть каблуком сапога кофейные зерна.

— Помпи Джонс в лагере, — сказал он притоптывая.— Они с Джорджем пошли на реку купаться.

— В тот раз, когда нас с миссис Ярдли напугали собаки, — сказала я, — я видела, как там зерна мололи. У них дробилка такая, с ручкой.

— Да, но у меня ее нет, — отрезал он и еще пуще затопал.

Я переоделась — для утиного мальчишки, не для Джорджи. Он был выше, чем мне запомнился, и у него округлилось лицо. Черные волосы, мокрые от купанья, курчавились, просыхая. Он подошел прямо ко мне, взял за руку, сказал, что сердечно рад меня видеть. Ничуть не робел и не тушевался. В последний раз мы с ним виделись три года назад, на Рождестве, когда я вернулась после того, как из меня делали леди, и вошла в комнату Джорджи, залитую луной.

* * *

Концертная труппа позировала перед фотографом, перед тем как отбыть. Готовить пластинки для камеры оказалось трудно, к коллодию липли мухи. Утиный мальчишка был, оказывается, не солдат, а помощник фотографа, которого он встретил в Честере, и тот его чему только не научил. Их сюда

послала одна важная газета. В концерт его включили в последнюю минуту, потому что умер от лихорадки назначенный читать монологи цветной сержант. Перед отъездом из Англии он навестил миссис О'Горман; она всплакнула, когда его увидала. Он ее нашел в добром здравии, только вот ноги отказывают, да чего и ждать в такие года.

Джорджи помогал фотографировать, хотя и пренебрегал ради этого своим врачебным долгом. Снимки собирались послать в Англию, дабы публика видела, как приятно проводят время войска. Доктор Поттер сказал — вот способ сохранения тени по исчезновении материи, имея в виду, как он мрачно пророчил, что иных из схваченных камерой скоро не будет на свете.

Джорджи пустили в фургон фотографа. Это был странного вида экипаж, сплошь крашенный белой краской и с застекленными окнами по бокам. При высадке в Варне он чуть не утонул в грязи.

Утиный мальчишка и Джорджи все утро только и говорили что про плотность раствора, и отличие химического от физического воздействия, и роль температуры, и как важна точность выдержки. Собственное снаряжение Джорджи погибло, когда тот корабль загорелся возле Скутари, и доктор Поттер говорил, что эта болтовня с Помпи Джонсом ему с лихвою заменит недельный отдых.

Потом я встретила миссис Ярдли. Она седлала коня и плакала. Сказала, что не хочет ничего рассказывать, и сразу стала рассказывать. Она застукала своего полковника: подмигивал жене одного гренадерского капитана. Я подумала — и зачем выдавать, что заметила. Подставила бы другую щеку, куда бы было умней.

В полдень артисты отбыли, а утиный мальчишка остался. Он по части времени был сам себе хозяин. Под вечер он меня разыскал; я стояла у палатки доктора Поттера, подстригала ему волосы.

— Ну как, Миртл, — спрашивает. — Игра стоила свеч?

Я ответила, что не понимаю вопроса.

— Ну, надо было в леди превращаться? Никаких нет разочарований?

А сам так и ест меня глазами, всю оглядел с ног до головы, и линялое платье заметил, и сапоги мужские; они очень удобные: лодыжки от насекомых защищают.

— Я не жалею, — я сказала с вызовом. — Если тебя именно это занимает.

— Насколько я знаю, — он говорит, — тебя не очень-то окружили почестями.

Доктор Поттер мотнул головой под ножницами и сказал:

— А вы все такой же наглец, Помпи Джонс, как я погляжу.

— Вы очень наблюдательны, — тот отвечает. — Но из меня же и не делали джентльмена. — Потрогал волдырь у себя на губе. — Больше не буду огонь глотать, — говорит. — Сноровку утратил.

— Иную сноровку и лучше утратить, — заметил доктор Поттер. Они долго смотрели глаза в глаза; ресницы утиного мальчишки были опалены. Доктор отряхнул волоски со своего замызганного облаченья и побрел между палатками прочь.

— Ты с ним не надо так разговаривать, — я сказала. — Он человек образованный.

— Он меня понимает, — сказал утиный мальчишка. — И всегда понимал, и ни при чем тут его ученость. По важным вопросам мы с ним, похоже, тютелька в тютельку одного мнения.

Говорит, а сам в кармане роется.

— Вот, хочу тебе кое-что показать, — и вынимает что-то плоское, завернутое в красный платок. Это оказалась медная пластинка. Вся черная и посередке царапины прочерчены.

— Что это? — спросила я.

— Как, ну ты, конечно... у постели мистера Харди стоишь.

Я удивилась, что он столько лет хранил эту картинку, на которой тем более ничего не видно.

— Сегодня вроде как годовщина, — он говорит. — Ведь в августе, если не ошибаюсь, я в первый раз тебя увидел...

— А-а, в том доме, на лестнице с перилами сломанными...

— Еще раньше... ты на станции на ступеньках сидела... под дождем... на Липовой.

— Ты тогда сделал доброе дело. Мальчишка украл у женщины утку, а ты ее обратно принес.

Тут он надо мной расхохотался и объяснил, что это просто уличная хитрость такая. Станция — самое подходящее место: толкучка, свалка, багаж. Работают парами, деньги делят. Один крадет, другой возвращает. Если даже хозяину на пропажу плевать, почти наверняка какой-нибудь прохожий, у которого полный карман при пустой башке, заметит возврат собственности и отвалит пару монет — в награду за честность. Тут можно еще сказать: "Нет, сэр, я не могу наживаться на самом обыкновенном поступке", — и там, глядишь, еще деньжат подсыпят.

Я не знала, что и сказать.

— Конечно, надо соображать, кого облапошить, не то пообещают тебе уголок в раю, вот и вся твоя прибыль.

В глубине души мне эта хитрость понравилась, но вслух я сказала, что ему должно быть стыдно.

— Этого ты от меня не дождешься, — сказал он, как отрезал, и потом спросил, довольна ли я своей жизнью. Я кивнула.

— Я знаю про детей, — сказал он. — От Джорджа знаю.

Тут мое сердце так и подпрыгнуло — ведь Джорджи, значит, говорил про меня. Обида из-за того, что он предпочел общество утиного мальчишки, вмиг куда-то пропала, и скучный день вдруг рассиялся весь, и дальнее озеро, только что хмурившееся под свинцовым небом, сразу просветлело, и белыми стали серые палатки. Кони табунком прорысили к грязной дороге, и крупы у них, как шелковые, лоснились на солнце. Я спросила, что еще говорил Джорджи.

— Только это, — был ответ. — Ну, и что он рад... так как Энни уже не способна производить потомство.

Я могла бы сказать, что это он — причина ее разочарования, его баловство с тигровой шкурой, но разве не было у меня оснований его благодарить за исход? И я только выпалила: "Я его люблю. В нем вся моя жизнь".

Он хмуро поглядел на меня и спросил:

— Но они ж тебя услали... тогда?

— Не одну, — вскинулась я. — Оба раза мы с Энни жили в таком домике... в деревне. Вечером она вязала, а я ей истории рассказывала. Все из головы выдумывала, у нее на книги аллергия. Я ее уважаю. Она никогда не показывала ревности.

— А с чего бы ей, — фыркнул он. — У нее никогда не было охоты.

Он не мог уняться, еще расспрашивал. Поинтересовался, что думает про все старая миссис Харди, и я сказала, что не знаю, но ей, как и мне, всего дороже счастье Джорджи.

Он отвел глаза. Стал грустный какой-то. Потом пробормотал: "Слава Богу, я не женщина".

Тут вернулся доктор Поттер и принес баранью ногу. Ликуя, сообщил, что обнаружил возле озера опрокинутую продовольственную повозку. Она была пустая, но он поискал рядом и напал на это мясо у самой воды.

— Повезло, — сказал утиный мальчишка. — Особенно, если кучера поблизости не наблюдалось.

— Конечно нет, — оскорбился доктор Поттер. — Иначе я бы ему заплатил.

Он опустился на стул и, зажав между жирных коленей эту баранью ногу, стал с нее обирать червей. Скоро утиный мальчишка ушел.

— Он знает про детей, — сказала я.

— От миссис О'Горман, разумеется?

— Джорджи ему сказал.

— Значит, осел твой Джорджи. Никогда нельзя откровенничать с такими, как Помпи Джонс.

— Что он вам сделал? — сказала я. — Джорджи его любит, считает его добрым, и я тоже.

— Оставь, — сказал он. — Он еще насолит вам обоим.

— Он мой портрет хранит, — не сдавалась я.

И тут доктор Поттер объявил, что это хранение портрета — одна аффектация и доброта показная. "Когда-нибудь маска спадет,— пригрозил он. — Как лапидарно выразил это Сенека, nemo potest personam diu ferre fictam[1].

Я не стала дожидаться перевода, ушла. Вот если бы это Джорджи, я думала, хранил мой портрет, пусть совсем почернелый от времени.

Пластинка пятая. Октябрь 1854 г. Похоронная процессия под сенью Беатрис

Я теперь без конца вижу сны, и не только ночью. В прошлом — сколько лет обратилось в прах за эти восемь недель — лишь наплыв темноты навевал на меня грезы. Тогда образ Беатрис стоял за моими сомкнутыми веками. Теперь она вольно облетает мою голову; я бы принял ее за ангела-хранителя, если б только она не хмурилась так. На днях Джордж меня разбудил, тузя кулаком по плечу. "Поттер, перестаньте. Перестаньте оправдываться". Я возразил, что ничего не говорю, но едва эти слова слетели с моих уст, лицо жены, искаженное злобой, встало передо мною. Ветер рвал на мне одежду, дымом дул в глаза, но меня держал в плену ее взгляд. Чтобы одолеть наваждение — ведь не спятил же я покуда, — я напомнил себе, что утоленье жажды водой, в которую мочились умирающие, и голодное брюхо непременно порождают галлюцинации.

Мы оставили Варну на второй неделе сентября, вместе с шестидесятитысячным английским, французским и турецким воинством. Женщин многих не пустили на борт, и они выли, отринутые, на берегу. Миртл, в крестьянском платье, темно загорелую и ведущую в поводу навьюченного багажом пони, впустили беспрекословно. Миссис Ярдли

1. Никто не может долго носить личину (*лат.*).

не было среди нас; она рассорилась со своим остроглазым полковником и отбыла на родину. Я радовался, что она больше не станет докучать Миртл. Они были несовместны, не в последнюю очередь из-за отношения к добродетели, при том что миссис Ярдли считала податливость первейшим грехом.

Джордж бушевал, его вынудили бросить большую часть лазаретного оборудования, в том числе каталки, носилки, операционные столы. Для них попросту не нашлось места. Он хотел уж сойти на берег и потребовать их погрузки, но был удостоверен, что все это отправят нам вслед.

Два дня дожидались мы отправки, а болезнь меж тем не унималась. Ночью покойников бросали за борт, и они шли ко дну, пуская пузыри в фонарном свете. Утром, освободясь от грузил, они, вздутые, восставали из мертвых и всплывали навстречу солнцу.

По выходе в море кое-кто счел, что мы являем собой великолепное зрелище, построенные в пять линий, в каждой по дивизии, французы на правом фланге, слева наш флот, турки сзади, лорд Раглан во главе. Я не разделял этого энтузиазма, люди вокруг не радовали взор, некогда щегольские мундиры обтрепались, и прохудились сапоги.

В довершение зол первой же ночью загорелся трюм. Перегрелось смешанное с углем брикетное топливо. Итог — самопроизвольное возгорание. Дым был адский, всем пришлось выносить на палубу припасы. Только когда шлангами удалось загасить пламя, узнал я, что девяносто тонн патронов, не защищенных магазинами, погрузили рядом с углем. Вышвырнуть все это за борт никому и в голову не приходило, тогда как был весьма значителен шанс отправиться в Царствие небесное или в тартарары.

Мы высадились в Керкинитской бухте на западном берегу Крыма 14 сентября. Никто не знал, имеют ли русские понятие о нашем приближении, и меня томили недобрые предчувствия о том, что нас ожидает. На поверку нас не ожидало ровно ничего, по крайней мере — никаких людей. Берег был пуст, и на дальней гряде холмов ни войск не было, ни пушек.

Мы разбили бивак дальше на берегу и там ждали, когда высадятся конники и артиллерия. Ночью хлынул дождь, и не реденький вам английский дождик, а страшный обломный ливень, он гасил огни и взбивал землю так, что она превращалась в трясину. Кое у кого были палатки, кто прикрылся одеялами, но ничто не выдерживало напора воды, и все промокли до костей. Письмо от Беатрис, содержащее уютные домашние известия: погода прекрасная, дети здоровы, воздух Англси подстрекает аппетит, — пошло безнадежными пятнами. Я его бросил в грязь; ни разу в нем не упоминалось, что она соскучилась.

Зорю пробили наутро в три часа, и мало кого из ходячих пришлось расталкивать после сна. Дров не было, и костер не развели, выступили без чая. Шляпа, которая прежде была мне так велика, вся скукожилась, и пришлось ее привязать бечевками.

Ушло еще два дня, к счастью ясных, пока разгрузили провизию, вернули больных на суда и похоронили мертвых. Джордж был в отчаянии, обнаружа, что не выгружено ни единой повозки и до ужасного мало носилок. Еды тоже не хватало, хотя некие татары пришли попозже в лагерь, выражая намерение продать нам овец и несколько бурдюков вина. Едва сделка была заключена — повара уже резали глотки, — вдруг

откуда ни возьмись налетела свора собак, окружила живых овец и ловко отогнала прочь. Вслед ретировавшимся татарам прогремели выстрелы, но их преследовать охотников не нашлось.

Утром капеллан отслужил молебен. Я человек неверующий, однако надтреснутым хором выпеваемые знакомые псалмы вызвали мне на глаза слезы. Под вечер Джордж получил приказ доложиться на одном из судов. Вернулся он с известием, что освобожден от теперешних своих обязанностей и отныне числится в Королевских северных британских стрелках — шотландском полку, — ибо предшественника его отправили за борт между Мальтой и Галлиполи. Ему достались в наследство съёженный офицерский мундир, миска для кровопускания, кожаный фартук, почти новый, и жестянка с пиявками, обитатели которой, однако, приказали долго жить. Стрелков не обязывали ходить в килтах, и Джордж считал, что должен благодарить небеса хоть за такую поблажку.

Наконец, числа восемнадцатого, был получен приказ выступать. Двинулись мы бодро, с большой помпой, с оркестром. Все, что ожидало нас впереди, было лучше того ада бездействия, который мы покидали. Не отягчал нас и лишний багаж, у каждого на спине или в седле было не больше того, что умещалось в скатке. Разве не нес он с собой единственно драгоценное — оружие и мужественное сердце! Покуда у кавалериста есть пика и меч, у пехотинца — ружье Минье, у артиллерии — гаубицы, — что же еще, о Господи, нужно на этом свете! Такие мелочи, как палатки, котелки, лекарства и перемена белья, приложатся непременно!

Весь день мы шли. Оркестр через час умолк. Едва мы свернули от моря, опять налетели мухи. Мы вышли без воды и нигде по пути ее не находили. Кое-кто из больных приложился к вину и так нашел свою погибель. Они лежали вдоль дороги, уснув смертным сном. Сперва мы пытались их растормошить, говорили о родине, о матери, о невесте. Потом шагали дальше не оглядываясь.

Я не стал обзаводиться лошадью, сочтя это лишней морокой, и теперь жалел. Миртл шлепала со мной рядом. Как ни была измучена, она не решалась влезть на своего любимого пони, считая, что и без того он слишком тяжело нагружен. Его назвали Крутой — в честь той улицы, где ее нашли. Она взяла с собой два апельсина и один все выжимала на губы мальчику-трубачу. Последние слова его были забавны. Он сказал: "Боженька! Погоди немного!"

Оставшийся апельсин Миртл хотела сберечь для Джорджа, но, благодарение Богу, он ушел далеко вперед. Клянусь, это спасло жизнь нам с нею обоим.

Когда не спирало дух, я рассказывал Миртл о поселениях по соседству, которые некогда я посетил; какими гроздьями там рос виноград, и такой черный хлеб, что на нем одном можно продержаться месяц целый. Она жевала апельсинную корку и смахивала мух с лица.

Снова мне пригрезилось, будто я брожу по сливовому саду в Ежевичном проулке, Беатрис качается на качелях, задирает свои белые туфельки. "Осторожно, Беатрис, не так высоко!" — кричу я. А она в ответ: "Это ты боишься высоты!" — и еще пуще отталкивается. Я ушел в надежде, что она пойдет следом, но она не пошла.

— Она никогда не боялась его потерять, — сказал я, и сказал, верно, вслух, потому что услышал, как Миртл отвечает:

— Если вы это про Энни, так с чего бы ей? У ней никогда не было охоты.

Мы одолели лесом двадцать пять миль, взбираясь все выше, и в сумерках стали биваком у какой-то речки. Ничто, думал я, осёл, даже переход Мардония через долину Платей[1] нельзя сравнить по жестокости с нашим маршем.

* * *

Считалось, когда мы высадились, что армия прямиком двинется на Севастополь. Из-за трений между лордом Рагланом и французами — его сиятельство высказывался за атаку с севера под прикрытием флота, тогда как французы предпочитали бросок с юга, — планам этим не суждено было сбыться. Итог — несколько дней мы потеряли в бездействии, и русские меж тем успели собрать подкрепление.

Наконец пришел приказ об окружении Севастополя. Мне всегда нравилось слово "круг", всем нам напоминающее детские игры-считалки: уна-дуна-рекс; раз-два-три — это-верно-ты! et cetera. Доктор Джонсон[2] отводит кругу в своем словаре большое место: линия, продолжаемая, покуда конец ее не сойдется с началом; общество, обступившее важную персону; порочность доказательства, когда предшествующее положение доказывается посредством последующего, а последнее выведено из предыдущего. Вот эта дефиниция, на мой вкус, как нельзя более подходит к теперешней неразберихе, хотя "вышел зайчик погулять" куда больше нежит мой слух.

Вчера Крутой пострадал от несчастного случая. Мы отправились раздобыть фруктов для Джорджа. Провизии нам не завозят, без того скромный рацион свелся к сухарям и солонине, и Миртл решилась попытать счастья в деревнях по соседству. Бедняга Нотон, я вот все думаю, нажил бы состояние, останься он здесь и займись бакалейной торговлей.

Раньше еще, во время мучительного окружения Севастополя и нашего передвижения к Херсонской долине, я сторговал норовистую кобылу за пятьдесят фунтов, ибо, по понятным причинам, слишком много вокруг было лошадей без седоков. Еще удалось мне разжиться шинелью и фуражкой. Несмотря на столь благополучное снаряжение, мне вовсе не хотелось сопровождать Миртл, но я это почел своим долгом.

Долина, где мы расположились, очертаниями слегка напоминает остров Уайт, на востоке стоит Балаклава, на юге Севастополь. С обрывистой Сапун-горы открывается вид на реку Черную и на Балаклаву. Мы пустились на восток, и я сразу предупредил Миртл, чтобы не спешила, ибо тропа усеяна галькой, скользкой после дождя. Миртл напевала, хотя как можно сохранять веселость в столь мерзких обстоятельствах, непостижно моему уму.

Мы и получаса не прошли, как вдруг с высокого кряжа нам открылась Балаклава и холодной стеной, исполосованной корабельными мачтами, встало небо. Тут кобыла моя споткнулась, в сердцах всадила зубы в бок Крутому, тот от боли взвился и сронил Миртл.

1. Мардоний — военачальник и зять Дария I; в 492 г. до Р. Х. возглавил победоносный поход персов во Фракию и Македонию. Погиб в битве при Платеях в 479 г.
2. Сэмюэл Джонсон (1709—1784) — английский писатель и лексикограф. Выпустил в 1755 г. знаменитый "Словарь английского языка".

Тотчас она крикнула, что нисколько не ушиблась, и вскочила на ноги. Мне показалось странно, что она не бросилась сразу к своему пони; нет, вся дрожа, она указывала на землю. Там, в нескольких дюймах от того места, где она свалилась, лежала человеческая нога — нога, оторванная чуть выше колена, и пальцы торчали из разодранного кавалерийского сапога.

— Я купил в Балаклаве медовую дыню, — сказал я. — У старой женщины на муле.

Это была правда. Неясно, в какое время года я впервые посетил тот греческий рыбачий поселок, кое-что я стал уже забывать, но едва ли это была зима, зимой откуда взяться дыне.

— По-татарски место называлось Кадикой, — продолжал я. — Что означает — деревня судьи.

Миртл слушала меня вполуха, не выказывала ни малейшего интереса, а жаль, у меня в запасе было еще много относящихся к делу фактов.

Город Балаклава расположен на берегу залива, далеко врезающегося в сушу. Дальше лежит бассейн темной воды, со всех сторон окруженный крутыми утесами, достигающими стофутовой высоты, и лишь в одном месте это кольцо разорвано узким ущельем. В мои времена греки имели собственный суд и независимую управу, которой глава был подотчетен русским властям.

Бродя вдоль берега, я отметил наличие медуз — прямой знак, что это не озеро, но залив, узкой протокой связанный с морем. Склоны вокруг состояли не из нуммулитового известняка, как я полагал, но из юрского камня и, бледно-розовые, светились причудливо в размывах заката. На вершине стояли многочисленные развалины, включая остатки замка, от которого открывался путь к заливу. Я бы взобрался повыше для более пристального расследования, но запыхался и потому повернул обратно к поселку, где встретил ту женщину с дыней. Прогуливаясь, утирая сок с безбородого лица, я пришел к заключению, что другую гавань, столь надежно укрытую от бурь и внезапного нападения, найти невозможно.

У меня тогда был при себе переписанный пассаж из десятой песни Гомеровой "Одиссеи", где он рисует приближение к стране лестригонов:

> В славную пристань вошли мы: ее образуют утесы,
> Круто с обеих сторон подымаясь и сдвинувшись подле
> Устья великими, друг против друга из темныя бездны
> Моря торчащими камнями, вход и исход заграждая.
> Люди мои, с кораблями в просторную пристань проникнув,
> Их утвердили в ее глубине и связали, у берега тесным
> Рядом поставив...[1]

Упоминая этот пассаж, я не хотел бы, чтобы меня обвинили в попытке доказательства с негодными средствами: нет же, я, напротив, вполне согласен с профессором Страйхером из Керчи, считающим, что нет решительно никаких доказательств в подкрепление сомнительной теории, будто бы Одиссей входил в Черное море. Но, бог ты мой, как странно вдруг обнаружить место, так чудесно совпадающее своим ландшафтом с описаниями певца.

1. "Одиссея", 10, 87—93; перев. В. А. Жуковского.

Речь идет, разумеется, о прошлом Балаклавы. Судя по тому, что порассказал мне Джордж, ей теперь, увы, не до медовых дынь. Там сейчас штаб-квартира британских военных сил, и за последние две недели Джордж туда наведывался дважды, пытаясь раздобыться лекарствами и одеялами. Грязь на улицах несусветная, гавань забита взбухшими останками лошадей, верблюдов, а то и людей — все это ужасает. Наши суда ломятся от припасов, но из-за бюрократии, бестолковщины и трудностей перевозки они гниют в трюмах. На берегу, под носом у голодных псов, сотнями валяются раненые, ожидая, когда их подберет кишащий крысами госпиталь Скутари.

Чем такая жизнь, по мне — уж лучше смерть. Странно, как подумаешь, что смертник, ничего не ведающий ни об истории, ни об искусстве, упирает мутный взор в эти карликовые кипарисы, скупо раскиданные по склонам, совсем как на полотнах божественного Тициана.

— Лучше нам вернуться, — сказала Миртл, отводя совершенно белое лицо от предмета под ногами.

— Гомер, — сказал я ей, — изображает лестригонов людоедами.

Она была, верно, слишком огорчена, потому что, не ответив, поскакала дальше.

Утром меня навестил Джордж. Я мало его вижу в последние дни, он так занят, на фартуке так много пятен. Он весьма участливо спросил, здоров ли я. Я ответил — вполне здоров, благодарствую.

— Миртл говорит, вы на себя не похожи. Конечно, вчерашнее злоключение...

— Это пони был укушен, — я сказал. — Не я. К тому же Беатрис всегда под рукой и утешит.

Он странно на меня глянул. Я улыбнулся и его уверил, что галлюцинациями не страдаю, просто мысли о Беатрис меня спасают от умопомрачения. Я понял, что его встревожило: я не помянул тот человеческий фрагмент, о который споткнулась Миртл. Я мог бы ему порассказать, как слышал дождь, грохочущий по тропе, и он отзывался в моих ушах смертным хрипом. Я точно мог описать самый угол, под каким торчали те пальцы... но будь в моей власти холодно и бесстрастно рассуждать о таких вещах, как, без сомнения, дано ему, если по целым дням он может смотреть на подобные ужасы, моя жизнь была бы легче и речь свободней.

А так мне приходится держать себя в строжайшей узде, чтобы не поддаться впечатлению минуты. Это и разумеет Гораций, когда советует внимательно останавливаться мыслью на том, что́ наилучшим образом в нас поддерживает спокойное состояние духа. Я должен сносить и терпеть все, как оно есть, не мечтая ничего изменить. Вот почему я пристально вглядываюсь в прошлое с целью проследить, что привело меня в это Богом забытое место именно в этот исторический миг — судьба или случай.

Так, услыхав грубый говор шотландского кавалериста, я задумываюсь о детских своих связях с его корнями. Хотя родом из Манчестера, отец мой одно время был представителем Лейтонского стекольного завода, в каковом качестве колесил по Гебридам в поисках келпа. Воротясь домой из такой поездки, он привез мне однажды четырехколесную жестяную кибиточку, запряженную деревянной лошадкой. Перед тем как меня уложили спать, я успел разобрать тележку. Мною двигала вовсе не страсть к разрушению, но любознательность: хотелось понять, как

слажены все ее части. Не помню, пришлось ли мне отведать за это розог, впрочем, едва ли, отец был добрый человек.

Там, в Шотландии, впервые пристрастился я к геологии; берега Кромарти были усеяны обкатанными обломками горных пород, происходящих от западных глинистых сланцев. В последующие наезды, все свое детство я с прилежным наслаждением бродил по грядам расколышенной частыми штормами гальки. Года через два после того, как мы поженились, я повез туда Беатрис в надежде привлечь ее интерес к общим свойствам порфиров, гранитов, гнейсов, кварцев и слюдяных сланцев, засыпавших берег. Увы, тут вмешалось злополучное ракообразное, которое, она уверяла, цапнуло ее за лодыжку, хоть я не обнаружил ни малейшей отметины. Итог — мы тотчас повернули домой и всю дорогу молчали.

Не успел Джордж снова отбыть к своим ужасным обязанностям, явилась Миртл и попросила, чтобы я помог ей лечить пони. Уверен, это Джордж ее на меня напустил. Рана у животного несерьезная; многие лошади в куда худшем положении, да и люди, если на то пошло.

Миртл — интереснейший субъект в рассуждении того, что важней, судьба или случай. Слишком тут много разных "если бы". Если бы к ней не привязалась Беатрис, разве не исчезла бы она в сиротском приюте? И если бы злополучная проделка Помпи Джонса не положила конец надеждам Энни на материнство? И не встань старая миссис Харди в то утро с левой ноги, разве послали бы Миртл в город с Джорджем? И потом: ведь он вернулся в Ежевичный проулок не обычной своей дорогой. Вдруг бы вопли той бабы отдались в другой улице, неуслышанные, что тогда? Или бы мистер Харди залег в своей синей комнате с насморком...

А быть может, случай с судьбою взаимосвязаны и последняя не могла бы исполниться, не вмешайся первый. Шероховатой скале, стоящей далеко от прибоя, вовеки не сделаться гладкой.

— Миртл, — приступился я, — ты полюбила Джорджа с самого детства, не так ли?

— Так, — сказала она.

— Но почему?

— А вы почему полюбили Беатрис? — возразила она и, бросив мне чуть насмешливый взгляд, прибавила: — Она часто с вами строга. Я видела раз, она вам пощечину влепила.

— Я достиг возраста, когда мужчине пора жениться. И к тому же, быть может, в моей природе — извлекать удовольствие от того, что со мной обращаются дурно.

— Но не в моей, — сказала она и велела мне плотней держать за шею Крутого, пока она протирала ему бок мокрой тряпкой.

— Он хорош собой, — рассуждал я. — Но ведь ребенок редко замечает такие вещи.

— Почему же? — вскинулась она. — Да нет, дети даже скорей замечают красоту, чем взрослые. Их не ослепляет предубежденье.

— Замечают, да, — согласился я. — Но не воспринимают.

— Чушь, — сказала она, и уголки губ у нее опустились.

— К тому же, — продолжал я, — я не замечал, чтобы Джордж выказывал к тебе особенный интерес. Не больше, чем все мы, во всяком случае... когда ты уже вышла из лепечущего возраста.

— Он и не выказывал, — она сказала. — Никогда, лишь однажды, но мне и того довольно.

Я потребовал объяснений, но она на меня смотрела с вызовом. У нее сильное лицо, глаза глубоко посаженные, твердые. Несколько недель тому назад она остригла волосы, спасаясь от вшей, и, если бы не платье, теперь могла сойти за мальчика.

И тут-то я вышел из себя, я обозвал ее грубиянкой. Я был несправедлив. Сердиться следовало не на нее, на Джорджа. Она стояла — тряпка в руке, — от вызова не осталось и помину, и какие-то особенно грустные стали у нее глаза. О Господи, подумал я, как же мы виноваты перед бедной девочкой. Когда б не случай, быть бы ей горничной или добродетельной супругой честного рабочего.

В тот вечер я с превеликим удовольствием сопровождал Джорджа в гости к некоему капитану Джерому. Тетушка его прислала корзину гостинцев, и, благодарный Джорджу за исцеление от кишечных мук, он пожелал щедро поделиться своим богатством. Миртл не пригласили. Она осталась в обществе почтенной особы, муж и сын которой оба были в Легкой бригаде. Сочли, что пригласить одну даму, не приглашая вторую, неучтиво, да вдобавок на каждого пришлось бы меньше еды.

Итак, к нам присоединились двое господ: капитан Фрамптон из 57-го и юный лейтенантик по фамилии Гормсби, участвовавший в стычке при Альме[1]. Последний мне показался чрезвычайно нервным субъектом, совершенно пришибленным; он едва удерживал вилку в трясущейся руке и дважды расплескал вино.

Капитану посчастливилось, он жил в четырех стенах разрушенного трехэтажного дома, примерно в четверти мили от лагеря. Правда, окна были выбиты и повсюду стояли ведра, ибо дождь натекал сквозь дырчатую крышу, зато ужинали мы за настоящим, пусть шатким, столом и стул подо мною сохранил существенную часть своей обивки.

Говорили только о войне, о том, в частности, как Первая дивизия под командой герцога Кембриджского сперва не поддержала Легкую бригаду. Очевидно, из-за неопытности герцога. Зато — после опасной проволочки — гренадеры и гвардейская пехота наконец соединились и дружно погнали русских.

Я сидел и молчал. С чего бы мне ввязываться в разговор? От всех этих бригад, дивизий и полков у меня решительно заходит ум за разум. Главным образом, не мог я внести свою лепту и в обсуждение того, как секли на днях упившегося на посту стрелка. Ему было положено семьдесят плетей, но он рухнул после пятидесяти, и потом обнаружилось, что в спине у него засел осколок ядра после встречи с неприятелем накануне. Джордж его осмотрел и сказал, что, скорей всего, он выживет, но сильно поврежденный в уме и немощный телом. Я пытался отвлечься, я воображал в свечном пламени Беатрис, она поджимала губы, осуждая мою манеру разгребать еду на тарелке. Сиди она рядышком, уж непременно бы цапнула себе кусочек, в особенности если бы подавали Эннин пудинг с коринкой.

Мне полегчало, правда ненадолго, когда капитан Джером завел речь о вероятиях нашего возвращения домой к Рождеству. Оставя в Ирландии дом и обширные конюшни, он тосковал по своим коням. Проклятый осел — его собственная оценка, — он доволок одного из самых любимых скакунов, Дьяболо, до самой до Керкинитской бухты, а там тот заболел и погиб. Неизвестно отчего; да и как столь тонкое, холеное и

1. Битва при Альме (20 сентября 1854 г.) — первая битва в той Крымской войне, главная победа англичан и французов; их войска расчистили путь к Севастополю.

совершенное создание может выжить в подобных условиях? Он живо ощутил утрату и час целый, если не больше, стоял на берегу, глядя, как любимый коник уплывает в море. Он рассчитывал, что непременно встретится с этой дивной животиной в лучшем мире, хотя от души надеялся, что встреча отсрочится на несколько годков. Я пробовал слушать эту белиберду с приличествующей растроганностью, но не выдержал. Не выношу подобного сюсюканья.

— Платон, — вмешался я, — считает мир четвероногих как бы ухудшенным вариантом человечества, и чрезвычайно грубым притом.

Едва эти слова слетели с моих уст, я в них раскаялся: лицо Джерома не предвещало добра. Спас меня юный Гормсби; до той поры молчавший, он выпалил:

— Нет более грубого скота, чем человек.

Джером вертел стакан с совершенно невозможным видом. Капитан Фрамптон, давно свалившийся под стол, издал протяжный, томный вздох. Снаружи густой пушечный гул падал с высоты и перекатывался в ночи. Внутри плюх-плюх-плюхались в ведра дождевые капли.

Наконец я сказал:

— Вы знаете, разумеется, миф о том, как Афины пошли войной на город, основанный Нептуном на острове Атлантида...

— Мы не знаем, — сказал Джордж, — но вы, я уверен, нас просветите.

— Боги попустили великую победу, но и победителей и побежденных поглотило землетрясением, и остров погрузился на дно морское.

— И что нам следует из этого заключить? — спросил капитан Джером, не отрывая глаз от какого-то насекомого, прявшего воздух вокруг свечи.

— Ну как же, — ответил я. — Что совершенно прав мистер Гормсби. Мы самые презренные существа и заслуживаем наказания, назначенного богами.

Мы с Джорджем ушли в полночь, пешком. Луны не было, и мы в темноте натыкались друг на друга, меся сапогами грязь.

— Поттер, — сказал Джордж. — Это простое недомыслие или в вашем намерении было оскорбить?

— Оскорбить...

— Неужели вам недостает душевной тонкости понять, что эти люди смотрят в глаза смерти?

— Именно моя душевная тонкость, — крикнул я в сердцах, — не позволяет мне спокойно созерцать совершающееся. Я не то, что вы. У вас годами руки были в крови по локоть...

— Незачем кричать. Я не глухой...

— Для вас тело всего лишь комбинация мяса и костей. Мозг нисколько вас не занимает...

— Мозг, — сказал он, — точно так же разрушается от удара. Он не прочнее остального.

— Я человек, привыкший часами сидеть за книгой! — крикнул я. — Тут я споткнулся и непременно бы упал, если бы не его рука. — Я человек, привыкший спать, уткнувшись в спину своей жены...

— Женщины, — пробормотал Джордж. — Вечно эти женщины.

Вот она — стена, разделяющая нас. Я решительно не постигаю этого его отвращения к женскому полу, если забыть о грузе той любви, которой навьючила его мать. Мы не вправе забывать об упадке, предшествовавшем падению Рима. Как современный человек, я убежден, что союз

с противоположным полом желателен не только в целях продолжения рода, но из-за благотворного своего влияния на душу. Впрочем, мои рассуждения, быть может, уязвимы, поскольку в существовании сей эфемерной субстанции я далеко не убежден. Я заставил было себя поверить, будто бы Миртл, соблазнив Джорджа (как иначе тут выразиться, если она сама к нему вторглась в ту ночь, окропленную луной), переделала его. Случайное появление в Варне изрыгающего пламя Помпи Джонса и мой набег без доклада в лазаретную палатку в поисках противопоносного средства положили конец этому заблуждению.

Откуда-то справа донесся топот, лязг лопат; мимо шел пикет. Крошечной искрой проплыл по черноте окурок, голос кликнул: "Черт бы побрал этот дождь. Скоро мы все рыбой станем, ей-богу".

Джорджа ожидало дурное известие. Сообщили, что Уильям Риммер погиб от ранения в голову. Как обыкновенно это бывает, предполагалось, что он не мучился. Пуля угодила прямиком между глаз, и он угас, как свечка.

* * *

Опять заявился этот Помпи Джонс, на сей раз единолично правя фотографическим фургоном. Его начальник в отсутствии, и он похваляется, будто бы у него важное задание от Королевского медицинского колледжа, а именно производить снимки, запечатлевающие ранения, будь то у живых, будь то у мертвых. Соответственно, он, разумеется, проводит время в обществе Джорджа, но иной раз я его замечаю за беседой с Миртл. У фургона чудовищный вид: поблизости разорвался снаряд, и его окатило градом осколков. Я застукал Миртл за странным занятием: она похлопывала его по бокам, будто это животное, которое надо утешить. Два окна вылетели, краска почти вся слезла и открывала бордовые разводы и невнятно золотую букву со смещенной перекладиной — не то П, не то Н.

Скоро нам выступать, дальше по долине реки Черной, к месту под названием Инкерман. По-моему, я уже бывал там в более светлые свои дни, да, я вспоминаю развалины того же названия на горных высотах.

Не желая оставаться в неведении как о целях, так и о маршруте нашего похода, я вынужден был спросить капитана Джерома, куда в точности мы направляемся. Он объявил только, что мы составили часть британских осадных сил справа от Севастополя, и более объяснений я от него не добился, зато он нехотя мне одолжил русскую карту местности. Насколько я мог разобраться, кряж под названием Инкерман на западе разделен Сарандинакиной балкой и, будучи с востока покрыт густыми лесами, с запада весь гол и открыт. Так что снова мы окажемся во власти стихий.

Право, даже сам не знаю, стоит ли труда складывать палатку, она в плачевном состоянии, вся залубенела и в дырьях. Для моего здоровья лучше было бы спать в лазарете — хотя и тот ненамного сохранней. Зато по части транспорта я теперь куда лучше обеспечен: третьего дня больше двухсот лошадей из Легкой кавалерийской бригады бросились в лагерь, лишась седоков, полегших в долине недалеко от нас к северу[1].

1. 25 октября 1854 г. героическая кавалерийская атака англичан в битве при Балаклаве окончилась неудачей и гибелью более 200 из 673 кавалеристов. Воспета лордом Теннисоном в знаменитой поэме "Атака Легкой кавалерийской бригады" (1855 г.).

Устроили аукцион, и я купил себе другую кобылку, настолько потрясенную пережитым недавно обстрелом, что предельная нервность перешла у нее чуть ли не в тупость, так что она смирная. У нее лопнули барабанные перепонки, но она прекрасно слушается тычков моего сапога. Несчастную клячу, которой прежде владел, я отпустил на все четыре стороны и с тех пор не видел.

По утрам я отправляюсь обычно добывать топливо для костра. Почва здесь хоть и каменистая, вдруг да и выкинет низкорослый дубок. Правда, эти бедненькие деревца все давно повырублены, но кое-где корни крепко вцепились в землю. Казалось бы — благодаренье дождю, — ничего не стоит их выкопать, ан нет, крутизна тут такая, что приходится таскать с собой кирку.

На днях, занятый этой нудной работой, взбираясь вверх по склону, я, можно сказать, стал свидетелем необычайной хитрости, хотя многие, допускаю, на это взглянут иначе. Солдат — возраст не определю, у всех, кроме совсем желторотых, сейчас одинаково впали глаза и осунулись лица — стоял прислонясь к валуну и глядя себе под ноги. Я заметил, что он вверх тормашками держит ружье, и решил, что подстерегает, видно, когда вылезет из-под земли какая съедобная тварь.

Я совсем недалеко отъехал, как вдруг слышу выстрел и вслед за тем — стон. Возвращаюсь и вижу, что он стоит на одной ноге, поджав другую. В сапоге рваная дыра, и оттуда хлещет кровь. Несколько мгновений оба мы молчали, потом он жалостно поглядел на меня и спросил:

— Вы ничего не видали, сэр?

— Нет, — отвечаю, — я был далеко.

— У меня, видно, рука соскользнула, сэр...

— От усталости чего не бывает, — сказал я. — Внимание рассеивается.

— Истинная правда, сэр, — подхватил он с живостью. — Задумался я.

Я ему помог залезть в седло и повел под гору мою кобылу. Он мне рассказывал о своем житье-бытье, как он пирожками торговал для трактиров по всему Хокстону. Лепил их отец, а он сбывал по пенни штука, и были они повкусней иных-прочих, правда, наперчены сильно, чтоб не распознать, из какого мяса начинка. Он в банке с собой носил соус и как сторгуется с кем, пальцем корочку проткнет и туда его вливает. На деньрожденье ему вот восемнадцать будет, и у него были сестренки, только он ни одной не помнит лица, поумирали все, когда еще он маленький был. Нет, ему не больно; ну, не хуже, чем когда зуб болел и щеку разнесло.

Было бы это, рассуждал я, меньшей трусостью, пальни он себе не в ногу, а в висок? Хватило бы у меня духу себя изувечить в подобных обстоятельствах? Пожалуй что нет. Я сдал его Джорджу, сказав, что он лежал во рву и я его подобрал.

Утром, перед тем как нам выступать из лагеря, отслужили общую панихиду. Из-за недостатка дерева плотники сколотили всего несколько ящиков, только для офицеров; остальных покойников завернули в старые палатки или в клеенку и сложили рядами на арбы, захваченные в соседних деревнях.

Кладбище, бывший сад, располагалось в лощине неподалеку. Из уважения к случаю боги укротили дождь и дымный луч пробил тучи. Когда телеги, вихляя, потянулись по каменистой дороге, доморощенные саваны растрясло, и обнаружилось, сколь многие сходят в могилу бо-

сыми. Иные из провожающих яростно воротили носы от такого вида, именно те, быть может, чья обувка теперь стала справней, чем прежде. Сам я ничего зазорного тут не нахожу; как выпевал капеллан, "... наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял"[1].

Помпи Джонс установил свою треногу, подлез под ширму. Что-то есть от черной магии в мастерстве фотографа — он останавливает время. Капеллан перестал читать, стоял недвижно с требником в руке, все обнажили головы; шевелились одни покойники: их пелены хлопали на ветру.

Я, пожалуй, не в восторге от этой фотографии. Она берет реальность в заложники, но мысль в голове она поймать не может. Стоит, скажем, человек с печалью на лице, а у самого на уме блуд, или ему весело. Линзы бессильны ухватить вихрь, клубящийся под черепной коробкой, не могут выставить напоказ греховные мечты, что, впрочем, к лучшему. Я, например, оторопело глядел на закутанные трупы, а самому мерещилась Беатрис в воскресной ночной рубашечке. Ночью, возбужденная, конечно, утренней праздничной отсрочкой, она обычно первой приступала к делу, взбиралась на меня, дыша шоколадным пудингом, и ляжки остро, будоражаще пахли у нее креветкой и рекой.

Снова припустил дождь. "Человек, рожденный женою, краткоднев и пресыщен печалями. Как цветок, он выходит, и опадает; убегает, как тень..."[2].

И тут-то, стоя перед аппаратом, устремив глаза на этот ряд мумий, которых вот-вот предадут слякоти, я увидел Беатрис. Она меня звала. Я зажмурился, чтобы ее стереть, но нет, она осталась на месте и манила меня к себе согнутым пальцем. Я подчинился, хотя и без охоты. Она поплыла вперед, остановилась у скалы подле обнаженной породы и жестом мне велела опуститься на колени. Там, в расщелине, качался тоненький стебель с голубым цветком не больше корсетной пуговицы. Я поднял глаза, и Беатрис улыбалась, и улыбка была полна любви. Я протянул руку, сорвал цветок, а она качнула головою печально. Нет-нет, услышал я, но голос был ласковый, как вот у матери, утешающей ребенка. За мной капеллан читал: "...блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих"[3]... Тут Беатрис оставила меня, и мертвецы были брошены в землю, чтоб начать разлагаться. Я разжал кулак, и ветер у меня отнял замятый в ладони голубой лоскуток. Я подумал про мистера Лайелла, про его гипотезу, что не только человеческой расе суждена погибель, но уничтожатся все следы ее пребывания на земле.

Потом, на обратном пути, Джордж осведомился, почему я вел себя так неучтиво. Сказал, что я неудачно выбрал момент для демонстрации своих познаний в геологии. Я не оборонялся.

Я скакал к Инкерману, уткнув подбородок в рубаху, и нюхал сам себя, чтобы согреться. Положим, человека мутит от вони, исходящей от других, но он может испытать истинное удовольствие от собственных испарений. Сквозь грязь, сквозь немытость мне чуялся смутный васильковый запах.

1. Книга Иова, 1, 21.
2. Книга Иова, 14, 1, 2.
3. Откровение Иоанна Богослова, 14,13.

Пластинка шестая. Ноябрь 1854 г. Улыбаемся, улыбаемся, братцы

Мы стоим на горе, над рекой Черной, напротив каких-то развалин. Поттер говорит — это очень древние камни. Все вспоминает, как в молодых годах посещал этот край, рассказывает про один монастырь, высеченный в скале. И на Средние века перескакивает, а это, как я понимаю, еще раньше было.

Кроме отрядов, оставленных для охраны нашей штаб-квартиры и французских батарей, все наше войско по выходе из Стрелецкой бухты, растянувшись линией на двадцать миль, идет вдоль севастопольских укреплений до самой до Сарандинакиной балки, наполовину накрывает гору Инкерман и петлей, по гребню Сапун-горы, сворачивает обратно, на юг.

Это я у Поттера выведал, он все пристает к капитану Фрамптону, тот ему рассказал. Мы, стало быть, торчим между дивизией сэра Ричарда Ингленда и бригадой генерала Буллера. Нашим братом из 21-го, под сэром Джорджем Кэтчкартом — мы покуда его в глаза не видели, — набьют, стало быть, траншеи. Случись лорду Раглану просить подкрепления, чтоб оборонять этот Инкерман, — и нам туда шлепать аж две с половиной мили. Это я так говорю — нам, сам-то я пальцем не двину.

С нашего кряжа открывается вид на Почтовый шлях, он идет к Севастополю. Когда позволяет погода и если прищурюсь хорошенько, я различаю края гавани, истыканной корабельными мачтами, и полоску воды, Поттер ее называет "Ворота в Средиземноморье". Из-за этой-то мутной бреши, видно, и все страсти. Море и небо там сливаются в одну тусклую муть, не верится даже, что дальше где-то хоть что-то сверкает на солнце.

Поттер у нас теперь заделался прямо знатоком военной стратегии. Часами чертит в грязи стрелки — возможные ходы противника то есть. Джорджу это не нравится; как завидит его за подобной работой, притворится, будто никаких стрелок не замечает, и сапогом сотрет. На днях, после таких действий Джорджа, Поттер крикнул: "Сходства нет между нами, но конец нам уготован один!" Джордж ушел с бешеным лицом.

Каждое утро, чем свет, выходят два пикета — сменить тех, кто дежурил в ночь. Пикет набирают из целой роты, но потерь все больше, и часто бедолагам приходится торчать в траншее, в грязи по сорок восемь часов. Обратно идут — кто еще в летних мундирах, светлых, сейчас они цветом как старая свекла, — еле волочат ноги, и лица старые, как смерть. Живых почти не отличишь от мертвых, только что тех несут на носилках.

День и ночь идет гуд, правда дальний. Я тут уже освоился. Уже не кидаюсь со страху бежать от серого горизонта, когда вдруг он полыхнет лиловым и расправит огненный хвост. Или дымная сказочная гора подрожит-подрожит, потом розовеет — и тает в нахмуренном небе. У меня на глазах загорелся карликовый дубок и потом пылал в темноте, прямо как неопалимая купина Моисея. Взрывом срывает скалы, и они, падая, сами перестраиваются в надгробные курганы.

Я собираюсь выжить. Я спрашивал у Поттера, и он говорит, что да, человек, если сосредоточится, может продержаться на силе воли. Я ведь не то, что иные-прочие представители моего класса, которые, как вы-

шли из ничтожества, так, если и выберутся живьем из пекла, вернутся в ту же тьму забвенья, только и славы — что покалеченные душой.

Я все обдумал. Я добиваюсь успеха в своем деле, женюсь на хорошей женщине, доброй, простой, и доживаю до старости, окруженный собственным выводком. Мне сверхбогатства не надо, мне лишь бы было приличие. И никто из моих потомков, с Божьей помощью, не будет побираться ради куска хлеба, как мне приходилось.

В таких своих мыслях — и потом, фотограф мой ушел на постой куда-то за лагерь — я теперь сплю в фургоне, подальше от сырости. Между прочим, это мой собственный экипаж; не сам ли я его приобрел, когда хозяин Панча и Джуди помер и отправился к своему творцу; не я ли сообразил вставить замазанные окна и полки встроить; хотя насчет побелки снаружи это я зря погорячился, так он издали виден и навлекает огонь. Тут повернуться негде, и я в сумерки кой-какие препараты вышвыриваю наружу, что не понравится хозяину, если он сюрпризом нагрянет. Но я знаю, что я ему тогда скажу, я спрошу — он живого хочет ассистента или же мертвого, в палатках такие условия, что долго там не протянешь, быстренько дашь дуба. Припасы не доходят из-за постоянного заградительного огня русских орудий; одно одеяло на рыло, да и то так залубенело от грязи на взмоклой земле, что от него мало проку. Люди под этой заплесневелой покрышкой жмутся во сне друг к другу, чтоб согреться, пихаются, как поросята у мамкиных титек.

Поттер и Миртл вселились в походный лазарет, к Джорджу, хотя там теперь одно слово мясная лавка. Дня не проходит без своей порции раненых. Раз ночью за три часа внесли аж десятерых, подкошенных пушечными ядрами. Семеро уже потеряли кто руки, кто ноги, остальным пришлось ампутировать.

Сперва доктор Поттер выскакивал наружу, когда Джордж начинал свою пилку. Теперь остается, сидит у печи, притворяется, будто читает свою отсырелую книжку.

Ни за что нельзя угадать, кто выживет, а кто нет. У одного руки-ноги повыдерганы, кровь хлещет как из худого ведра, а он оклемается; а у другого мякоть затронута между ног, всего и делов, а он через двадцать четыре часа преставится. У кого нутро распахано, кишки болтаются, словно белесые свиные колбаски, у этих песенка спета. Тут уж никакая сила воли, никакая медицина не вылечит.

Недавно ночью принесли мальчонку-барабанщика. Годков ему не больше двенадцати, а его сунули в траншею, были большие потери. И вот он грязь разгребает, нагнулся, в правой руке — лопата, а ядро ему — сзади, прямиком между ног, вспороло артерию и член вырвало вместе с мошонкой. Вдобавок сразу его вынести было нельзя, перевозка увязла в грязи. Положили его на стол, а он как рыбка на крючке — бьется, трепыхается. Миртл к нему даже не подошла. Поттер говорит, она такая нежная мать, а я так думаю — дети ей только на то и нужны, чтоб покрепче привязать Джорджа.

С ним ничего поделать нельзя было, с этим барабанщиком. Джордж мне велел готовить хлороформ. Я уж привык к такой своей помощи, рад оказать услугу. Когда видишь, что вот они засыпают, видишь, как разглаживаются у них лица, у самого не так сводит живот. Я держал тампон у мальчонкина лица, так долго держал, чтоб он никогда не проснулся, по крайней мере на этом свете. У хлороформа фруктовый запах, чуть отдает клубникой, и это приятно: мы все провоняли, Поттер особенно.

Я напомнил Джорджу про тот раз, когда Уильям Риммер мне велел войти в клетку к обезьяне, а сам Джордж по дороге домой в Ежевичный проулок был пьян как сапожник. Странная штука память: он спорил, что напился тогда я, недаром, мол, я так растянулся на песке, пока он беседовал с рыбаком у костра. Ему пришлось не по вкусу, что я помянул Риммера, я сразу заметил; у него так задергались веки.

Мне стало обидно, и я сказал:

— Риммер здорово тогда хорохорился. Хотел присвоить себе весь успех.

Джордж сказал:

— Я не обладаю твоей выдающейся памятью, — и спиной ко мне повернулся.

Я хотел обсудить с Поттером, что это означает, когда события вспоминают по-разному. Он сказал — ему не до того, хватает собственных затмений и не волнуют чужие. Он часто разговаривает с женой, с Беатрис, Джордж даже тревожится. Боится, как бы Поттер не спятил. Я никаких таких признаков не улавливаю, и вообще, при наших обстоятельствах, по мне — стоит отвлечься от окружающего любой хитростью, почему же, если так сберегаются нервы. Я вот все думаю, кого мне бы вызвать, когда припечет, а никого нет. Материно лицо давным-давно начисто стерлось из памяти.

Когда мальчонку-барабанщика уложили, Поттер стал вслух бормотать по своей книжке. Я последую его примеру — когда состарюсь, тоже возьмусь за чтение. Между прочим, сам он как-то сказал, что я чуть ли не ученый, мол, действие камеры в некотором роде способствует тому, чтобы поймать тайну человеческого поведения.

Когда стали барабанщика хоронить, я снял с него обмундирование и потом приступился к Миртл, чтоб его надела. Одежка на ней жиденькая, не по зиме, да и обтрепалась. Она отказалась наотрез, но я на нее напустил Джорджа, и теперь она щеголяет в мундире и брюках. Их даже стирать не пришлось, кровь всю смыло дождем. Заплатка понадобилась, всего и делов — лоскут от красной нижней юбки, — прикрыть в брюках дыры. Она в этой униформе хороша, я бы сделал с нее портрет, да только льет все время, забрызгает пластинку.

По ночам, в передышках между пилкой и зашиванием, мы жмемся вокруг печки. Обыкновенно впятером. Я завел себе друга, он уже пожилой, зовут его Чарльз Уайт. Родом он из Ирландии и такой добродушный. Вышел из нищеты, нажил состояние кирпичным заводом, потом лопнул банк, и он разорился. Жена с непривычки к нужде скоро угасла и лежит теперь в общей могиле. А сам он, покуда не объявили войну и он добровольно пошел воевать, сидел заточенный в долговой яме. Несмотря на такую свою судьбу, он веселый, без конца балагурит. Рыжие усы, походка вразвалочку. Джорджу он понравился, он даже ему подлечил распухлые от кандалов лодыжки.

Как раз Уайт нас тешил одной своей побаской, и вдруг вваливается солдат с оторванным ухом. Кровищи была уйма, но он не давался Джорджу. По очереди нам пожал руки и все говорит, говорит, как он рад познакомиться. Гарри Сент-Клер, Сент-Клер, все повторяет и повторяет, будто в этом его имени какая-то особенная ценность заложена. А потом говорит, мол, потеря уха — самая большая удача, какая с ним в жизни случилась. Уайт подумал — он размечтался, что теперь его домой отошлют, и заверил его, что двух дней не пройдет, он как миленький будет в строю, а

бедолага на это: "Дивно, дивно!" — и только снова всем руки пожимает, пожимает, а кровь тем временем хлещет во все стороны.

История его была чудна́я, но, человек тонкого воспитания, он ее хорошо рассказал. Несколько месяцев тому назад, покамест он не может в точности сказать сколько именно, он состоял учеником одной замечательной школы на юге Англии. Он запомнил — было синее небо, школьная кошка кралась между кустов — он обиделся на товарища, который непозволительным тоном говорил о его матери, вдовой женщине, которая недавно свела дружбу с одним знатным господином. Стремясь защитить честь своей матери, он вызвал обидчика драться на кулачках под каштанами на краю гимнастического поля. Для него это кончилось плохо. В голове осталось только: кошка, луч солнца подрагивает на полосатом мехе; и темнеют от собственного пота волоски у него на руке. А потом — одна кромешная тьма.

Неделю спустя он вдруг очутился в армии, на судне, державшем курс на Мальту. И — ни малейшего понятия, кто он и откуда. Надо фамилию называть, а он не знает, и тогда его записали: рядовой Данныхнет. Тут Чарльз Уайт так грохнул, что аж закашлялся.

Час тому назад его пикет возвращался с дежурства, в хвост колонны угодило ядро, и осколком Данныхнету оторвало ухо. И в тот же самый миг — он нырнул в воздух, как в воду, — он вспомнил свое имя, свою прежнюю жизнь. Он кричал: "Я — Гарри Сент-Клер!" — и все сообщал, сообщал нам об этом открытии и добавлял: "Я счастливейший человек на земле".

Вдруг лицо у него побелело. Снаружи, будто птицы били крыльями, плоско хлопали пушки. Он уставился вдаль, глаза стали огромные. И — упал замертво. Джордж сказал — это из-за перенапряжения и еще от потери крови.

Миртл сидела как в воду опущенная. Широко разбросала колени, подняла локти и колотила, колотила по воздуху невидимыми палочками, будто бы вернулся по свою душу мальчонка-барабанщик. Поттер извивался на табурете и зажимал себе уши.

Мы с Уайтом вдвоем взвалили Данныхнета на плечи и выволокли наружу. Мертвые сапоги, чавкая, загребали грязь. Вдруг темнота рассеялась от страшного взрыва, хилый свет озарил на миг жестяной блеск реки внизу, взмоклые скаты. Мир затопляло.

Я не стал возвращаться к Джорджу. Залез в фургон и отдал должное болгарскому вину из припасов фотографа.

* * *

Проснулся я рано, с перепоя во рту пересохло. Смутно помнилось, что якшался с одним капралом из 55-го, у которого на шее чирей. Он хотел выменять на часы чемодан из воловьей кожи. Часы исчезли, не было никаких признаков чемодана, и жажда мести разом вывела меня из столбняка. Есть у меня кой-какие трофеи с обобранных трупов, я их заворачиваю в тряпицу и сую за поддоны для проявки. Совесть моя чиста. Неприятель после боя обчищает убитых, так что я оказываю услугу нашим покойникам, не отдавая их имущество в руки врага.

Я шагнул вниз, в густой, как шерсть, туман. Уже началась обычная утренняя суета, слышалось тявканье команд, конское ржанье, а не видно ни зги. Протянешь руку, растопыришь пальцы — и они пропадают. Туман меня обложил белой ватой, и сквозь эту вату я слышал важный

колокольный звон. Я сообразил, что звук плывет из Севастополя и, стало быть, какой-то там у них праздник или сегодня воскресенье. Кое-как я сделал несколько шагов и наткнулся на что-то грузное, рыхлое и рядом призрак огня. Это Поттер, кутаясь в свою шинель, ждал у костра, когда закипит вода в котелке. Я тронул его за плечо и говорю:

— Послушайте только, какие колокола.

А он мне:

— Вы тоже слышите? Я думал, они у меня в голове. Мне снился день моей свадьбы. У Беатрис на фате было пятнышко сажи...

— Господи, — я говорю. — Надо думать, она вас очень за это благодарила.

— Колокола ли вызвали сон, — он стал рассуждать, — или сон уже начался и я только присоединил к нему этот звук?

Я сказал, что, пожалуй, оставлю его вопрос без ответа.

— Я полагаю, вы никогда не были женаты, — он говорит. — Такие не женятся.

Я ему сказал, что он верно полагает, да только у меня была одна вдовая женщина, два года целых, покуда так не спилась, что у меня всякое желанье пропало.

— Вы меня удивляете, — он говорит.

— Я сам себя удивляю, — ответил я и спросил про Миртл.

— Она долго плакала, но потом уснула и теперь снова станет, надеюсь, нашей старой Миртл.

— Ну уж и старой, — я его поправил.

Он сказал, что это я верно заметил, и смолк. Я решил, что нашему разговору конец, но тут он вдруг спрашивает:

— Что такого сделал Джордж в то далекое время... что она его полюбила?

— Сделал? — я говорю. Я даже сконфузился; любовь не из тех, по-моему, слов, какими можно кидаться. Я сказал — это пусть он у Джорджа спрашивает, а не у меня.

— Он и не вспомнит, — Поттер говорит. — Он не похож на человека, которым властвуют чувства.

Тут я вдруг подумал — э, да не такой-то он умный, как я его считал; или же эти древние книги совсем его защемили между страницами. Я знаю мужчин, и я понял, что Джордж почувствительней многих. Плачет, как женщина, чуть вспомнит свою маменьку.

Я сказал:

— Может, он ей открыл, откуда она взялась.

— Неужели этого довольно?

И голос такой недоверчивый. И лицо то вынырнет, то снова уйдет в туман.

— А чего же еще? — я говорю. — Невредно знать о своем начале.

— Можно призадуматься и о вещах более насущных, — он пробормотал, — о своем конце, например.

Но тут вода закипела, и он стал заваривать чай. Мы его пили под топот сапог: утренний отряд уже вышел на добычу воды и топлива. Совсем рядом начала прудить лошадь, затрусила прочь, и плеск затихал понемногу.

— Бывает такое время, когда следует рассказать правду, — вдруг объявил Поттер зловеще. — Вы с этим согласны, Помпи Джонс?

— Какая правда смотря? — я его спрашиваю. Тут лицо его снова исчезло.

— В данном случае, — он говорит, — я имею в виду картины.

Я думал — это он про фотографии, и прямо сказал, что тут мы друг друга не поймем.

— Кое-какие фотографии, — честно ему объясняю, — обычного человека могут только выбить из колеи.

Я думал про снимки смертельных ранений, которые мы делали для медицинского колледжа.

— Я разумел, — он говорит, — вид судов на Мерси с холма, где стоит теперь "Вашингтон".

Тут я совершенно опешил. Может, Джордж в конце концов был и прав, когда посчитал, что Поттер сходит с ума.

— Как вы помните, полагаю, он висел на стене в кабинете, — продолжал он. — И был перевешен за несколько недель до того, как вам отказали от дома.

Да, мне запретили бывать в Ежевичном проулке, что правда, то правда, хоть это не помешало Джорджу со мной видаться. Как-то вечером он послал мне на дом записку, просил с ним встретиться у северного входа "Вашингтона". Я совсем было собрался, но когда спускался под гору, увидел, как над рекой желтыми клубьями перекатывается пламя. Когда дошел до таможни, пылающие корабельные паруса воздушными змеями метались по багряной воде и невозможно стало дышать. Сколько уж времени прошло, а как сейчас помню тот вой огня, когда он взвивался к звездам. А потом рухнул табачный склад, павлиньим хвостом распушились искры, и толпа вся весело охнула. Пожар пожаром, но не только это помешало моему свиданью с Джорджем; он мне назначил встречу у черного хода, а не у парадной лестницы — вот что жгло. Мне надоело, что меня стесняются, прячут, пора было с этим покончить. Наутро он ждал меня на нашей улице, у водокачки. Подарил старый аппарат, и я его в тот же день сбыл за шестнадцать шиллингов, у меня свой был, получше.

Поттер сказал:

— Изначально он висел над бюро. Вы помните, верно, — под ним стояла такая ваза с вытянутой шейкой. А потом вдруг обнаружилось, что он криво висит на стене справа от двери. — Я оторопел, я ни звука не мог из себя выдавить. — Две ночи я не ложился... в усилиях разрешить эту загадку. Я тогда еще не привык ходить ночами без сна. В сопоставлении с прочим это не так уж и важно, однако я был бы весьма признателен за объяснение.

— Ничем не могу вам помочь, — сказал я и ушел.

Забился в фургон и стал приводить в порядок полки на случай, если вдруг нагрянет фотограф. Насчет стеклянных пластинок и позитивов у меня всегда полный порядок, но бутылки валялись кое-как и были недомыты поддоны. Ворюга, который ошивался тут накануне, расхлестал свое пойло на верстак. Я поприличней уложил препараты и стал проверять камеры; их было три: одна для портретов, с трехдюймовой линзой Росса[1], а две на мехах и изготовлены Буркеном в Париже.

Два снимка были от начала и до конца моя работа и, на мой взгляд, отличные образцы фотографического искусства. Первый — это ампутированные конечности; на белом фоне разложены — просто картина.

Особенно я остался доволен пучком травы, зажатой в кулаке. На втором была похоронная церемония на недавно оставленной местнос-

1. Лорд Уильям Парсонс Росс (1800—1867) — английский ученый и изобретатель.

ти. Я высвободил пластинку из вощаной обкладки — проверить, не потускнело ли изображение. Нет, все четко, белые ризы капеллана и свивальники мертвецов резко выделены против камней. Разве что в левом углу было легкое помутнение, но почти незаметное.

Но потом, пока я смотрел, оно стало заметно и понемногу приняло образ женщины. И чем больше я вглядывался, тем больше она прояснялась, так что я наконец не мог даже понять, как сразу ее не углядел. И я удивлялся: женщин фотографировать не полагалось, разве что леди, а их у нас не было; вдобавок считалось, что никому на родине не захочется увидеть слабый пол в таких мрачных условиях. Да что говорить, определенно только три женщины присутствовали на похоронах, одна из них Миртл, и все три стояли позади камеры.

На снимке женщина была дородная, ну вот именно дама; очень ясно виднелись ленты чепца, и она подняла руку, то ли махала, то ли подзывала кого-то.

Я стою, ничего не понимаю, стараюсь разобраться, и тут снаружи поднялся невообразимый шум. Я отворил дверь, и рев команд, вой труб хлынули внутрь вместе с туманом. Кто-то кликнул меня, я высунулся и увидел в тумане мальчишку. Он подошел поближе, я узнал Миртл.

— Или случилось что? — спрашиваю.

А она:

— Джордж тебя зовет. Пришел приказ выступать.

Я хотел ее затащить в фургон, чтоб не стояла на дороге у невидимых лошадей и солдат, собиравшихся в боевую готовность. Она уперлась, сказала, что ей это слишком напомнит старого мистера Харди. Я подумал: э, да тебе кое-что другое тошно вспоминать, как когда-то возомнила, например, что Джордж ради тебя всех покинет, — и я спрыгнул в крутящийся день и пошел за ней к лазарету.

Там был Поттер, помогал грузить медицину на лазаретные повозки, а было их всего две, одна — простая арба. Говорили, князь Меншиков внезапно атаковал Вторую дивизию и от нас ждут подкрепления. Те колокола поутру звонили, чтоб вдохновить русские батальоны при выступлении из Севастополя. У неприятеля, говорили, сила несметная. Кто говорил — четыре тысячи выступили, кто — даже больше.

Джордж тут же на меня накинулся, сыпал приказы, велел пошевеливаться. Это мне совсем не понравилось. Я здесь присутствовал как гражданское лицо, я не желал и был не обязан соваться под пули. Сам с собой я решил, что пройду с ним немного, потом поверну обратно, а там уж все свалю на туман.

Оказалось, возница только один, музыкант из оркестра, так что решили его приберечь для санитарной кибитки, а сам Джордж решил верхом отправиться вперед, искать место для полевого госпиталя. Повелительным жестом он мне указал на арбу — от Поттера в этих делах мало проку, — плюхнул к себе на седло мешок с инструментами и ускакал, я и вякнуть не успел.

Не сразу мы выбрались — из-за этой толчеи и тумана. Когда наконец все было готово, Миртл села ко мне. Поттер никак не мог найти свою лошадь; он привесил сзади к арбе фонарь и сказал, что пойдет следом. Уже слышалась перекатная пальба пушек — чужих и наших, и — ближе — по холмам над лощиной стрекотали мушкеты.

Продвигались мы медленно, валко. Уложенные пикетами доски содрали все почти на костры, а которые остались, давно потонули в гря-

зи. Деревянные колеса арбы то и дело вязли в густом дубовом подлеске. Иногда туман редел и делались видны в сером свете серые, скользящие и оскользающиеся колонны.

Миртл вся тряслась. Я сказал ей: не бойся, а она огрызнулась, мол, не от страха дрожит, а от холода. То и дело она кликала для проверки Поттера, и примерно час мы слышали в ответ его крик. Потом уж не откликался, назад повернул, надо думать, или же заплутал.

То и дело Миртл понукала меня и сама опасно тянулась вперед и молотила слабеньким кулачком по заду спотыкающуюся кобылу, будто та могла, бедолага, ускорить шаг. Миртл взялась отыскать Джорджа. Я и сам был не против, я уже понимал, что ужас, который нас ждет впереди, все же лучше, чем то, что мы оставляли; по крайней мере, я не буду один.

Я пробовал было сделать из этого приключение, воображал, будто снова я малолетка, снова крадусь по оврагу, норовлю выследить зайца, но свист, треск и орудийный гром разгоняли черных ворон того лета.

Раз, когда из-за тумана над горизонтом вдруг встал фонтан огня, я нарочно вспомнил красный закат, и он растекался над горбатым мостком, и на месте дымных кровавых плевков по скатам мне мстились дрожащие над водой миртовые листы.

Я совсем забылся, но тут совсем рядом, справа в кустах, затрещало, и оттуда треугольником выскочили люди — в шинелях, меховые киверa, ружья наперевес, примкнуты штыки.

И такой поднялся вой, что у меня глаза на лоб полезли. Ну, думаю, все, мне крышка, тем более этот кошачий концерт шел под свист и жужжанье пуль. Арба катила дальше, наша кобыла тянула из последних силенок, мечтая уйти от грохота.

Это кончилось, не прошло и минуты — мы выскочили из переделки целехонькие, все вдруг разом стихло, будто захлопнули дверь. Впору подумать, что я видел сон, если б кругом не валялись трупы. Я оглянулся и вижу: наш стрелок сидит торчком в грязи, глаза выпучены, макушка срезана, как у яйца за завтраком. За ним стоял русский и держал на отлете пистолет: метил мне в сердце. Уже палец был на курке, но тут арба наклонилась, опрокинулась, и меня бросило в кусты. Чудом Миртл упала рядом со мною.

Так, мне показалось, прошла целая вечность, потом я поднял голову, глянул через густые ветки. Стрелок, который сидел, теперь повалился навзничь, русского не было. И снова пошла пальба, треск, вой — только дальше. Я зажмурился, но видел сполохи сквозь плотно сжатые веки.

Я вытянулся, прижал к себе Миртл. Она приникла ко мне, тихая, как мышка. Шапка слезла, липкие от грязи волосы щекотали мою щеку. Войти в нее мне не удалось. Дала мне погладить лобок, но вздыбилась, едва я попробовал себе чуть побольше позволить. Да я и не больно настаивал, эка важность. Мне всего-то и надо было — в отношении Миртл, — чтоб она признала, что мы с ней одного поля ягоды, раз уж судьба нас обоих кинула на дорожку к мастеру Джорджи.

Скоро я встал и ее подтянул. Над головами у нас кружили сороки. Туман почти разошелся, сыпала морось. Кобыла лежала на боку, прижатая по кострецу арбой. Была живая еще, хоть, видно, обе задние ноги переломаны. Я расслабил пальцы у мертвого стрелка, вытащил ружье. Приставил дуло к лошадиному лбу, Миртл отвернулась. Ружье дало осечку: отсырел порох. Я обыскал других мертвяков, напал на револьвер и, не волыня, покончил с кобылой. Ружье я тоже оставил себе,

штык был на месте; а в рукопашной, я так подумал, сталь даже превосходней свинца.

Вокруг арбы валялось с десяток, а то больше русских. Я отпахнул было у одного полу глянуть, нет ли какой поживы, но Миртл на меня уставилась, пришлось совсем стянуть с него шинель. Я стал рыться в складках, повеяло кожей, уютно, по-домашнему, пóтом. Содрал с ремня металлическую флягу, одним глотком опрокинул водку, его дневной рацион. Впервые за день кровь живей побежала по жилам. Я бы и кивер прихватил, да побоялся, как бы не обознались свои.

Что делать дальше — вот главная была задачка. Русские, как я понимал, перли и спереди и сзади. С кряжа в миле от нас гремели пушки, стрекотали мушкеты. За кряжем ничего не было видно, только горело клочьями небо. Снизу катил и катил туман, застлал дорогу, линию скал. За невидной рекой круто всплывали из мглы утесы и отвесно парили к развалинам Инкермана.

Миртл живо задачку решила. Она сказала:

— Я пойду. Надо найти Джорджа.

Я сказал:

— Только едва ли ты его сыщешь.

Она упрямо трясла головой:

— Найду... Непременно найду.

— Может, он мертвый уже, — я сказал.

Тут она вся как затрясется.

— Он жив, — еле выдавила. — Я знаю, он жив.

Грязь струпьями высохла у нее на лице, кожа сделалась как у мертвеца, но глаза горели словно какой-то жаждой.

Страшноватая это была прогулочка, мы без конца натыкались на трупы, на куски человеческого мяса. Раненые кони стояли свесив головы, и кровь хлестала у них из кишок. Я бы применил револьвер, но чувствовал, что это зряшная трата боеприпасов. Раз мы услышали стон, бросились на него и видим: пожилой дяденька в форме стрелковой бригады лежит навзничь, руки сцепил, как на молитве, и еще держатся на носу очки. И ни царапинки, только в очках правое стекло расколото в паутину. Он опять застонал, я встал на колени, поднял ему голову, и в тот же миг из горла у него вырвался смертный хрип. Я отдернул руку, она была вся от крови липкая. Обтер пальцы о его брючину и поскорей пошел дальше.

* * *

Миртл я оставил в осадном лагере за лощиной. Я бы и сам к ней пристроился под шумок, но явился какой-то офицер, по ружью и шинели принял меня за солдата и велел, пополнив боеприпасы, следовать на новый редут. Я знать не знал, где это такое, но от водки стал покладистей. Дело шло к полудню, так я понимал; а я ничего не жевал со вчерашнего вечера, да и тогда ломоть хлеба один, заплесневелый от сырости.

Я влился в колонну Четвертой дивизии, шагал за милую душу и смотрел на взрывы огня, рвущие пыльное небо, с дурацкой ухмылкой на лице.

Мы прошлепали в восточном направлении к каменному уступу, окруженному стеной футов в десять, подпертой рваными мешками с песком. Сооружали все это в надеждах втащить тяжелые пушки, но площадка осталась пустая. Почему занадобилось оборонять именно это никчемное место, нам никто не объяснял. Когда лезли по овечьим тропам, нас

подбадривал свист ядер с русских батарей, так что мы метались и петляли как зайцы.

Русские ждать себя не заставили, наскочили, вынырнули из тумана, точь-в-точь — мы, как в зеркале, глаза выпучены от страха, кивера ощетинены, как кустарник. Завязалась рукопашная — вот когда сгодился мой штык. Только от первого тычка в мясо и мышцы меня чуть не вырвало, а потом — ей-богу, ужас ушел по стали — выпускать человеку кишки показалось самым обычным делом. На лица я не смотрел, в перепуганные глаза, я пониже смотрел, на одежку, прикрывавшую беззащитные внутренности от моих смертельных уколов.

Я видел такое: сошлись один на один наш офицер из 21-го и тоже офицер, русский. Дрались на саблях, кружили друг против друга раскорякой, как обезьяны. А солдаты, те и другие, стали в кружок, науськивали, подбадривали, крепко ругались.

Я смотрел из-за спин на этот танец смерти. Когда оба рухнули, пронзенные насмерть, кружок сразу рассыпался под зверский крик.

Я занялся мальцом с болячкой на губе. Он весь одеревенел от ужаса, только махал на меня штыком, как пчелу отгонял. Что-то пролопотал по-своему, я ответил: прошу прощенья, не понял. Пожалел его было, да он сам хлыстнул меня по лбу, тут уж я вскипел и проткнул ему глотку. Он упал, хрипя свои упреки.

Я не знал, какое такое дело отстаиваю и почему так нужно убивать, хотя Поттер — тот бы, конечно, мне все объяснил.

Была страшная бойня. Люди мерли в позах тех статуй в теплице у мистера Бланделла. Я видел: лошадь упала на грудь, а всадник вытянул руку, будто реку вброд переходит. Видел: двое стоят на коленях, смотрят глаза в глаза и не падают — держатся на руках, упертых, как в ладушках. У стены гренадер стоя обнимал штык, его пришпиливший, как бабочку, к приставной лестнице.

Потом в нас врезался офицер на коне, приказал отступить с батареи, защищать полковое знамя. Я сам себя спрашивал, какая такая нужда поспешать на выручку к рваному куску шелка, но все сделал как велено. Я стал цирковой зверушкой, я и через обруч бы прыгнул, если прикажут. Мы бежали вниз по скату, и пороховой дым клубился вокруг, будто кипел невозможно громадный чайник.

Нам надо было проскочить мимо бедолаг, окруживших это самое знамя, и с тыла атаковать противника. Кто расстрелял все патроны, пооставлял в мясе штыки, те ревели как оглашенные и швырялись камнями. Подползло неприятельское подкрепление, и нас обстреляли сзади.

Невозможно сказать, сколько все это длилось; время стояло как проклятое. Вдруг в какой-то миг я глянул вниз, на проход среди трупов, и, ей-богу, увидел Поттера, он спокойно, вразвалочку шел на меня. Выпущенное из тяжелой пушки ядро сзади скакало за ним, как камушек по воде. Я открыл рот — крикнуть, его остеречь, но в ту самую секунду, когда вот бы оно доскакало и разорвало б его в клочья, он прянул в сторону, будто кто его толкнул; ядро пронеслось дальше и снесло голову шедшему впереди солдату. Нет, видно, это ангел хранил Поттера.

Я был все еще живой, когда это кончилось. Русские отошли за холмы, побросав неубранными убитых и раненых. Прекращение огня поразному подействовало на уцелевших. Кто лег наземь и спал, кто щипал себя за лицо и бродил как во сне. Сам я весь трясся, и ноги мои подкашивались. Тишина — вот что особенно мучило.

Джорджа я нашел два часа спустя, он исполнял свои обязанности возле каменоломни. Тут же была и Миртл. Он наклонился над кем-то с дырой в груди. Я тронул его за руку, он глянул, не узнал, но мы и все-то были на себя не похожи, я его тоже узнал только по кровавому фартуку. Он пощупал разрез у меня на лбу, сказал: "Простая царапина. Проходите". Но тут я его назвал по имени, он вскочил. И — в первый и последний раз в жизни — он обнял меня.

Я помогал копать рвы, чтоб хоронить убитых. Кто лежал — мы тащили за ноги. Кто сидел — хватали под руки, у кого руки были. Нашли шестерых — свои, чужие, сплелись в одно, и штыки подрагивали, как венок из стальных колосьев.

Джорджа подозвали к одному офицеру, у того оторвало обе ноги, и обрубки сунули в бочку с порохом, чтоб унять кровотеченье. Меня послали за носилками, мы его уложили, бочку и все, и понесли к операционному столу. Джордж шел впереди. Миртл — сзади, она всегда так ходила.

Нам всего-то осталось метров двадцать, и тут Миртл окликнула Джорджа. Потом она говорила, что поранила ногу о камень. Он стал, повернулся, держа носилки. Сзади раненый русский, опершись на мешки с песком, поднял мушкет и пальнул. Джордж выпустил носилки, бочка покатилась, взметнулись серые клубы пороха. Он на меня смотрел большими от удивленья глазами.

— Ты хороший мальчик, — он сказал, или так мне послышалось; и он упал.

* * *

Поттер был в лазарете, когда мы пришли в лагерь. Сказал, что он здесь уже с утра, из-за тумана ему заложило грудь. Вернулся фотограф, готовил пластинки. Мне надо было спешить, свет убывал.

Я сказал:

— Джордж убит.

— У вас на лбу порез, — он ответил, вырвал несколько листков из книги, какую держал на коленях, и сунул в печку.

Миртл была снаружи, с сухими глазами, она баюкала Джорджа. Что-то ему напевала.

Я пошел обратно к фургону, фотограф стоял с треногой, перед ним, сгорбясь, сидели пятеро.

— Нам что требуется? — объяснял он. — Группа уцелевших для показа родным.

Сощурился, заглянув в аппарат, и крикнул:

— Равновесия нет. Мне бы еще солдатика. Одного доставьте.

Я пошел к Джорджу. Миртл ушла, он лежал в грязи, один. Я взвалил Джорджа на закорки, понес. Солдаты уже стояли, я его воткнул между ними. Он качнулся вперед, и тот солдат, что справа, обхватил его и поддержал.

— Улыбаемся, улыбаемся, братцы, — велел фотограф.

Сзади, на бровке, я видел Миртл, она широко раскинула руки и кружила, кружила, как птица над разоренным гнездом.

“Капли дождя”

Испанская песенная поэзия

Перевод с испанского и вступление А. Гелескула

Каждому памятно удивление, с каким он рано или поздно открывал для себя поэзию, для себя — значит, и в себе. Открытие так неожиданно, что кажется подарком судьбы; на самом деле его надо заслужить. И лишь народная поэзия — незаслуженный подарок детства, который дается мимо воли. Она входит в жизнь раньше книг и входит игрой, а не раздумьем, надолго сохраняя для нас детское обаяние. Взрослость не мешает слышать ее, но не каждого побуждает вслушиваться, как в любимых поэтов. Сами поэты, однако, вслушиваются чутко и не ощущают взрослого превосходства. Народная поэзия — ключ ко всей национальной поэзии, это истина, и даже прописная.

“Хотите познать народ — учитесь его песням” — эти слова фольклориста Антонио Мачадо-старшего, отца великого поэта, справедливы для всех народных песен, а для испанских еще и потому, что некогда отсталая, крестьянская Испания долго была европейским заповедником народного искусства.

Наши женщины младенцев,
чтоб унялся окаянный,
не запугивают букой,
а поют им севильяны, —

полушутливо утверждают андалузцы. Песня — первое, что испанец слышит новорожденным, и последнее, что звучит над его прахом. Всего век назад на средиземноморском побережье бытовала погребальная хота, и последний долг умершему отдавали песней и танцем. Жизнь и песня сроднились не только в народном быту, но и в сознании, и свидетельством тому — обиходная речь. Для нас “ветер поет” или “море поет” — стертые метафоры. По-испански поет всё — кузнечик, жаба, даже змея. Пением обозначены голоса живого. И, без особых преувеличений, пение для испанцев — еще один способ говорить, менее привычный, но более убедительный. По крайней мере, до недавнего времени было так.

Испанское пение, скрашивает ли оно труд или досуг, преимущественно одноголосое. В пахоту над кастильскими полями перекликаются песни, но певцы чередуются, и до последней рулады никто не перебьет чужую песню и не подхватит:

Когда ходил я, бывало,
по крайней улице к полю,
в окне ты птиц вышивала,
а я пускал их на волю.

Андалузские батраки работают и поют ватагой. Но тоже поочередно. Старший затягивает песню. Он поет первую строку; едва смолкнут ее плакучие переливы, слышится: “Вхожу!” — и новую строку ведет новый голос, его сменяет другой, и, наконец, запевала дает команду: “Сторонись!” — и сам завершает песню, одну на всех:

Забудь, что была со мною.
Скажи, что любила камень
и смыло его волною.

© А. Гелескул. Перевод, вступление, 2000
В оформлении использованы мотивы испанской народной керамики.

Традиционны образы и мелодии, взлеты и падения голоса, но человек неповторим — и ему дают выговориться. Испанская народная лирика — это череда внятных голосов; каждый рассказывает о своей участи, и даже если слова рассказа не его, а чужие, наследует их как товарищ по судьбе.

Предлагаемая подборка не посягает на стиховое богатство испанских песен и знакомит лишь с одной из них — сегидильей и ее вариациями. Краткая справка. Сегидилья — это песня и танец; ее сценический облик разнообразен, но стиховая форма едина — четверостишие, реже семистишие строгого рисунка. Само название (сегидильи — песенки en sequida, то есть одна вслед другой) невольно хочется перевести как "частушка" — хотя бы потому, что сегидилья, согласно магистру Корреасу (XVIII век), "по своей живости и легкости пригодна и для сказанного в шутку, и для весьма серьезного". Для магистра это песня городских низов, "кои стезей греха следуют и за то преследуемы бывают". Это, разумеется, ученый юмор, игра слов, все равно что выводить "частушку" от "зачастить в участок". А серьезно Корреас сообщает: "Искусство это древнее, стихи же столь просты и доступны, что складываются простонародьем и поются всеми". Искусство действительно древнее: сегидильи бытовали еще в XII веке. Впрочем, и русская частушка не вчера родилась и не в XIX веке, как принято считать; не требуется усилий, чтобы распознать ее в уцелевших скоморошьих песнях, записанных еще казаком Киршей Даниловым:

Кто напьется воды,
убоится жены.
Изопьем-ко вина,
то прибудет ума.

Коренное отличие испанской сегидильи от русской частушки — мелодическое. Сегидильи звучат повсюду — есть астурийские, арагонские, даже баскские; но колыбель их — выжженная солнцем и войнами Кастилия, еще определенней — бурая, плоская Ла-Манча, родина Дон Кихота и бойкого на язык Санчо, а когда-то пограничная полоса между Востоком и Западом. Быть может, пограничье и соткало певчие кружева сегидилий; по диапазону мелодии и ее узорчатости кастильская сегидилья — самая сложная из испанских народных песен и требует немалого искусства. Тем поразительней ее живучесть. В минувшем веке фольклорист Эчеверриа Браво объехал Ла-Манчу, повторив путь Дон Кихота, и на этом легендарном пути по самой заунывной из испанских равнин записал *две с половиной тысячи* мелодий.

Увы, как ни старайся, песню не расскажешь, а глядя в текст, тем паче переводной, — не услышишь. Ведь песенное слово рождается ни до, ни после мелодии, но несет ее в себе, и музыкальные возможности — не что-то добавочное, отдельное от слова, а скрытые в нем возможности смысловые. Однако есть испанская поговорка "Кто забыл слова, не вспомнит мотива". Песни, как люди, рождаются и умирают, испанские — не исключение, многие из них отзвучали, и как они звучали, не помнит и не знает никто. Как ни странно, слова пережили музыку — лишнее свидетельство народной тяги и чуткости именно к слову. Об испанцах принято говорить — народ, который веками пел и плясал. Справедливей было бы сказать — народ, который веками слагал стихи. Но, быть может, испанцы за то и любили слово, что оно легко становилось у них песней.

О трудности и ущербности перевода народной лирики можно говорить бесконечно, было бы желание. Однако испанскую поэзию в России переводить начали именно с народной, и первый же опыт — переведенный Карамзиным романс о графе Гвариносе — через четверть века был записан от яицких казаков. Устная поэзия вернулась в родную стихию. Поразительная восприимчивость! Не в столице, не в Москве, а в сибирской степи за Уралом мытарства пленного графа нашли в сердцах отклик. Какое, казалось бы, дело русским крепостным, одетым в

шинели или ушедшим в казаки, до Карла Великого и его злосчастного арьергарда, который такие же испанские мужики некогда разгромили в ронсевальском ущелье, а века спустя оплакали в народных романсах? В устном варианте граф слегка обрусел, Ронсеваль стал Францевалем, зато невеста графа из Парижа перебралась в Москву, а в остальном перевод Карамзина, почти двести строк, вошел в народный обиход почти в первозданном виде. Сколько ни рассуждай о языковых барьерах, жизнь неисповедима, и поэзия тоже.

Романсы переводили Пушкин и Жуковский, а П. А. Вяземский первым обратился к испанской песне. Но его "Подражания сегидильям" (1836) остались, увы, счастливым исключением. Зато расцвела переводная и доморощенная испанщина, блистательно подытоженная бессмертным Козьмой Прутковым ("Дайте мне мантилью, / Дайте мне гитару, / Дайте Инезилью, / Кастаньетов пару!"). Надо сказать, термин этот — испанский, и сам продукт — тоже; испанщина возникла в той же мещанской среде, что и русский "жестокий романс". Народная лирика в Испании была собрана и записана лишь в конце XIX века, а те поделки, что проникали в Россию под видом испанской песни, русских поэтов не вдохновляли. Двадцатый век мало что изменил, хотя и не обошел испанскую песню вниманием. Гаргантюа русского перевода К. Бальмонт издал в 1911 г. весьма представительный сборник "Любовь и ненависть. Испанские народные песни" — курьезный и по-своему непревзойденный образец переводческого легкомыслия (нелады с русским языком у поэта вполне грамотного заставляют подозревать, что мэтр едва ли прикасался к уготованным ему подстрочникам).

В течение века многие английские или немецкие песни стали частью русской поэзии, испанская остается прекрасной незнакомкой. Причин, видимо, много; не самая существенная, но все же досадная — та, что наши издательства и журналы вообще не жалуют фольклор. Лет пятнадцать назад я принес в "ИЛ" переводы андалузско-цыганских песен и узнал, что это прецедент, и притом опасный: фольклор хлынет со всех континентов, кроме, может быть, Антарктиды, и журнал захлебнется. Все же прецедент имел место, и ничего катастрофического не произошло. Не хлынуло, а жаль. Народная песня исчезает на глазах, как леса, реки и нравственные запреты, и просит удержать ее в ладонях, согревая руки и сердце. Провеянное временем песенное слово дышит вином и хлебом, и вкус его на губах хочется длить и длить. Но речевая красота и ладность, которой покоряет народная песня, еще не все. Народ — поэт долгой жизни, и не только долгой — это жизнь во всей полноте ее возможностей, мыслимых и немыслимых, светлых и беспросветных. Отдельному человеку выпадает лишь часть, участь, и недаром о судьбе говорят — доля. Песенной поэзии дано сказать о целом. Все эти клятвы и плачи, признания и проклятия составляют единую поэму, сложенную и полусмытую временем, — смутный эпос, распыленный голосами. В сущности, для Нового времени единственный народный эпос.

Не затягивая эти рассуждения, приведу самое убедительное, на мой взгляд, из того, что говорилось и писалось о народной лирике, — слова, сказанные в IX веке арабским просветителем Аль-Джахизом о поэзии бедуинов, для него уже древней: "Это искусство врожденное, а не приобретенное. Передавалось лишь то, что запоминалось само собой, и было оно малой долей огромного, объять которое — все равно что сосчитать капли дождя или песок пустыни".

Сегидильи

(Кастилия)

* * *

О чем бы мое горло
ни распевало,
молчат мои печали,
а их немало.

* * *

Слывет ли сокол голью,
судите сами.
Зато гнездо соколье
под небесами.

* * *

Не зря свинья и скряга
живут на свете —
кого-то да накормят,
но после смерти.

* * *

Один ломоть в котомке —
и все пожитки,
но раз ломоть в котомке —
всего в избытке.

* * *

Когда играешь жизнью,
ставь на отвагу.
О трусах не напишут,
щадя бумагу.
Удача ждет,
но кто ее не ищет,
тот не найдет.

* * *

Любовь — она как ветка,
где мало места,
и кого-то придется
спихнуть с насеста.

* * *

Хоть женщину с гитарой
равнять неловко,
но чтоб ее настроить,
нужна сноровка.
Глуха вначале,
а натянул ты струны —
и зазвучали.

* * *

Ведь женщина — тростинка
и пустотела.
Согрей ее губами,
чтобы запела.

* * *

Сними платок узорный
и сделай милость,
развей над полем косы,
чтоб колосилось.

* * *

Спит водонос мой рядом
с водой журчащей.
Была бы я водою,
спалось бы слаще!

* * *

Проснусь и только вспомню,
в кого влюбился,
такая радость, будто
на свет родился.

* * *

Прошу, хоть подаянья
не брал я сроду,
дай раненому сердцу
живую воду.

* * *

Подруга взгляд отводит.
Не знак ли это,
что жернова не мелют
и песня спета?

* * *

Тебя, мой ненаглядный,
мой смуглолицый,
мне разглядеть мешают
мои ресницы.

* * *

Твои ресницы — чудо,
глаза подавно,
а ротик бесподобен
и лжет исправно.

* * *

Подобна ревность перцу —
хорош помалу,
но если переперчить —
пиши пропало.

* * *

Влюбленный как ребенок.
Дитя родное
довольствуется малым,
пока грудное.
А старше стало,
как ни корми прожору,
ему все мало.

* * *

Девица, глядя в небо,
минуя крыши,
вздохнула: — Все блаженства
даются свыше.
Кивнул прохожий:
— И свыше, дорогая,
и снизу тоже.

* * *

Молю, святой Антоний,
спаси нам души
и дай деньжат и мужа
других не хуже.
— Ты не забыта,
и ждет тебя картежник
и волокита.

* * *

Заключены все браки
в той книге судеб,
которой никогда мы
не раздобудем.

* * *

Любовь у нас с тобою
как путь к могиле —
года надежд и тягот
и горстка пыли.

* * *

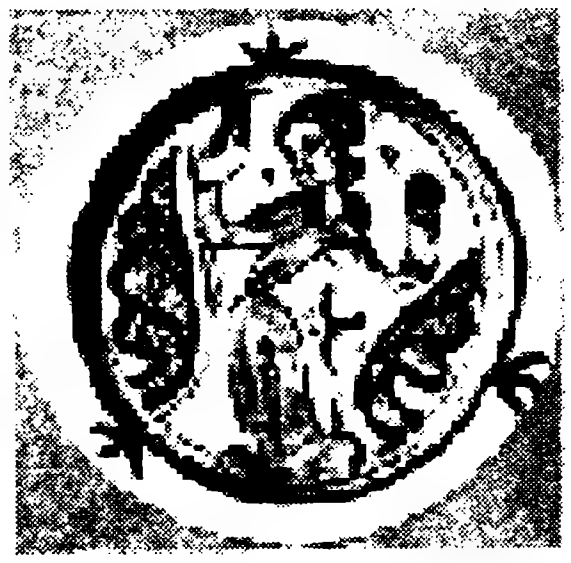
Мне снилось, будто любишь,
и я спасен,
но и во сне мне снилось,
что это сон.

* * *

Разлука вдаль пустилась,
едва живая,
а следом шло забвенье
не отставая.
Но у могилы
забвение разлуку
опередило.

* * *

У радостного песни
звонкоголосы,
а горестному песня
стирает слезы.
Я не стираю,
пою один, как лебедь,
и умираю.



Севильяны

(Андалузия)

* * *

Глаза твои — два солнца
в туманах шали,
огромней и чернее
моей печали.
А сердце радо,
сгореть дотла готово
в горниле взгляда.

* * *

То не глаза любимой
передо мною —
два вражеских отряда
грозят войною.
“Хоть целят метко, —
приободрило сердце, —
идет разведка”.

* * *

Вчера зашла я в кузню,
прошу цыгана,
чтоб выковал мне друга,
но без изъяна.
Махнул рукою:
— Мужчина без изъяна?
Взбредет такое!

* * *

Раздула в сердце пламя,
как опахало,
и отошла, как только
заполыхало.
С огнем играя,
теперь ты руки греешь,
а я сгораю.

* * *

Ты глуп и на рассвете,
и на закате,
а днем еще глупее,
замечу кстати.
Скажу короче.
Едва не позабыла,
что глуп и ночью.

* * *

Я вырванное сердце
не ради денег
бросаю на прилавок:
купи, изменник.
Горжусь товаром,
да не находит спроса,
а ведь задаром!

* * *

Увы, любовь мужская —
бокал на полке,
нечаянно заденешь —
одни осколки.
И, как ведется,
чем тонкостней, тем легче
и разобьется.

* * *

Любовь с табачным зельем
сравненья просит —
кто задымил, уверен,
что скоро бросит.
Не тут-то было!
Те, кто бросал, закурят —
и с новой силой.

Песни под бубен

(Эстремадура)

* * *

В начале песни голос
еще садится,
покинуть сердце песня
еще стыдится.

* * *

Вверяю песню ветру,
пою всей грудью,
но сколько бы ни пела,
пою безлюдью.

* * *

Возьми, подруга, бубен,
споешь не хуже.
Меня дружок не слышит,
отсохли уши.

* * *

Без песен меня тянет
к заветной двери,
да у тебя мамаша
страшнее зверя.

* * *

Как не жалеть беднягу,
такой короткий —
что от макушки мерить,
что посередке.

* * *

Я невеликим вырос
не для насмешек.
Хоть невелик, да крепок
лесной орешек.

* * *

Да ты из дуба тесан!
Такие стати
годны и для колодок,
и для кровати.

* * *

Как ни тесны колодки,
ни в чем не каюсь.
Но сон девичий крал я,
не отрекаюсь.

* * *

Смуглей литых колосьев,
смуглей каштанов
то зеркало, где тонешь,
однажды глянув.

* * *

Довольно нагляделась
я на дорогу.
Твердят мне, что не любишь —
и слава богу.

* * *

Тюремщица, не сетуй
и не печалься.
Сними с меня колодки
и распрощайся.

* * *

Тебя последней просьбой
обеспокою.
Когда смахну я слезы,
махни рукою.

* * *

Хорош севильский бубен,
хвала изделью!
С ним ночи наши лунны
и под метелью.

Запевки

(Канарские острова)[1]

* * *

Как неслышно по нагорью
ветерок сбегает к морю!

* * *

Под горой, укрытый тенью,
сплю и вижу сновиденья.

* * *

Изголовьем моим руки,
тенью — волосы подруги.

* * *

О травиночке, бывало,
тосковал я у штурвала.

* * *

А услышал гул сосновый
и на свет родился снова.

* * *

Но у солнца в изголовье
облака набухли кровью.

1. На Канарах танцуют под пение народных романсов, разделяя строфы романса припевами; не связанные с сюжетом, эти двустишия составляют отдельный песенный жанр.

* * *

Не пойму, какого беса
застрочила митральеза.

* * *

Оглянись — война войною,
а в тылу трясут мошною.

* * *

Недочтутся рядового —
вспоминай меня живого.

* * *

Пядь земли, где кровь солдата,
не топчите, место свято.

* * *

Но трубят победу войны
на мотив заупокойный.

* * *

Сабли в ножны, ружья в угол,
проживем без этих пугал!

* * *

А покуда плеть порхает,
пёсий зад передыхает.

Ингеборг Бахман

Смерть придет

Неоконченный рассказ

Перевод с немецкого С. Шлапоберской

НАШИ бабушки Анна и Элизабет уже много лет как умерли, наши дедушки Франц и Леопольд умерли тоже, кузинам и другим родичам это известно. Мы — большая семья и насчитываем немало смертей и рождений, в том числе даже смерть таких людей, как д-р Кильб, наш врач в Штеттине, и убийство д-ра Беренталя в Хаузене. Наши покойники рассеяны по многим кладбищам, и пусть кое-кто забыл о наших днях Всех святых, о наших Днях поминовения, зато о них всегда вспоминают другие: кузина Лиза и кузина Альвина. В наших крестьянских домах и в наших городских квартирах хранятся альбомы с вклеенными в них фотографиями, там есть и покойники, даже покойники, снятые, когда они еще были в пеленках: наш кузен Эрнст, наш кузен Мотль, одному было двадцать, другому тридцать два (он породнился с нами благодаря женитьбе), вот в такие годы они погибли, то ли на полях сражений, то ли просто у изгороди из боярышника, настигнутые во время прогулки шальной пулей, — в точности мы не знаем. Наша скорбь неодинакова, и о многих смертях мы даже забыли — тете Мицци, например, пришлось однажды напомнить, что тетя Мария, из другой ветви семьи, уже много лет как умерла, она об этом забыла или просто не взяла в толк, хотя вообще она прекрасно осведомлена обо всем, особенно о смертях и рождениях, в своей бухгалтерии не путается. А еще такую забывчивость позволяли себе Вера и Ангела, и прежде всего Ойген, — они живут в отрыве от семьи и уже почти не обмениваются рождественскими открытками с ее членами, часто путешествуют или находятся в других странах и завели новые семьи, о которых наша семья знает лишь понаслышке.

© R. Piper & Co. Verlag, München, 1978
© С. Шлапоберская. Перевод, 2000

Наша семья, и это ее единственный очевидный закон, собирается ради покойников, ради астр, свадебных сервизов, ликерных рюмок или столовых приборов в дни свадеб и ради поздравлений, которыми она в определенные дни обременяет почту по случаю родов, крестин, дней рождения, Дня матери. Наша семья берет на вооружение смерти, болезни, пусть бы даже они навсегда оставались ей непонятными.

Наша семья взяла на вооружение смерть Эрнста, который повесился из-за того, что подделал страховой полис, и смерть четырехлетней девочки Рикки, которую захватило ремнями электрической корморезки, она была изувечена и погибла. Наша семья — это не все мы вместе или какая-то ветвь или часть семьи, — это гигантская губка, память, что всасывает в себя все истории и делает из них собственную историю. А в самом низу, в ее влажной глубине, в ее разбухшей памяти сидит каждый из нас, безликий и отъевшийся; так и сидит в своей безликости.

Ибо когда смерть является нам в понятном виде, она дает знать о себе тем, что просто уносит кого-то из нашей семьи. Если в почтовом ящике лежит белый конверт, если в почте "до востребования" мелькает траурная каемка, если в конце обычного письма есть сообщение: "P. S. Знаешь ли ты, что десять дней назад умер дядя Карл от рака желудка, он терпел ужасные муки, это было избавленьем", то семья вступает в свои права и несколькими волшебными штрихами набрасывает перед нами целую жизнь, жизнь дяди Карла: когда-то он был рабочим в Германии, потом женился на тете Рези, дядя Карл дергал себя за мочку уха, вечерами в трактире играл в карты, запойный пьяница, когда умер дедушка, он на похороны не пошел, без конца ссорился с дядей Хансом — из-за сада, из-за фруктов, у дяди Карла был красивый голос, он играл на лютне, и... и... – и теперь дядя Карл умер, теперь он покоится под астрами, три десятилетия тому назад его почтили набором ликерных рюмок, теперь — минутой молчания, в промежутке между двумя другими делами, двумя письмами откуда-то еще, двумя неподобающими поступками.

Наша семья, живя сама без мерила, без ограничений, мерит жизни людей своим мерилом: кто-то многого добился, кто-то не добился ничего, один — позор для всей семьи, другой — тяжелое бремя, и тайные сообщения, тайные приговоры передаются дальше. Смерть придет, и этому не будет конца. Ведь поскольку людской памяти недостаточно, есть память семьи, косная и ограниченная, но более долгая, более надежная, надежная поневоле в угоду малому бессмертию, длящемуся полвека, позднее и семья забывает про астры для старейших покойников, забывает про куст бука и про уход за ним. В известной мере семья надзирает и за именами, хотя нельзя с определенностью сказать, почему в этой семье допускаются только определенные имена, а другие нет. С этим считаются даже свойственники, их зовут Труда, Петер, Франц, часто Элизабет, часто Штефания, Йозефина, Тереза, причем свое полное имя они вправе произносить только перед властями и во время важных церемоний. Будничное, обиходное имя — это Лизи или Лиза, Штеффи, Фини и Рези, а еще Анни, Рози, Эди. Один-единственный раз семейные имена оказались в опасности, когда дядя Петер в 1925 году обручился с барышней, которая называла себя Мэри, а потом еще раз, когда кузен Эрнст во время своего последнего отпуска перед смертью перепугал семью известием, что хочет жениться на девушке по имени Карин из Юльцена под Ганновером. Но эта Карин, которая в 1957 году приехала навестить родных покойного жениха, к концу своего визита влюбилась

в одного немецкого курортника с берегов Рейна и укатила с этим парнем, с Вольфом Дитером, обратно в края, где у ее имени более радужные перспективы.

В нашей семье есть по меньшей мере двое убийц, и два вора, и три шлюхи, хотя никто бы такого о нашей семье не подумал, и наша семья отдала свою дань истории и политике, она без всякого сговора посылала в каждую партию одного из своих членов, а иногда и нескольких. Все идеи были представлены в нашей семье, хоть и не в самой своей чистой и отточенной форме, а в популяризованном виде, — наша семья утаптывала идеи и выпрямляла их для себя, и в один прекрасный день у нее оказались свои монархисты и анархисты, свои социалисты, коммунисты. А потом наступило известное время, и у нее появились свои нацисты и антисемиты, свои помешанные, грабители и убийцы, а одновременно и жертвы, иногда некоторые оказывались сразу и тем, и другим, как дядя Зепп, у которого был партийный билет с одним из самых маленьких номеров в стране, но который разругался с партийными начальниками из-за воза дров и окончил свои дни в концлагере, жертвой чего — никто не знает...

Однако наша семья, и в этом ее прелесть, не имеет понятия об идеях, которые помогала вынашивать, продвижению коих содействовала, какие питала вместе с другими людьми. Наша семья — это большое безголовое туловище, которое влачится сквозь время, ему отсекают члены, но у него отрастают новые. Это безголовое чудище, которым занимаются министерства и религии, нравственные кодексы и своды законов; и в известном смысле наше семейство тоже святое, ибо его без конца поминают, оно кажется чем-то непорочным, божественным, и все это лишь потому, что семья разветвилась, потому, что на берегу Гайля сошлась некая парочка, или потому, что дядя Эди спьяну сделал тете Фини еще одного ребенка. Все это дает нашей семье право предъявлять свои претензии на этот мир, Земля принадлежит нам, и никто не смеет ее у нас оспаривать. Ибо наша нечестиво-святая семья невежественна и невинна, она не то, что каждый в отдельности, а то, что все мы вместе, она с гордостью становится во весь рост и, торжествуя, несет наше имя. Да, мы к ней принадлежим, она лучше, чем мы сами, и это не только идея, а нечто, обросшее плотью.

Тетю Лизу придется отправить в дом для престарелых. Кузина Рози родила близнецов, из двух яйцеклеток, двух девочек, их зовут Эрна и Альвина. За все благодарение Господу. Дядя Зепп в больнице, третий раз за этот год. Мы вздыхаем, когда кому-то надо в больницу, вся семья дружно вздыхает. Наша семья поистине обустроилась среди болезней. Болезни: если бы по их поводу так не вздыхали и не сетовали, то могло бы показаться, что все только и ждут, чтобы кто-нибудь опять заболел. Тетя Эрна должна срочно ехать в К., так как Рози заболела и надо присмотреть за детьми. Она пишет об этом всем, ее сменяет тетя Лиза, а Фанни, нашей старшей кузине, приходится под конец забирать всех детей к себе и откармливать их, пока Рози не выздоровеет. Но когда больна Фанни, то приезжает только тетя Майца... О, существуют неписаные законы!

В семье всегда есть несколько женщин, которые присматривают за всеми детьми, переносят все болезни, вынуждены оказывать всяческую помощь, и есть другие, которые проявляют меньше участия, зато заботятся о другом. Например, Майца и Вине заботятся о том, чтобы в семье не иссякала пища для разговоров о предосудительном, о порочном.

Вся семья беспрестанно возмущается старыми и новыми похождениями обеих наших кузин. Кузина Майца развелась с мужем, бегала за священником, переспала с половиной деревни, и, по словам тети Лизы, "теперь ее никто не возьмет"; с тех пор она путается с итальянскими строительными рабочими и с туристами, что посещают нашу долину. Вине самая младшая, и у нее уже третья связь с женатым мужчиной. Семья знает, каким версиям возмутительной жизни Вине дозволено просачиваться в сплетни и какова она на самом деле, семья пропускает наружу лишь часть правды, но внутри себя она тем более жестока, склонна осуждать, падка на подробности. Каждого члена семьи семья судит, есть обвинители и защитники, есть публика, но в каждом случае роль каждого слегка меняется, защитник иногда бывает и зрителем, обвинитель — защитником.

Кто обвиняет Майцу, остается равнодушным к Вине, одни старики строги ко всем, и только покойники в их глазах преображаются в некие идеалы. Так преобразились наши дедушки и наши бабушки, не говоря уж о прадедушках и прабабушках, у тех уже растут крылья...

Время от времени, бывает годами, одна часть семьи стыдится за другую. Наш дядя Эди стыдится за нас перед своей женой, нашей тете Эрне стыдно за свою семью, а наш кузен Эди стыдится за дядю Эди, и за тетю Эрну, и за всех их детей, они стыдятся перед посторонними, перед ландратами, окружными судьями, курортниками, и у каждого есть своя причина. Дядя Эди стыдится того, что тетя Нана воровала тыквы с поля, принадлежащего родичу тети Эрны, и еще того, что Фреди — коммунист и болтает с курортниками о "более порядочном правительстве", о пенсионерах и "получателях окладов" и при этом имеет в виду дядю Зеппа, который живет на пенсию, а Фреди приходит в ярость всякий раз, когда ему напоминают о существовании Зеппа, который был штурмовиком и в Югославии участвовал в бог весть каких "акциях"; об "акциях" речь заходила часто, и Зепп тоже не перестает говорить об офицерах и о евреях, виновных в том, что война проиграна, и каждый вечер перед сном он говорит своим детям: Австрия — наша родина, но Германия — наше отечество, а еще он посылает детей в какой-то запрещенный союз, и там они снова учатся тому, чему сам он научился поздно: опять учатся петь, разворачивать знамена, разжигать лагерные костры, и тетя Рези качает головой — она тоже об этом знает, и потому, в сущности, знает вся семья, давшая обет молчания: добром ведь это не кончится. Хоть бы он не впутывал в это детей. Детей. Детей. Тетя Эрна говорит, ничего такого уж страшного не будет, и продолжает об этом рассказывать. И все продолжают рассказывать, что Ирг все еще верит, будто Гитлер жив, и что в газетах сегодня — сплошное вранье, ложь и обман, так же говорит Петер, а Ханзи говорит, что с политикой не желает иметь ничего общего. Ирг говорит, если что начнется против русских, он тут как тут, русских он знает, был на Кавказе, пятеро из нашей семьи были в России, русских они знают, двое были во Франции, французов они знают, двое были в Норвегии и в Греции, они знают все про норвежцев и греков. У всех у них нет настоящего доверия к странам, которые они знают, и, в конце концов, в России, и в Греции, и в Польше, и во Франции остались наши покойники, но от них мы уже не услышим, что они думают, а Курт и Зеппи были однажды в Италии, на большом кладбище в Априлии, и возложили там цветы на могилу Ханса, они рассказывают, и это переда-

ется дальше, что кладбище содержится очень хорошо, оно очень ухожено, а это огромное, гигантское кладбище даже представить себе невозможно, какое большое и очень ухоженное.

У нашей семьи есть вкус к великому, к великим эпохам и ко всему громадному. А что до языка нашей семьи, — ведь как можно понять нашу семью, если не знать ее языка, — язык этот старый, и запущенный, и застоявшийся, с отчеканенными речениями, и как все языки, иногда он уже вовсе не соответствует ни одному предмету, а иногда буквально точен там, где начинается поэзия.

Вот язык нашей семьи:

Фреди медного гроша не стоит.

У Эрны ровным счетом ничего нет.

То, что обещает Ханс, вилами по воде писано.

Мы видим на три аршина под землей, и меня зло берет, и Иисус-Мария-и-Иосиф, и он увел ее, как девчонку с танцев, и потаскуха останется потаскухой, да воздаст вам Бог, на безрыбье и рак рыба. Наша семья повторяет услышанное как попугай, она разговаривает, день-деньской все разговаривает и разговаривает — на кухнях, в погребах, в садах, на полях; невозможно понять, откуда берется у них столько тем для разговоров, но они заполняют мир... Тетя Эрна опять уже стоит у забора с соседкой, дядя Зепп пьет свою рюмашку шнапса в трактире у дяди Эди, они говорят про сено, про горячие компрессы, про погоду, про забой свиней, про общину, про аренду, про товарищество. Наша семья заботится о том, чтобы ничто на свете не осталось необговоренным, у нее есть собственное мнение обо всем, и его не так-то легко из нее вытянуть, только недолгое время, в течение семи лет, часть мнений была ей запрещена, потом ей их вернули; наша семья создала все на свете предрассудки, если их не существовало раньше, она придумала все жестокости, в нашей семье говорится: ту или того надо повесить, или надо донести, или лучшего он не заслуживает, и все-таки нашей семье ведома некоторая мягкость, ведомы слезы, ей приходилось уже плакать и рыдать о скверности мира, о подохшей корове, о тете Марии, о несчастье Майцы, наша семья охотнее всего плачет о себе самой, о том, что случается с нею, и редко о том, что случается с другими, — тогда ее пробирает озноб, которым она наслаждается: вы уже слышали, в Обертале нашли Таллера с тремя колотыми ранами в животе. Наша семья наслаждается дурными вестями, бомбежки городов она всегда находила недостаточно тяжелыми, число погибших — отнюдь не чрезмерным, и даже его преувеличивала, сотню мертвецов она превращает почти что в тысячу, дабы дрожь пробирала сильнее, она уютно потягивается и копается в несчастье, но надо отдать ей справедливость, она преувеличивает и собственное несчастье, страдания, какие кто-то претерпел...

В нашей семье каждый должен быть на кого-нибудь похож, уже про самых малых детей говорят, на кого они похожи — на Нону или на дядю Ханса, похороненного в Априлии, или на тетю Анну. Величайшая честь оказывается тому, кто дерзает походить на Нону, одну из наших бабушек, хотя разговоры о ней всегда вызывают страх, ибо ее считают хранительницей большей части семейных тайн. То здесь, то там кто-нибудь да и намекнет, какой жесткой она была, кусочка сахару, бывало, внучатам не даст, какой была одинокой и насколько умнее других, как зачитывалась книгами и все-все знала по истории, про Рудольфа фон Габсбурга, и про императора Максимилиана, и про принца Евгения, и как она часами

громко и отчетливо читала у себя в спальне книжку по истории, никто не смел к ней входить, никто не смел говорить ей "ты", под конец она стала думать, будто все хотят ее отравить и будто бы против нее плетется заговор, в то время тетя Эрна всегда плакала, — она почти поверила, что другие тоже поверили, будто бы она хочет отравить Нону, а дядя Петер перестал бывать в доме, так как не желал терпеть, чтобы его называли убийцей собственной матери...

Разве я была бы достойна принадлежать к какой-либо семье, если бы выдала затаившихся в ней убийц, донесла бы на воров. Наверно, можно обличать преступления и пороки чужих семей, но выдать собственную, с ее нарывающими гнойниками, — этого я никогда не сделаю. И все же в своей семье мне дозволено видеть больше, нежели в любой другой. В том, что касается нашей семьи, у меня развилась необычайная зоркость, необычайно чуткий слух к ее языкам, меня сковало великое молчание о столь многом, о чем следует умалчивать в такой непосредственной близости.

Будем молчать. Наша семья, которая расплодилась на Земле, как человечество среди чуждых ему существ, наша семья, от которой миру уже не излечиться.

Я и Мы. Разве иногда я не думаю просто "мы"? Мы женщины и мы мужчины, мы души, мы проклятые, мы шкиперы, мы слепые, мы слепые шкиперы, мы ученые. Мы с нашими слезами, тщеславными помыслами, желаниями, надеждами и отчаянием.

Мы неделимые, разделенные каждым в отдельности, и все-таки Мы.

Разве не подразумеваю я, что это Мы идем против смерти, Мы, сопровождаемые покойниками, Мы, клонящиеся к упадку, Мы бесполезные?

В столькие моменты жизни это бываем Мы. Во всех мыслях, какие я больше не в состоянии продумывать одна. В слезах, которые могут быть выплаканы не только обо мне.

Мы желаем Нам к Новому году. Мы Нам желаем, чтобы Рози почувствовала себя лучше, желаем тете Эрне легкой смерти. Боимся дяди Эди. Думаем часто о Нане.

Нана, которая бесшумно шмыгала из двери в дверь и смешивала напитки, которая гнала скот на водопой. Нана, которая говорила: о боже, о боже. Так начиналась каждая ее фраза. Нана, которая сошла с ума, и ее пришлось привязать к кровати. Которая была в психлечебнице и боялась умереть с голоду, которой никто не давал хлеба, которая украла тыкву с соседского поля. Так мало про Нану, и все-все про Нану — кто она была, кто она есть, наша покойница?

Не наказывайте ее. Не наказывайте нас — ни за кого. Змеиное племя, избранники, вот мы кто, и один хочет нас растоптать, а другой — возвеличить. Всегда — мы, и я хочу, чтобы меня любили ради всех.

Каванна

Сердце не камень

Роман

Перевод с французского Алсу Губайдуллиной

X

В ожидании этого благословенного дня я с наслаждением погружаюсь в писание. Моя собственная книга продвигается вперед гигантскими шагами, я прихожу в бешенство, когда судорога сводит локоть и вынуждает меня позволить себе несколько минут отдыха. Потому что — помнится, я об этом уже говорил — я пишу от руки, так, как меня этому научили в моем безгрешном детстве, пренебрегая престижными светящимися экранами, без которых, кажется, не может обойтись ни один серьезный профессионал в писательском деле. Прежде всего у меня нет средств на подобные вещи, и даже если бы они у меня были, я чувствовал бы себя не в своей тарелке перед всеми этими клавишами, похожими на людоедские пасти, щедро оснащенные зубами, перед пугающе совершенными значками, покорными пальцам и взгляду, которые выстраиваются, словно солдаты на плацу, появляются на экране и исчезают со скоростью молнии по желанию пользователя, помещающего их в "память" или уничтожающего в зависимости от своего вдохновенья или сомнений... Гюго, Вольтер, Золя, Бальзак, эти монстры по способности нагромождать кучи исписанной бумаги, нагромоздили бы они еще больше, если бы им была подвластна фея информатики? Содержали бы эти увеличившиеся в объеме кучи больше гениальности?.. Будучи чересчур ленивым, чтобы меняться, я продолжаю писать от руки, как это делали мои славные предки, жившие в эпоху непосредственно после каменного века, моей единственной уступкой современности является ручка, называемая "Бик" (торговая марка).

Что-то резко и безжалостно вырывает меня из моих сладостных творческих мук и бросает, ошеломленного, на жесткую почву реальности. Я осознаю, что насилие над моей личностью было произведено тремя дурацкими нотами "музыкального" дверного звонка. Я грубо рявкаю "войдите!" и только тогда вспоминаю, что запер дверь на замок. Я смиряюсь с тем, что мне придется дотащиться до двери, три дурацкие ноты дринькают без конца, это меня нервирует, я ору: "Иду, иду!" — и с перекошенной мордой отворяю.

Передо мной стоит самая красивая женщина в мире.

Настолько прекрасная, что просто невозможно, чтобы она существовала на самом деле. И эта женщина — Лизон. Лизон такая, как она есть, но которую рука какого-то неведомого бога довела до несказанного совершенства. Я считал Лизон совершенной. Теперь я вижу, что это было только обещанием шедевра. И вот оно воплотилось в жизнь.

Окончание. Начало см. "ИЛ" № 6, 2000 г.

Я должен был бы упасть на колени и замереть в восхищении. Если бы тот или иной бог создал что-нибудь по своему подобию, то это — женщину. Эту женщину.

Все вышесказанное, должно быть, читалось на моем лице. Я остолбенел на пороге, застыв в немом созерцании.

Я знаю, кто она. Я знаю, почему она здесь. Я боюсь. Не того, из-за чего она пришла, но избытка красоты, бьющего прямо в лицо. Я задыхаюсь. Мое горло свело судорогой. Должно быть, у меня вид полного идиота.

Так как я молчу, она решается заговорить:

— Прошу вас, разрешите мне войти.

Ни добрый день, ни добрый вечер. Тон задан.

Я посторонился, она входит. Королева. Точнее королева в изгнании. У королев при исполнении нет этого навязчивого желания утвердить свою власть. Ее взгляд быстро пробегает по моему убогому борделю без видимого осуждения, которого можно было ожидать. Она констатирует, она не судит. Я все еще нем. И что тут скажешь? Так что заговорит опять она :

— Разрешите мне сесть.

Я спешу освободить диван от усеявших его листков. Она садится. Именно тогда я замечаю, что ее юбка скроена так, что ей нет никакой необходимости открывать ноги выше рамок приличия, чтобы достигнуть эффекта просто ошеломляющего. Высшая красота не нуждается в распутных уловках. Слишком большая оголенность отвлекает внимание от чистоты линии... Наконец я спускаюсь на землю. Мне удается произнести:

— Могу я предложить вам что-нибудь?

Легкая улыбка отвергает эти светские церемонии.

— Не трудитесь, пожалуйста. Лучше садитесь. У нас есть о чем поговорить, вы, наверное, понимаете.

Я усаживаюсь на другом конце дивана. Это напоминает мне кое-что... Она поворачивает ко мне свое чудесное лицо.

— Вы не облегчаете мою задачу. Вы, должно быть, догадываетесь о причине моего присутствия здесь?

Это настолько очевидно, что я не считаю нужным отвечать.

— Это происходит здесь, на этом диване?

Прямо в цель. Я не сумел скрыть своих чувств. Что на это ответишь? Я молчу. Смотрю на нее. Она не шокирована, не возмущена, не иронизирует. Даже не осуждает. Она просто спрашивает, вот и все.

Мне трудно было бы сказать, как она одета. Я очарован общим видом, не вижу деталей, не анализирую. Я полностью поддаюсь очарованию, исходящему от этой женщины, неотразимой прелести ее хрупкости, которую облекает, не подавляя, нежная полнота форм. Сама ее неподвижность предполагает красоту движений. Она вынимает из сумочки пачку сигарет, спрашивает меня: “У вас не найдется огоньку?”, сразу же: “Извините, я забыла!”, чиркает спичкой, из коробочки, какие предлагают в некоторых ресторанах. Ей приходится проделывать это несколько раз, спичка ломается, она ищет пепельницу, чтобы бросить ее туда, не находит, — а я парализованный, не предпринимаю ничего! — снова кладет в коробочку, чиркает другой, та зажигается. Только тогда я замечаю, что она дрожит. Я предполагаю, что то, за чем она пришла, стоит ей очень дорого, что ее спокойствие и ее непринужденность все-

го лишь показные. Это приближает богиню к простым людям. Мне становится жаль ее, я хочу облегчить ее задачу.

Пока я стараюсь сообразить, какое средство спасения ей протянуть, она делает две или три быстрые затяжки. Видно, что она не привыкла курить и делает это только для того, чтобы выгадать время и собраться с силами для штурма... Может быть, еще и для того, чтобы ее очарование, действие которого на меня она прекрасно уловила, совсем уничтожило меня. Превосходный расчет!

Я уже знаю, что сделаю все, что она захочет. Из любви к ней. Что я совершу самые ужасные глупости, разрушу жизни, начиная со своей, из любви к ней. Что я теряю разум, готов броситься в колодец головой вниз, спустить с цепи всех демонов ада, без надежды, без иллюзий, без ничего, из нелепой и непреодолимой любви к ней, к ней, к ней... Она — это Лизон, и она больше, чем Лизон. Она — мать Лизон.

А я несчастный тип и грязный дурак.

Я произношу, с гримасой, которая должна изображать улыбку:

— Кажется, мы собираемся разыгрывать сцену из "Дамы с камелиями", но наоборот. Вы папаша Дюваль, а я мерзкая куртизанка, пожирательница маленьких детей.

Это не рассмешило ее. На ее месте я тоже не смеялся бы. Она смотрит на меня удивленно. Именно так: удивленно.

— Дорогой месье... Нет, дорогой Эмманюэль... Вы позволите мне называть вас Эмманюэлем?

Я больше не понимаю, где я и что со мной. Не успеваю ответить, как она продолжает:

— Дорогой Эмманюэль, вы конечно же поняли, что я знаю все о ваших... отношениях с моей дочерью, собственно, это единственная общая тема, интересная для нас обоих, которая оправдывает мое вторжение к вам.

— Могу я спросить у вас, мадам, как и через кого вы узнали о наших... отношениях?

— Вы можете спросить об этом, впрочем, вы это уже сделали, но я вам не отвечу. Больше не прерывайте меня, пожалуйста, то, что я собираюсь вам сказать, и так довольно затруднительно. Вам, я думаю, лет тридцать пять. Лизон нет еще девятнадцати. Разница в возрасте не слишком большая. Я не думаю, что вы то, что обычно принято называть выгодной партией или даже просто подходящей. Ваши заработки очень небольшие и случайные. Не хочу вас обидеть, но у вас довольно жалкое жилище. У вас нет, извините меня, никакого будущего. Учитывая все это, есть ли у вас намерение жениться на моей дочери?

Хорошо ли я расслышал? Кажется, ход событий уклоняется от предусмотренного маршрута. Произошел поворот, я не в силах уследить. Я перехожу от ошеломления к изумлению. Это должно читаться у меня на лице.

Она кладет руку на мою. Ее рука на моей руке... Она произносит совершенно невероятные слова:

— Эмманюэль, вы спасли мою Лизон.

Она вздыхает. Не знает, с чего начать. Я жду, сосредоточив все свои чувства в руке, лежащей под ее рукой.

— Лизон всегда была, как бы выразиться, "трудным случаем". Совсем маленькой она уже была исключительно сильной личностью. Она знала, чего хочет, как говорится, и не отступала до тех пор, пока не добива-

лась желаемого. Мне нет необходимости расхваливать перед вами ее ум. Она проявила его очень рано. Она красива, это вы тоже знаете. Веселая, привлекательная, добрая, непосредственная... И цельная, таинственная, своенравная... Романтичная, сказали бы в прошлом веке. Порывистая, сказала бы я. В мгновение ока она переходит из одной крайности в другую, от восторженной экзальтации к отчаянным рыданиям. Абсурдность и несправедливость общества так возмущают ее, что доводят до болезни. Спокойный цинизм власть имущих заставляет ее видеть мир в виде кровавой бойни и держит ее в состоянии почти патологической тревоги. Она избегает общества молодых людей, которых она находит пустыми и циничными карьеристами. И в самом деле, нынешние подростки более не пылают прежним благородным негодованием... Лизон выносит только общество Стефани, подруги детства.

Она делает паузу. Я пользуюсь этим, чтобы предложить ей:

— Вы действительно не хотите чаю? Это ведь быстро, раз — и готово.

Она отрицательно качает головой:

— Нет-нет. Спасибо. Дайте мне высказаться до конца.

Она вынимает сигарету, хочет ее прикурить, отказывается от этого. Я смотрю, как двигаются ее руки.

— Я не осознала хорошенько май шестьдесят восьмого, я тогда была еще маленькой девочкой. Однако я училась — ничтожно мало! — в годы, которые последовали за волнениями. Как и вся тогдашняя молодежь, я была увлечена благородными идеями... Вспомните, мы хотели изменить мир! Старым крокодилам, их системе и их слугам не было места в нашем представлении о будущем.

Она задумчиво качает головой. Я говорю:

— Я тоже основательно этим увлекался. И я не изменился. Мы были правы. Мы обвиняли, вспомните, "общество потребления". Но выиграло именно оно, подлое. Выиграли старые чудовища. И сама их победа доказывает, до какой степени мы были правы. Они прибрали к рукам ту восторженную молодежь, обесчестили ее, интегрировали в свой прогнивший мир, испортили до такой степени, что она стала кичиться своим собственным отступничеством, ловко использовали взрывную энергию молодого поколения к наибольшей выгоде той самой системы, которую оно ненавидело. Гонка за прибылью, честолюбие, карьеризм демонстрировались с гордостью, рассматривались как наивысшие добродетели, в то время как благородные принципы осмеивались с тем цинизмом, который выдается за юмор. Народ копается в дерьме из страха перед умело регулируемой безработицей. Ему не дают поднять голову, с помощью средств массовой информации нагнетая страсти, отвлекая внимание на идиотские и подлые шовинистические игры: футбол, теннис... Вообще-то я увлекся и заставил вас выслушать целую речь старого разочарованного бойца! Извините меня.

Ее глаза блестят. Слишком. Слезы совсем недалеко. Она перехватывает эстафету и мрачным тоном продолжает:

— Ренегаты торжествуют победу, мятежники стали лакеями, высокомерными лакеями. Они презирают, поднимают на смех "бедных дурачков", которые не смогли приспособиться: "Пассеист![1] ", "Рохля!" Для них нет брани хуже... Левые были у власти вполне достаточно, чтобы показать, до какой степени они, может быть сами того не зная, заражены вирусами пресловутого общества потребления.

1. Человек, живущий прошлым.

Я горячо прерываю ее:

— Нет! Не "сами того не зная". Совсем не так. Эти левые прекрасно все понимают. У них своя роль в большой игре одураченных. Они соглашаются быть приманкой, чтобы заставить поверить, что в политической игре не только деньги. Сегодня они существуют за счет последних остатков великой надежды, которая оказалась ложью. Потому что всегда есть люди, которые не хотят верить, что реальность настолько гнусна, и отчаянно цепляются за лохмотья надежды.

— И мы живем во всем этом. В этой клоаке. Мы подбираем жалкие крохи, чтобы не сдохнуть. Чтобы спасти имидж. Пристойность, не так ли...

Как мы пришли к разговорам о политике? Какое отношение имеет ко всему этому Лизон? Я позволяю себе вольность. Беру за плечи, ищу ее взгляд и спрашиваю в упор:

— Только ли портрет Лизон вы набросали? Не получился ли он немного и вашим собственным?

Ее взгляд избегает моего. Ее нижняя губа дрожит. Она вся — воплощение растерянности и чувства вины.

— Я была сумасшедшей. Время было сумасшедшим. Свобода ударила нам в голову. То, что мы считали свободой и что было только речами о свободе. Мы опьянялись речами, не замечая, что это всего лишь слова. Сотрясение воздуха. Я полюбила. И отдалась любви без расчета. В первый раз молодое поколение открывало любовь без оговорок, без лицемерия. Так называемая сексуальная революция. Он был таким же новичком, как я. Я забеременела. Мне едва исполнилось восемнадцать. Я была беременна Лизон. Я находила это восхитительным. Хотела одна воспитывать моего ребенка, взяв на себя полную ответственность. Разумеется, я видела в этом вызов установленному порядку, но вполне ясно представляла себе будущее. Может быть, что-то смутно говорило мне, что я не была так уж влюблена, как хотела в этом себя убедить, что я себя обманывала... Возможно, именно инстинкт, или называйте это как хотите, толкал меня к тому, чтобы самой быть хозяйкой своей жизни и жизни своего ребенка. Только он, отец, парень из хорошей семьи, не хотел и слышать об этом... Проснулись его буржуазные принципы... Чувство собственности — это ведь и мое? В общем, все та же песенка о правах отцовства... Но может быть, вы тоже отец?

Я утвердительно киваю головой без особой гордости.

— Тогда вы понимаете. Он хотел все "упорядочить". Речь шла не только о вопросе морали. Он любил меня. Или верил, что любит, разве любовь не акт веры? А я, по правде говоря, оказалась не готова к сопротивлению.

Она улыбается одновременно печально и лукаво:

— Видите ли, в этом, как во многом другом, я отличаюсь от своей дочери. У меня нет такой силы характера, как у Лизон. А она сумела бы настоять на своем. Ее "нет" было бы непререкаемым, чего бы потом ей это ни стоило.

Я киваю. Это правда, она такая, Лизон.

— Мы сняли маленькую двухкомнатную квартиру. Мы ничего не зарабатывали. Его родители помогали нам. Роды были трудными, я очень медленно приходила в себя. И у Лизон первое время было хрупкое здоровье. Короче, мне пришлось оставить учебу, потом найти работу. Еще не было такой безработицы, как сейчас, но все же устроиться было не-

легко. Я немного знала английский, научилась печатать на машинке и нашла работу секретарши в одной конторе по импорту-экспорту. Мне приходилось туговато — ясли, покупки, ну, в общем, как всем работающим женщинам. А муж продолжал учебу, он был старше меня на три года, прилежно, всерьез занимался, хотел преуспеть. И преуспел. Благодаря отличному аттестату он сразу же получил место инженера в большой фирме, со скромной зарплатой, но многообещающим будущим.

Мы составляли то, что наши умиленные семьи называли "очаровательной парой". А потом что-то произошло. Может, это где-то тлело с самого начала... Я заметила, что он меня презирает. Скорее всего, бессознательно. Но в его отношении ко мне чувствовалось раздражение, которое потихоньку росло и которого уже нельзя было не замечать.

Я восклицаю:

— Презирать вас, вас! Как это возможно?

Она безрадостно улыбается:

— Очень даже возможно. Не думаю, что я глупа, но, конечно же, я не из тех, кого называют интеллектуалками. Должно быть, я была довольно бесцветной.

Делаю протестующий жест. Она поднимает руку:

— Да, представьте себе, бесцветной. Я совсем не заботилась о своем внешнем виде. Так и осталась хиппи. Одевалась, как переросший подросток, в тряпки от старьевщиков, которые казались нам такими забавными и бросали вызов костюмам-тройкам и нарядам от знаменитых кутюрье. Я предполагаю, что по роду своей работы ему приходилось иметь дело с образованными женщинами, дипломированными и уверенными в себе, и по контрасту с ними я выглядела если не домохозяйкой, то переросшей бунтаркой шестьдесят восьмого года, с которой неловко появляться в свете.

Пристальный взгляд, которым я ее оглядываю с головы до ног, кричит о моем недоверии. Она протестует улыбкой, которая уже не так горька. Я осмеливаюсь сказать:

— Какое же ничтожество этот парень.

Она продолжает:

— Он все чаще оставался на работе допоздна из-за срочной работы. По правде, он умел заставить ценить себя. Ему доверяли важные дела. У него появилась страсть: честолюбие. Он отдавался этой страсти полностью. Очень скоро я почувствовала себя брошенной с малышкой, в то время как его презрение ко мне из-за недостатка во мне светскости, из-за непрестижной работы, где, впрочем, мне было смертельно скучно, все росло. "Чем занимается ваша жена? — Гм... Работает секретарем". Не очень-то звучит, не так ли?

— Что же дальше?

— Я взбунтовалась.

— То есть?

— О, будто вы сами не догадываетесь! У женщин один способ взбунтоваться!

— Ну да. Конечно. И...

— Он об этом узнал, разумеется. Впрочем, я вовсе не скрывала. Я еще наивно верила в наши столь громогласно провозглашенные принципы сексуальной свободы и свободы чувств. Может быть, тут примешивалось лукавство: я была не прочь доказать, что его жену могла оценить по достоинству настоящая знаменитость.

— Действительно кто-то очень известный?

— Можно сказать, прославленный, не чета мужу.

— Седые виски, моложавый вид, умеет дарить цветы и выбирать вина, одновременно опытный и страстный любовник?

Должно быть, я позволил себе слишком много. Она краснеет, хмурит брови, но потом решает засмеяться:

— Такова общепринятая модель?

— Прототип обольстителя молодых и красивых женщин, мужьям которых глаза застило, извините, всякое дерьмо. А дальше?

— Ужасно. Он был невыносимо унижен. Унижен, понимаете? Не ревновал, а был унижен.

— Может быть, это еще хуже. Хотя одно другому не мешает.

— В доме настал ад. Сцены, крики, брань, испуганный ребенок — все как в добром старом фильме. Вдруг он понял, что я ему нужна. Требовал порвать. Или умолял, когда как. Но случилось то, чего он не мог принять, не мог понять и что меняло все: я любила. Безумно. Смертельно.

— А он? Я хочу сказать: другой?

— О, он любил меня, никто еще меня так никогда не любил и не полюбит. Думаю, мало женщин были так любимы.

На этот раз она не сдерживает слез, которые водопадом катятся по щекам. Должен ли я предложить ей свой платок? Чистый ли он? Есть ли у меня бумажные салфетки? Если да, куда, черт побери, мог я их засунуть?.. Она поворачивает ко мне лицо, которое у другой претерпело бы катастрофические изменения из-за растекшейся краски. Она же сумела стать прекрасной по-другому, еще более прекрасной. Трогательной? Я думаю, что это как раз подходящее слово. Она выдавливает робкую извиняющуюся улыбку:

— Хорошенький вид у меня, должно быть! Господи, о чем вы заставляете меня рассказывать! Мы должны были бы говорить о Лизон...

— Говорить о вас — это говорить о Лизон. В хронологическом порядке. Надо же было начинать с начала. Мы остановились на вашем открытии любви. Я полагаю, что кончилось тем, что вы бросили вашего мужа?

— Я готова была это сделать. Если бы Жак сказал: "Переходи ко мне", я бы побежала. Вместе с дочкой, разумеется.

— Но, увы, он был женат.

— Он был женат. Архиклассический случай, не так ли? Я действительно была маленькой дурочкой, которую ничего не стоило подобрать... Нет. Я несправедлива к нему. Он любил меня — он все еще любит меня — страстно. Мы видимся изредка. Мы не "остались друзьями", есть ли смысл в этой формуле? Мы разлученные любовники, как в песне. Он никогда не смог бы причинить жене боль, бросив ее. Между нами говоря, я уверена, что она перенесла бы его уход намного легче, чем он думает, да еще алименты помогли бы... Короче, развод. Я оказываюсь с дочкой в мансарде. Любовь освещает мою жизнь. Мы переживаем часы, наполненные счастьем. Я жду, когда Жак наберется смелости развестись. Время проходит. Его жена тяжело заболевает. Он переживает, не покидает ее изголовья. Я понимаю наконец, что любовь не всесильна. Есть слишком слабые души, которые, не будучи в силах перенести мысль о том, чтобы причинить боль, до бесконечности откладывают решение, разрушают сами себя и, естественно, своей нерешительностью приносят окружающим еще большие несчастья. Это можно назвать трусостью, но от этого не легче... Я приняла решение порвать. Вот и все. Вырасти-

ла дочь одна. Мое положение понемногу улучшилось, сегодня я зарабатываю на жизнь довольно неплохо. Вы удовлетворены?

Она вновь овладела собой. Несколько секунд проходит в молчании. Потом, так как все же надо, чтобы кто-нибудь из нас на это решился, я спрашиваю:

— А теперь не скажете ли, о чем вы пришли поговорить?

Она поворачивается ко мне. Подозревает ли она о том действии, которое производят на меня ее глаза, погруженные в мои?

— Эмманюэль, любите ли вы Лизон? Очень ли вы ее любите?

Вопросы, на которые ни один мужчина не сможет ответить прямо. Поэтому я отвечаю уклончиво:

— Разумеется.

— Нет! Не "разумеется"! Любите ли вы ее всей душой? Любите ли вы ее так, как она вас любит? И знаете ли вы, до какой степени она вас любит?

Она сжимает мне предплечье. Ее пальцы причиняют боль.

— В Лизон — вся моя жизнь. Это чудесный подарок судьбы. Мать, которая говорит, что любит своего ребенка, — персонаж мелодрамы в духе мыльной оперы. Но я говорю это. Я люблю Лизон больше жизни, любовью гораздо большей, чем просто материнская любовь. Лизон — это свет. Лизон — сама чистота. Невинная, как котенок, прямая, как луч солнца. Она не должна страдать. У нее нет защиты от страданий. Она настолько же хрупка, насколько доверчива. Предательство, даже подозрение в предательстве было бы для нее роковым. Она может умереть.

Я молча слушаю. Я знаю это.

— Она решила, что вы Избранник. Способны ли вы выдержать такую любовь?

— Разве у меня есть выбор?

— Нет. Вы оказались на ее пути. Она могла бы не встретить вас, не встретить своего Избранника. Но случилось то, что случилось. Тут ничего не поделаешь.

— Судьба! Вот мы и очутились в романе с продолжением.

— Не смейтесь. Есть люди, которых сам их темперамент обрекает на роман с продолжением.

— Меня не нужно уговаривать любить Лизон. Я люблю ее безумно, безоглядно. Одна лишь мысль, что я могу ее потерять, внушает мне панический страх. Впрочем, я поначалу решил было, что вы пришли именно за тем, чтобы просить меня отказаться от нее.

— Это было бы абсурдно. Вы делаете мою дочь счастливой, более чем счастливой. С какой стати мне понадобилось бы разрушать ее счастье?

— Ну, ее возраст... Мой возраст... И потом, вы могли бы узнать обо мне, ну... Всякое.

— Я знаю все о вас. Вы слышите? Все. К тому же из источника, мало расположенного к снисходительности.

— Мне кажется, я догадываюсь, что это за источник...

— Не имеет значения. Вас не пощадили. Но есть одна вещь, которую забыли мне сообщить, очень важная вещь, которую я узнала от самой Лизон: вы ей не солгали. Она все знала, когда вас выбрала, пришла к вам, осталась с вами, доверила вам свою жизнь. Именно она приняла решение, она вас добилась.

А когда Лизон принимает решение...

— Вы спросили меня в самом начале разговора, рассчитываю ли я жениться на Лизон.

— Верно. И что? Каков ответ?

— Видите ли... Брак не входит в мои планы.

— Счастлива слышать это.

— Простите?

— Если бы вы ответили мне "да", во-первых, я знала бы, что вы солгали: у вас есть законная жена, с которой вы расстались, но не развелись. Затем, даже если вы были бы... свободны, я отговорила бы вас. Лизон просила вас об этом?

— Нет.

На самом деле, сцена, что мы сейчас разыгрываем, вовсе не обратная версия "Дамы с камелиями". Диалог принимает все более удивительное направление. Очень спокойно она говорит:

— Пусть все останется как есть. Не меняйте своего решения. Не женитесь на Лизон. Не делайте ей ребенка. Ничего непоправимого. Любите друг друга, дайте друг другу все возможное счастье, но будьте свободными один от другого. Не живите вместе: очень быстро это превращается в ярмо, в привычку, в пресыщение, в медленное соскальзывание к обыденности.

Должно быть, она увидела в моем взгляде что-то, чего я вовсе не хотел показать, что мелькнуло в нем помимо моей воли, так как она нашла нужным оправдаться:

— Не посчитайте меня слишком поспешно эгоисткой и ревнивой матерью или расчетливой особой, жертвующей второстепенным ради главного и ожидающей, что после окончания приключения блудное дитя бросится в ее объятия и они смешают сладкие слезы встречи. Прошу вас, поверьте в мою искренность, поверьте, что я не спятила и не ищу выгоды и что я от всей души хочу, чтобы Лизон была счастлива, чтобы она не повторила моей плачевной судьбы. Оставьте мне Лизон, да, я говорю вам это без зазрения совести, я не стану давить на нее, как не делала этого и раньше. Ее прибежище будет у меня, вот и все. Мы будем говорить о вас.

Волнение перехватило мне горло. Эта женщина находит в себе смелость вести себя так, как ни одна мать не повела бы себя в подобных обстоятельствах. В лучшем случае "понимающие" матери закрывают глаза в ожидании того, чтобы юность прошла, таковы, мол, нынешние нравы, не правда ли? Эта же оберегает Лизон с чуткостью волчицы, разделяя мораль дочери, они единомышленники. Каким образом она догадалась, что я не смогу причинить боль Лизон? Она знает обо мне все. Она знает, что Лизон не единственная, и принимает это... С меня снято бремя вины! Значит, существует женщина, мать, которую мое "патологически буйное либидо", как говорит Агата, не шокирует, для которой я не являюсь чем-то вроде монстра, которая даже доверяет мне счастье, жизнь своей возлюбленной дочери... Может быть, это Лизон ее убедила? Из них двух, матери и дочери, Лизон сильнее. Лизон знает, чего хочет, и добивается своего. Столкнувшись с действием такой воли, ее мать, восторженная, но внушаемая, вечная жертва, вечно виноватая, совершенно не способна ей сопротивляться.

Я чувствую облегчение и одновременно слегка удручен этим подобием материнского благословения. Я ощущаю, как испаряется дух чего-то запретного, который окутывал наши встречи. Я считал, что мы защищены покровом тайны, и вот мне объявляют, что мы были на свету и за нами следили чьи-то глаза, доброжелательные конечно, но все равно

нескромные. На ум мне приходит одно слово: теща... Это похоже на правду! Что-то изменилось. "Она" всегда будет с нами. Я говорю себе, что больше не смогу не думать о ней даже в наши самые интимные моменты. Отныне нас трое...

Дойдя до этой темы в своих размышлениях, я признаюсь себе, что такая идея волнует меня "кое-где", она пробуждает во мне странные и смущающие видения. Заниматься любовью с Лизон и с матерью Лизон одновременно... Я спрашиваю у нее:

— Вы знаете мое имя, а я вашего не знаю.

Она улыбается:

— Это не секрет! Изабель.

Что за дьявол толкает меня взять ее руки, соединить их в моих и вздохнуть:

— Изабель...

— Да?

— Изабель, есть одно новое обстоятельство. Что-то такое, что вовсе не облегчит нам жизнь, ни одному из нас троих.

Она ждет молча, сжав губы. Можно подумать, она знает, что я сейчас скажу. Нечто чудовищное. Тем хуже, я говорю:

— Дело в том, что с тех пор как вы вошли в эту дверь, ну, в общем, я люблю вас, Изабель, люблю вас! Смертельно. Верьте мне.

Она не вздрагивает, не отнимает рук. Ее глаза грустны и нежны как никогда, ее улыбка выражает все сожаление мира.

— Лучше было бы ничего не говорить, Эмманюэль.

Я чувствую, как ее руки сжимаются в моих. В первый раз ее такие ясные глаза избегают моих. Но... Она взволнована так же, как я, честное слово! Подумала ли она о том же, о чем подумал я? Представила ли себе то же, что я? И взволновало ли это ее так же, как меня? Но тогда... Не в одной только моей голове расцветают фантазии! Она разделяет мою горячку, вторгается в мой бред, словно я ввел ее за руку... Мать и дочь на одном и том же ложе... Преступный соблазн кровосмешения. Пусть это только греза, но разделенная греза очень близка к реальности. Я говорю себе, что она будет думать обо мне "в такие мгновения", так же, как я думаю о ней. Что мое наслаждение вызовет у нее наслаждение-двойник, может быть даже одновременно. Моя экзальтированность так велика, что я готов поверить в передачу мыслей.

Я подношу ее руки к губам, одновременно лаская себя ими и целуя их. Она часто дышит, будто задыхается. Ее грудь колеблется в такт дыханию... О, какие усилия мне приходится прикладывать, чтобы сдержаться и не припасть к ее груди!

Желание захватывает меня, я всего лишь самец, сорвавшийся с цепи и одержимый похотью... Зачем сдерживаться, зов пола ревет в ней, как во мне, мы слишком много любезничали на манер персонажей Мариво, слишком играли словами и гибельными заклинаниями, и вот теперь оказались перед моментом истины. Я заключаю ее в объятия, я ищу ее рот...

Она первая опомнилась. Она вырывается из моих рук, отталкивает меня, бледная, решительная:

— Нет, Эмманюэль.

Она встает, поправляет одежду. У меня такой вид, какой бывает у всех мужчин в подобных обстоятельствах: растерянный. Я что-то бормочу. Например:

— Простите меня.

— Не говорите напрасных слов. Прощать нечего. Я хотела этого так же, как вы. Но этого не будет. Нельзя, чтобы это случилось. Это было бы... Это было бы...

— Чудовищно?

— Я не искала такого чрезмерного слова. Я не сужу. Это было бы ужасно, вот и все.

— Я думаю, что Лизон в состоянии понять многое, гораздо больше, чем вы предполагаете.

— Может быть. Даже наверняка. Но... я сама? Смогу ли я долго быть "понимающей" сама? Не стану ли я ревновать к моей Лизон? Ненавидеть ее, кто знает? В таком случае мы действительно окажемся в чем-то чудовищном! По уши!

— Но опасности нет! Великий поток взаимной любви осеняет вас и Лизон. Я только вспомогательный элемент. Скажем... катализатор. О, катализатор, который вовсе не жалуется на свою судьбу...

Она взъерошивает мне волосы:

— Милый ветреник!

— Ветреник, это правда. С той только особенностью, что мою любовь не уносит ветер. Влюблен однажды, влюблен навсегда. И с вами так же, Изабель. Я люблю вас, я буду любить вас всю жизнь, что бы ни случилось.

— Тогда любите Лизон из любви ко мне. Но чтобы никогда больше об этом ни слова.

Она краснеет, добавляет совсем тихо:

— Любите меня в Лизон.

— Я вас уже любил в ней, не зная того. Теперь знаю.

— Поклянитесь, что не будете об этом больше говорить.

— Я не клянусь. Я ограничиваюсь тем, что не лгу.

Согласен. Буду молчать. Это станет нашей тайной.

Дверь хлопает. Оказывается, я не запер ее. И кто же появляется с растрепанной ветром гривой и швыряет свои книжки, даже не глядя, куда они упадут. Лизон, конечно. Лизон, сияющая, как всегда, когда приходит, особенно если это неожиданно.

Она слегка пятится от удивления при виде матери, и сразу же следует взрыв ликования:

— Мама! Как я рада! Я знала, что в конце концов ты придешь!

Очная ставка. Изабель, красная от смущения, готовая от чувства вины провалиться сквозь землю, виноватая неизвестно в чем, виноватая только потому, что уродилась такой... А я застыл, как застигнутый ревнивым мужем любовник.

Лизон бросается матери на шею, душит ее поцелуями. Она заметила ее растерянность. Ничто не ускользнет от Лизон.

— Садись, мама. Я бы выпила баночку пива. У тебя нет пива на холодке, Манюэль?

— Я уже уходила, — говорит Изабель.

— Да, но ты больше не уходишь: я же здесь. О, как здорово быть всем вместе!

Она бросается с размаху на диван, который испускает жалобный скрип расшатанных пружин. Она широко раскрывает руки.

— Ты не поцелуешь меня, Эммануэль?

Как будто не заметила, что присутствие Изабель страшно стесняет меня. Я знаю, что она все знает и во всех подробностях, и что мы цивилизованные люди, свободные от вульгарных предрассудков; и что разговор, который только что имел место, должен был бы полностью раскрепостить меня, однако, делать нечего, мне не удается соответствовать. Я хотел бы, например, чтобы Изабель отвернулась, собственно такой пустяк. Кажется, что она меня услышала, — решительно, это телепатия! — потому что направляется к стопке книг и начинает листать одну из них.

Бурная, страстная, долгая, такова наша встреча. Если бы тещи — боже мой, нельзя, чтобы я привыкал так называть ее, даже в шутку, даже про себя! — если бы Изабель здесь не было, мы бы пошли гораздо дальше взаимных ласк губами и языком. Но она здесь. Все имеет предел. Лизон нехотя отнимает свой язык, отстраняет меня рукой, чтобы хорошенько рассмотреть, и восклицает:

— О, как я его люблю, мама! Я его люблю! Эмманюэль, ты знаешь? Я тебя люблю.

Одним прыжком она вырывается из вмятин дивана, обнимает Изабель и, грозя ей пальцем, осведомляется:

— А ну-ка, признавайся, что произошло, у тебя только что был весьма странный вид. Вид маленькой девочки, которую чуть было не застали с пальцем в банке варенья. Впрочем, у Эмманюэля тоже был не такой уж уверенный вид. Уж не прервала ли я невольно начало очаровательной идиллии? Сознавайся!

С моим глупым хихиканием все ясно. Что же касается Изабель, она краснеет — она часто краснеет — и со смешком, прозвучавшим фальшиво, как треснутый колокол, произносит:

— Лизон, прошу тебя...

Лизон ведет ее к дивану, заставляет сесть и знаками дает понять, что мне надо сесть рядом с ее матерью. Достигнув желаемого, она принимается ходить взад-вперед перед нами, заложив руки за спину, опустив голову, как преподаватель, собирающийся с мыслями, прежде чем начать речь. Наконец хождение прекращается. Лизон останавливается перед нами, суровая, но справедливая. Она начинает:

— Дети мои, дорогие мои малыши, вы причиняете много неприятностей тете Лизон. Вы ведете себя очень плохо. Вы умираете от желания, это совершенно очевидно, броситься друг к другу и друг на друга и совершить все, что человеческие существа противоположных и примкнувших к ним полов, с успехом перевалившие пик половозрелости и испытывающие один к другому живое влечение чувственного свойства, умирают от желания совершить... Нет, не прерывайте меня, ученица Изабель. И при всем при том, когда приходит ваша тетя Лизон, которая вас так любит, что вы делаете? Очень гадкую вещь: вы притворяетесь, будто ничего такого нет. Вы пытаетесь все скрыть от тети Лизон. Знаете ли вы, как это называется? Это называется лицемерием. Мои дорогие малыши, знайте, что лицемерие — это гадкий недостаток. Очень, очень гадкий. Но тетю Лизон не обманешь. Тетя Лизон видит все. Тете Лизон очень грустно, когда она видит, как маленькие лицемеры прячут от нее свою любовь, или того хуже — не осмеливаются любить. Это очень гадко, очень плохо для здоровья, и это причиняет боль тете Лизон. Какие будут замечания?

Изабель делает робкую попытку объясниться: “Лизон, прошу тебя...”, что остается незамеченным. Собравшись с духом, я спрашиваю:

— Лизон, куда ты клонишь?

Она поднимает руку успокаивающим жестом:

— Терпение. Скоро конец.

Она прочищает горло, сводит концы пальцев и важно продолжает:

— Мои малышки, если есть на свете вещь, которую тетя Лизон не в силах перенести, то это сознание, что те, кого она любит, несчастны. Ведь мы несчастны, когда нам приходится лишать себя того, чего мы очень сильно желаем. Значит, вы несчастны. Тс, тс... Ученица Изабель, вы будете говорить, когда наступит ваша очередь. И кто же те существа, кого тетя Лизон любит больше всего на свете? Вы двое, ну да, мои ягнятки! Вывод?.. Ученица Изабель, теперь вы можете говорить. Я даю вам право сделать вывод.

Кажется, Изабель уже немного пришла в себя. Она поднимается с дивана и, стоя, более уверенным голосом, в котором даже слышится нотка оскорбленного достоинства, произносит:

— Лизон, моя дорогая, я еще не опустилась до такой степени, чтобы моя дочь должна была одалживать мне своего любовника.

Лизон трудно переубедить.

— Но это очень вульгарная мысль, мамочка. Недостойная нас. Неужели я слышу это от тебя? Ты отказываешься от себя самой. Присоединяешься к стаду.

Изабель поднимает глаза к небу.

— Ты меня не поняла. В том, что я сказала, нет ни капли заботы о приличиях или о "морали". Просто дадим возможность действовать времени, обстоятельствам... Если что-то должно произойти, оно произойдет. Тебе нет никакой необходимости заниматься посредничеством.

— Ну вот, теперь я посредница! Лучше сказать — сводница.

— Пожалуйста, Лизон. Я не расположена к шуткам. И знай, что, когда ты вошла, мы как раз окончательно решили этот вопрос, Эмманюэль и я.

— О-кон-ча-тель-но? Как будто в этом деле существует что бы то ни было окончательное! И я предполагаю, окончательно в отрицательном смысле?

Изабель словно идет по горящим углям. Я считаю, что пришла моя очередь вмешаться:

— Да, Лизон. Именно в отрицательном. Скажем, мы обязались... гм... как это сказать... не переходить к акту.

Дрянная девчонка разражается смехом.

— О, понимаю! Платоническая любовь. Самый что ни на есть утонченный мазохизм для любого, кто не является евнухом! Вы же усохнете и сдохнете от этого, мои бедняжки! А ты в особенности, мама. У Эммануэля найдется, чем усмирить зверя.

— Вряд ли я так уж усохну, — говорит Изабель, уязвленная. — Как вы считаете, Эмманюэль?

— Вы восхитительны, — говорю я с таким жаром, что Лизон начинает смеяться.

— Ты говоришь, что она восхитительна. Ну давай, восхищайся ею, дурачок!

— Я и восхищаюсь!

— Прекрасно. В чем же проблема?

— Вообще-то нет проблемы. Я люблю тебя, и я люблю Изабель через тебя. Изабель, в которой столько тебя. Ты наша точка пересечения, наше

место совпадения. И, любя тебя, каждый со своей стороны, мы любим друг друга. Вот и все.

Не знаю, был ли я достаточно убедителен. Лизон взвешивает сказанное.

— Подожди, подожди! Если я правильно поняла, когда ты занимаешься любовью со мной, ты одновременно занимаешься этим и с мамой?

Обобщение выглядит суховатым. Я говорю:

— Ну...

— Глуповатая историйка, правда ведь?

Она встряхивает головой.

— Послушайте. Все эти ваши выдумки довольно вредоносны. Полно темных закоулков, где кишат целые кучи мерзких тварей. Слишком тяжелая ноша для моих еще хрупких плеч... Чего, собственно, вы добиваетесь? Вы, похоже, сговорились усложнять себе жизнь! Вы действительно не можете уладить дело добрым старым классическим методом, уже оправдавшим себя? Знаете: цветок мамы, семечко папы и все такое? Говоря себе, что это доставит столько удовольствия Лизон?

Она делает паузу, смотрит на нас, ожидая ответа. Но что ответить? Нечего. Я и не отвечаю. Изабель опускает голову. Лизон начинает нервничать:

— В конце концов, Эмманюэль, она что, некрасивая, моя мама? Разве она не прекрасный плод во всем блеске зрелости? Разве она не лучше меня в тысячу раз? Признайся, Эмманюэль, ты находишь ее более красивой. Я — это всего лишь обещание ее. Она — это я совершенная. Расцветшая. Наполненные формы. Сочная. И можно потрогать, не желатин какой-нибудь! Мышцы под кожей ангела! Подходите, дамы и господа, можно пощупать, можно потрогать, вот это порода!

Когда Лизон валяет дурака, невозможно устоять. Изабель смеется. Я смеюсь. Но наши взгляды красноречиво свидетельствуют о том, что происходит в другом месте. Именно "низы" реагируют на все с наибольшим энтузиазмом и, конечно, на свой манер. В атмосфере висит изрядная доза эротики под давлением. Я вижу, что в перспективе наклевывается момент, когда мы все можем очутиться на одном и том же ложе, я между матерью и дочерью, ситуация несомненно вдохновляющая для некоторых, но я нуждаюсь, осмелюсь сказать, в близости тет-а-тет. Я ищу достойного выхода:

— Хватит, Лизон. Ты нас смертельно возбудила и в то же время смертельно подавила.

— Скажи лучше, устроила вам пытку!

— Я бы не мог сказать лучше.

— Мне надо идти, — говорит Изабель.

XI

Я валяюсь в постели. Думаю о Лизон, об Изабель, о Лизон, об Элоди, о Лизон... О первой тучке в нашем безмятежном небе. Только Изабель ушла, Лизон накинулась на меня с упреками, по ее мнению, я должен был бы быть нежнее с ее матерью.

— Вы просто подыхаете! Вы сохнете на корню, как закомплексованные идиоты! Я хочу, чтобы мама пошла на это. Я хочу, чтобы она была счастлива.

— Не думаю, что она была бы "счастлива". Во всяком случае, непродолжительно. У нее мимолетное увлечение, каприз одинокой женщины. Я никогда бы себе не...

— А если даже так? Почему же она не имеет права на увлечение? Вы такие красивые оба! Это должно быть сказочно...

— Лизон!

— Молчи! Ты хочешь сказать: "Это было бы непристойно" или еще какую-нибудь чушь.

— У меня есть ты, Лизон. Мне достаточно тебя.

— Тебе достаточно меня? А твои другие дамы? Тебе не кажется, что ты настолько сентиментален, что потерял чувство реальности? Я тебя ни в чем не упрекаю, заметь.

— Те, другие, не являются точными копиями тебя.

— Ох-ох-ох... Ты пожирал ее глазами. Безумие, так портить себе жизнь! Все кругом считают себя свободными от предрассудков, но стоит чуть поскрести, и тут же вылезают рефлексы старого доброго конформизма.

В этот момент я делаю огромную глупость. Я говорю:

— Лизон, у меня такое впечатление, что ты толкаешь меня в объятия матери, чтобы подготовить свой уход...

— Что ты сказал?

— ... и когда все сладится, она и я, ты потихоньку отдалишься от меня... Старики со стариками, разве не так?

— О, дурак. Гадкий дурак...

Она бледна. Молча подбирает свои книжки и уходит. Даже не хлопнула дверью. Она ушла.

Из-за сказанной мною глупости, в которую не верил я сам.

Хлопает входная дверь. Я опять забыл запереться на замок. Мое сердце начинает колотиться: Лизон вернулась, она простила меня? Изабель явилась как посол, но с задней мыслью? Я не знаю, из-за кого оно бьется сильнее, мое сердце. Волнующий момент. Переступит порог та или другая, все равно это будет победа, это будет праздник! Вдобавок, если это Изабель, мне предстоит испытать пряное чудо первого раза, несказанного мига, когда страстно желаемая женщина наконец открывает тебе свое сокровенное... Под своим одеялом я вдруг возбуждаюсь, как осел, охваченный похотью.

Ни та, ни другая. Это Стефани. Разочарование. В штанах из вельвета в крупный рубчик, в свитере с высоким воротом и без боевой раскраски. Мне не придется защищаться от ее атак, и на том спасибо... А что же мне делать со здоровенной дубинкой, которая буянит в тепле одеяла?

Когда Стефани появляется, звучит сигнал тревоги. Я занимаю позиции обороны, ожидая подлых выходок. Эта дрянь, которую плохо удовлетворили (об этом я толком ничего не знаю, но поспорил бы на что угодно), пришла с самыми дурными намерениями, это, по крайней мере, я знаю наверняка. Она злючка от природы — извращенка, сказала бы Ага-та, — сеятельница неприятностей. Я вопрошаю без намека на вежливость:

— Зачем явилась?

Она улыбается чисто по-кошачьи. Это очень идет ее хорошенькой мордочке, освещает ее. Жаль, что глаза совсем не участвуют. Она говорит:

— Ты не очень-то вежлив со сна. Мог бы поздороваться со мной.

— Здравствуй. Что дальше?

— Не поцелуешь меня?

— Нет.

— А я тебя поцелую.

Она меня целует. Прямо в губы, лакомка. Она пожирает меня, раздавливая губы, всасывая язык, облизывая десны, затопляя мой рот слюной... Она слишком часто ходит в кино, это не самое лучшее для просвещения в делах любви. Не знаю, доставляет ли это удовольствие ей самой, а я задыхаюсь, я пытаюсь ее оттолкнуть... Но вот, о дрянь такая, она сует руку под одеяло и крепко хватает меня. Слишком крепко, эй, ты делаешь мне больно! После этого я уже не в силах контролировать ситуацию. Ярость похоти опрокидывает доводы рассудка, а я опрокидываю Стефани, срываю с нее свитер, штаны и... ничего, больше нечего срывать, никакого нижнего белья, хитрая девчонка подготовила почву на всякий случай. Она попала в подходящий момент и сумела обратить его в свою пользу...

Я проникаю в нее так, словно взламываю дверь, словно даю кулаком кому-то в морду, словно наказываю порочного ребенка. Я мщу за себя, вот что я делаю. Я действую бешеными толчками, не заботясь о ее наслаждении. Держи, мерзавка! Удивительно то, что она улетает прежде меня, оргазм наивысшего класса, который она переживает с ошеломленным видом, с безумными глазами, стиснув зубы: главное, не показать, не закричать, даже не застонать. Это означало бы подчинение самцу, признание себя побежденной...

А мне ничего не надо доказывать, я проваливаюсь в бездну, трубя так, что стены могут обвалиться. Я стону, я плачу, я изливаюсь в нее целыми струями, еще и еще, вот тебе, вот тебе, все мое тело, обратившись в жидкость, вихрем устремилось в это крошечное, но ненасытное лоно, все мое тело, плоть, кости, мозги...

Когда наконец я снова оказываюсь на земле, мне нечем гордиться. Рухнув на спину, все еще задыхаясь, я всячески проклинаю сам себя. Маленькая рука пробирается по моей груди, как паучок. Я поворачиваю голову к Стефани. Она едва заметно робко улыбается. Проклятая артистка! Теперь будет изображать передо мной девственницу, открывшую для себя любовь. Я ставлю все на свои места:

— Ты меня поимела, да?

— Ты жалеешь?

— Я никогда не жалею. Получил удовольствие без хлопот. Между прочим.

— Мерзавец!

Она плачет. Настоящие слезы, право слово. Я не могу выносить вида плачущей женщины. А сикушки тем более. Впечатление такое, как будто плачет моя собственная дочка. Я обнимаю ее за девчоночьи плечи.

— Прости. Я вел себя как скотина. У нас было плохое начало.

Она всхлипывает и с надеждой спрашивает:

— Это значит, что мы будем продолжать?

— Нет, Стефани. Остановимся на этом.

Она усаживается на меня и колотит меня в грудь своими маленькими жесткими кулачками. Ее маленькие груди подпрыгивают в такт.

— Почему? Почему? Может, было плохо? Для меня это... Это была фантастика. И для тебя тоже, я заметила. Тогда почему? Почему Лизон и все другие, а не я?

— Как раз из-за Лизон. Ты знаешь.

— Ты дурак.

— Согласен. Но что с этим сделаешь? Такой уж я.

Я потягиваюсь. Встаю. Она спрашивает меня:

— Ты уходишь?

— Да. Надо сдать работу.

— Суччивору?

— Тебе это известно?

— Лизон.

— Разумеется, Лизон. Она тебе все рассказывает.

— Не все. Что не рассказывает, о том я сама догадываюсь.

— Ну ладно, я сейчас позавтракаю, умоюсь, побреюсь и в путь. Есть хочешь?

— Нет. Я встала очень рано. Только чашку кофе, если можно.

— Хорошо.

Иду в кухоньку ставить воду на огонь. Мой кофе — это "Нескафе" или любой другой сорт растворимого кофе того же типа. Я не вижу смысла осложнять себе жизнь дурацкими машинами, сверкающими хромом и набитыми автоматикой, которые в конце концов оставляют тебе грязный фильтр, полный отвратительной гущи, и все это приходится чистить. Лишь бы пахло кофе и подстегнуло для начала, мне вполне этого хватает.

Я приношу полные чашки и две тартинки с маслом для себя. Стефани пьет, смакуя маленькими глоточками. Она все еще обнажена. Ее кокетливые маленькие грудки китаянки притягивают мой взгляд. Лучше мне держаться на расстоянии от искушения. Изображая маленькую избалованную девочку, она говорит мне, подняв голову над своей чашкой:

— Эммануэль?

— Да?

— Мне хочется остаться в постели. В ней пахнет тобой. Могу я поспать немного в твоем запахе? В этом ведь нет ничего плохого?

— Ну...

— А потом принять ванну. Может, ты разрешишь мне остаться здесь? Я уйду после обеда, у меня уроки.

Мне это не очень нравится. Мой дом — это моя берлога. Но мне уже так надоело ей отказывать во всем, что я смягчаюсь.

— Ладно. Оставайся сколько захочешь. Знаешь, куда положить ключ?

— Да. Лизон сказала мне.

Я должен был сам догадаться!

Сеанс работы у Суччивора затягивается надолго. Мэтр искрится идеями, которые я впрыснул ему во время нашей последней встречи, и теперь он мне их преподносит как свои собственные, с чудовищным нахальством или непробиваемой наивностью, мне еще не удалось определить свойства и параметры каждой составляющей его мощной личности. Я с восторгом встречаю эти озарения гениальности, втихомолку презирая самого себя за раболепство, но все же не слишком усердствуя в самобичевании, так как хорошо знаю, что самые лучшие находки, возлюбленные чада моего воображения и дара рассказчика, остаются в запасе для моей собственной книги, которая изумит мир в следующий литературный сезон и которая практически закончена.

Так что я философски выслушиваю тонкие замечания и смелые советы мэтра, которые я учту в той мере, в какой они окажутся моими, вернувшимися ко мне от борта, как в бильярде.

Возвращаюсь к себе пешком. Как после каждого сеанса у Суччивора, мне необходимо отвлечься и расслабиться. Этот тип по природе краснобай, он упивается своей речью, держа беззащитного собеседника за пуговицу из страха, как бы тот не улизнул. Меня тошнит от его самодовольного кудахтанья, даже сам тембр его глубокого голоса вызывает головную боль.

Я прихожу домой, когда уже настала ночь, ликуя по поводу нескольких мелких идей для моего романа, пришедших мне в голову по дороге. Я спрашиваю себя, не забыла ли Стефани запереть дверь на ключ. Конечно же, она ее не заперла. Еще повезло, что она, вероятно чисто механически, прикрыла ее за собой. Знаки пребывания Стефани, добавившиеся к моему обычному беспорядку, сразу же бросились мне в глаза. Она опрокинула кофе на одеяло — прекрасное одеяло из чистого пуха, с восторгом купленное Агатой и оставшееся у меня в качестве обломка кораблекрушения, но такого обломка, который прекрасно греет меня, когда я сплю голым, завернувшись в него. Кайма застывшей грязи отмечает на стенках сидячей ванны верхние границы, до которых доходила вода при омовениях маленькой мерзавки. В остатках воды вяло плавают полотенца-медузы... Но это еще далеко не все.

Когда я поднимаю глаза, я замечаю, что она намалевала на всех стенах очень толстым несмываемым маркером надписи, которые очень позабавили бы меня, будь они на чужих стенах:

"Эмманюэль занимался любовью со Стефани. Было неплохо. Можно лучше".

"У члена Эмманюэля вкус клубники".

"Личное сообщение: Эмманюэль, я не принимаю пилюль, а ты не надел резинку. Куда я должна сдать ребенка? Стефани".

Огромный член со всем своим снаряжением. Рядом, в пузыре, как в комиксах, написано: "Вернись, Стефани! Мой хозяин педик, но я-то люблю тебя!"

Некоторые другие находки того же рода, лестные, конечно, в определенном смысле, но я бы предпочел, чтобы Лизон их не видела. Потому что она вернется когда-нибудь...

А вот и она.

Ну да, вот и она. Созерцает разгром. Корчится от смеха.

Я так счастлив, что она вернулась, я так натерпелся страху, что сразу забываю о Стефани и ее безобразиях. Она обнимает меня, крепко ко мне прижимается, и я понимаю: ей тоже было очень страшно. Потом мы смотрим друг на друга, потом смеемся от счастья, потом самозабвенно целуемся, и это прекрасно.

Я удрученно, бессильным жестом указываю на учиненный Стефани содом. Я говорю:

— Знаешь...

Она прерывает меня, прикладывает указательный палец к моим губам:

— Осторожно, Эмманюэль! Ты собираешься сказать мне, что все неправда, и окажешься лжецом!

Для того чтобы прощупать почву, узнать, что и насколько ей известно, я принимаю свой отработанный смиренно-изумленный вид:

— Неужели...

Она весело смеется, передразнивает меня:

— Неужели... Значит, красавчик, Стефани изнасиловала тебя?

— Да, ну...

— Не трудись, она мне все рассказала. С предъявлением доказательств. Кажется, ими пропитано все одеяло и все совсем свеженькое.

Она разворачивает одеяло, рассматривает его, трогает пальцем, пробует.

— И правда. Это действительно твое. Только что снесенное. А какая лужа, боже! Бык! Слон!.. Смотри-ка, она тебя вдохновляет, малышка Стефани, подумать только!

Она и не догадывается, что здесь речь идет о чистой злобе, о грязном удовольствии, которое получает эта маленькая мерзавка, причиняя зло. Лизон решила игнорировать зло. Лизон — это котенок, который решил остаться котенком. Она видит мое замешательство, для которого есть все основания. Потому что уж я-то знаком со злом... Мне не удается освободиться от этого проклятого чувства вины... Она прижимается ко мне, становится совсем маленькой.

— Прошу тебя, мой Эмманюэль, не раздувай из этого целую историю. Я прекрасно знала, что она кончит тем, что добьется своего, рано или поздно. Это забавляет меня. Она обязательно хотела, чтобы я одолжила ей свою прекрасную игрушку. Она добилась тебя? Отлично! Было хорошо, по крайней мере?

Элоди задерживается со своим звонком ко мне. В принципе мы встречаемся у нее, но она должна мне подтвердить, что путь свободен. Речь идет о ее репутации, не так ли?

Я из тех, кто не умеет ждать. Я мог бы работать, моя рукопись поджидает меня, но меня не тянет сесть за нее, когда я знаю, что должен вскоре уйти, потому что если я засяду, то уже не смогу оторваться, мне случается так проводить всю ночь.

Книга в основном закончена. Я отшлифовываю, оттачиваю, добавляю пикантные черточки здесь и там... Я не могу решиться расстаться с ней, для меня она никогда не будет совершенно законченной, безупречной... Это проклятое стремление к совершенству! Я прекрасно сознаю, что пишу скорее как ремесленник, чем как вдохновенный творец, и это, может быть, не очень-то хорошо, но разве не правильнее следовать своей дорогой? Флобер, кстати, тоже оттачивал каждую деталь. Десять лет на один роман! Это не помешало ему быть Флобером. И вот, я тщательно отделываю детали, нахожу удовольствие в добавлениях... Может статься также, что я бессознательно оттягиваю ужасный момент вынесения приговора... Но нет, Эмманюэль, тебе нечего бояться, твоя книга будет ударом грома! Да... Я колеблюсь между страхом отказа и безумной надеждой. Очень трудно. Я плохо сплю. А потом, эта тайна душит меня. Я хотел бы прокричать на весь мир о своей радости и о своем страхе. Одна Лизон в курсе, но она знает только, что я готовлю какую-то книгу... Я думаю: у Лизон нет секретов от Стефани! Только бы... Надо разузнать. А, наконец телефон! Снимаю трубку:

— Элоди! Ну...

На другом конце прыскают:

— Это не Элоди, ха-ха-ха! Догадайся, кто?

— Жозефина! Здравствуй, цыпленок.

— Папа, папа! Знаешь что?

— Нет, Жозефина. Я думаю, что узнаю, когда ты мне скажешь.

— Мама сказала да! Как я рада!

— Я тоже, представь себе! Она сказала "да" в связи с чем?

— Ну, ты же знаешь... А правда, ты не знаешь, я тебе об этом не говорила. Мама согласна на щенка! Это здорово!

— Подожди, подожди... Какой щенок?

— Ну, щенок, которого я хочу взять.

— Ты хочешь щенка?

— Ох, ну, тебе все надо рассказать! Знаешь, брошенный маленький щеночек, очень несчастный, который много страдал, я хочу его спасти, и очень хорошо ухаживать за ним, и так его любить, что он будет очень счастлив и забудет все свои несчастья.

— Ты подобрала брошенного щенка?

— Нет. Еще нет. Надо поискать.

— А, теперь я понял. Ты попросила у матери разрешения держать дома щенка, и ты хочешь подобрать его на улице. Так?

— Ну да! Когда ты хочешь, ты понимаешь. Но я напрасно ищу повсюду, я их не вижу, этих несчастных собак. Однажды я подумала, что нашла одну, у нее был очень грустный вид, она сидела на краю тротуара, такая маленькая собачка, знаешь, почти без лапок, как сосиска.

— Такса?

— Вполне может быть. Она была очень низенькая. Я взяла ее на руки, поцеловала, назвала всякими ласковыми словами, перешла с ней через дорогу и понесла домой, я была страшно рада, представляешь! И вдруг один старичок, которого я даже не заметила, накинулся на меня, вырвал собаку, назвал меня воровкой и сказал, что нужно позвать полицейского, все смотрели и говорили: "Какое безобразие!" Представляешь себе? Какой стыд! Но главное, мне было так грустно, и я же видела, что собачке тоже было грустно, мы полюбили друг друга. Я уверена, что она несчастлива с этим старым хреном.

— Жозефина! Твоя мама позволяет тебе так выражаться? Ее нет возле телефона?

— Нет слов более подходящих, чем "старый хрен", для того чтобы сказать "старый хрен".

— И потом, тот, кто привязан к своей собаке, вовсе не обязательно старый хрен. Когда у тебя будет собака, посмотрим, как ты поведешь себя, если тебе покажется, что ее у тебя хотят украсть.

— Ага, ты сказал! Ты сам так сказал! А еще ругаешь меня! Это несправедливо, черт подери!

— Но это для примера.

— К твоему сведению, когда человек в гневе, ему нужны гневные слова. Например, такие слова, как — ну, ты не будешь меня ругать, это только чтобы тебе показать, — "дерьмовый бордель", "мать твою, сукин сын", "неподтертая задница", "положил на тебя с прибором"... Я много еще такого знаю, но тебе не скажу, они намного хуже.

— Могу себе представить... Давай вернемся к началу нашего разговора.

— А, да. Мне разрешается иметь собаку, и вот я хочу найти очень, очень несчастную для того, чтобы спасти ее. Мама согласна при условии, что я сама буду заниматься ею, выгуливать и все прочее. Еще бы! Наоборот, я не дам никому заниматься моей собакой! И тогда я вспомнила о твоей приятельнице, помнишь, тогда на демонстрации, та, которая спасает собак и кошек?

— Женевьева?

— Вот именно, теперь я вспомнила, как ее зовут. Она ведь должна знать о собаках, нуждающихся в спасении?

— Конечно, еще бы. Их-то, к сожалению, всегда хватает.

— Ты попросишь у нее?

— Сейчас же ей позвоню.

— О папа, ты гений!

Женевьева даже прослезилась от умиления.

Вот таким образом мы все и встретились, Женевьева, Саша, Жозефина, юная кузина кабильского бакалейщика, кузен кузины кабильского бакалейщика и ваш покорный слуга, набившись в грузовичок кабильского бакалейщика, да, именно в тот самый, Женевьева сохранила прекрасные отношения со всей семейкой. Итак, нам предстоит поехать за щенком в приют, затерянный где-то в сельской глуши, там, где трава робко пробивается между следами, оставленными гусеницами тракторов.

Обе девочки, устроившись в уголке сзади, оживленно шушукаются, одолеваемые время от времени приступами безумного хохота, который они безуспешно пытаются подавить. Я бы поспорил на что угодно, что Жозефина занимается пополнением своего специального словаря для "сердитых случаев".

Час по шоссе, полтора по извилистым проселочным дорогам, восклицания девчонок при виде "взаправдашней" коровы с висящими штучками, полными молока, "похоже на мужские штучки, говорит Жозефина, только вместо одной их целая куча". Я посчитал необходимым на этом остановить игру сравнений, видя, что в ближайшей перспективе зреют вопросы о доении, об удовольствии, которое коровы от этого получают или не получают, — короче, я предпочел не знать, вокруг каких фантазмов порхает обостренный эротизм маленьких девочек в том возрасте, когда у них начинают расти груди... И вот мы прибыли.

Островок грязи в океане грязи. Удручающее зрелище, хоть стреляйся. Женевьева предупредила меня: "Она перегружена работой. У нее нет ни гроша, она состарилась, здоровье у нее неважное, помощи нет. Ее поддерживает только любовь к животным".

Она — это бабушка Мими, ангел-хранитель никому не нужных собак и кошек. Крестьянка, какие теперь встречаются только в кино, без возраста, во всяком случае за шестьдесят. Состоящая из жил и морщин, со светло-голубыми глазами, немного чудная на вид, она кутается в теплую одежду, из-под коричневой шапочки выбиваются седые пряди. Она топит как можно меньше, объясняет мне Женевьева. Бабушка Мими с трудом передвигается от одного бокса к другому с переполненными ведрами в руках, встречаемая радостным лаем и вилянием множества хвостов.

Два ряда узких боксов тянутся вдоль прохода с растрескавшимся цементным полом. В каждом боксе собака, иногда две или три, они топчутся в грязи или прячутся в маленькой конуре в глубине бокса. Увидев, что мы подходим, собаки подбегают к решетке, тычутся в нее носом, цепляются лапами и подают голос, каждая пытается привлечь внимание возможного хозяина.

Женевьева позаботилась привезти с собой мешок костей. Она раздает их на ходу. Это радость. Бабушка Мими восклицает:

— О, это доставит им большое удовольствие! Я не могу покупать такие лакомства! Мне с трудом удается обеспечить их хоть каким-то кормом.

Позднее, в своем бедном жилище, где обретается еще около двадцати собак всех мастей и пород — очень спокойные, очень старые, больные, те, которые не делают "глупостей", — она признается нам:

— Я больше не справляюсь. Берешь одного, приходят еще несколько. С трудом пристраиваешь кого-нибудь, а добавляется пять. Или десять. Такого еще не было. Люди покупают породистых животных, иногда по очень дорогой цене, и тут же разочаровываются, слишком много забот, или же они переезжают, или же сука допустила до себя какого-нибудь бродягу и принесла выводок дворняжек, в конце концов они отдают их мне: "Если вы не возьмете, я их утоплю или привяжу к дереву и брошу в лесу".

— Дерьмовые мерзавцы и сволочи! — изрекает Жозефина.

— А некоторые говорят, что оставляют только на время отпуска, что по возвращении за ними приедут. Ну и, скажу я вам, из троих двоих я никогда больше не вижу... Может, вы думаете, что им приходит в голову оставить мне хоть немного денег на корм? Как бы не так.

— Вы чересчур добры, — говорит Женевьева. — Нельзя позволить им так делать.

— Разве ты не понимаешь, что из-за одного су они могут прикончить собаку или выбросить? Я делаю это не для них, а для этих бедных животных. Не могу понять такую подлость.

Я вмешиваюсь:

— Они должны нести расходы, это нормально.

— Я ничего у них не прошу! Если они сами не понимают или притворяются, что не понимают, мне становится стыдно за них. Настолько стыдно, что я их начинаю презирать, и говорить мне с ними не о чем.

— А те, кому вы отдаете?

— Эти не такие прижимистые. Понимаете, они радуются поначалу, легче достают кошелек. Но я не отдаю животных кому попало, нет! Сначала разузнаю́ что и как. Нельзя, к примеру, доверить щенка старикам, которые проживут меньше, чем он, наследники сплошь и рядом мне его возвращают, а он, бедняга, не понимает, что случилось, у него был дом, люди, которых можно было любить, и вдруг он оказывается запертым в боксе. Бывает, что собаки от этого умирают. Я никогда не отдам беспокойную собаку, к примеру сеттера, людям, живущим в городской квартире. И я требую, чтобы животное стерилизовали, иначе нельзя. Я сама уже не могу этого делать. Ветеринар стоит дорого, даже если он мне делает скидку. Мне до смерти с ним не расплатиться.

Очень старый пудель на трех лапах притащился к нам. Бабушка Мими гладит его по голове. Он поднимает на нее глаза, полные любви. Она ласково воркует над ним:

— А вот и ты! Ну какой ты красавчик, Султан! Самый красивый из всех султанов!

Она поворачивается к нам:

— С этим мне пришлось возиться три месяца, чтобы вырвать у смерти. Я совсем было отчаялась. Отобрала его у одного типа с помощью жандармов. Скелет. Весь изранен. Когда хозяин выпивал, а это случалось каждый вечер, он накидывался на бедное животное с железной палкой. Он его не кормил, собака рылась в мусорных баках, в отбросах... Когда я его взяла к себе, у него была сломана лапа в трех местах, череп наполовину треснул, одно ухо почти оторвано... Лапа срослась, но она стала короче, из-за этого он и хромает. Теперь он счастлив. Он останется со мной. Правда, Султан?

Обе девчонки, совсем бледные, недоверчиво смотрят круглыми от ужаса глазами. Жозефина тянет меня за рукав:

— Папа!

— Да?

— Я разозлилась.

— Есть отчего.

— Как ты думаешь, у меня есть право использовать гневные слова? Очень гневные?

Я не успеваю ответить, как она наполняет легкие большим запасом воздуха и одним махом запускает в небеса целую эскадрилью бомбардировщиков:

— Дрянь, педераст, сукин сын, чтоб сифилис изъел твои потроха, чтоб мандавошки съели твою задницу, чтоб тридцать шесть тысяч верблюдов Пророка насрали на твою гнилую морду, чтоб милосердный и милостивый Аллах отрезал тебе яйца и заставил тебя их съесть в сыром виде... Уф, подожди, я еще много знаю, но плохо помню, мне надо сосредоточиться...

Я смотрю на дочь. Признаться, я удивлен. Кузен-кабил смотрит на свою кузину с таким видом, будто догадывается о чем-то. Маленькая арабка целомудренно держит глаза опущенными, с трудом удерживаясь, чтобы не прыснуть. Женевьева улыбается с очень светским видом и с интересом ждет, чтобы я показал свои навыки в воспитании девочек. Ну что ж, раз надо...

— Хватит, Жозефина, мне кажется, что этого вполне достаточно. Ничего не скажешь, это действительно был очень большой гнев, чрезвычайно большой...

— Погоди, погоди! Я не кончила! Я еще в гневе. Я чувствую его у себя в голове. Если я не выпущу еще немного гневных слов, я лопну.

Здесь требуется применить немного суровости.

— Жозефина, пожалуйста, больше не надо.

Она хлопает ресницами, принимает кроткий вид:

— Только одно. Совсем малюсенькое.

Она показывает с помощью указательного и большого пальцев, какое оно маленькое.

— Ладно. Одно. И говори его совсем тихо.

— О'кей, дад!

Она наклоняется к Фатихе — потому что девочку зовут Фатиха, — прямо к ее уху, округляет руку раковиной и на всей скорости выдает уж не знаю какую ужасную непристойность арабского погонщика верблюдов. Та становится пунцовой, разражается смехом и восклицает:

— Вовсе не так! Ты опять ошиблась!

Фатиха замечает, что сказала слишком много, прикрывает рот рукой, но что сказано, того уже не вернуть. Здесь кузен решает, что настала пора ему вмешаться:

— Значит, теперь ты даешь уроки языка шлюх и сводниц барышням из приличного общества? Тебя послали в лицей, чтобы ты стала ученой и обучилась хорошим французским манерам, чтобы тобой могла гордиться семья, а ты тем временем учишь француженок гадким словам, которые даже наши шлюхи не посмеют сказать в присутствии своего отца? Я должен был бы наказать тебя от имени твоего отца, моего дяди, здесь, перед всеми, за такое бесстыдство.

Он горячится все больше и больше... Я вмешиваюсь:

— Ладно, не беспокойтесь. Это все ребячество. Я тоже, когда был маленький...

— Но вы же были мальчиком. Девочка, говорящая на языке шлюх, потом сама становится шлюхой и бесчестит семью.

Жозефина бесстрашно вмешивается, пытается перенести огонь на себя:

— Прежде всего неправда, что это язык шлюх. Это слова гнева. Когда шлюхи сердятся, они говорят те же самые слова, что и другие люди, разве не ясно? Это не из-за невоспитанности, такова природа. А природа у всех одна, каждый знает. Тот грязный тип, он мучил бедную миленькую собачку, и из-за этого мы рассердились. Нормально, правда ведь? А кого ругают, в конце концов? Не того сукиного сына, а нас. Это же несправедливо, черт побери!

Бабушка Мими качает головой и, восхищенная, выносит свою оценку:

— Она здорово рассуждает, эта малышка. Это все правильно, что она сказала, право слово. И вот что я вам еще скажу: я больше люблю тех, кто говорит прямо, что думает, чем сладкоречивых хитрецов, которые наносят вам удар исподтишка. Как она все умеет объяснять, малышка! Надо ей учиться на адвоката.

— Я не хочу быть адвокатом! Я хочу содержать приют для несчастных животных, как вы. Но не такой грязный. У меня будет муж, чтобы зарабатывать деньги для этого, и на них я куплю много маленьких прелестных домиков для собак и кошек, где будет полно красивых подушек, на которых будут вышиты их имена, чтоб они не перепутали, а еще там будет центральное отопление, и еще цветы и зелень вокруг, и большое поле, чтобы они могли бегать и тренироваться, и даже бассейн там будет, чтобы они могли охладиться в сильную жару. И там еще маленькая больничка со специальным врачом для животных... Как его называют, папа?

— Ветеринар.

— Да. Ветеринар, очень опытный, чтобы их выслушивать и измерять у них температуру.

Все умильно улыбаются. Женевьева гладит Жозефину по волосам:

— Тебе придется выйти замуж по крайней мере за мультимиллиардера, моя милая. Или же тебе самой придется стать ветеринаром.

Жозефина размышляет.

— Это не так глупо, что ты сказала. Долго надо учиться на ветеринара?

— Я думаю, довольно долго.

— Тогда я вполне могу начинать. И, как знать, может, я встречу мультимиллиардера, пока учусь?

Все это трогательно, но мы приехали выбрать щенка, пора заняться делом.

Будь на то воля Жозефины, она взяла бы их всех. Мне самому неловко проходить мимо отчаянной надежды в этих глазах, мимо молодых существ, полных жизни и резвости, созданных для бега и прыжков, заточенных на одном квадратном метре... К счастью, бабушка Мими настороже. Она вручает моей дочери очаровательного щенка-коккера четырех месяцев от роду, который тут же с рычанием принимается грызть подвеску, висящую у нее на шее. Уши, широкие, как ракетки, хлопают его по морде в такт движениям головы. Малышка смеется от счастья. Она спрашивает:

— Как его зовут?

— Лулу... Ах нет, Лулу, это был его братец, которого я отдала вчера. А его зовут Тотош.

Жозефина морщит носик:

— Это ему не подходит. Я буду звать его Фрипон.

Я люблю узнавать новое. Я спрашиваю:

— Почему Фрипон, Жозефина?

— Потому что он рыжий.

— Да? Понятно... — Мне не очень ясна причинно-следственная связь между рыжим окрасом и этим именем. Но главное назвать, не правда ли?

Кузен кузины прогуливается между боксами, заложив руки за спину, с видом любопытствующего, которого это все не касается. Однако я замечаю, что, притворяясь равнодушным, он внимательно рассматривает собак, особенно крупных пород. В конце концов он непринужденно подходит к хозяйке этих мест.

— Может, было бы недурно, если бы я захватил отсюда одного, то есть собаку. Это для дяди, чтобы охранять лавку, понимаете? Потому что, надо сказать, по вечерам он, то есть дядя, вернее, его бакалея допоздна остается открытой. Это хорошая мысль — не закрываться допоздна, потому что, вы понимаете, люди, которые поздно возвращаются с работы, знают, что смогут купить себе пожрать, даже если все другие лавочки закрыты. Но это опасно без собаки в таком квартале, со всей выручкой в кассе и при теперешней молодежи. Ну вот я и подумал, может быть, у вас найдется подходящая собака для дяди. Крупный пес, страшный, то есть со злобным видом, но на самом деле вовсе не злой, иначе он будет кусать клиентов, это плохо для дела, понимаете? Он только пугает, он здесь, лежит на полу в лавке, и тогда грязные типы видят его и решают, что их план не годится.

Фатиха хлопает в ладоши:

— Ой, здорово, вот это идея! У вас есть, мадам Мими, такая собака, как он говорит?

Бабушка Мими размышляет. Недолго.

— Может быть, у меня есть как раз то, что вам нужно. Но прежде скажите-ка мне вот что. Лавочка все время открыта. Собака выйдет погулять. И если она попадет под машину?

— Вы правы. Нужна такая собака, которая не пойдет гулять одна. Или которая ложилась бы на тротуар прямо перед лавочкой, чтобы погреться на солнце. Она должна быть очень спокойной и гулять только на поводке.

Вмешивается Фатиха:

— Выводить ее буду я! Я буду подолгу с ней гулять. И даже бегать с ней. Я знаю окрестности.

— Ты обещаешь мне, что будешь это делать?

— Да, мадам, обещаю.

— Каждый день?

— Да, мадам. Каждый день. Но писать он может сам в канаву перед лавкой.

— Да. Это он может. Так как вы друзья Женевьевы, я вам доверяю. Я дам вам очень смирную и умную собаку.

Она выходит, потом возвращается, ведя настоящего монстра. Крупный и толстый, как ньюфаундленд, такой же лохматый, мордой в чем-то схожий с лабрадором. Он вышагивает с грацией большого плюшевого медведя, спокойно обнюхивает нас одного за другим. Фатиха таращит

глаза, не смея верить в такое большое счастье. Она робко протягивает руку, почесывает массивную голову. Мощная зверюга разваливается у ее ног, как бы подтверждая свое согласие. Кузен важно качает головой.

— Да уж, с первого взгляда этот внушает страх. Но сразу же становится видно, что в душе он очень добрый.

— Не всегда. Он сторож. При малейшем подозрительном движении — хап!

— А как его зовут? — спрашивает Фатиха.

— Брутус. Но вы не обязаны сохранять это имя.

— В том, что касается имени, будет решать дядя, — говорит кузен. — Имя, это очень важно.

Фатиха спрашивает:

— Сколько же ему лет, мадам?

— Четыре года. Его хозяйка умерла, а сын решил, что его дорого кормить. Вот уже восемь месяцев он сидит в боксе... Эй, старина Брутус, у тебя будет семья! Ты доволен, я думаю?

Она нагибается, целует большой черный нос. Собака виляет хвостом и щедро облизывает ей лицо языком. Когда она распрямляется, слеза стекает по морщинистой щеке.

Я слышу, как Фатиха вполголоса доверительно говорит Жозефине:

— Ты знаешь, он только делает вид, что пес нужен для того, чтобы пугать воров, но я-то знаю, что ему очень хотелось иметь собаку. Он добрый, понимаешь, но это мужик, а мужик должен быть жестким, если хочет заставить уважать себя.

— Понимаю, — говорит Жозефина. — С папой то же самое. Значит, прикинемся, что мы им верим, это доставляет им такое удовольствие!

Я рад, что моя дочь продвигается гигантскими шагами в знании мужской психологии... Однако час отъезда пробил. Я оставляю бабушке Мими чек, щедрый настолько, насколько мне позволяет мой банковский счет, скупо пополняемый вознаграждением, выплачиваемым Суччивором. Кузен кузины тоже вносит свою лепту. Женевьева разгружает сумки и ящики с коробками корма, купленными для этого случая. Тут моя Жозефина торжественно протягивает бабушке Мими совершенно новенький билет в пятьсот франков, объясняя мне:

— Мама думала, что ты на мели. И потом, это моя собака, я плачу за нее сама, иначе она не может по-настоящему принадлежать мне, понимаешь? Первые деньги, которые я заработаю, пойдут в уплату долга маме за собаку.

— Но, — говорит бабушка Мими, — твой папа уже заплатил за собаку. Он дал мне даже слишком много.

Жозефина делает королевский жест:

— Вы можете оставить все себе. Папин чек, это для того, чтобы купить хорошего корма для животных, а еще на ветеринара.

— Ветеринара, Жозефина.

— Я так и сказала, разве нет?

Возвращение похоже на триумф. Жозефина, сияющая, с трудом удерживает Фрипона, очень возбужденного, упорно пытающегося наброситься со своим пронзительным щенячьим тявканьем на невозмутимого Брутуса, который ограничивается тем, что смазывает его по мордочке своим широким, как тряпка, языком. Фатиха сжимает в объятиях своего живого плюшевого медведя, зарывается носом в густую шерсть

и воркует слова любви на арабском. Кузен за рулем хмурит брови. Я предполагаю, что он находит неприличным такое публичное изъявление нежности к созданию, не являющемуся человеком.

В ивовой корзинке у меня между ногами лежат два старых больных кота, которыми решила заняться Женевьева.

— Там ведь очень сыро. Ей тяжело топить. Она перегружена. Если бы я их оставила, они бы умерли через два дня.

— А что у них?

— Гастроэнтерит или что-то вроде этого. Если мы вернемся не очень поздно, я покажу их ветеринару этим же вечером. Надеюсь, что Арлетт лучше.

— Арлетт?

— Моя подруга. Которая меня приютила. Ты уже забыл?

— Для меня, ты знаешь, имена... Если бы ты сказала "старая дама", я бы... Она больна?

— Она простыла. И от этого хандрит... Она боится смерти. Не столько из-за себя, сколько из-за животных. Она знает, что я о них позабочусь, но она боится, что мне придется покинуть дом, если... Я оставила ее на соседку до вечера. Мне надо быстрее вернуться.

XII

Я почти закончил. Вернее, я закончил. На самом деле я уже должен был бы бегать по издательствам с рукописью, повсюду оставляя копии. Должен был бы... Но я не устаю ее переделывать. Я просыпаюсь, как от толчка, мне приходит в голову мысль, прекрасная мысль, надо обязательно найти возможность вставить ее куда-нибудь. Особенно диалоги... Я никогда не нахожу их достаточно живыми, достаточно достоверными... Может быть, у меня та же болезнь излишней скрупулезности, что и у персонажа из "Чумы", если я не путаю, который никак не мог уйти дальше первой строки своего романа? Ну нет, я же преодолел ее, первую строку, я даже победно пересек финишную прямую! Теперь мне надо напечатать рукопись и сделать фотокопии. Я займусь этим завтра. Но тогда я не смогу больше прикоснуться к ней. Полагаю, что каждому писателю известны подобные сомнения. Итак, решено: завтра. А сегодня у меня свидание с Элоди.

Я проделываю весь путь пешком. Как приятна ходьба по улицам после долгих часов затворничества, заполненного работой! Я взбегаю по лестнице. Нажимаю на кнопку звонка, по-мальчишески вызванивая "таг-тагада-цзинь-цзинь!" Слышу ее шаги, она идет, она открывает, я заключаю ее в объятия, где она сразу делается такой маленькой и такой нежной... Но не на этот раз. Мои руки обняли что-то жесткое. Жесткой стала ее спина, ее прелестная спина, превратившаяся вдруг в пучок окаменелых мышц. А ее руки отталкивают меня! Ее руки, сжатые в два маленьких твердых кулачка... И это лицо, прячущееся от поцелуев, отклоняющееся поочередно то вправо, то влево так проворно, что мои губы чмокают воздух... Очень неприятно. И обескураживающе. Меня просто вынуждают понять, что мой приход нежеланен.

Я не понимаю, чему обязан столь холодным приемом. Не припоминаю, в чем же мог провиниться. Моя совесть непорочно чиста. С дру-

гой стороны, Элоди не из тех, кто любит устраивать так называемые "сцены". Похоже, что-то произошло, и достаточно серьезное... Скорее всего, недоразумение. Это выяснится при разговоре. Поговорим.

Но мы все еще у двери. Она не намерена приглашать меня войти. Я отпустил ее, и на кого же теперь я похож, не знающий, куда девать руки, запыхавшийся после прыжков через четыре ступеньки и совершенно не представляющий, с чего начать? Она молча смотрит на меня, как если бы смотрела на что-то достаточно отвратительное. Ее руки теперь опущены, но кулачки остались сжатыми. Из одного из них свисает уголок носового платка. Тогда я смотрю на ее глаза. Они красные и наполнены слезами. Я смотрю на рот. Ее губы дрожат. Маленькая девочка, которая долго плакала и которая сдерживается, чтобы опять не заплакать.

Мне все же надо что-то сказать. А я ничего не соображаю. Очевидно, тут разыгрывается драма, и драма, в которой я играю роль злодея, это не менее очевидно. Мне кажется, что неплохо было бы ввести меня в курс дела, пусть предавая анафеме и даже бомбардируя различными предметами. Я открываю рот:

— Элоди, любовь моя, что...

Она только этого и ждала, чтобы взорваться:

— О, нет, нет! Только не эти слова! Ты настолько лицемерен, что становишься просто смешным. А я, я, я...

Рыдания прерывают ее, она захлебывается рыданиями, начинает икать, вся содрогается от спазмов. Она бежит в свою спальню, бросается на кровать — нашу кровать! — и плачет, плачет, завывая как зверь, закрыв лицо руками. Я следую за ней, растерявшийся, ошеломленный, провинившийся неизвестно в чем, но от этого еще более виноватый. Я стою, не осмеливаясь подойти, не смея ни сесть рядом с ней, ни попытаться прикоснуться к ней, так как не знаю, какую еще бурю это повлечет за собой. Так что я просто жду, чувствуя себя совершенно несчастным.

Промежутки между рыданиями становятся длиннее, их сила затухает. Элоди, сидя на самом краю кровати, будто специально для того, чтобы лишить этот предмет обстановки любого намека на сладострастие, долго созерцает опущенными долу глазами кончики своих плотно прижатых друг к другу хорошеньких туфелек, что означает, без сомнения, что путь к интимным чувственным восторгам закрыт и что сейчас не время для нежностей. Ну а для чего же тогда время, хотел бы я знать.

Наконец она заговорила, не поднимая глаз. И вот что она сказала:

— Ты спишь с моими ученицами?

Я сражен. Именно так: сражен. Мир рушится. Законы природы перевернулись вверх тормашками...

Я настолько привык к своей двойной, тройной, четверной и так далее... жизни, я настолько естественно, настолько полностью погружен в ту из жизней, в которой нахожусь в данный момент, что мне никогда не пришло бы в голову, что они могут оказаться не изолированными друг от друга, могут как-то сообщаться между собой. Я без усилий перехожу из одной в другую, перенося с собой мое "я" целиком. Это для меня параллельные миры, полностью независимые друг от друга, никогда не пересекающиеся. Действие, совершенное в одном из них, не может иметь следствия в другом, это абсолютно исключено.

Так я чистосердечно полагал, будучи убежден в своей непричастности к тому, что стало причиной расстройства Элоди. Мне даже не нужно было лгать или замалчивать свою любовь к Лизон: этой любви не суще-

ствовало, так же как и самой Лизон. В этом мире, мире, где есть Элоди. Так же как Элоди не существует в мире, где есть Лизон... До сих пор я никогда не задумывался об этих вещах. Это сделалось как-то само собой. Лизон знает. Лизон знает меня лучше, чем я когда-либо узнаю себя сам. Но Лизон принимает условия игры. Она поняла мою систему закрытых миров и выделила себе один из них. Она не хочет знать, что может происходить в других мирах и даже существуют ли они. Она царит в одном из моих миров, это делает ее счастливой. Элоди не Лизон. Увы.

Должно быть, я молчал довольно долго. Голос Элоди возвращает меня к жестокой реальности:

— Я тебе задала вопрос. Впрочем, это была скорее констатация факта, чем вопрос.

Еще бы. На этот лжевопрос в форме удара кувалдой по черепу что ответить? Лгать — невозможно. Сказать правду, не впадая в циничное самодовольство, трудно. Тогда остается покорное, но уклончивое признание воришки, застигнутого на яблоне:

— Раз ты знаешь...

Я задерживаюсь на многоточии. Но этой находки хватает ненадолго. Теперь ее очередь на реплику.

— Значит, это правда?

Она удручена. Это показывает, что она ожидала другого. Что я буду все отрицать, например. Она бы не поверила, но, по крайней мере, хотя бы на миг испытала бы искушение поверить. А вдруг она поверила бы мне? Вдруг она только этого и хотела? Кусочек лжи, за который может уцепиться надежда?

Какой же я дурак. Зачем мне было признаваться? Ну-ка, наверстай упущенное! Я делаю жалкую попытку развернуть колесницу вспять:

— Я знаю, откуда ветер дует. И ты веришь всему, что рассказывает эта маленькая сеятельница дерьма?

— Откуда бы он ни дул, факты известны. Это так... так отвратительно! И это продолжается столько же, сколько и наши отношения! Я ничего не подозревала... Ты умеешь устроиться! Еще не остыв от объятий этой маленькой мерзавки, ты смел входить ко мне, в меня... Месье не хочет надевать презерватив, "это не то же самое", "я хочу как можно теснее соприкасаться с тобой, моя любовь"... Подлец! Подлец втройне! Девчушка! Из моего класса! Недотрога, с которой я почти каждый день лицом к лицу! Как они, должно быть, смеялись, она и ее подружки! Украсть тайного любовника у старой Крысельды, как весело!

— Хватит, слышишь? Это Стефани накляузничала, да?

— Ну и что? Какая разница, Стефани или нет? Что это меняет? Ты поступаешь так, да или нет? Ты поступаешь так снова и снова, день за днем! Ты переходишь от одной к другой, бормоча свои любовные клятвы, ты накидываешься на меня, весь еще в грязных выделениях другой... Ты мне противен!

Она опять принялась плакать. Я тоже хотел бы зарыдать в унисон с ней, это ужасно, что с нами случилось, со мной тоже, не только с ней...

Я ее потерял, я потерял Элоди. Я не могу в это поверить. Во мне все вопит от ужаса, нет, это невозможно, этого не будет! Но противный голосок здравомыслия сухо подтверждает, что да, что совсем скоро мне придется закрыть за собой эту дверь навсегда...

Это слишком несправедливо, черт возьми! Я же не сделал ничего плохого. Я не виноват. Я хотел, чтобы она была счастлива, а мое счас-

тье зависело от ее счастья. Другие? Какие еще другие? Другие... Ну да, и для Лизон, и для всех я хочу одного. Дать им счастье, любовь, вот чего я хочу. Видеть, как загораются их глаза, когда я прихожу, — мне от жизни больше ничего не надо. Я не посмеялся над Элоди, я не "обманул" ее, в тупом, обывательском смысле этого слова. Я отдал ей всего себя, до самого донышка, без всякого расчета. Ей, как Агате, как Лизон, как Изабель, если бы это с нами произошло. Мои сердце, тело, заботу, непрестанные мысли... Мою любовь, всякий раз целиком и полностью. Любовь не делится на части, как пирог с клубникой. Любовь — это как тело Христа для верующих: все целиком в каждой облатке.

"...Весь еще в грязных выделениях другой..." Бестактная Элоди! Она не должна была тревожить воображение такими картинами. Может, она рассчитывает вызвать во мне стыд и отвращение? Совсем наоборот, это пробуждает во мне сексуальное возбуждение, которое совершенно не вяжется с ситуацией... А как она прекрасна, когда плачет! Ее бедненькие красные распухшие веки, ее мокрые щеки, ее нежные белые груди, которые виднеются в вырезе, ее восхитительные ноги, которые в пылу своего гнева и боли она забывает целомудренно смыкать... О, как трудно сопротивляться желанию заключить ее в объятия, баюкать ее, плакать вместе с ней, смешать наши слезы и "грязные выделения", о которых она говорила только что, а потом вместе задыхаться в разделенном экстазе! Из ее глубокого выреза до меня доносится сводящий с ума запах, который мне так знаком и который меня всегда так волнует...

Таким образом, раздираемый между горькими размышлениями и порывами, совершенно неуместными в подобный момент, я кладу, не слишком осторожно, руку на ее плечо... Удар в двести двадцать вольт! Одним прыжком она становится вне досягаемости, испепеляет меня взглядом.

— Ах, ты так? Ты думаешь все уладить с помощью своего члена? Ты что, ничего не понял? Ты ненормальный? Или же полностью аморальный? Чего ты добиваешься? Хочешь сделать меня своей союзницей? Вместе поплачем, растрогаемся, попытаем счастья и забудем обо всем? Так, что ли?

Кажется, она действительно ждет ответа. Я пожимаю плечами с удрученным видом. Мне совсем нетрудно принять этот вид. Молчание затягивается. Ее глаза, все еще направленные на меня, не смягчаются. Я жду. Или она меня выгонит, или скажет, чтобы я сел. Она говорит:

— Садись.

Подбородком указывает на место рядом с собой, на краю кровати.

Будет ли это допрос или проповедь? В любом случае говорильня. Но что, собственно, нам осталось сказать друг другу? Значит, говорильня — предлог. Значит, мосты еще не сожжены окончательно. Я бы даже посмел попытаться вывести заключение, что мы не испытываем такого уж желания их сжечь...

Она начинает. Глухим голосом, не глядя на меня, обращаясь к коврику у кровати:

— Оставим в стороне боль, которую ты мне причинил. Для меня это крушение, конец всего. Я снова позволила себе довериться мужчине, разочарование очень жестоко. Но еще раз оставим это, тем хуже для меня, я не должна была быть такой же дурочкой, как школьница. Лучше поговорим о школьнице.

Она делает паузу. Я готовлюсь к продолжению. Мне кажется, что на этот раз я получу право на большую сцену папаши Дюваля из "Дамы с камелиями". И правда:

— Ты не отдаешь себе отчета в том, что делаешь, в том, какое зло сеешь.

Я поднимаю руку. Здесь все же я хотел бы вставить несколько слов. Она не позволяет:

— Нет, дай мне сказать. Тебе не надо защищаться, я не осуждаю тебя, причина ясна: между тобой и мной все кончено. Не будем больше об этом. Теперь я хочу, чтобы ты оставил в покое эту малышку.

— Хе! Не такая уж она и малышка! Она давно совершеннолетняя!

— Пожалуйста, прекрати валять дурака! Ты очень хорошо знаешь, что я хочу сказать. Это маленькая девочка, даже если до тебя она уже имела с мальчиками сексуальные отношения, даже если она думает, что знает все о мужчинах и о любви. Впрочем, она очень умна, у меня есть возможность судить об этом. И она слишком хорошо чувствует свое превосходство. Это властный характер, очень цельный, не переносящий окружающей посредственности. Типичный антиконформизм. Она родилась с опозданием на двадцать лет. В мае шестьдесят восьмого она нашла бы себя. Одно то, что ты человек, который "пережил это", ставит тебя вне круга приятелей-ровесников, слишком незрелых, слишком пресных, слишком пустых, слишком занятых своей будущей карьерой, короче, слишком конформистов. Ты матерый самец, красивый парень, ты неглуп, у тебя привлекательный склад ума, уж мне-то это известно. Тебе достаточно было подойти, она сама упала в твои объятия.

— Ну нет! Прошу прощения! Она сама пришла ко мне. Домой.

— Но ты же не станешь утверждать, что она взяла тебя силой?

— Боже мой, да. Именно так.

— Признайся, ты преувеличиваешь.

— Вовсе нет. Это началось именно так. Потом пришла любовь. Потому что я ее люблю.

— Ты думаешь, что любишь. Как и любую женщину в пределах твоей досягаемости.

Пауза и вздох:

— Как думаешь, что любишь меня.

Я не могу пропустить это замечание. Тем более что мне кажется, что я различаю в тумане нечто похожее на кончик спасительного шеста.

— Но я люблю тебя, боже мой! Я смертельно тебя люблю.

Она пожимает плечами:

— Господин Сердце-не-камень!

Смотри-ка, она тоже додумалась до этого... Она продолжает свою речь судьи. Или обвинительную речь, это зависит от точки зрения.

— Ты удерживаешь эту девчонку своими чувствами, вот в чем правда. Я признаю, что ты очень силен. Одновременно пылкий и полный предупредительности, восторженный и внимательный к наслаждению другого, ловкий и нежный, терпеливый, страстный... И ты не отворачиваешься к стенке, когда получишь свое удовольствие, не закуриваешь сигарету со словами: "Ах, это было хорошо! А тебе было приятно?.."

— Не пукаю в постели, не вытираю член простынями или занавесками и стараюсь быть чистоплотным. Прекрасный светский любовник. Ты порекомендуешь меня твоим подругам и знакомым, надеюсь?

Она смеется! Невероятно: она смеется! Но не я. Именно меня сейчас изгоняют, не будем забывать об этом. Она быстро приходит в себя. Уязвленная тем, что расслабилась, Элоди удваивает свой гнев, придает ему оттенок мрачной экзальтации:

— Ты повел себя как безответственный подонок. Ты открыл наслаждение этой девчонке, и теперь она убеждена, что ты один можешь ей его дать. Она зациклилась на тебе... Но к чему это приведет? Это... Это преступно с твоей стороны. Она живет на облаке. Наплевала на свое будущее. Полностью. Забросила учебу, занимается кое-как, интересуется только теми предметами, по которым успевает без труда, — правда, их много, эта малышка удивительно одаренная... Словом, она обнаружила, что у нее есть задница, вся ее жизнь отныне заключается в этом, прости, если я говорю пошлости, но напрашивается именно это слово.

Она переводит дыхание. Я пользуюсь этим, чтобы быстренько выпалить:

— Да, ты говоришь пошлости. Но не по той причине, что ты думаешь. Ты говоришь пошлости, потому что рассуждаешь ограниченно. Ты сводишь все к заднице. К заднице, к паре круглых ягодиц с дырочкой. К грязной заднице. К смешной заднице. К презираемой заднице. К клоунской заднице. Конечно, она присутствует, эта задница. Мощная, как романский свод, лучезарная, как солнце. Сверкающая обратная сторона черного треугольника, располагающегося между бедрами. Она освещает все, делает все волшебным, придает вкус и душу всему. Парафразируя Ростана, я сказал бы: "О задница, ты, без которой вещи не были бы такими, какие они есть!"

Она хочет прервать меня, но я увлекся:

— Ты очень хорошо знаешь, что мы не только занимаемся любовью, ты и я, даже если мы этим заканчиваем или с этого начинаем! Конечно, все ведет нас к этому, нас влечет друг к другу, ибо наши половые органы ищут друг друга. Но разве мы не открыли тысячи и тысячи других предметов общего интереса? Ты забываешь наши разговоры, наши споры, наши рассуждения, наши прогулки, ты забываешь все, чему ты меня научила, все, чему научил тебя я. Ты забываешь, какая радость охватывает нас, когда мы вместе, когда любое дело, которым мы занимаемся, становится увлекательным, будь то всего лишь кроссворд или выбор цвета для стен твоей спальни... И этим непрестанным ликованием, владеющим нами, мы обязаны тому, что у нас у каждого есть задница и, соответственно, все остальное и что в любой момент мы знаем, что скоро или чуть позже, когда нам будет удобно, когда им будет удобно, мы соединим их. Заранее мы уже дрожим от удовольствия, наши глаза блестят и кричат на весь мир, что у нас есть две задницы и что благодаря им жизнь прекрасна! Без задницы, божественной задницы, мы не были бы вместе, черт подери! Если само это слово смущает тебя, можно заменить его словом "любовь". Но оно не совсем адекватно передает суть дела, потому что боится или стыдится указывать на то, где все происходит.

Моя очередь перевести дух. Уф, какая тирада! Элоди реагирует:

— Но ты говоришь о нас. О тебе и обо мне. Ты же не станешь утверждать, что с этой девчонкой у тебя отношения такие же... взаимно обогащающие!

— А ты как считаешь, Элоди? Любое существо богато по-своему.

— Даже в этом я не значила для тебя больше, чем она? Или чем любая другая, потому что, зачем прибедняться, ведь существуют еще и другие, не правда ли? Целая толпа других, гарем! Подлец!

Дело не улаживается. Она встала. Она мерит комнату сердитыми шагами и в конце концов останавливается передо мной. Она хотела бы

предстать воплощением ненависти и презрения, но воплощает только боль. Огромное чувство жалости поднимается во мне. Она говорит:

— Впрочем?

Она колеблется, не договаривает фразу. Значит, она еще не все выложила? Что еще она собирается сказать? Что-то ужасное наверняка. Втянув голову в плечи, я сам лезу в пекло:

— Что впрочем?

Она выпаливает одним духом:

— Кажется, ты не ограничиваешься малышкой. Ты спишь и с матерью и с дочерью.

Тут я узнаю руку Стефани. Какая дрянь! Она узнала что-то, по крайней мере, унюхала и опережает события! Должно быть, я не сумел скрыть своих чувств. Элоди не отступает:

— Ты не возражаешь? Значит, это правда?

У Элоди сейчас лицо, как у дамы-патронессы, которая отказывается верить, что под небесами может существовать столько порока. Она очень страдает. Она бормочет:

— Это... Это чудовищно! Чудовищно!

Потом переходит на сарказм:

— Вы занимаетесь этим все вместе? Вам нужна кровать по крайней мере в полтора метра шириной. Может быть, мамочка и ее дочка любовно настраивают друг друга, в то время как паша решает, кого он будет ублаготворять первой?

Она начинает злоупотреблять своим положением! Она несчастна, согласен. Из-за меня, знаю. Но это не дает ей права... Она изгоняет меня из своей жизни, что само по себе ужасно, а если вдобавок еще хочет поплясать на моем трупе, увольте, я так не играю.

Молча поднимаюсь и иду к двери. Я считаю, что мы прошли стадию каких бы то ни было формул вежливости, и поэтому не прощаюсь. Но она нагоняет меня именно в тот момент, когда я взялся за лжебронзовую ручку двери. Хватает меня за руку:

— О нет! Ты так просто не отделаешься! Мы еще не закончили.

Мне все это страшно надоело. Хочется поскорее сбежать отсюда, укрыться в своей берлоге и свернуться калачиком со своей болью. А может быть, я напьюсь, так поступают герои у лучших писателей. Поворачиваю голову и, не выпуская ручки, спокойно говорю ей через плечо:

— Элоди. Любовь моя. Ты прогоняешь меня, я ухожу. Большей боли ты не сможешь мне причинить. Хватит. Между нами все кончено. Поэтому не вмешивайся в мои дела, прошу тебя.

Она тянет мою руку, хватает ее обеими руками, заставляет меня выпустить ручку двери и повернуться к ней. Элоди сильная женщина, несмотря на кажущуюся хрупкость. Она запыхалась. Смотрит на меня с вызовом.

— Эмманюэль. Речь больше не идет обо мне, боли, ревности, горечи и прочем. С этим покончено, пускай, мы об этом больше не говорим. Но речь идет о подлости, которую ты совершаешь по отношению к одной из девочек, которую мне доверили. У меня нет права позволить тебе испортить жизнь этому ребенку, искорежить ее будущее просто потому, что ты, птица на ветке, вовлек ее в легкий и беззаботный мир, полностью оторванный от реальности. Ты ведешь себя безответственно, Эмманюэль, твоя безответственность опасна. Тобой управляет только собственное удовольствие. Или, точнее, твои бесконтрольные, неудержимые порывы. Патологические. Да, патологические. Твоя одержимость

сексом, которая распространяется на всех без исключения женщин, носит болезненный характер. Любая проходящая мимо юбка ввергает тебя в транс. Любая принадлежит тебе, безразлично, знает ли она об этом или нет. Она твоя, потому что ты так решил в своем помрачненном сознании или в тех темных закоулках, где вызревают такие вещи...

Она вновь попала на накатанную преподавательскую колею, и пошло-поехало... Я знаю, чего она хочет добиться, и она знает, что я это знаю. Тогда зачем навязывать мне лекцию по психопатологии с разбором трудного случая? И откуда ей известно о моей одержимости любовью к женщинам? Я об этом никогда ей не говорил, остерегался ее! Одна только Лизон в курсе, потому что сама обо всем догадалась... И может быть, Женевьева, чьи глаза умеют видеть все... Черт побери, это опять козни Стефани! Этот демон в женском обличье достаточно хитер, чтобы осторожно выведать все у Лизон, слишком доверчивой Лизон, а затем сопоставить одно с другим. В любом случае о том, чего она не знает, она догадается, о чем не догадается, придумает сама. Доказательство...

Элоди раздражает меня своей назидательностью. Я не могу сдержаться, чтобы не подразнить ее:

— Ладно, Элоди. Если Лизон вновь займется учебой, ты простишь меня?

Элоди розовеет. Ее глаза сверкают. Она торжественно возвещает:

— Если ты сделаешь это, Эммануэль, я верну тебе свое уважение и дружбу.

— Я буду горд и счастлив этим, поверь. Но скажи, пожалуйста, а с ее матерью я могу продолжать спать? Она ведь уже вышла из школьного возраста.

Пощечину я схлопотал по заслугам! Удар звучит сухо и звонко. Внезапно я вижу перед собой Крысельду, ненавистную училку. Сквозь зубы она бросает:

— Ты действительно мразь. Издевайся сколько хочешь, я не отступлюсь. Это я делаю для Лизон. Чтобы спасти ее, если успею...

— Из тебя вышел бы славный проповедник, Элоди. Разреши сказать тебе одну вещь. Я инфицировал не только Лизон. Я — настоящая эпидемия. Сама твоя информаторша, добродетельная Стефани, приходила ко мне, застала меня в постели и просто-напросто изнасиловала. Ее благородный альтруизм от этого несколько тускнеет, ты не находишь?

Она принимает удар не моргнув глазом. Она понимает, что я не лгу, ибо достаточно знает Стефани.

— Ты все сказал? Считай в таком случае, что я сражаюсь за Лизон и за Стефани, потому что не хочу, чтобы эти маленькие дурочки соперничали и наносили друг другу подлые удары ради прекрасных глаз чуть ли не сорокалетнего чокнутого подонка. Пора положить этому конец.

С меня хватит. Твердо решив смыться, я хватаюсь за ручку двери. Но быстрая как хорек маленькая рука проскользнула под моей рукой, два раза поворачивает ключ в замке и вынимает его. Теперь я пленник.

Элоди скромно торжествует:

— Ты мне все сказал? Тогда моя очередь. Только пожалуйста, пройди в гостиную и сядь, мне не хочется разговаривать в коридоре.

Она права. Раз уж я попался, лучше сесть.

Покорно следую за ней.

На этот раз я получил право на гостиную. Разваливаюсь в почтенном кресле, обитом потрескавшейся кожей, явно предназначенном для муж-

чины, — обломок очередного семейного кораблекрушения? — Элоди тоже усаживается напротив меня, слегка наискосок, перед глазами у меня вызывающе расставлены ее гибельные ноги, которые больше никогда... Очень подло, если это сделано намеренно. Но ее лицо отражает только прямолинейность и суровость, никакой корыстный расчет не омрачает ее ясного чела, ноги выставлены напоказ ни больше ни меньше, чем это позволяют приличия, не их вина, если приличия позволяют так много.

Она предлагает мне выпить чего-нибудь. Почему бы и нет? И вот с виски в руке я ожидаю продолжения событий. Она не мешкает:

— Эмманюэль, ты знаешь, что один мальчик из класса Лизон давно уже влюблен в нее?

Это и есть бомба? Я пожимаю плечами:

— Конечно, я знаю. Я видел этого мальчика. Действительно, у него влюбленный вид.

— Ты знаешь, что она постоянно встречается с ним?

— Трудно не встречаться, когда учишься в одном классе.

— Что она встречается, я хочу сказать, вне класса, вне лицея?

— Нет, но если и так?

— Она говорила тебе об этом?

— Зачем? Она не говорит мне всего. И я у нее ничего не спрашиваю. Но ты, ты-то откуда все это узнала? Можно подумать, что у тебя хорошо отлаженная служба наблюдения.

— Этот мальчик занимает комнату служанки с отдельным входом на шестом этаже дома, где живут его родители. С некоторого времени Лизон поднимается туда несколько раз в неделю и остается там часами.

Неожиданно что-то мерзкое больно сжимает мне грудь, где-то слева. До сих пор я думал, что такое случается с персонажами романов-сериалов. Я потрясен. С трудом удерживаюсь от стона. Но чувствую гримасу боли на лице. Я говорю с принужденно непринужденным видом:

— Ну и что? Они повторяют уроки.

Элоди выдает: "Пффф..." Я раздражаюсь:

— Ладно. Они занимаются любовью. Лизон вольна делать все что хочет. Она свободна, как и я. Мы оба свободны.

— В таком случае все к лучшему. Лизон свободна, она пользуется своей свободой и возвращается к возлюбленному своего возраста. Этот мальчик, может быть, и не Казанова, не суперспециалист в сексе, но он намного лучше: он молодой, умный, работящий, у него чистое сердце, хорошая голова...

— ... блестящая шерсть и мокрый нос. Ладно, прекрати, я понял.

Но она продолжает без всякой жалости:

— А что касается поведения в постели, я уверена, что Лизон, обученная под твоим чутким руководством, сумеет передать ему твои уменье и ловкость. Она получит пушок юности и искушенность зрелого возраста в одной подарочной упаковке. Счастливица!

Элоди делает паузу, чтобы дать мне время до конца проникнуться сказанным. Я больше не стараюсь скрыть свое смятение.

Зачем? Кого я хочу поразить? Что могу изменить? Непоправимое падает на меня грузом в десять тонн. Только я потерял Элоди из-за Лизон, как узнаю, что утратил и Лизон! Все пошло прахом... Я осушаю стакан одним глотком, говорю: "Ладно..." — поднимаюсь, чтобы уйти. Она отрицательно мотает головой. Вспоминаю, что она заперла дверь на ключ. Снова сажусь. Она говорит:

— Мы еще не закончили.

— Разве?

Ее взгляд делается менее жестким. Голос становится более человечным:

— Эмманюэль, ты не мерзавец. Боль заставила меня сказать вещи, которых на самом деле я не думаю. Это потому, что открывшаяся правда была слишком неожиданной. У тебя любвеобильное сердце, что называется, сердце не камень...

Я прерываю ее:

— Может, хватит об этом?

— Что такое?

— Ничего. Забудь.

— ... но ты прямой, чистый, чувствительный, неспособный на подлость. Ты не отдавал себе отчета в том, что делал. Теперь ты в курсе. Лизон не говорила тебе о свиданиях с Жан-Люком. Доказательство того, что она бежит от тебя, пытается ускользнуть, но по доброте своего маленького сердечка щадит тебя. Не причинить боли! Сколько страданий было причинено во имя этого принципа!

— Надо выгравировать эту сентенцию на мраморе.

— Смейся, смейся... Ты страдаешь, старина. Что ж, я понимаю тебя,

"Старина...". Она сказала "старина"! И она "меня понимает"! Да она дура! Элоди дура? Всегда была такой или с тех пор, как меня выставила? Решительно, все переменилось.

Она наклоняется ко мне, кладет руку на плечо. Ее вырез оттопыривается, я не могу не видеть того, что нежно трепещет в тени, что я так хорошо знаю и всегда как бы открываю заново с неизменным волнением. Рыдание сдавливает мне горло.

— Эмманюэль, тебе надо взять себя в руки. Посмотри фактам в лицо. Дай этой девочке следовать своим путем, ее истинным путем. Ты останешься светлым воспоминанием в ее жизни. Вы не узнаете пресыщенности, усталости, горечи увядающей любви. Твой образ навсегда останется жить в тайниках ее сердца. Это прекрасно! Не преследуй ее, не ожесточайся, не испорть всего. Исчезни из ее жизни, без шума, тихо, на цыпочках. Будь сильным.

Какая дура! Грандиозная дура. Никогда бы не осмелился представить себе Элоди, ведущую такие идиотские речи. И она искренна, что хуже всего! Мне стыдно за нее, стыдно за себя — я так обманулся на ее счет, и, для того чтобы быстрее покончить с ее разглагольствованиями в духе сельского кюре, я вздыхаю:

— Ладно. Пусть будет так.

Она просияла:

— Обещаешь мне?

— Обещаю, Элоди. Ты довольна? Теперь мне надо бежать.

— Ты больше не увидишь ее? Ты не будешь пытаться увидеть ее?

— Ну... Думаю, нам надо будет объясниться, по крайней мере.

— Нет. Ты только встревожишь ее. Она сейчас как раз приходит в себя, она все еще дорожит тобой, тут и чувства, и привычка, и...

— Жалость к бедному старику.

— Перестань. Ты находишь меня старой? Ты моложе меня... Ненамного, — торопится она добавить. — В конце концов, мы же не старики, ни ты, ни я!

Она кладет мне на плечи руки. В ее голосе столько убежденности, столько уверенности...

— Эмманюэль, это тяжело, я знаю, но надо резать по живому. Не объясняй ничего, не упрекай ни в чем. Беги.

— Ты шутишь! У нее ключ от моей квартиры.

— Запрись на задвижку. Смени замок, телефон.

— Ну все. Договорились.

Я хватаю ее за запястья, решительно снимаю ее руки со своих плеч.

— Я ухожу. Открой дверь. И прощай.

Она вынимает ключ из кармана халата, направляется к двери. Я следую за ней. Подойдя к двери, она поворачивается лицом ко мне. Ее глаза блестят от слез в тени коридора. Со своей стороны, я тоже не чувствую себя таким уж бодрым. Стоически, как античный герой, я повторяю:

— Прощай, Элоди.

Я не посчитал уместным поцеловать ее в последний раз, хотя мне этого до смерти хотелось, — слишком было бы похоже на кино, и, как она только что сказала, надо резать по живому. Режем.

Чего она ждет и не открывает? Продлевает пытку? Тогда ей это удалось. Слезы — один из самых мощных фильтров любви и самый таинственный. Кому не приходилось возбуждаться самым нелепым образом, почтительно целуя молодую вдову в черной вуали перед зияющей могилой?

Это трудно, но я выдержу. Она — нет. Внезапно она обвивает руками мою шею, рыдающая, истекающая слезами бормочет: “Любовь моя, любовь моя! Как я могла?”, покрывает безумными поцелуями мои глаза, щеки и, наконец, жадно впивается в губы...

Мой стоицизм не оказывает должного сопротивления. Все же я напоминаю себе, что она сама решила, что всему конец. Если теперь она приняла противоположное решение... значит, так угодно Богу!

Даю волю зверю. Срываю с нее одежду, она срывает мою, пуговицы отрываются и летят водопадом, она находилась под таким же гнетом неутоленного желания, что и я, в течение всего этого времени, ах, негодяйка! И еще читала мне мораль! Мы вершим действо там, где нас застигла буря, в коридоре, перед дверью, да, стоя, да, я приложил ее спиной к двери, она цепляется за меня, как детеныш обезьяны за свою мамашу, руками и ногами, в ее глазах горит безумие, она испугалась сама, она напугала меня, она довела нас обоих до состояния бешенства из-за обманутого желания, ах, негодяйка, божественная негодяйка, и, когда она садится на мой окаменелый фаллос, как на кол, вонзая его до своих потаенных глубин, она испускает самый пронзительный, самый раздирающий из всех воплей, какие когда-либо испускала при самых бурных наших соитиях.

Забыто о терпеливых ласках, об очаровательной чуткости. Я прижимаю ее к двери и сотрясаю снизу вверх сильными отчаянными толчками, она поднимается, опускается и снова поднимается в моем ритме, деревянная резьба трет ей спину, бешеные толчки трясут дверь, резонирующую, как барабан, а лестничная клетка служит усилителем. Я воображаю, что на площадке теснится толпа напуганных или, если у них чуткое на такие вещи ухо, восхищенных жильцов.

Мы заканчиваем на ковре, соскользнув вниз вдоль двери... Все имеет конец, даже самое всепоглощающее плотское исступление, и этот конец почти всегда соответствует стандартной модели: мы потихоньку спускаемся с седьмого неба и выныриваем из мрака, растрепанные и потные, мокрые от собственных выделений, соков, слюны, соплей, короче, от всей этой влаги с мощным запахом, всей этой секреции любви.

В моей голове вовсю звонят колокола. Моя рука, блуждая по полу, находит неподвижную забытую маленькую руку, берет ее, нежно сжимает. Маленькая рука отвечает. Я прощен.

О, я понял ее уловку! Это примирение не что иное, как плата за то, что я бросаю Лизон. Наверняка Элоди не пошла бы так скоро на подобное сближение, если бы я не принес ягненка в жертву. Я чувствую себя грязным трусом.

Пытаюсь утешить себя тем, что по крайней мере снова обрел Элоди. Но это не успокаивает меня. Одной-единственной мне не хватает, и без нее весь мир пустыня.

Случилось так, что немного позже, в то время как мы скрепляли перемирие чашкой чая, Элоди спросила меня тоном, которому она попыталась придать лукавый оттенок:

— Что касается матери, я просто дразнила тебя. Это ведь неправда, не так ли?

Я шокированно и насквозь фальшиво восклицаю: "Элоди, прошу тебя!" И осознаю, что горизонт внезапно сузился до размеров крошечной точки. Что два с половиной миллиарда женщин слились в одном-единственном экземпляре... Глухая тревога исподволь овладевает мной и окрашивает будущее в грязно-серый цвет.

XIII

Драматическое и бурное примирение с Элоди не вернуло мне спокойствия. Скрытая неясная тревога, поселившаяся во мне после наших экспансивных объяснений, мало-помалу охватила меня полностью и с тех пор гнетет день и ночь.

Я знаю — что-то в самой глубине моей души знает, — что с Элоди больше не будет безоблачного счастья былых дней. Я увидел, насколько хрупки узы, которые привязывают ее ко мне.

Она смогла сказать "кончено!". Если даже это было хитростью ревнивой женщины, она смогла это сказать. Наметилась трещина, и она будет расширяться. Однажды это "кончено" станет окончательным. Она смогла это сказать, она снова это скажет, и мне страшно.

Я втягиваю голову в плечи. Я уже пережил такое. Я не умер от этого, от этого больше не умирают, Тристан в наше время отправился бы в одиночку в кругосветное путешествие на яхте при спонсорской поддержке горчицы "Амора", а Изольда продала бы свой дневник журналу "Пари-матч". Я не умер от этого, но рана кровоточит. Вообще-то чуть сочится, не будем преувеличивать. Все равно больно. И от раны к ране, от боли к боли я скоро буду одной сплошной раной, что не самое худшее, а самое худшее — это угрызения совести и горькие сожаления, из-за которых я просыпаюсь среди ночи с дикими воплями. Поэтому я избегаю ночей вдвоем: случалось, что моя подруга сбегала в страхе.

Если бы я был в более спокойном состоянии, я бы прислушался к инстинктивному чувству, которое мне шепчет, что Элоди не для меня. Пожертвовать Лизон, пожертвовать всеми женщинами ради одной, даже если обладание ими весьма мнимое, значит, закрыть все врата мечты, значит — умереть. Да, но с другой стороны, больше не встречаться с Элоди... Больше не волноваться и не терять голову при одной только

мысли, что увижу ее вновь... Я дрожу, как малое дитя, потерявшееся в толпе и убежденное, что мамочка покинула его навсегда.

И потом, слова Элоди о моих отношениях с Лизон, пусть даже продиктованные ревностью, имеют под собой основания. Я открываю очевидное. Мне приходят на ум те же благоразумные банальности, какими оперируют "приличные" родители, люди, которых жестокий опыт реальной жизни сделал боязливыми. Лизон отдается всей душой, совершенно сознательно, без оглядки, не желая даже слышать слова "завтра", но ведь Лизон гибнет. Лизон весело бросает в огонь свою жизнь. Я не имею права принимать это жертвоприношение. Я веду ее в никуда, эгоистично вставляю ее в свой сон наяву, смакую, как каннибал, ее юность, ее обожание девочки, открывшей для себя любовь и провозгласившей, что она существует в единственном экземпляре. Я веду себя как мошенник, вор, похититель будущего. Как грязный дурак.

Угрызения совести, чувство вины, самобичевание, жалость к себе при созерцании собственного несчастья... Буря в стакане воды!

Отчего я не обыкновенный циничный обыватель! Отчего я не Дон Жуан! Он усеял свой путь немалым количеством трупов. Он даже наслаждался этим. Этот соблазнитель был людоедом. Он не любил женщин. Они были для него всего лишь вызовом на дуэль, загоняемой дичью, пожираемой добычей, презренными жертвами, наконец, выплевываемыми отбросами. Однако наслаждался ли он? Во всяком случае, этот мерзавец должен был испытывать очень быстрый оргазм, как дикарь, специально, чтобы женщина не принимала в этом никакого участия, так как фрустрация должна была быть полной, обман безжалостным. "Совершенство в садистском удовольствии", как сказала бы, без сомнения, Агата.

Но я не Дон Жуан. Во мне нет ничего от злого гения, я всего лишь обыкновенный, не представляющий собой ничего особенного маленький человек. У меня доброе сердечко. Я не выношу, когда кто-то несчастлив, особенно по моей вине. Я люблю женщин, я хочу, чтобы они были счастливы, вот и все. Мне это редко удается, а если удается, то ненадолго.

Раздираемый проблемой выбора, неспособный принять решение, я подобен крысе в лабиринте, которая в конце каждого хода натыкается на решетки и кончает тем, что пожирает саму себя. Меня охватывает исступление отчаяния, желание разрушить все вокруг, чтобы крушение было абсолютным.

Я больше не выхожу из дома, не умываюсь, не бреюсь, дверь я запер на засов и отключил телефон. Я ем лапшу и консервированного тунца без хлеба. Мне плевать на Суччивора и его писания. Я запрещаю себе звонить Элоди, пичкаю себя снотворными, которые когда-то стащил у Агаты, таращусь в книгу, как корова на проходящий поезд, засыпаю и просыпаюсь от кошмара или от холода и опять погружаюсь в свои идиотские терзания... Мерзкая Стефани! Все было так хорошо! И все продолжалось бы по-хорошему, если бы... Если бы что? Если бы она не вмешалась? Но почему она вмешалась? Из удовольствия делать зло, это правда, она врожденная сеятельница раздора, но стоило мне быть "полюбезнее" с ней... С какого конца ни возьмись, получается, что виноват всегда я!

Я слышу, как в замке безуспешно поворачивается ключ. Я слышу, как трясут дверь. Это Лизон, это может быть только Лизон, только у нее есть ключ. Ее маленькие нетерпеливые кулачки бьют по двери. Она ничего не понимает. Она зовет:

— Эмманюэль! Ответь мне! Я знаю, что ты там, потому что заперто на задвижку.

Я укрываюсь в маленькой комнате, самой дальней от входа. Обеими руками затыкаю уши. Как будто догадавшись об этом, Лизон стучит с удвоенной силой. Она кричит, не думая о том, что взбудоражит весь дом:

— Эмманюэль! Мне страшно! Ты заболел? Не придуривайся! Говорю, мне страшно! Скажи хоть, что ты жив!

Потом принимается дубасить ногами. Я слышу, как хихикают ребятишки. Того и гляди явится сторожиха проверить, что происходит.

— Я не понимаю, что с тобой! Ты больше не хочешь видеть меня? Эмманюэль! Отвечай, черт возьми!

Ее голос срывается. Она действительно испугалась. Ребятишки начинают хором петь: "Эмманюэль где? Эмманюэль где? Нет нигде!" Она рыдает:

— Мне плевать, я сяду на пол. И буду плакать до тех пор, пока тебе не станет стыдно. Предупреждаю, если не откроешь через пятнадцать минут, я позову полицию, или пожарных, или еще кого-нибудь, пусть взломают дверь.

Как тяжко быть жестоким! Особенно когда не способен на это. К тому же я сам хорошенько не понимаю, почему я это делаю... Ах да: чтобы спасти Лизон. Чтобы спасти ее от меня. От этой чумы, которую я собой являю. Чтобы благородно оставить ее Жан-Люку, здоровому и нормальному мальчику, ее Жан-Люку, который являет собой будущее, ее Жан-Люку и всем другим Жан-Люкам по всему огромному миру. Давай смелее, Эмманюэль! Веди себя как маленький хороший скаут. Чистые руки, высоко поднятая голова, и все прочее...

Больше ничего не слышно. Может, она действительно пошла звать вышибателей дверей? Нет. Она плачет, рыдает, как ребенок. Она всхлипывает. Ребятишки вокруг тоже ревут, они восприимчивы к настоящему горю. Я сам тоже всхлипываю. А черт, больше не могу! К дьяволу героизм... Отодвигаю задвижку и широко распахиваю двери.

При первом же щелчке задвижки она вскочила на ноги. Створки дверей выскальзывают у меня из рук, она отбрасывает их к стенке, я в ее объятиях, она душит меня, зарывается лицом в шею и рыдает не стыдясь, взахлеб. Трое мальчишек и две маленькие девочки, собравшиеся на площадке, хлопают в ладоши и кричат "браво".

Лизон толчком ноги захлопывает дверь. Малыши разочарованно тянут: "О-о". Одна девчонка поет: "Влю-блен-ны-е!", потом слышно, как маленькие ноги весело стучат вниз по лестнице.

Я открываю рот, надо же что-то сказать, но она быстро закрывает мне его ладонью:

— Нет. Я так испугалась! Как хорошо, когда уходит страх. Давай насладимся этим. Чувствуешь, как хорошо?

Она выплакивает с громкими всхлипами чудесные слезы несчастья, которого удалось избежать. А я, я-то знаю, что оно неизбежно, это несчастье, я чувствую себя все большим предателем и подлецом... Она вытягивает мою рубашку из брюк, вытирает ее полой слезы, как тряпкой вытирают керамическую плитку в кухне, заодно хорошенько сморкается в нее, скомкав, снова засовывает обратно в брюки, кладет мне руки на плечи, для того чтобы удержать на расстоянии, видеть меня, рассматривает, как мать рассматривает сына, вернувшегося из летнего лагеря, и наконец изрекает:

— Но он вовсе не блестяще выглядит, этот большой мальчик! Восьмидневная щетина, не причесан, мешки под глазами! И зубы не чищены, спорим? И что это за загнанный вид, а? Действительно, тебя нельзя оставить одного ни на секунду! Это и моя вина. Я должна была раньше побеспокоиться. Твой молчащий телефон...

— Ты была, наверное, очень занята, Лизон.

Это вырвалась у меня само собой. Это совсем не то, что мне хотелось сказать. Она продолжает рассматривать меня. Она даже не моргнула.

— Ты, кажется, на что-то намекаешь?

Теперь моя очередь чувствовать, как подступают слезы. Я могу только пробормотать:

— О Лизон...

Она настаивает:

— Скажи мне.

Если заговорю — расплачусь. Я молчу. Она трясет меня за плечи, тихонько говорит:

— Это из-за Жан-Люка, да?

Я могу только вздохнуть и кивнуть головой.

Она не спрашивает, как мне это стало известно. Поняв ситуацию, она принимает ее с открытым забралом.

— Он так несчастен. Я больше не могла переносить этого.

Так как я молчу, едва удерживая слезы, она снова трясет меня, умоляюще твердя:

— Ты понимаешь меня? Эмманюэль, ты понимаешь меня, правда?

Я говорю жалким тоном:

— Ты спишь с ним.

— Он ребенок, Эмманюэль, совсем маленький ребенок.

— И ты даешь ему сосочку.

Она хмурится.

— В этом, должно быть, есть грязный намек, но мне не хочется понимать его. Да, я даю ему сосочку. Это так мало, но это доставляет ему столько удовольствия.

— Догадываюсь, что тебе это тоже не противно.

— Я любила его, Эмманюэль. Вернее, считала, что люблю. Он не стал мне противен из-за того, что я его больше не люблю.

Она обезоруживает. Столько спокойной искренности. Я упрямо говорю:

— А я, если не люблю, то не могу.

Едва выпалив эти слова, я сразу спохватываюсь. Лизон тут же затыкает мне рот :

— Мне кажется, что Стефани ты не показался таким уж неприступным!

Я наверняка покраснел, так как она быстренько добавляет:

— Но я-то не ревную. Не так, как ты, во всяком случае.

— В то время как ты оказываешь ему помощь на дому, всего-навсего.

— Я не переношу, когда кто-то несчастен, всего-навсего.

— Особенно, если это тот, кого ты любишь!

— Совершенно верно, особенно если это те, кого я люблю. Я больше не люблю Жан-Люка по-настоящему, но мы не стали совсем чужими. То, что я делаю для него, ты мог бы сделать для Изабель, между прочим. Тебе бы не пришлось заставлять себя, я уверена.

Здесь я даю сбить себя с толку. Мы говорим обо всем, кроме главного. Я ревнив, это правда, как ни крути. Я плохо переношу мысль о том, что женщина, какой бы она ни была и где бы ни находилась, позволяет обладать собой другому мужчине, это вызывает у меня отвращение как что-то непристойное, кощунственное. А когда речь идет о женщине, которую я люблю смертельно... Жан-Люк с Лизон. Запах Жан-Люка, смешанный с запахом Лизон. Член Жан-Люка, проникающий в Лизон. Жан-Люк, извергающий свое семя в сокровенную глубину Лизон. Лизон в оргазме, бормочущая те же слова, свои слова, наши слова... Взрыв убийственной ярости сводит мне кишки. Мне плохо. Я хочу умереть. Я хочу убивать.

Тем лучше. Я сейчас использую эту святую ярость. Она послужит мне для того, чтобы все разрушить. Она станет танком, который все снесет и принесет *освобождение* Лизон. *Viva la muerte!*[1]

В первый раз проницательность Лизон ей изменила. Для нее все свелось к безобидному и довольно обычному случаю мужской ревности. Она не поняла, что речь шла совсем о другом.

Когда я сказал ей:

— Лизон, нам нужно серьезно поговорить...

Она прервала меня:

— Какой у тебя торжественный вид! Ты и вправду придаешь этому такое значение? Послушай, все совсем просто. Жан-Люк... мне наплевать на Жан-Люка. Я не знала, что причиняю тебе такую боль. Теперь знаю. Если совсем честно, то в глубине души я чувствовала, что это огорчит тебя, поэтому ничего тебе не сказала. Но я не думала, что все так серьезно. Ты не хочешь, чтобы я виделась с ним? Я его больше не увижу. Обещаю. Я люблю тебя. Поцелуй меня. Займись со мной любовью, любовь моя.

Я так и сделал. Что не облегчило предстоящую задачу. А потом, какое мне понадобилось мужество, чтобы осмелиться сказать — ее голова на моей правой руке, как на подушке, моя левая ладонь, округленная раковиной, прикрывает ее влажное лоно, — чтобы сказать:

— Лизон, я причиняю тебе зло.

Она промычала из глубины счастливой дремоты:

— Умм?

Тогда я выложил один за другим аргументы, приведенные Элоди, которые казались мне правильными: ее юность, мой возраст, ее беспечность, мой чудовищный эгоизм, ее будущее, моя мания на грани патологии, естественный импульс, который рано или поздно приведет ее к мальчикам ее возраста, чему доказательством случай с Жан-Люком, свое отвращение к женитьбе и вообще к тому, что может ограничить мою свободу, я перечислил все эти очевидные истины, не назвав лишь разрушительную ярость, бешенство избалованного ребенка, стремящегося разломать все свои игрушки в апофеозе смехотворного отчаяния.

Я не смел посмотреть на нее. Я говорил с потолком. Она молчала. Я подумал, что она задремала. Взглянул на нее искоса. Она тоже смотрела в потолок. Дала мне высказать все. Когда я закончил, остановила взгляд на мне. И спокойно спросила:

— Ты хочешь бросить меня?

Я даже подпрыгнул от неожиданности:

1. Да здравствует смерть! (*исп.*)

— Бросить тебя? О нет!

— Тогда в чем проблема?

Главное, не потерять ведущей нити:

— Речь идет не о том, чего хочу я, а о том зле, которое я тебе причиняю, о той дурацкой жизни, в которую тебя вовлекаю.

— Уж не испытываешь ли ты небольшого приступа интеллектуального мазохизма? Ты говорил о будущем, скоро начнешь говорить о долге, о совести и, почему бы и нет, о маленьком Иисусе и о нашем спасении? Уж не он ли тебе явился?

Она берет мою руку, снимает со своего лона, нежно сжимает в руках. Она смотрит мне в глаза:

— Слушай внимательно, Эмманюэль. Любят друг друга двое. Чтобы бросить друг друга, тоже нужны двое. А я тебя не бросаю. Я принадлежу тебе навсегда. Вот так.

Мои глаза не могут выдержать ее взгляда. Опустив голову, я говорю:

— Я конченый человек, Лизон.

Она берет мою голову обеими руками, насильно поворачивает лицом к себе.

— О-ла-ла! Да у нас тяжелый приступ депрессии! Вот почему ты разговариваешь словами из мыльной оперы! Вот из-за чего стал затворником, отключил телефон, перестал бриться? Ты устроил себе персональный апокалипсис?

Она садится, поджав под себя ноги, кладет мою голову на свои прекрасные колени и баюкает меня. Переносить все это становится все труднее...

Я больше не знаю, что со мной происходит. Я продолжаю нестись на той же скорости, в том же направлении, совсем как выпущенный из пушки снаряд, который может лететь только по прямой. Идиот. Все же стараюсь подвести некий итог. Посмотрим. Я жертвую Лизон не ради того, чтобы угодить Элоди. Я сам убежден в необходимости такого шага. Для Лизон. То, что ревность Элоди лежит в основе этой теории, не меняет дела. Я должен быть ответственным за двоих, быть сильным за двоих. Но, боже мой, как же это тяжело! Мне больно вдвойне от моей собственной боли и от той боли, которую собираюсь причинить ей. Которую ей уже причиняю... Потому что она начинает чуять в моем приступе тоски нечто большее, чем просто депрессию. По какой-то еле ощутимой напряженности мышц я догадываюсь, что у нее появляется предчувствие неминуемой беды и что оно растет, и что вместе с ним ее охватывает страх.

Проходит долгое, долгое время. В тишине зреет непоправимое. Руки Лизон все еще на мне, но они неподвижны, бесчувственны. Когда наконец она заговорила, ее голос неузнаваем, именно такой голос хорошие писатели иногда называют “бледным”.

— Ты говоришь это всерьез, правда?

Это не вопрос. Она констатирует. Мне нечего ответить. Я думаю, что сейчас умру.

— Ты уже не здесь.

Я должен держаться. Нельзя схватить ее в объятия, осыпать ее поцелуями и сказать ей: “Любовь моя, моя любовь, это ерунда, глупость, это уже прошло, я дурак, я люблю тебя, люблю!” Нельзя. Нельзя, чтобы она услышала, как колотится мое сердце. Я недвижен как камень. Мертв.

— Ты ничего не хочешь сказать мне?

Держаться...
— Значит, все эти глупости — правда?
Держаться...
— Ты дашь мне уйти?
Держаться...

Она берет мою голову обеими руками, снимает ее со своих колен, осторожно кладет на грязное покрывало, встает с дивана, встряхивает свою юбочку, как будто хочет избавиться от невидимых крошек, спокойно идет к двери, в последний раз я вижу, как ее бедра колеблются в ритм шагам, она открывает дверь, закрывает ее за собой. Она ушла.

Передо мной вся жизнь, чтобы называть себя дураком.

XIV

Что я сделал? Боже, что же я сделал? Я поступил как надо, согласен. Я не дрогнул. Лизон разочаровалась. Она будет от этого страдать, без сомнения. Какое-то время. А потом она побежит к своему Жан-Люку. Может, она уже бежит к нему... О боже! Она бежит к нему, конечно! Она бежит к Жан-Люку! О, какая боль! Но этого надо было ожидать, мой милый. Ты знал, что будет больно. Ты приготовился к этому. Пожинай плоды содеянного. Утешайся тем, что сделал то, что необходимо было сделать. Что хотя бы раз ты нашел в себе силы победить свой эгоизм, подчинить зверя, ногами разбить ему морду. Быть может, хотя бы это смягчит твое отчаяние.

Смягчит? Да ничего подобного! Меня не утешает моральная красота моего поступка. Я страшно несчастен... Лизон! Вернись, Лизон! Не оставляй меня! Я говорил глупости, я был безумен, я люблю тебя, ты любишь меня, только это имеет значение, на остальное наплевать. Будущее? Какое будущее? Будущего нет. Есть только ты, Лизон, и я, подыхающий от любви к тебе.

Я бушую, я мечусь по своей берлоге, я бьюсь головой о стены буквально, как бык в ярости, с размаху, пока боль не заглушит моей боли внутри, но этого надолго не хватает, страх сильнее, чем шишки, он толкает меня вниз по лестнице, я оказываюсь на тротуаре под веселым солнышком, которому на все наплевать, и вот я бегу по асфальту, потерянный, небритый, похожий на сумасшедшего маньяка, ищущего, кого бы зарезать.

Я иду. Куда же я иду? Не знаю. Я даже не думаю об этом. Какой-то обрывок сознания, неизвестно в каком темном закоулке моих извилин должно быть это знал, потому что я прихожу в себя перед домом Элоди. Я удивлен. Почему Элоди? О, да потому, что именно она причина всего, потому что это ее вина, потому что я хочу ей сказать, что дело сделано, жертва принесена, хочу излить на нее все мое бешенство, хочу к ней прижаться, хочу отхлестать ее по щекам, хочу выплакаться между ее грудями, хочу, чтобы она восхищалась мной и утешала меня, хочу убедиться, что не сделал глупость века, хочу заняться с ней любовью, чтобы доказать себе, что моя жертва того стоила, и более всего хочу, чтобы женщина убаюкала меня, сказала мне: "Ну... ну, успокойся..." — и дала бы мне грудь, и раскрыла мне бедра и лоно, и взяла бы меня за руку и ввела бы в себя, и слушала бы, как я мешаю любовные рыдания и любовный хрип, и шептала бы мне те глупые слова, какие шепчут страдающему ребенку.

Вот так. Именно этот инстинкт толкал меня, заставил прибежать сюда. К женщине, единственному убежищу, к гигантскому влагалищу, куда можно погрузиться целиком и свернуться зародышем в самой его глубине, вдали от мира и беды.

Только бы она оказалась дома! Она тоже, должно быть, беспокоится из-за моего затянувшегося молчания. Я поднимаюсь по лестнице, заставляю себя наступать на каждую ступеньку, чтобы дать себе время немного успокоиться. Наверное, я страшен с этой недельной щетиной. За отсутствием расчески расчесываю волосы пятерней.

Вот я перед дверью. У меня нет ключа, но у нее нет привычки запираться. В этот час она одна. Я найду ее в спальне за рабочим столом, под нежным светом розового абажура, склоненной над неизбежной стопкой контрольных работ... В моей душе над полем битвы всходит заря и окрашивает руины.

Спальня в конце коридора, в самой глубине квартиры. Под моими ногами знакомая ковровая дорожка, узкая, почтенного возраста, протертая до основания и местами просто дырявая. "Именно это придает ей ценность, — уверяла меня Элоди в ответ на мое удивление. — Настоящий ширазский ковер восемнадцатого века, вещь совершенной красоты, доставшаяся мне от бабушки, которой в свою очередь..." Так я узнал, что, чем больше дыр на ковре, тем он дороже. Под закрытой дверью полоска розового света... Она здесь.

И еще как! Внезапно в уютной тишине квартиры раздается крик нéслыханной пронзительности, крик, который мне более чем знаком, тот крик, который вырывается у Элоди момент, когда оргазм начинает в ней свои конвульсии, крик жертвы, которую режут, первый в нескончаемой череде возрастающих по громкости воплей, достигающих в апогее самых высоких тонов диапазона слышимости.

Я делаю стойку — одна нога на весу. Надо ли говорить, что железная рука сдавила мне сердце? Я говорю это, потому что это именно так. Надо ли говорить, что ужасное предчувствие родилось в моем мозгу, внезапно парализованном страхом угадать происходящее. Это было именно так, и лучше не скажешь.

Мне бы не доводить дело до сцены из комедии, а тут же, пусть скрепя сердце, ретироваться на цыпочках, спокойно спуститься по лестнице, автоматически дойти до ближайшей станции метро и броситься под первый же поезд.

Конечно же, ничего этого я не сделал. Я хочу знать, кто?.. Потом брошусь под поезд. В то время как вопли экстаза моей драгоценной возлюбленной, без моего участия взлетают до головокружительных высот, я тихо подкрадываюсь и заглядываю в замочную скважину. И вижу только черноту. Черт бы побрал этот отвратительный замóк подозрительных обывателей, снабженный изнутри проклятым щитком, закрывающим скважину для ключа, без сомнения, для того, чтобы воспрепятствовать возможному нездоровому любопытству бессовестной прислуги, взбадривающей свое либидо, подглядывая за Мадам в пылу ее любовных утех.

Однако мое ухо различает теперь, что в ритмичные крики Элоди вплетается октава непрерывного баса, какое-то скрипучее ворчание, исходящее, судя по всему, из сверхвозбужденной глотки некоего мерзавца противоположного пола. Я больше не могу льстить себя надеждой, что моя возлюбленная, доведенная по предела фрустрацией из-за моего долгого отсутствия, предается небольшой утешительной одиночной

ласке... Мне надо знать, бог ты мой! Я должен любой ценой увидеть морду этого дерьмового фата. Жиголо, которого она подобрала бог весть где! Может, в нашем же бистро? Почему бы и нет? Может быть, это ее личное место рыбалки? А я-то... Ах, шлюха!

Ладно. Повернуть ручку. Тихонько, идиот! Так... Приоткрыть дверь. Так... А, черт, она открывается внутрь и закрывает от меня кровать. И к тому же, тоже скрипит. У меня больше нет выбора. Мне остается только полностью распахнуть дверь широким королевским жестом и во всем своем блеске встать на пороге в величественной позе рогоносца на юмористических картинках.

И здесь я получаю шок моей жизни. Точнее, два шока, и даже три, а еще точнее, четыре.

Первый шок. Подтвердились мои наихудшие опасения. Моя чистейшая Элоди занята тем, что трахается. Не со мной. (Я отказываюсь использовать выражение "заниматься любовью". Любовью занимаются только со мной. В любом другом случае трахаются, спариваются, перепихиваются, совокупляются, употребляют, отдирают, жарят... все термины один отвратительнее другого.)

Второй шок. Мерзкие прелюбодеи меня не заметили. Они не заметили меня, потому что обращены ко мне спиной. Они обращены ко мне спиной, потому что развратничают стоя, Элоди нагнулась вперед, опершись локтями на край кровати, ее на три четверти закрывает широкая загорелая, со складками жира спина гнусного подонка, мне видна только одна из ее прелестных грудей, висящая над пустотой и вздрагивающая в такт толчкам, которые сообщаются всей композиции дряблыми ягодицами негодяя.

Третий шок. Так как мои глаза уже освоились с темно-розовым полумраком, я обнаруживаю, что эта мразь бесчестит не то отверстие, которое мне столь дорого, а другое, расположенное немного выше и сзади. Заполучить рога таким путем — еще обиднее. Вопли Элоди, превышающие теперь по силе и пронзительности самые высокие вершины, когда-либо достигнутые ею в моих объятиях, подтверждают мне это. Между тем жирный тип, вцепившийся обеими руками в бедра Элоди — в божественные бедра Элоди, о, мерзавец! — имеет такой вид, словно бы испытывает некоторую трудность в достижении своего собственного наслаждения. Я решаю лишить его этого удовлетворения, жалкая и смехотворная месть, пусть так, но мне уже не до джентльменских церемоний.

Посему уже без всякой осторожности подхожу к парочке в самом пылу утех и двумя легкими шлепками соприкасаюсь с потной спиной. Мои пальцы погружаются в нечто желеподобное. Что привлекательного может находить она, Элоди, в этой куче дряблого жира? Ах, женщина, женщина... Грязный тип удивленно поворачивает голову, не прерывая своего трудного восхождения к весьма проблематичному финалу. И я получаю мой четвертый шок.

Четвертый шок. Эта предательская морда передо мной — морда Суччивора. Собственной персоной. Красный, вспотевший и задыхающийся, но ни в коей мере не потерявший своей непринужденной самоуверенности. Конечно, возмущенный тем, что видит меня здесь, как был бы возмущен любой другой цивилизованный человек, застигнутый посреди коитуса, но совершенно не испытывающий чувства вины. Так что самым ошеломленным из всех и сбитым с толку опять оказываюсь я. Я столбенею.

Однако Элоди, которая потихоньку начала свою траекторию спуска с седьмого неба, удивленная внезапной остановкой машинерии, поворачивает голову, видит меня, разрывает кощунственное соединение с невольной гримасой — это, должно быть, больно без необходимой предосторожности, — и здесь я ловлю себя на том, что с любопытством спрашиваю себя, какими будут ее первые слова.

Что же касается меня самого, я чувствую себя странным образом отстраненным. Я коснулся самого дна, больше со мной не может случиться ничего, я зритель. Оглушенный. Анестезированный самой силой удара. Страдание придет позже.

Ее первые слова? Как я наивен! Все очень просто: она не говорит ничего. Я должен был это предвидеть. Какого же "Боже мой, Эмманюэль любимый!" я ожидал? Она даже не посмотрела на меня второй раз, так как ситуация, похоже, стала ей ясна с первого же взгляда. Она, как Диана, застигнутая при купании, одним грациозным газельим движением перепрыгнула через кровать, открыла дверь ванной комнаты, прилегающей к спальне, — очень удобно, право! — и закрылась, громко щелкнув задвижкой. Шум воды известил меня, что она приступила к водным процедурам.

Ну а мы оказались лицом к лицу. Суччивор голый, жирный, уродливый, с неодобрительной миной. Я, одетый и чувствующий, как во мне растет желание набить ему морду. Невольно замечаю, что то, что болтается в низу живота у Мэтра, уже потеряло эрекцию и являет собой жалкий, маленький, никчемный отросток. Отсюда, может быть, и проистекает его предпочтение узкого черного хода, единственного туннеля, который дает ему какой-то шанс задевать стенки.

Суччивор чувствует себя непринужденно, по крайней мере настолько, насколько можно чувствовать себя непринужденно после того, как бесцеремонно прервали ваш бесплодный поиск сладострастия. Кажется, собственная нагота его не смущает, так же как и безобразие. Потому что он безобразен. Такими безобразными обычно изображают римских императоров эпохи упадка. Дряблые ягодицы, дряблое пузо, дряблые мышцы. Не тучность, хуже: жир, свисающий гроздьями. Руки старой бабы, вялая, болтающаяся на кости плоть, бочкообразный торс, козьи сиськи, оплывшие бедра, все это держится на тонких кривых ногах. Я вижу его в тоге в каком-нибудь итальянском фильме на античный сюжет, в лавровом венке, вижу его давящим черный виноград на физиономии красивой рабыни, в то время как на заднем плане побитые молью львы пожирают христиан...

Куда же подевался тот представительный пожилой господин, выходящий из душа подобно Нептуну, немного располневший, но гордый своей заботливо поддерживаемой мускулатурой? Может, он бросил заниматься "построением тела", как называл свои упражнения этот ревнитель чистоты французского языка? Накачанные мускулы — дело недолговечное, как только остановишься, они сразу же исчезают, это хорошо известно... Или, может быть, он опустошен чрезмерными любовными усилиями? С этой Элоди надо быть поосторожнее!

Так или иначе, но праздник закончился, он спокойно берет свою шелковую рубашку со стула, где она лежит, тщательно сложенная вместе с остальной одеждой — еще один знак, заметил я себе, что он здесь завсегдатай: ритуал первого раза требует бурного разбрасывания шмоток по всем азимутам, — и, вдевая руки в рукава, задает мне вопрос, не столько смущенный случившимся, сколько заинтригованный:

— Таким образом, вы тоже, с мадам... гм, я думаю, между собой мы можем называть ее "Элоди".

— Нет. Я не "тоже". "Тоже" — это вы.

— А...

Он размышляет.

— Если я вас правильно понял, вы считаете себя законным владельцем. Вернее, главным квартиросъемщиком.

— Я так полагал. Отныне в прошедшем несовершенном. И не "главным", а единственным. Каково самомнение! В конце концов, все это уже в прошлом. Я вам уступаю свое место. Вам и... другим, если таковые имеются.

Он надевает брюки.

— Вы делаете глупость. Она вас любит.

— Вам это известно?

— Мне много чего известно.

Он понижает голос :

— В том числе, некоторые вещи, которые ей не надо знать.

Большим пальцем он указывает на дверь ванной.

Я говорю с горьким смешком:

— Вы опоздали, старина. Она знает все. Больше нет ничего, что бы стоило ей сообщать или скрывать от нее.

Внезапно я понимаю весь масштаб несчастья.

— У нее-то все в полном порядке!

Суччивор надевает мокасины из кожи пекари. Он улыбается проницательной и мудрой улыбкой старого гуляки, потерявшего все иллюзии, довольствующегося немногим:

— Я мог бы предъявить право первенства.

— А, значит, еще до меня...

— Я люблю Элоди уже давно. Я тоже хотел ее только для себя одного. Это нормально. Совместное владение неестественно, оно требует жертв, отказа от многого, адаптации — короче, постоянного насилия над собой. Я бросил ее. И вернулся. Я любил ее, и чем совсем потерять...

— Вы... А много нас, кто резвился на этой кровати?

— К чему этот сарказм? Хотя, в конце концов, если он приносит вам облегчение...

— Вы мне не ответили.

— Об этом пусть расскажет вам Элоди, если посчитает нужным. Спросите у нее.

— Я у нее не спрошу. Я ее не увижу. И вас тоже. Я не смогу больше вас видеть, ни вас, ни ее. При одной мысли о том, что мне пришлось здесь лицезреть, меня будет рвать.

Желание разбить ему морду заставляет меня сжимать кулаки. Должно быть, у меня страшное лицо. Суччивор отступает за широкую кровать. Волна бешенства схлынула, оставив бессильную дрожь. Я пожимаю плечами, делаю полуоборот, выхожу из спальни, шагаю в обратном направлении по дырявому драгоценному ковру, который был для меня когда-то дорогой в рай.

— Нет!

Крик матери, у которой крадут ребенка. В три прыжка она оказалась передо мной, спиной к двери. Голая под купальным халатом, который распахивается, когда она расставляет руки, чтобы преградить мне дорогу. Она трясет головой, в силах только кричать: "Нет! Нет!" Я не хочу

разговаривать. Я хочу уйти. Пытаюсь отстранить ее, не особо церемонясь. Она не двигается с места, становится жесткой — она умеет это. Я требую:

— Дай пройти.

Она:

— Нет!

Ситуация становится бредовой. Я спрашиваю себя, не придется ли мне задать ей трепку. Я никогда этого не делал. Как ударить, чтобы сбить ее с ног, но не причинить боли? Ее глаза сверкают, она волчица, я добыча в логове волчицы. Я вынужден заговорить:

— Элоди, чего ты добиваешься? Ты мне больше не нужна. Я больше не хочу быть одной из твоих марионеток. Кончено, не будем об этом больше говорить. Не доводи все до полной катастрофы. Понимаешь ли ты, что заставила меня бросить Лизон, ради... этого?

Движением руки я охватываю Суччивора и заодно всех других реальных и возможных соперников.

Она меня не слышит.

— Ты мой.

Кажется, она и правда в это верит. Растрепанная, во взгляде вызов и мольба, ни дать ни взять Гермиона. Мы сменили репертуар. Происшествие, начавшееся в стиле водевиля Фейдо, переходит в трагедию Расина и, может быть, скоро станет фильмом в духе Хичкока. Я уже больше не комический рогоносец, явившийся не вовремя, но порядочный молодой человек, попавший в сети женщины-паука. Ее глаза, сверкающие, как сейчас, хорошо смотрелись бы на афише фильма типа "Бойня с помощью электропилы"... Но как она прекрасна в своей ярости, вызванной разоблачением, в своем страхе потерять меня! Как оно прекрасно, это тело, к которому всего лишь несколько минут назад я стремился как к высшей цели! Меня тянет упасть перед ней на колени и зарыться лицом ей в живот, проливая сладкие слезы покорности и рабского подчинения. Но тут же ужасная картина обожаемого тела возлюбленной, вопящей и извивающейся под липким Суччивором, цепляющимся за нее и старательно пытающимся получить свое гнусное наслаждение, появляется перед моим взором и леденит меня. Меня захлестывает убийственное отвращение. Я никогда не смогу забыть. Никогда не смогу принять... Она прочла на моем лице короткое искушение прощением, теперь она читает на нем неумолимое "никогда!". Она говорит спокойно, будто констатируя неотвратимую очевидность:

— Ты мой, Эмманюэль. А я твоя. Вся целиком. Ты это знаешь. Твоя безоговорочно.

Мне бы не отвечать ей. Промолчать. Дать ей угомониться, избавиться от болезненного возбуждения... Но это сильнее меня, я не могу удержаться от язвительного замечания:

— Безоговорочно, за исключением того, что ты в то же время "вся целиком" принадлежишь этой обезьяне. И не знаю еще какому количеству других, шлюха!

Она не принимает оскорбления.

— Это совсем не так. Я вся твоя, я вся его, я отдаю мою любовь всю целиком и тебе, и ему. Любовь не делится на части.

Как она сказала? "Любовь не делится..." Те же слова, которые пришли мне в голову, когда она устроила сцену по поводу Лизон, точно те же. Слово в слово! Значит, теперь мы поменялись ролями. В тот день я

был шлюхой, а она жертвой, внезапно обнаружившей, что обманута и является всего лишь одной из обитательниц гарема. И я в них верил, в эти слова! Я в них все еще верю. Она заставила меня бросить Лизон с помощью своей нравоучительной болтовни, желая одного — чтобы я принадлежал ей одной! А я, ее речам верящий только наполовину, добровольная жертва чувства вины, которое она сумела разжечь во мне, а также, что тут скрывать, своей ненасытной жажды ее тела, я, дурак поддался. Дал себя поймать. Я был всего лишь одним из многих у этой пожирательницы самцов, одним из персонажей ее гарема, гарема с обратным знаком, если можно так выразиться. Какой дурак! Какой непроходимый дурак! Словно читая мои мысли, она говорит:

— Это так, Эмманюэль. Что для тебя женщины, то для меня мужчины. Я их всех люблю. Я вас всех люблю. Я женщина для всех мужчин, как ты мужчина для всех женщин. Ты любишь Лизон, ты любишь Изабель, ты любишь меня и скольких других? Достаточно, чтобы они предложили себя. Для тебя это совершенно естественно. Мир для тебя наполнен искушениями, и ты не считаешь возможным сопротивляться им. И вот, мой дорогой, моя прекрасная любовь, тебе надо понять, что я — твое женское отражение. Я люблю тебя, я люблю Жан-Пьера... Тебе невыносима мысль, что другой мужчина, не ты, может наложить свою лапу на твою женщину, вернее, на одну из твоих любовниц. Знай, со мной происходит то же самое. Я люблю тебя страстно, исключительной и требовательной любовью. Я не хочу терять тебя, не хочу делить ни с кем.

А я говорю себе, что ее теория отражения не выдерживает критики, ибо сводится к очевидной несовместимости, потому что, если мужчина любит всех женщин и не выносит, чтобы ему изменяли, а женщина ведет себя так же по отношению к мужчине, подобная пара может существовать только по закону сильнейшего, который подавляет слабейшего. А слабейший — это я.

Она поворачивается к Суччивору, который молча стоит в сторонке, привлекает его к себе, обнимает, обнимает меня другой рукой, чмокает его, чмокает меня, страстно бормочет: “Мои дорогие! Мои обожаемые!”... Мы готовы для семейной фотографии, хорошенький же у нас видик, мне так стыдно за нее, за себя, за нас троих, что внезапно я перестаю ее любить.

Очищен. Отмыт. Элоди унесло. Она больше не существует. Отныне мои мозги свободны, и я концентрируюсь на одной идее: убраться отсюда.

Суччивор говорит:

— Хорошо. Я вас оставляю.

Она разрешает:

— Иди, милый.

Черт, она никогда не говорила мне: “Иди, милый”! Если бы она это сделала, это сразу же открыло бы мне глаза. Ничего не скажешь, у нее врожденное чувство того, что следует говорить каждому. Суччивору — “Иди, милый!”. Мне просто взгляд, но пристальный, сулящий неведомые сокровища... Да, ловко у нее получается! Поразительно, сколько начинаешь понимать, как только перестаешь быть влюбленным! “Иди, милый!”... Это невероятно!

Суччивор на прощанье влепляет ей поцелуй, жадную прочистку миндалин, которая вызывает у меня тошноту, затем, повернувшись ко мне, испытывает мгновенное колебание. Я понимаю, что он спрашива-

ет себя, пожать ли мне лапу по-мужски или, того лучше, закатить поцелуй любовного братства — что подразумевает наше слияние в поклонении одному божеству и по этой причине, почему бы и нет, неоднократную возможность, отправившись в путь, каждый со своей стороны дамы, встретиться на полдороге, я хочу сказать, посредине туннеля, — но он останавливается в конце концов на неопределенной невероятно фальшивой гримасе, а затем протискивается между Элоди и дверью, которую приоткрывает, чтобы выскользнуть наружу.

Я между тем созрел. Вырвавшись из Элодиевых объятий, плечом отталкиваю Суччивора, вылетаю на лестницу и мчусь вниз, перепрыгивая через четыре ступеньки, будто спасаясь от пожара.

Я ожидал криков, преследования. Но нет. Она крикнула один только раз:

— Эмманюэль!

Потом спокойно бросила:

— Ты вернешься. Я жду тебя.

Как же, держи карман! Я убегаю, только меня и видели.

XV

В первый раз я разлюбил. До сих пор моя страсть к женщине могла идти только в одном направлении: расти. Даже если терялся контакт. Любовь продолжала расти и становилась все прекраснее. Огонь под пеплом. Всегда готовый вспыхнуть снова. Таким образом я набрал целый гарем, который греет мою душу, даже если жестокие воспоминания занимают там больше места, гораздо больше, чем счастливые, потому что счастливые моменты настолько прекрасны, что счастье просто затапливает меня, когда я вспоминаю о них. Однако жестокие воспоминания — это тоже воспоминания. Самое большое несчастье — вовсе их не иметь.

Я люблю женщину во всех женщинах, моя способность любить ограничивается лишь женщиной, женщина заполняет меня до краев. Ребенок не предусмотрен. Заниматься любовью значит заниматься любовью, вот и все. Мысль о том, чтобы произвести на свет ребенка, мне и в голову не приходила. Вид беременной женщины возбуждает во мне жалость и одновременно тошноту. Когда Агата носила Жозефину, я не видел ничего, кроме чудовищного живота, готового лопнуть, чрева, где зрел паразит, как червяк в яблоке. В то время как Агата, выгнув поясницу, животом вперед, с серым лицом переваливалась, наподобие утки, гордая сознанием своей миссии: она носила человеческое семя. Священное! Тут не займешься любовью.

Но что странно, женщина, которая уже стала матерью, становится привлекательной. Послеродовые рубцы на теле умиляют меня и даже возбуждают. Я ласкаю, облизываю их, эти стигматы, свидетельства перенесенных мук...

Еще более странно, что я люблю свою дочь. Когда она родилась и была мне навязана, я испытывал только отвращение к этому куску багрового мяса, от которого исходили крики, слезы, писи и каки. Никакого инстинкта защиты по отношению к этому средоточию неприятных ощущений у меня не было. Но тем не менее я героически играл роль отца. Вовсе не Жозефине суждено было разлучить нас с Агатой. Отцовская любовь или, скажем скромнее, интерес к дочери пробудился во мне

намного позже, когда Жозефина начала приобретать человеческий облик, я хочу сказать, женский. О, в этом нет никакой патологии. В любом случае не больше, чем у "нормальных" папаш, которые замечают, что у их дочек начинают расти груди.

Итак, я больше не люблю Элоди! Совсем. И, никогда бы не подумал, испытываю от этого облегчение. Освобождение. Небо в моем распоряжении и вся земля тоже! Я птица. Птица, которая во весь дух летит к Лизон. Птица, у которой с головой все в порядке. Сумбурные сомнения и парализующие угрызения совести — все рассеялось, пока я сбегал по лестнице. Лизон, любовь моя, жди меня! Я бегу. Ты же знаешь, что я бегу к тебе, правда? Ты знаешь все, всегда...

Я резко останавливаюсь посреди тротуара. Где она живет? Только сейчас я осознаю, что у меня нет ее адреса. Даже телефона. Ведь звонит всегда она, мы встречаемся всегда у меня... Я вхожу в первое же подвернувшееся бистро, спускаюсь в подвал, где, маринуясь в традиционной вони застоявшейся мочи, соседствуют туалет и телефон, набираю двенадцать, к счастью, я знаю фамилию — только бы Изабель не поместила номер в красный список! И моментально получаю информацию, с тех пор как у них появился "Минител", справочные больше не загружены, но я не решаюсь позвонить, в конце концов, говорю я себе, лучше прямо пойду туда, сделаю ей сюрприз.

Они живут на одной из очаровательных старых улочек Марэ, в одном из старых очаровательных строений, бывших аристократических особняков, с небрежным шиком подновленных декораторами-педиками — пардон: педиками — архитекторами интерьера, — с монументальной лестницей, камень и кованое железо с завитушками, идешь и путаешься в ступенях, потому что они слишком низкие — наши предки, принцы крови, должно быть, были довольно коротконогими. В таких домах люди, к которым вы пришли, почему-то, как правило, обитают на самом верху.

Я взбираюсь на вершину и с колотящимся сердцем, не только из-за спотыкательных ступеней, нажимаю на кнопку вычурного звонка в стиле Людовика XIV, после чего где-то в глубине раздается музыкальный звон в стиле универсального магазина. Женские каблучки стучат по паркету с другой стороны двери. Лизон? Дверь широко открывается. Нет, Изабель.

Которая, увидев меня, смущается. Бормочет:

— Это вы?

Смешивается, еще больше смущается:

— Простите... Я думала, что это Лизон.

Я тоже смущен не меньше ее. К счастью, у меня есть повод сказать:

— Сожалею... Значит, у Лизон нет своего ключа?

— О, она часто забывает его. Вы ее знаете...

Еще бы я ее не знал! И если бы ее мамаша знала, насколько и как я ее знаю! Изабель, судя по всему, подумала то же, что я, и в то же время, потому что она краснеет и приходит в еще большее замешательство:

— Да... Вы... Вы хотели с ней поговорить?

Это несовершенное прошедшее время, использованное вместо настоящего, звучит во всем моем существе как боевая тревога.

— Вы не знаете, скоро она придет?

— Она мне ничего не сказала.

Мадам мамаша, кажется, преодолела свое смущение. Она находит подходящую форму вежливости:

— Но, прошу вас, входите.

— Я вас не побеспокою?

Я сама любезность времен регентства.

Она переходит к простому приятельскому тону:

— Пожалуйста, Эмманюэль, входите. Мы подождем ее вместе.

Я вхожу. Богемный интерьер хорошего тона. Есть друзья-художники. Бываем на блошином рынке. Бегаем по лавкам подержанных вещей. Поступаем так, как будто все это не принимаем всерьез. По сравнению с современным кичем дурной вкус наших дедушек вызывает лишь снисходительную улыбку, в то время как на другом конце спектра глупости отсутствие вдохновения прячется под маской "модернового" перегиба. Бронзовая нимфа Всемирной выставки 1880 года выставила свои пышные ягодицы перед гигантским полотном тошнотворной мазни, прикидывающейся авангардом из авангардов... То и дело вы натыкаетесь на старую потрескавшуюся балку из цельного дуба на чисто белом фоне, приходится нагибаться, распрямляться, все равно стукаться, сдерживаться, чтобы не проклясть все на свете... Короче, это классический чердак "с бору по сосенке" с интеллигентско-артистическими претензиями, это ужасно, это трогательно, это интимно, это тепло и это пахнет хорошо вымытой женщиной.

Это пахнет женщиной до такой степени, что у меня кружится голова. Сам не знаю как, но я обнаруживаю себя развалившимся на чем-то очень мягком на уровне пола, а мои глаза находятся на уровне колен Изабель, которая устроилась на оттоманке — думаю, что это оттоманка, — целомудренно подогнув ноги под себя. Видны только ее прекрасные круглые колени, и ничто не заставляет хорошо воспитанного визитера догадаться, что они, эти колени, соединяются с восхитительными икрами и роскошными бедрами. Для этого надо иметь очень извращенное воображение.

Сейчас она предложит мне чаю, я чувствую это.

— Хотите чашку чаю? — говорит она.

Задушим светские церемонии в зародыше.

— Изабель, между Лизон и мной произошло нечто ужасное. Ужасно дурацкое. Дурак — это я. Мне совершенно необходимо немедленно увидеться с ней. Если вы знаете, где она, если у вас есть хоть малейшее представление о том, где она может быть, прошу вас, скажите мне.

Я вижу, что Изабель начинает беспокоиться.

— Так вот в чем дело. Она поцеловала меня довольно рассеянно, что совсем не в ее привычках, сразу прошла в свою комнату, оставалась там всего лишь несколько минут, вышла оттуда и покинула дом, не сказав ни слова.

Должно быть, у меня озабоченный вид, так как она торопится успокоить меня:

— Вы знаете, Эмманюэль, Лизон часто ведет себя так... Но, я припоминаю теперь, у нее было такое лицо, как бы точнее сказать, отрешенное. И решительное. Вот именно: решительное.

— Она, конечно, отправилась к Жан-Люку?

— А, вы знаете?.. Нет. Она его... Как она говорит? Ликвидировала. Именно так. Она его ликвидировала. Это ее собственные слова.

— Тогда она, может, пошла ко мне. Ну да, скорее всего! Именно туда она пошла! Сейчас она там, наверняка. Я знаю ее, она хотела сделать мне сюрприз. Она ждет меня. Боже, я должен бежать!

Изабель кладет руку мне на колено.

— Лучше всего, Эмманюэль, позвоните домой. Если она там, она ответит.

— И правда! Какой я глупец. Где телефон?

— Вот, возьмите.

Она протягивает мне одну из этих портативных игрушек, вытаскивает антенну, включает. Я набираю свой номер. Долго жду ответа. Молчание.

Я отдаю игрушку Изабель. Говорю жалким голосом:

— Я был слишком жесток с ней.

Она улыбкой успокаивает меня:

— Ссора влюбленных.

— Нет. Ничего похожего. Я порвал. Я ее... Как она говорит? Ликвидировал. Хладнокровно. Окончательно.

— Знаем мы эти окончательно! Доказательство: вы здесь, потрясенный происшедшим, более влюбленный, чем когда-либо, горящий желанием начать все сначала.

— Да, но она же не знает этого. Она приняла все совершенно всерьез.

— Вы все уладите. Я думаю, что она пошла к подружке. Может, к Стефани. Она обязательно вернется. Самое лучшее подождать ее здесь и время от времени звонить домой на всякий случай. У нее есть ваш ключ?

Я утвердительно киваю головой.

— Расслабьтесь. Вы утомлены. На вас лица нет. Можно подумать, вы вышли из ада. Что произошло? Это из-за несчастного недоразумения с Лизон?

Действительно, я потрясен, я убит случившимся. И опустошен. Голова раскалывается. Реакция на потрясение? Говорю с невольной гримасой:

— Да, из ада. Не из-за Лизон.

Она забеспокоилась:

— Эмманюэль, вы больны, того и гляди упадете... Прилягте, я принесу вам что-нибудь выпить.

Я вяло встаю. Все кружится. Она берет меня за руку, ведет к оттоманке или как это называется, заставляет вытянуться, приподнимает голову одной рукой, а другой подсовывает две подушки мне под затылок... И, конечно же, ее запах обволакивает меня. Ее запахи. Ее тело — сад запахов. Ей нет никакой надобности в химии из хрустальных флаконов. О, только бы она ими не пользовалась! Это будет извращением и кощунством. Запахи Изабель... Теплый и тяжелый поднимается из ее широко открытого ворота. Неопределенный и волнующий выделяется из ложбинки на затылке под густым шиньоном ее дневной прически. И мощный аромат самки от подмышек... Но к чему все это меня приведет? Это невозможно, не буду же я... О, нет-нет!

О, да! Я прижимаюсь к ее груди, настоящий подлец, пользующийся своим собственным несчастьем. Под моей щекой ее блузка неосязаемо легка, думаю, шелковая, она в сто раз ближе ко мне, чем если была бы обнаженной. Ее свободные твердые маленькие груди трепещут в такт с ее сердцем, я чувствую, как оно колотится, ее маленькие крепкие грудки подростка, но как они волнующи... Мои ноздри расширяются, предаются оргии нежных запахов. Она не уклонилась. Она застыла, ее руки не закончили свое движение. Не смею поднять глаз к ее лицу... Ее рука опускается на мои волосы. Я выиграл! И внезапно я начинаю плакать,

молча, крупными слезами, стекающими по впадинке между ее грудями, я плачу, сам не зная почему, может, от печали, что потерял одну, от волнения, что обрел другую? По обеим причинам, без сомнения... Мы не двигаемся.

Она берет мою голову обеими руками, наклоняется и касается губ своими губами, оказавшимися еще более нежными, чем я мог себе представить. Она освобождается, идет запереть дверь, а я смотрю, как она идет и плачу, на этот раз от счастья. Я говорю:

— А если Лизон...

Она светло улыбается:

— Как будто ты не знаешь, что это самый прекрасный подарок, который мы можем ей сделать!

Она становится на колени у моего изголовья, ее лицо на уровне моего, она смотрит на меня. Она смотрит на меня, и это все. Она наполняет себя мной через глаза, торжественно, пристально, как ребенок, созерцающий новую игрушку, подаренную на Рождество, и не смеющий поверить в свое счастье. Я не знал, что на свете существуют зеленые глаза, в которых столько света. Я теряюсь в них, в этом зеленом океане, я тону в них, растворяюсь. Я принадлежу ей, пусть она делает со мной все, что захочет.

Она касается моего рта беглым поцелуем, затем начинает блуждать по моему лицу приоткрытыми губами, и это изысканно эротичная прогулка, исполненная наивной и страстной чувственности... Не отрывая своего взгляда от моих глаз, с робкой улыбкой, трепещущей в уголках губ, она принимается расстегивать пуговицы на моей рубашке. Ее пальцы неловки. Ее рот блуждает теперь по моей груди, трепет пробегает по моему телу, вот она касается моих сосков, покусывает их, это почти невыносимо... Только не двигаться! Она прерывается, берет мою руку, страстно целует ее. Ее слезы текут по моим пальцам, слезы наконец достигнутого счастья. Решительно, мы переживаем слезливые любовные восторги. В них свое невыразимое очарование.

Только не двигаться, да, но моя рука мне больше не подчиняется. Вот она сама собой приходит в движение, проскальзывает под широкий подол цыганской юбки, смело ложится на мускулистую округлость ляжки. Это настолько приятно, что я чуть не теряю сознание. Потом она поднимается, моя рука, очень медленно, смакуя каждый преодоленный сантиметр, и вдруг сюрприз! Под моей ладонью внезапно оказывается кожа! Под юбкой большой примерной девочки Изабель носит чулки, настоящие чулки; и само собой разумеется, пояс с подвязками! Я ласкаю именно кожу, которая у них в этом месте такая невероятно гладкая, а у Изабель просто восхитительная. Я смотрю на нее, не смея поверить своим пальцам. Она покраснела, мило смутившись, но ее светлый взгляд бросает мне вызов.

Мой жест смел последнюю стыдливость и положил конец предварительным действиям. Не сводя с меня глаз, она спокойно задрала юбку, спустила хорошенькие крошечные трусики из белого кружева, переступила через них... И вот она сидит на мне верхом и пальцами, дрожащими от нетерпения, расстегивает ремень моих брюк!

Как она догадалась, что именно так я ее желал: в юбке, задранной до бедер, в чулках, в поясе с подвязками и на высоких каблуках? Как она поняла, что в моих мечтах о ней она всегда была именно в этих непременных принадлежностях шлюхи, она, рассудительная Изабель, внима-

тельная мать, безупречная буржуазка, умение держать себя и сдержанное целомудрие которой ввели меня в заблуждение?

Прочь предварительные проволочки! Мы до такой степени жаждем друг друга, до такой степени потрясены силой переживаемого мгновения, что только немедленное проникновение, высший акт, скрепляющий вступление во владение, настоятельно необходим нам во всей своей животной простоте.

Опершись на колени с обеих сторон моего тела, рукой она вводит меня в себя и одно только это заставляет меня задыхаться от экстаза. Она вершит действо, не сводя с меня глаз, смакуя малейшие нюансы моих чувств, в то время как я, со своей стороны, слежу за ее лицом, изменившимся от желания.

Когда я проникаю в нее, она и не думает дать себе волю, удерживается на самом моем кончике, стараясь не потерять ни одной крошки наслаждения потрясающим первым соприкосновением напряженной головки со своими нежными слизистыми стенками, затем она медленно опускается, сдерживая скольжение, до тех пор, пока, исчерпав все силы, не падает и не поглощает меня целиком. Ее глаза увеличиваются и горят огнем, сиреневая тень выступает вокруг них, ее рот открывается для крика, который ей едва удается сдержать, неистово кусая губы.

Оргазм накрывает ее как глубинная волна. Я остаюсь неудовлетворенным, но это не имеет значения, она в моих объятиях, нежная возлюбленная, забывшаяся, недвижная, драгоценнейшая находка. Я скоро осознаю, что она в обмороке. Я все еще в ней, не смея пошевелиться, мучимый грандиозной эрекцией.

Тихонько приподнимаю ее голову, целую ее закрытые глаза, очень нежно. Наконец она поднимает веки, сначала смотрит совершенно потерянно, затем, полностью вернувшись к реальности, одаривает меня широкой улыбкой, крепко сжимает в объятиях и, чувствуя, как в самой ее глубине шевелится мое неугомонное желание, принимается за дело, с тем чтобы привести меня в нужный порт.

Оттоманка — если это действительно оттоманка — не очень подходящая мебель для бурных любовных забав. Это кстати: Изабель вовсе не экспансивная особа. Все ее чувства бурлят внутри, она скупа на жесты и шумные проявления. Она занимается любовью с религиозной торжественностью. Двигается едва-едва. Неподвижное скольжение. Она смотрит на меня, подстерегая возрастание моего наслаждения. Словно держит меня за руку и ведет по цветущей тропинке, медленно, но верно поднимающейся к сияющей вершине.

Страстная и спокойная Изабель... Такая внимательная к моему наслаждению, такая лакомая до своего! Она действует так умело, что мы вместе достигаем ослепительной вершины. И для того чтобы соответствовать ей, я сдерживаюсь и не трублю о своем удовлетворении.

Мы приходим в себя, она на мне всем своим легким весом. У меня нет обычного желания избавиться от женщины, становящейся обузой после любовной схватки. Я охотно продлил бы это мгновение, в забвении перепутав руки и ноги, забывшись в мощном запахе нашего пота и наших выделений.

Пронзительные телефонные звонки вырывают нас из сладкого забытья... Лизон?

Изабель снимает трубку, произносит “алло!”, выслушивает ответ, поворачивается ко мне, отрицательно качая головой. Это не Лизон.

Тревога, забытая на мгновение, возвращается вкрадчивыми шагами. Пока Изабель разговаривает, я привожу себя в порядок. Она видит, что я готов уйти, быстро прерывает разговор и прижимается ко мне. Она хочет меня успокоить. Или успокоиться сама, кто знает?

— Позвони к себе. Может быть, она теперь там.

Набираю свой номер. Жду. Тишина. Я спрашиваю:

— У тебя есть номер Стефани?

— Нет.

Нужно предпринять что-нибудь.

— Я дойду до маленького бистро рядом с лицеем. Они туда заходят.

— Потом пойдешь домой? Если не найдешь ее в бистро.

— Да.

— Как только она придет, я скажу ей, чтобы она тебе позвонила.

— Ладно.

Она кладет руки мне на грудь, поднимает на меня глаза цвета зеленой воды:

— Эмманюэль...

Я сжимаю ее руки в своих. Потом быстро целую в губы и ухожу.

Лизон нет в маленьком бистро, нет никого и из ее компании, впрочем, это не их время. Я возвращаюсь к себе, может быть, она пришла туда. Но ее нет. Чем бы мне заняться, чтобы не торчать как проклятый перед телефоном? Моя рукопись.

Я вынимаю ее из ящика. Завтра обязательно ее отнесу. Мне кажется, что листы лежат недостаточно ровно. Они беспорядочно высовываются из большой папки с ремешками. Это не в моем духе. Лодырь по отношению к домашнему хозяйству, я очень аккуратен во всем, что касается работы... А, телефон!

— Лизон!

— Нет, папа! Это Жозефина, твоя обожаемая маленькая дочка. Ты меня не узнаешь?

— Теперь узнаю. Мне трудно было тебя узнать до того, как ты заговорила.

— Ах да, правда... Скажи-ка, эта твоя Лизон, ты, кажется, жутко к ней привязан? Ты заорал так, будто умираешь со страху. Она водит тебя за нос, правда ведь? Не надо расстраиваться, папа. Они все стервы!

— Кроме твоей матери, надеюсь?

— Ну, знаешь ли...

— Жозефина! Ты, кажется, слишком далеко зашла.

— Это неопасно, пока мы разговариваем, ты можешь в любой момент остановить меня! Подожди, Фрипон хочет с тобой поздороваться.

— Фрипон?

— Моя собака. Ты забыл?

— Ах да! Фрипон.

— Фрипон, скажи здравствуй, это мой папа. Скажи ему на ушко.

Я слышу раздраженное ворчание, потом шквал сердитого лая обрушивается мне прямо в ухо. Я говорю:

— Здравствуй, Фрипон.

— Слыхал? Он хорошо воспитан, правда? Если бы ты знал, какой он милый! Он счастлив со мной, я знаю. И я тоже счастлива. Как мы любим друг друга! Каждое утро я вожу его на Марсово поле, даю побегать на свободе, но это запрещено, я слежу, чтобы не было сторожа, и пус-

каю его в траву, он так рад! Носится как безумный, катается по траве вверх тормашками, я так рада, когда вижу его радость, ты не можешь себе представить!

— Ну, раз ты так рада, малышка, я тоже рад за тебя.

— Папа?

— Да?

— Мы еще поедем туда, к даме с собаками?

— Тебе нужна еще одна?

— Нет! Я просто хотела бы их проведать, вот и все. Привезти им подарков. А еще мне надо научиться этому делу, потому что я хочу создать приют, когда вырасту, только этим мне хочется заниматься.

— Хорошо, согласен. Это можно устроить.

— Супер!

— А пока хочу попросить тебя сказать мне до свидания и повесить трубку. Я жду важного звонка.

— Твой важный звонок под названием Лизон?

— Допустим.

— Ты никогда не изменишься, папа. Все такой же дурак!

— Жозефина!

Но она уже положила трубку.

В дверь стучат. Лизон? Нет, Лизон стучать не будет, у нее есть ключ. Разве что захочет показать мне, что она теперь всего-навсего гостья, чужая... Мне плевать, она здесь, это главное. Кричи на меня, Лизон, плюй в меня, я заслуживаю худшего, но приди, Лизон, только приди ко мне! Я с размаху открываю. Это Стефани. Последнее живое существо, которое я хотел бы увидеть в этот миг. Под мышкой она держит пакет.

Я не предлагаю ей войти. Меня заботит одно — чтобы она поскорее убиралась. Она пытается состроить мину "забудем прошлое и больше об этом не говорим", которой, впрочем, не удается усмирить ни порочную улыбку, ни взгляд, сверкающий торжествующей злобой. Зная нрав этой шлюхи, надо бы приготовиться к неприятностям, но я, озабоченный лишь тем, чтобы не дать ей войти, не обращаю на это внимания. Стефани для меня — раз и навсегда ходячая чума и холера одновременно, для меня не имеют значения временные перемены ее облика и настроения. Она выпаливает, прежде чем я успеваю захлопнуть дверь у нее перед носом:

— Если я тебе вежливо скажу здравствуй, ты пошлешь меня подальше, значит, я тебе этого не скажу.

— Ладно, ты своего добилась. Выкладывай.

Она просовывает ногу между дверью и косяком, как в американских телесериалах. Я говорю себе, что, не прикладывая больших усилий, я мог бы сделать кашу-ассорти "нога-кроссовка-носок", украшенную мелкими косточками, достаточно собраться с духом и захлопнуть дверь с размаху и напоследок поддать каблуком, я не понимаю, почему ни один американский частный детектив не попал в такую ловушку. Какие дураки эти янки! Но быть может, у них просто-напросто такое же маленькое доброе сердечко, как у меня, и они боятся сделать бобо настойчивому сыщику, как я сам боюсь сделать больно этой маленькой вредной дряни? Тем хуже для них, тем хуже для меня. Дрянь быстренько проскальзывает под моей рукой, вот она уже в комнате.

Она становится чрезвычайно любезной, примерная маленькая девочка:

— Да не бойся же так! Я не стану тебя насиловать. Не в этот раз, во всяком случае. Хотя, если ты настаиваешь... Хорошо, хорошо, не хмурь свои черные брови! Сегодня я здесь в качестве простого курьера. Я принесла тебе подарок. Вот он.

Она потрясает пакетом, который держала под мышкой, это один из тех плотных конвертов, которые обычно используют издатели, когда посылают господам критикам свои последние новинки. Она делает вид, что читает этикетку:

— "Издательство Серф-Волан". Смотри-ка, не та ли это фирма, которая имеет честь и право на эксклюзивное публикование несравненных романтических творений твоего знаменитого друга Суччивора? Надпись, сделанная от руки синими чернилами, указывает, что послание адресовано господину Эмманюэлю Онегину, улица такая-то, номер такой-то бис. Если верить этой информации, речь идет как раз о тебе. Так что я передаю пакет лично в руки его законному адресату. Поручение выполнено.

Она протягивает мне толстый конверт. Я беру его. Чую ловушку, но ведь любопытно... Разрываю и трясу конверт. Из него выпадает книга, чего же еще я ожидал? Толстая книга. По крайней мере триста страниц большого формата. На обложке непристойно крупными буквами, ярко-алыми на абсолютно черном фоне, магическое имя, имя, обеспечивающее рекордные продажи:

ЖАН-ПЬЕР СУЧЧИВОР

Ниже, более скромно, название произведения:

СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ

Еще ниже:

Роман

Иллюстрация: скромный цветной кружок, затерянный на черном фоне — просто шик, — представляет собой фрагмент картины "Турецкая баня" Энгра, это пиршество крупов, грудей, покорных рабынь, концентрат эротики, мечту неудовлетворенного самца.

Любопытно. "Сердце не камень"... Одно из названий, которые я выбрал для своего романа. Забавное совпадение. Я никому об этом не говорил, особенно Суччивору. Глухая тревога сжимает сердце. Холодея, начинаю догадываться... Но нет, это невозможно! Нельзя поддаваться паранойе. Но на мою голову свалилось столько неожиданных неприятностей...

Я не осмеливаюсь раскрыть книгу. Словно оттуда должно вырваться чудовище и сожрать меня. Поднимаю глаза на Стефани. Она застыла на месте. Ждет. Под моим взглядом пытается придать себе непринужденный вид. Но я знаю, что она наблюдает за мной. Подстерегает мою реакцию. Значит, между этих страниц действительно притаилось чудовище... Будь что будет, раскрываю!

Титульный лист, форзац, название. Посвящения нет. Глава I. Я читаю.

Фасад, признаться, портит всю улицу. Именно эту мысль высказывает старший капрал Ронсар, весьма гордый сим званием, своему коллеге и подчиненному Маро:

– Надо признать, это портит весь квартал.

Он добавляет:
– Как гнилой зуб в улыбке молодой девушки, например.
Бригадир поэт. А подчиненный нет.
Он бурчит:
– Это выглядит отвратительно, вот как это выглядит.
После минутного раздумья:
– И это отвратительно.
...

Нет смысла читать дальше. Это МОЯ первая глава. Слово в слово. Строка в строку. Лихорадочно открываю книгу наудачу. Еще. И еще... Никакого сомнения. Все мое. Мое! Фразы, над которыми я столько трудился, другие, которые бежали по бумаге так же легко, как я их сочинял, они все здесь, все, все, обретшие престиж печатного слова. Все мои находки, колебания, ликования, исправления по размышлении, все мои страдания, надежды, мои бессонные ночи, внезапные пробуждения из-за того, что во сне пришло в голову лучшее слово, все здесь... Украденное.

Но как он смог?.. Я бросаюсь к заветному ящику. Рукопись здесь. Как всегда. Я распускаю ремешок папки. Мой почерк бросается мне в глаза, плотный, четкий, старательный. Да, это мой почерк. "Глава I – Фасад, признаться, ..." Все здесь, на своем месте, ждет, когда я решусь отнести рукопись какому-нибудь издателю. В чем же дело?

Кое-что, однако, выглядит не так, как следовало бы, но мне не удается определить что. Понял: беспорядок! Листы в должной последовательности, но одни вылезают, другие лежат косо. Я заметил это сегодня утром, но не обратил особого внимания... Но что это – на обороте сто двадцатой страницы след шоколада. Совершенно четкий отпечаток пальца. Мерзавец, который сделал это, жрал "Марс" или "Баунти". И вот мне начинают приходить на память некоторые обстоятельства, детали собираются воедино и рассказывают свою историю... Не поднимая глаз, я слежу за Стефани. Как бы случайно, она все еще стоит у двери, которую оставила открытой. Один прыжок – и она на лестнице. Стефани права, держась настороже. Я способен на убийство.

Не знаю как, но мне удается сохранить почти спокойный тон:

– Стефани, со мной случилась ужасная неприятность.

– Вот как? Тебе и правда не везет. Что за неприятность на этот раз?

– В этом-то как раз я не могу разобраться.

– Если я могу тебе помочь...

– Сейчас объясню. Садись.

– Я лучше постою. Онемела задница за три часа дурацкого сидения в аудитории, попа совсем отнялась. Ну и что же это за чертовщина, в которой ты не можешь разобраться?

– Лови!

Я бросаю ей толстую рукопись вместе с папкой, по крайней мере три килограмма бумаги и картона. Она автоматически протягивает руки, чтобы поймать, из-за чего слегка теряет равновесие и вынуждена сделать шаг вперед, чтобы устоять. На это я и рассчитывал. Я пользуюсь случаем, чтобы прыгнуть ей за спину, захлопнуть дверь и толкнуть задвижку. Она говорит:

– Что с тобой? С ума сошел, что ли?

Но по глазам видно, что она все поняла. Она роняет рукопись, которая рассыпается по облезлому ковру. Заложив руки за спину, опершись о стену, она бросает мне вызов, маленькая гадюка. Смотрит прямо в гла-

за, криво улыбаясь, спокойно ставит ногу на рассыпанные листки и вращает ею, нажимая изо всех сил. Бумага мнется и рвется.

Только не нервничать. Не теряться. Я говорю:

— Я хочу всего лишь понять. Это не допрос. Можешь не отвечать.

— Мне плевать.

Ее улыбка становится шире, распространяется на обе стороны, теперь она симметрична. Должен признаться, что Стефани восхитительна. Это вам не какая-нибудь мелкая пакостница. Я продолжаю:

— В тот день, когда ты пожелала принять ванну, да? Ты осталась здесь одна и позабавилась тем, что все измазала каким-то дерьмом, устроила такой бардак, что я забыл о рукописи. И потом, я не знал, с какой тварью связался. Я и представить себе не мог, что ты ненавидела меня до такой степени. Я даже думал, представь себе, — видишь, какой я идиот, — что в глубине души ты хорошо ко мне относишься, что твои выходки ревнивой девчонки не что иное, как уловка, чтобы про тебя не забывали...

Так как я замолчал, она подумала, что я чего-то жду. Чтобы она, например, со слезами бросилась в мои объятия, умоляя: "Прости, о, прости!" и "Я люблю тебя!" Желая меня разочаровать, она с улыбкой повторяет:

— Мне на тебя плевать.

И для пущей выразительности добавляет фиоритуру:

— Хочу, чтобы ты сдох.

Я продолжаю, не ради того, чтобы смутить ее, а чтобы попытаться все же понять последовательность фактов:

— Ты принесла рукопись в лицей. Там у вас наверняка есть мощная копировальная машина. Ты сделала копию, потом вернула рукопись на место до моего возвращения. И потом продала копию Суччивору. Или, может, отдала бесплатно? Из удовольствия причинить мне зло? Суччивор знал, откуда это. Ему знаком мой почерк. Так что он меня сознательно ограбил. Он твой сообщник, может быть, даже подстрекатель. В любом случае вы оба попадете в каталажку.

Она рассмеялась:

— Дурак несчастный! Ты не сможешь ничего сделать! Ничего. В издательском мире все прекрасно знают, что ты один из негров Суччивора. И за это получаешь жалованье. Вся твоя продукция публикуется под его именем. Попробуй докажи, что этот текст исключение! Может, у тебя есть контракт? Свидетели? Ты остался в дураках. Месье играл в секрет, хотел неожиданно, как гром среди ясного неба, появиться на витринах книжных магазинов. Роман века... Фигушки! Ты не можешь ничего сделать. Ничего, ничего, бедный дурак!

Самое худшее, что Стефани права. Я осознаю это по мере того, как она говорит. Над кучей бесполезной макулатуры мне удается выдавить театральную реплику:

— Значит, ты меня так сильно ненавидишь?

— Тебя? М-м-м... Мне нравится ненавидеть. Я от этого тащусь. Этим не грех воспользоваться желающим. Ты понял? Нет? Я не настаиваю... Ладно, я тороплюсь, на тебе свет клином не сошелся, у меня есть другие дела. Прощайте, дамы-господа, я смываюсь.

Она делает осторожный шаг в направлении выхода. Я больше не отвечаю за себя. Она видит по моему лицу, что я готов наброситься на нее с кулаками. Она говорит:

— Если ты прикоснешься ко мне, я закричу "насилуют!". И прикинь, кто тогда окажется в каталажке?

Стефани хватается за свою кофточку обеими руками, готовая разорвать ее при моем малейшем движении. С наглой миной она заявляет:

— Если только ты не захочешь действительно изнасиловать меня. В этом случае я закричу потом.

Мне плевать. Это ходячее зло искалечило мне жизнь. Я должен отомстить. Раздавить эту дерьмовую улыбку, заставить ее проглотить собственные зубы, я должен... Телефон!

Телефон... Хватаю трубку.

— Лизон?

На другом конце рыдания. Водопад рыданий, всхлипов, которые опережают и глушат друг друга. Мучительный страх взрывается во мне, заставляет забыть обо всем.

Стефани воспользовалась этим, чтобы прыгнуть к двери и открыть ее, но на пороге застывает, предчувствуя, что звонок — вестник беды, и ни за что не желая пропустить этого.

— Эммануэль... Лизон... Лизон...

Это Изабель. Ей не удается ничего сказать. Рыдания душат ее. Она не в силах произнести это слово. Да и к чему? Я и так понял. В моей голове адский шум. Я весь — ужас и оцепенение. Почему? Почему?

— Под поезд... в метро...

Самый ужасный способ. Невыносимая картина вспыхивает перед глазами. Улыбка Лизон раздроблена в кашу из крови, костей, внутренностей... Навсегда, навсегда.

Стефани, видя мое лицо, бледнеет и пятится.

— Плохие новости? Ладно, я ухожу. Совсем забыла, Лизон передала мне для тебя.

Она бросает мне тонкий конверт и убегает. В конверте один листочек, вырванный из тетради в клетку, со словами:

Каким ты можешь быть дураком, любовь моя!
Твоя Лизон навсегда.
(Теперь уже недолго.)

XVI

Значит, девочки умирают. Они убивают себя. Они уходят вот так, не говоря ни слова и бросаются в метро под поезд. С быстротой молнии они превращаются в лужицу, которую легко осушить. И больше не существуют. Конец. Словно никогда не существовали. Воспоминание. Что такое воспоминание? Туманный образ, все больше мутнеющий, ускользающий и стирающийся, черты которого все труднее различить. Немой вопль, всюду сопровождающий тебя. Отчаянный отказ принять неприемлемое, наталкивающийся на жестокую реальность...

Цена одного лишнего слова. Цена глупости, которую хотел и не успел сразу же исправить... Слишком поздно! Мертвые всегда правы. Мертвые затыкают вам рот.

Значит, ты не поняла, что я не смогу продержаться? Ты, которая знала меня лучше, чем кто бы то ни был, лучше, чем я сам, значит, ты знала меня так плохо? Или же ты вдруг узнала меня слишком хорошо? И обнаружила, что я недостоин тебя? Недостоин огромной любви, которую ты посвятила персонажу, который на самом деле не существовал,

вернее, существовал только потому, что ты нуждалась в этом, персонажу, который оказался к конце концов всего-навсего мной? Бисер перед свиньями? Так?

Ты была права. Я — это всего лишь я. Немного... Но почему мне так плохо? Ты убивала меня, убивая себя, но ты промахнулась. Рана смертельна, но убьет меня не скоро. Я изопью свою смерть до дна. О Лизон, Лизон...

XVII

Что я здесь делаю? Похоже, это палата в больнице или в клинике. Что случилось со мной? Я был болен? Несчастный случай?.. Память вдруг возвращается ко мне, будто неожиданно открыли кран на полную катушку, грубое вторжение, жестокое, дикое насилие, я разом вспоминаю все, весь ужас: Лизон. Больше нет Лизон. Есть только смерть. Я воплю, призывая смерть.

Дверь распахивается, вбегает медсестра, за ней тип в белом со стетоскопом, свисающим, как слоновий хобот.

— Он пришел в себя, месье.

— Я вижу. Но орет все так же.

— Ввести ему валиум?

— Все же я предпочел бы, чтобы его так не оглушали, раз уж он очнулся.

— Нельзя, чтоб он так кричал, его слышно по всему отделению.

— Можно мне войти?

Это уже другой голос. Который мне знаком. Женевьева! Я узнаю ее, когда она приближается к кровати. Она нежно берет мою голову в руки, она прижимает мою щеку к своей груди кормилицы, она говорит: "Ну, тише, успокойся", она баюкает меня. На ее большой груди так хорошо. Мягко, тепло, уютно. Рай. Когда те двое уйдут, я попрошу ее вынуть груди, я вдохну их приятный запах, пососу оба больших рыхлых соска, погружу пальцы в белую упругую плоть.

Медсестра — ее халат едва доходит до половины ляжек, под халатом она голая, я уверен, ноги не так уж хороши, но у нее полные твердые бедра, мне хотелось бы, чтобы она нагнулась, — медсестра говорит:

— Это чудо!

Врач-интерн говорит:

— Жаль, что вы не можете постоянно тут дежурить!

Женевьева говорит:

— Я могу забрать его к себе. Когда вы его выпишете?

— Не знаю... Это не зависит от меня, но так как он в сознании, я не думаю, что есть необходимость дольше задерживать его. Можно будет назначить лечение на дому. Я поговорю с главным.

Он выходит, и медсестра с красивыми бедрами тоже. Но мне остается Женевьева.

Женевьева все мне объяснила. Мадам Добинье, добрая старая дама с кошками и собаками, у которой она нашла приют, предложила ей свой домик в обмен на более или менее символическую пожизненную ренту. Для того чтобы избежать возможного оспаривания домика наследниками, появившимися бог весть откуда и очень жадными, но главное, что-

бы можно было спокойно умереть, зная, что судьба животных в надежных руках. Мудрая предосторожность, предпринятая вовремя: она скончалась вскоре после этого. И теперь Женевьева владелица дома, сада, сорока пяти кошек и двенадцати собак (за это время новые приемыши увеличили поголовье).

Женевьева решила превратить комнату, выходящую в сад, в свое рабочее место. Из козел и досок мы соорудили стол, большой стол, на котором установили друг против друга две наклонные плоскости, одну для нее, другую для меня.

Ах да, чуть не забыл. Довольно долгое время я оставался в беспомощном состоянии, полностью на попечении Женевьевы. Я не держался на ногах, со мной случались приступы неудержимых рыданий, Женевьева пичкала меня валиумом или бог знает какой дрянью того же рода, чтобы я не начал опять орать и призывать смерть, как это произошло в самом начале моей жизни здесь. Тогда это нашло на меня неожиданно, и двенадцать собак, усевшись в кружок, принялись мне аккомпанировать, задрав морды к луне, которая как раз нарождалась. Это было ночью. Конечно, из-за соседей надо остерегаться таких происшествий. К тому же собаки и кошки...

Никто не приходит меня навещать. Впрочем, кому, собственно, приходить? Кроме Жозефины разве что. Она приходила два раза, но я думаю, больше из-за собак и кошек. Она любит животных, эта малышка. Первый раз она привела Фрипона. Его чуть не сожрали, вся свора ополчилась против него. Так я узнал, что Агата снова вышла замуж, глупышка. Все ее мужики такие же, как я: ненадежная опора. Хотя Агата прекрасно все понимает и сразу замечает эту ненадежность, она снова и снова попадается на удочку и всегда будет попадаться, потому что, какой бы умницей она ни была, именно ненадежные мужики влекут ее. Ладно, это ее дела. До тех пор, пока они не протягивают своих грязных лап к моей девочке, все равно с какой целью, побить или приласкать...

Теперь мне стало гораздо лучше. Я все еще остаюсь зомби, но зомби, который может самостоятельно сходить в туалет и застегнуть ширинку. Женевьеву осенило. Она так хорошо справляется со своей работой рисовальщицы реплик в пузырях комиксов, что от заказов нет отбоя. Она уже хотела было взять себе помощницу. В это время подвернулся я. Скажу не хвастаясь, у меня красивый почерк. Мне не пришлось долго растолковывать, что и как. Женевьева была страшно довольна! И вот мы устраиваемся друг против друга со своей работой, каждый под своей лампой и старательно трудимся. Потому что это не так-то легко, как кажется на первый взгляд. Прежде всего, надо иметь способности. Если их нет, не стоит и пытаться. Это одно. Затем, надо сдерживать дыхание, иначе рука твоя дрогнет. И осторожно с орфографией! Если ошибешься и неправильно напишешь одну буковку, надо переделывать всю строчку. И даже весь пузырь, потому что поверх того, чем замазывают ошибки, не напишешь как следует, это уже не то.

Тем не менее работа не мешает нам разговаривать. Иногда мы зачитываем друг другу совсем уж дурацкие надписи. Или, наоборот, удачные, реплики в духе Одиара. Мы читаем их с выражением. Время от времени я смотрю на Женевьеву. Часто. Мне нравится смотреть на нее. Когда она очень старается, то высовывает язык. А меня этот высунутый кончик языка, влажный и розовый, наталкивает на разные мысли. Я задаю себе вопрос, что я буду с ней делать сегодня вечером. Она позволяет мне делать все, что я хочу. Что бы я ни изобрел, она довольна.

О, это не так уж много. Я не извращенец и не любитель все осложнять. Мне нравится зарываться лицом между ее большими грудями, или между ее полными бедрами, или между ее большими ягодицами, между всем, что у нее есть большого и полного. Я проникаю в нее, где мне угодно, тут или там, это всегда приятно, всегда необыкновенно. Во всех местах — женщина. Женщина! Полными горстями, всласть, до смерти. Она может испытывать свой оргазм двадцать раз — в то время как я только один, — тихонько вскрикивая, громко вздыхая, с глазами, переполненными благодарностью и любовью. А после она обнимает меня, покрывает мне лицо мелкими поцелуями, приговаривая: "Мой дорогой, мой миленький...", и потом мы так и засыпаем, и так просыпаемся, а иногда среди ночи мне вдруг захочется зарыться ей куда-нибудь, тогда я раздвигаю ее полные бедра, и я в свое удовольствие разглядываю ее плотно сомкнутое дородное лоно, я осторожно раздвигаю ее спутанные волоски — у нее здесь обильно растут волосы, масса густой растительности, — я приглаживаю их тыльной стороной ладони, эти буйные кудри, и освобождаю во всей красе большие губы, такие же смуглые, такие же нежные, как кожа моих яичек. Наконец появляются малые губы, розовые и перламутровые, я раздвигаю их тоже и наслаждаюсь созерцанием всего, что есть внутри, даже наших собственных соков, оставшихся с прошлого раза, смешавшихся, застывших и образующих нити паутины, и этот запах, мамочка, запах разврата и логовища, запах любви...

Это и есть наша жизнь. Животными занимается Женевьева. Она не потерпела бы, чтобы я вмешивался. И так весь день, лицом к лицу. Для работы она надевает очки. Это возрастное. Я хотел бы тоже быть в ее возрасте и тоже надевать очки, чтобы мы были похожи друг на друга. Иногда собаки дерутся или кошки начинают гоняться друг за другом. Она поднимается, чтобы разнять их. Я вижу, как она уносит свой прекрасный зад. Я знаю, что она вернется. Это хорошо.

Это наводит меня на мысль о "Буваре и Пекюше". В самом конце книги. Когда эти два простофили после всех приключений снова оказываются лицом к лицу, как мы теперь, переписывая бог весть какие бумаги[1]. Я сказал об этом Женевьеве. Она ответила:

— Ты думаешь, что Бувар делал с Пекюше то, что ты делаешь со мной?

Потом она покраснела. Она воплощенная стыдливость.

1. Таков, по замыслу Флобера, должен был быть финал незаконченного им романа "Бувар и Пекюше".

Джозеф Конрад: между мирами

Карен Хьюитт

Джозеф Конрад: проблема двойственности

ОДНА из первых книг о Джозефе Конраде называлась "Джозеф Конрад: польский гений с берегов Англии". Это название очень точно отражает главный парадокс великого английского романиста: кем был и кем ощущал себя Джозеф Конрад — поляком или англичанином? Самосознание, столь важное для любого писателя, особенно значимо для автора, в чьих произведениях исследуются проблемы верности и отчуждения, нравственные переживания превалируют над общественными и политическими коллизиями, а стиль, отличающийся редкой выразительностью и красотой, — результат огромной работы над языком, изученным во взрослом возрасте.

Сын польского патриота, арестованного в 1861 году по обвинению в заговоре против Российской империи, Конрад провел большую часть детства, с четырех до девяти лет, вместе с родителями в ссылке — сначала в Вологде, потом в Чернигове. Там же, в ссылке, умерла его мать, а отец скончался вскоре после того, как получил разрешение вернуться в Польшу. Заботу о Конраде взял на себя его дядя, богатый землевладелец Тадеуш Бобровский, который заменил ему любящего отца и поддерживал материально не только в отрочестве, но и в первые годы по достижении совершеннолетия. К отсутствию у поляков собственного государства дядя относился совсем по-иному, чем родители Конрада; он не был сторонником революционной борьбы и считал, что его сестру и мать Конрада Эвелину Бобровскую втянул в опасные интриги ее отважный, но безрассудный муж; с его точки зрения, в подобной ситуации нужно было жить, "не поднимая головы", полагаясь на добрую волю царя Александра II. Тем самым в период становления Конрад испытывал разные, порой несовместимые влияния, ибо на вопрос о том, должен ли человек, борясь с политическим гнетом, бросать вызов государству и ставить под угрозу свободу и жизнь, причем не только свою, но и близких, или должен смириться ради спокойного существования и возможности заниматься своим делом, отец и дядя отвечали совсем по-разному. Зато они сходились в одном очень важном пункте: оба сделали все от них зависящее, чтобы Конрад никогда не забывал, к какой нации и какому сословию принадлежит. Его отец, называвший себя демократом, тем не менее остро ощущал свое дворянство и хотел, чтобы сын гордился тем, что происходит из старинного и прославленного рода. Вследствие подобного воспитания, одним из непременных условий которо-

© Karen Hewitt, 2000
© Д. Иванов. Перевод, 2000

Карен Хьюитт — английский литературовед. Преподает в Оксфордском университете.
Статья написана специально для "ИЛ".

го, кстати, было умение вести себя любезно, Конрад смотрел свысока почти на всех, с кем ему доводилось встречаться, даже в те долгие годы, когда служил простым матросом.

В пятнадцать лет он стал просить опекуна, чтобы тот разрешил ему оставить Польшу и отправиться в море. Дядю эта просьба привела в замешательство, он не мог понять, зачем жителю Кракова и Львова быть мореходом. Но Конрад не отступал, и в конце концов его заветное желание исполнилось: в 1874 году, шестнадцати лет от роду, он прибыл в Марсель и поступил во французский торговый флот. К тому имелись и вполне практические причины. Он стремился любыми путями избежать службы в русской армии и надеялся укрыться во Франции от призыва. Как и положено польскому дворянину того времени, он бегло говорил по-французски и не страшился языкового барьера, а начитавшись английских и французских приключенческих романов, морских рассказов и путевых заметок, видимо, и в самом деле страстно мечтал о море — сказалась отцовская романтическая жилка. Но обретя желаемое, Конрад вскоре обнаружил, какая это тяжелая и опасная работа.

Впрочем, в течение нескольких последующих лет он провел на берегу не меньше времени, чем на борту корабля, и вел, согласно сохранившимся свидетельствам, довольно бурную и беспорядочную жизнь, не чураясь и достаточно рискованных занятий: так, среди прочего, занимался контрабандным ввозом оружия в Испанию – помогал сторонникам дона Карлоса. В письмах к дяде он намекал на какие-то таинственные дуэли и любовные истории, но на самом деле главные его затруднения были в ту пору денежного свойства. Он быстро тратил щедрое дядино содержание, занимал деньги, а чтобы поправить положение, играл и, разумеется, то и дело проигрывался в пух и прах. В те годы у него появились (и уже до конца дней его не покидали) сильные приступы депрессии, обернувшиеся серьезными последствиями. Когда ему было двадцать лет, он после очередного крупного проигрыша пытался застрелиться. К счастью, пуля не задела сердце, и он быстро поправился, но и потом несколько раз бывал близок к самоубийству.

В апреле 1878 года Конрад уехал из Марселя в Англию и поступил в торговый флот, так как в соответствии с французским законодательством подлежал высылке из Франции для несения службы в русской армии. Следующие пятнадцать лет с небольшими перерывами он провел на британских судах: сначала матросом, затем, когда набрался опыта и сдал экзамены, вторым помощником капитана, еще позже — первым, пока наконец в 1886 году не дослужился до звания капитана торгового флота. В том же году он получил британское гражданство.

В ранге капитана Конрад плавал всего на одном судне — "Отаго" — в 1888—1889 годах. Неудивительно, что первый самостоятельный опыт командования отразился в целом ряде его произведений, в том числе в рассказе "Теневая черта" (1917), герою которого принадлежат знаменательные слова: "Я понял, насколько я был моряком душой, умом и телом — человеком, принадлежавшим исключительно морю и кораблям; море было единственным имевшим значение миром, а корабли — испытанием мужественности, темперамента, храбрости, верности — и любви"[1]. Несомненно, чувства, которыми Конрад наделил своего молодого героя, име-

1. *Дж. Конрад.* Избранное в 2-х т., т. 2, с. 536. Перев. А. Полоцкой. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

ли немало общего с его собственными в пору командования "Отаго". Впрочем, между ним и повествователем имелось и немаловажное отличие: даже в "морской" период Конрад не был "человеком, принадлежавшим исключительно морю и кораблям". Тут нельзя не подчеркнуть, что серьезной морской карьере изначально противоречили две важные его особенности. Прежде всего, как уже говорилось, он никогда не забывал, что он польский шляхтич. В английском торговом флоте рядом с ним служило немало иностранцев, съехавшихся со всех концов света, — по большей части людей простого звания, для которых Конрад был и оставался чужим, необычным, непонятным, как ни лояльно он умел держаться. Впрочем, свое превосходство он ощущал даже в офицерской среде. Неверно было бы считать это следствием банального снобизма, просто окружающие не могли не чувствовать, что быть "первым помощником Джозефом Конрадом" или даже "капитаном Джозефом Конрадом" и только ему неинтересно, он был человеком из другой жизни (ведь даже вожделенное британское подданство отчасти нужно было ему для того, чтобы навещать дядю в Польше, не рискуя угодить в российский застенок за уклонение от воинской обязанности). Но главное было даже не в этом, а в его душевном складе: все самое важное происходило в голове, а не во внешнем мире. Как человек сильных нравственных исканий и могучего воображения, иначе говоря, как натура глубоко творческая, он не мог не думать о путях самовыражения и, естественно, начал писать и мечтать о литературной карьере. Плавание давало немало пищи для писательского ремесла, и он копил наблюдения и замыслы, много размышлял о людских характерах и судьбах. Он не принадлежал к числу рано сложившихся авторов и к первому своему роману приступил, когда ему исполнился тридцать один год. На написание книги ушло пять лет (бóльшая часть времени, конечно, прошла в плаваниях). За годы странствий по морям и океанам он возмужал как человек и сложился как писатель. Порой ему случалось встретить и себе подобных. Так, во время своего последнего плавания старшим помощником на пассажирском судне Конрад свел знакомство с оказавшимся на борту английским джентльменом и романистом по имени Джон Голсуорси. Немудрено, что с ним у Конрада нашлось больше общего, чем с товарищами по морскому делу, и они стали друзьями.

Главный вопрос, которым не мог не задаться начинающий автор, касался выбора языка. С раннего детства Конрад говорил по-польски и по-французски, и хотя всегда отрицал, что знает русский, в это верится с трудом, поскольку он провел пять лет в Вологде и Чернигове, а его отец, учившийся в Санкт-Петербурге, не мог не владеть русским хотя бы в минимальном объеме. Английский, скорее всего, был четвертым языком писателя – языком его трудовой жизни, страны, которую он избрал в качестве второй родины, и литературы, по большей части прочитанной им во взрослом возрасте. И все же в конце дней он пришел к мысли, что совершил единственно возможный выбор:

> *Способность писать по-английски была для меня столь же естественна, как любой другой навык, с которым я мог бы родиться на свет... мне выпало быть избранником духа языка, который, едва я перестал лепетать и запинаться, превратил меня в свою собственность, да так властно, что сами его идиомы, как я искренне верю, оказали прямое воздействие на мой темперамент и сформировали мой к тому времени еще податливый характер.*

Даже если это было и так, писать по-английски оказалось непросто. Конрад говорил о том, каких мук ему стоило добиться точности в передаче мыслей. Друзьям и редакторам, читавшим его ранние романы, пришлось вносить в них множество мелких поправок и изменений; позже они вынуждены были действовать более осторожно, потому что он уверовал, что овладел английским в совершенстве! При этом его пунктуация всегда оставалась очень необычной. В определенном смысле Конрад недооценил собственные достижения. Он не просто был избран духом английского языка — он изменил его и приспособил к своему мощному поэтическому видению мира. Внимательный английский читатель непременно заметит, что этот автор говорит и пишет как иностранец, однако Конрад в высшей степени сознательно пользовался всем богатством английского словаря, подбирая изумительно точные обороты, поражающие прежде всего свой оригинальностью. Когда же он все-таки прибегал к идиомам, то делал это как-то излишне старательно, словно был не до конца уверен в производимом эффекте. Но когда он писал со всей присущей ему провидческой мощью, он подчинял себе язык, заставлял его расширяться и выходить за привычные пределы.

Что же касается содержания произведений, то и здесь Конрад, художественно переосмысливший свой опыт мореплавания, вышел далеко за границы того, на что мог решиться обычный английский писатель. Поначалу его просто не поняли. После того как он опубликовал свои первые произведения — "Каприз Олмейера" (1895), "Негр с 'Нарцисса'" (1897) и ранние рассказы, включая "Караин" (1898), — многие читатели сочли Джозефа Конрада автором приключенческого жанра. Он писал об экзотических уголках мира, о бесстрашных людях и кораблекрушениях. Доведись ему сочинять позже, голливудские режиссеры охотно взялись бы экранизировать его истории, — как они, впрочем, в конце концов и сделали. Но такой взгляд на Конрада неверен. Внимательно вчитавшись, мы ясно увидим, что его внутренний мир исполнен печали и тревоги. Взять, к примеру, повесть "Негр с 'Нарцисса'", в которой устами простого матроса излагается история опасного морского перехода из Бомбея в Лондон. Там есть такой эпизод: одного старого моряка спрашивают, что будет с больным, который находится на борту судна, и старик объясняет своим товарищам, что больной умрет:

> *Слушатели, собравшиеся вокруг, почувствовали, как вместе с разочарованием на них нисходит что-то вроде просветления, и тихо погрузились в дрему с бездумной простотой людей, которым вдруг открылась до конца вся непоправимость их существования.*

Персонажи приключенческой литературы не думают и не говорят о "непоправимости своего существования". Что означает эта безнадежная фраза? Самый простой ее смысл заключается в том, что смерть неотвратима и умрут все: больной с "Нарцисса", старый моряк, его товарищи и мы, читатели Конрада. Но типичный герой английской приключенческой литературы отнюдь не склонен задумываться над своей смертностью. Он ценит жизнь в ее волнующей сиюминутной данности, не рассуждая о будущем. Конечно, он способен хранить верность долгу, рисковать, жертвовать жизнью ради определенной цели (чтобы выручить товарищей, спасти корабль и тому подобное), но вопросом о смысле жизни он не задается. Однако Конрад вкладывает в слова о "непоправимости существо-

вания" и другой, более глубокий смысл — он хочет поставить вопрос шире. Что, собственно, значит жизнь, если она заканчивается смертью? Зачем мы здесь, зачем страдаем и зачем за нее цепляемся, если нет средства отвратить неизбежный конец? Больной матрос из повести "Негр с 'Нарцисса'", этот самый негр Джимми Уэйт, под предлогом болезни часто увиливает от работы. Но, как постепенно понимает читатель, Джимми и в самом деле умирает, и его поведение по большей части продиктовано желанием скрыть это от самого себя. И все же повесть заканчивается воображаемым посланием, с которым, как полагает рассказчик, моряки могли бы обратиться к своему умершему товарищу: "Разве мы, плававшие все вместе по бессмертному морю, не добыли смысл из наших ужасных жизней?" Конрад лишь изредка намекает в своих произведениях, что это за смысл. Так, в повести "Юность" есть такие слова: "Эти парни из Ливерпуля были хорошей закваски, я в этом убедился на опыте. Ее дает море — необъятный простор и одиночество, облекающее темную, стойкую душу.[1]" Другими словами, море пробуждает воображение даже у простых, прозаических людей. Оно наделяет их своего рода нравственной глубиной — спутницей одиночества и дает силу переносить его.

А души, измысленные Конрадом, почти всегда одиноки. Такого английская литература еще не знала. Конечно, она и раньше не была беззаботно оптимистической. Достаточно вспомнить, что конрадовский "Караин" был опубликован через два года после выхода последнего романа Томаса Харди "Джуд Незаметный"— яркого, но беспощадного повествования о жизненной тщете. Да и героям такого мастера английского психологического романа, как Джордж Элиот, в чьих произведениях постоянно ставилась проблема смысла жизни и человеческой несостоятельности, существование порой представлялось невыносимым. Но между этими романистами и Конрадом есть немаловажное отличие. Для Харди, Джордж Элиот и других английских писателей жизнь объяснялась отчасти метафизически, отчасти социально, ибо их вера в Божественное Провидение была подорвана дарвинизмом. Теперь вместо Бога всем правил слепой случай и безразличная к моральным ценностям эволюция. И все же персонажи этих авторов по-прежнему руководствовались важной нравственной задачей: стремились выстроить систему социальных отношений, основанных на взаимных обязательствах и ответственности, чтобы жизнь каждого отдельного человека стала более терпимой. Семейные и дружеские узы, образование и работа, общественная деятельность и политические проекты, даже ответственные государственные посты — таковы были пути достижения цели. Деятельное участие в построении подобной системы отношений оставалось для человека необходимым и зачастую неизбежным. Но Конрад не верил ни в какие социальные системы. Он давно потерял надежду на возможность каких-либо улучшений в его отечестве: Польшу не могли спасти ни идеалисты, подобные его отцу, ни террористы, ни умеренные обыватели, сотрудничавшие с российскими властями, как его дядя. Хотя Конрад стал британским подданным, его знание английского общества оставалось поверхностным. Когда, оставив торговый флот, он осел на берегу, чтобы заняться писательским ремеслом, круг его общения был ограничен немногими друзьями и женой — женщиной, видимо, любя-

1. *Дж. Конрад.* Избранное в 2 т. Т. 1. С. 71. Перев. А. В. Кривцовой.

щей, но малообразованной и не понимавшей его прошлого. Он был совершенно одинок и к тому же лишен твердой почвы под ногами. Поэтому, описывая жизнь на борту, Конрад никогда не видел в ней модель возможного социального устройства, разрабатываемого зачастую другими английскими романистами, — его мир был другим. Если он и описывал море символически, то лишь как метафору человеческого существования. Герои Конрада, связанные общими корабельными обязанностями, зависимостью и ответственностью, всегда живущие бок о бок и на виду друг у друга, как сказано в рассказе "Караин", сообща влачат "одиночество морской жизни". По окончании очередного рейса судовое братство распадается, пути членов экипажа расходятся — изоляция и одиночество носят тотальный характер. Так что к идее всеобщего социального блага Конрад был безразличен. Поэтому большинство его героев-одиночек, движимых лишь собственными мечтами и идеалами, убежденных, что им удастся справиться с этим темным, запутанным миром собственными силами, — натуры неуравновешенные, одержимые. Чуть ли не все герои лучшего романа Конрада "Ностромо" (1904) близки к безумию, каждый из них носится со своей навязчивой идеей, не желая вписываться ни в одну из бесчисленных ячеек разветвленной социальной системы.

Сам Конрад к подобным "идеалистам" относился со смешанным чувством. В этой смысловой неоднозначности одна из причин удивительного богатства его книг, содержательно насыщенных, оригинальных, завораживающих. С одной стороны, писатель был убежден в неправоте "идеалистов": жизнь вовсе не так проста и не исчерпывается легко опознаваемыми нравственными схемами, пусть даже мечты и действия таких людей по-своему моральны. С другой — он часто изображает людей ограниченных, заурядных, отнюдь не одержимых. Это нравственно неинтересные, невосприимчивые и глухие к жизни натуры, словом, лишенные воображения эгоисты. Подобный способ классификации человечества также выделяет Конрада из ряда других английских писателей. С его точки зрения, глупость — это зло, моральная слепота, заслуживающая гневного осмеяния, тогда как английская литература традиционно связывает отсутствие общественного успеха с глупостью, что зачастую трактуется комически (достаточно вспомнить мистера Коллинза из "Гордости и предубеждения" или десятки простаков Диккенса, который, кстати сказать, относится к ним с нескрываемой симпатией).

Кто же в таком случае заслуживает уважения и восхищения в художественном мире Конрада? Ответ очевиден: уважение автора на стороне тех, кто проявляет стойкость и мужественно делает свое дело. Однако слишком тонкая черта отделяет этих стоиков, обладающих "воображением ровно настолько, чтобы пережить очередной день, и не более того", от натур либо нравственно ограниченных и лишенных воображения, либо безумцев, чье восприятие слишком односторонне. На протяжении почти всего романа о Лорде Джиме писатель исследует вопрос, способен ли Джим, мечтатель, идеалист, покинувший свой пост под влиянием минутной паники, искупить свой позор. По мнению иных персонажей, ему нет и не может быть прощения, ибо, нарушив долг, он навсегда лишился чести. Но Марлоу, от чьего лица ведется повествование и чьими устами говорит сам автор, совсем в этом не убежден. Не слишком ли просто сводить все на свете к слову "честь"? А может статься, Джим, несмотря или даже вследствие своей слабости, становится

более сложной и глубокой личностью и лучше знает цену жизни и близости трагедии? Автор так и не может однозначно определить свое отношение к герою, ибо как морскому офицеру Конраду известно, какими качествами должен обладать помощник капитана, но как писатель он эти достоинства вынужден поставить под сомнение.

На английских торговых судах Конрад обошел значительную часть Британской империи, особенно ее восточные колонии — в частности Малайзию, — и мог сравнить их с другими, например голландскими или французскими. Как морской офицер, он не раз контактировал с британскими колониальными чиновниками, сохраняя при этом привилегированное положение джентльмена. В 1890 году он поступил на службу в бельгийскую компанию, которая вела торговлю на берегах реки Конго, и его первый написанный не о море — "сухопутный"— шедевр "Сердце тьмы" (1899) основывался на личных впечатлениях. Писатель имел непосредственный опыт наблюдения над колониальной политикой трех империй, к каждой из которых у него было вполне сложившееся и особое отношение. Как поляк, он испытал на себе гнет Российской империи, но, как дворянин, полагал естественным, что его сословие главенствует над другими людьми, например над украинскими крестьянами. Он с неприязнью относился к русским, в которых видел варваров, забравших власть над польским дворянством, и в этом отчасти сказывался его протест против социального притеснения и тупости империалистов. Но, как британский офицер, он в основном с уважением и восхищением относился к британскому стилю колониального управления и полагал, что англичане несут с собой цивилизацию и что туземцы, столкнувшись с новым порядком, чаще всего выигрывают от подобного насилия над их культурой. (С другой стороны, как видно из его ранних рассказов, он вовсе не считал туземцев умственно отсталыми людьми. В рамках своей культуры они были столь же умны и проницательны, как и белые люди — в рамках своей, но оказывались в невыгодных условиях, когда белый человек вносил в их жизнь свои технические "улучшения". Неслучайно Конрадом в наши дни очень заинтересовались антропологи, которые используют не только его описания традиционных обществ, но и изучают по нему конфликты культур). В Бельгийском Конго писатель воочию убедился в жестокости и деспотизме империалистической системы, на чьей стороне в силу занимаемой им должности вынужден был выступать. Положение осложнялась и тем, что он не в силах был отождествить себя со страдающими африканцами, уравняв их тем самым с поляками, потому что культурные различия между теми и другими были слишком велики. Много лет бился он в своих книгах над решением этих парадоксов. Кем же он все-таки

Джозеф Конрад в 1873 году

был — сторонником или противником империи? Как польский дворянин, он не мог считать себя демократом. И все же, при каких условиях одни люди имеют право управлять другими и вправе ли угнетенные бунтовать против своих хозяев, а если вправе, то как следует расценивать неизбежное в таких случаях кровопролитие? Эти мучительные раздумья отразились в повести "Сердце тьмы", написанной восемь лет спустя после пребывания писателя в Конго. В ней он исследует тьму человеческого сердца, но это ни в коем случае не символическое или метафизическое произведение. Для этого оно слишком реалистично, достаточно вспомнить, как там описаны африканцы, оказавшиеся под властью колониальных чиновников, которые привнесли в их жизнь "организацию":

> *Они умирали медленной смертью, это было ясно. Они не были врагами, не были преступниками, теперь в них не было ничего земного – остались лишь черные тени болезни и голода, лежавшие в зеленоватом сумраке. Их доставляли сюда со всего побережья, соблюдая все оговоренные контрактом условия; в незнакомой обстановке, получая непривычную для них пищу, они заболевали, теряли работоспособность, и тогда им позволяли уползать прочь. Эти смертники были свободны, как воздух, и почти так же прозрачны.*[1]

Хуже этого уже ничего не может быть, кажется Марлоу. Но затем он встречает живущего в верховьях реки Конго Курца, который пришел к убеждению, что имеет полное право распоряжаться жизнью и смертью местных жителей. Он держит их в повиновении риторикой и ритуалами, а дом его окружен черными головами, насаженными на колья. Марлоу с горькой иронией замечает, что эти человеческие головы "лишь свидетельствовали о том, что мистер Курц, потворствовавший разнообразным своим страстям, нуждался в выдержке, что чего-то ему не хватало, какой-то мелочи в критический момент, несмотря на великолепное его красноречие"[2]. Эта недостающая ему "мелочь" — человеческая порядочность. И при всем том это чудовище — образованный человек: "Его мать была наполовину англичанкой, отец — наполовину французом. Вся Европа участвовала в создании Курца"[3]. В этом парадоксальность ситуации, какой ее видит Конрад и его alter ego Марлоу. Иными словами, все мы, цивилизованные европейцы, способны на то же, что и Курц. Это живет в наших сердцах, и в наших поступках, и в нашем молчаливом согласии с политическими действиями наших правительств. Страдания туземцев под игом чиновничьей бюрократии достаточно тяжелы, но Марлоу удается убедить себя, что он (как и его читатель) не такой, как эти чиновники. Но убедить себя в том, что он не такой, как образованный, обезумевший и беспощадный Куртц, он не может.

Понятые таким образом проблемы империализма подвергаются дальнейшему изучению в романе "Ностромо" . Теперь под пером Конрада возникает целое государство Костагуана со своей историей, географией, политикой и экономикой, и автор пытается представить себе, что произойдет, если одна из провинций этого государства попытается отстоять свое благополучие и стабильность, отделившись от центра и провозгласив собственную независимость. Конрад хочет представить

1. Там же. Т. 2. С. 24. Перев. А. В. Кривцовой.
2. Там же. Т. 2. С. 79–80. Перев. А. В. Кривцовой.
3. Там же. Т. 2. С. 68. Перев. А. В. Кривцовой.

себе, как будут развиваться события и к каким последствиям для всех участников они приведут. Преданные своему делу мятежники олицетворяют образованных и разочаровавшихся патриотов со всех концов света — включая, разумеется, и родную Конраду Польшу. На правителях вымышленной страны лежит особый отпечаток тирании, глупости и идеализма, свойственный диктаторам. А богачи-капиталисты, которые вкладывают средства в Костагуану и разрабатывают идеологию, позволяющую им беспрепятственно эксплуатировать местные природные ресурсы, напоминают английских, американских и российских предпринимателей, изображенных в равно неприглядном виде.

Что общего имеет это широкое политическое полотно с конрадовскими одинокими душами, которые живут под знаком борьбы с бременем жизни? Но таков дар этого художника, что и в "Ностромо" почти все герои оказываются в нравственной изоляции, в мечтательном одиночестве, хотя на первый взгляд вроде бы участвуют в общем деле. Но если они и действуют вместе, то во имя разных целей и разных идеалов.

Конрад всегда многозначен как художник: и его романы, и отдельные их эпизоды значат больше, чем предполагает их сюжет. В "Ностромо" серебро из рудника Сан-Томе не просто серебро, ибо для каждого персонажа оно символизирует нечто свое: экономическое могущество, политическую стабильность, человеческую алчность, честь семьи, подвиг во имя любимой, несбывшиеся надежды, смерть и безумие. Хотя действие "Ностромо" происходит главным образом на суше, время от времени герои оказываются на борту судов или на необитаемых островах, где на первое место снова выступает одиночество человека посреди бесстрастного универсума.

Два следующих романа Конрада — "Тайный агент" и "Глазами Запада" — оказались для читателей сюрпризом. Их действие было перенесено в городскую среду: в первом случае в Лондон, во втором — в Санкт-Петербург и Женеву. Теперь Конрад, сын заговорщиков, рано осиротевший из-за того, что его родители были сосланы за свои убеждения, внимательным, суровым и ироничным взглядом всматривается в тайные политические организации. Поначалу кажется, что в "Тайном агенте" автор высмеивает всех революционеров подряд. Его анархистов отличает гротескная внешность и вздорная риторика. Но холодная ирония не мешает Конраду вникнуть во внутренний мир террориста, и мир этот — самым тревожным образом — оказывается близок и ему самому и его читателям:

> *Даже за самыми справедливыми революциями кроются личные мотивы, прячущиеся под личиной политических убеждений. Негодование Профессора нащупало веский довод, оправдывавший его обращение к насилию как к инструменту собственного честолюбия... он был проводником нравственности – это было написано в его душе. Исполняя свою миссию со всею беспощадностью, он преисполнялся чувства личной власти и значительности... Пожалуй, самые страстные революционеры ищут в борьбе всего лишь средство сообща достичь примирения с остальной частью человечества – примирения с утешившимся тщеславием, удовлетворенными аппетитами и успокоившейся совестью.*

Работа над романом "Глазами Запада" давалась писателю особенно трудно, потому что была задумана на русском материале. С одной стороны, он не мог не презирать "жестокость и тупость самодержавного

правления, которое отрицает любую законность и основывается на полной нравственной анархии"; с другой — его ужасал "столь же тупой и свирепый ответ чисто утопической революции, прибегающей к насилию как самому простому из подручных средств". С блеском, достойным произведений Достоевского, представлена эта дилемма в первых же главах романа. Петербургский студент Разумов, который по окончании учебы надеется получить спокойное место на государственной службе, дает приют другому студенту, Гальдина, который просит убежища, так как только что бросил бомбу в министра и за ним, скорее всего, гонится полиция. Он доверяется Разумову, "весьма надежному человеку", и ждет, что тот поможет ему скрыться. Разумов в ужасе: Гальдин может скомпрометировать его, и если об их связи станет известно полиции, карьере, а возможно, самой жизни Разумова придет конец. Во время своей бесконечной прогулки по Петербургу Разумов снова и снова спрашивает себя: "Что делать?"

Когда Конрад писал этот роман, он очень опасался, что англичане, никогда не жившие под гнетом тупой и жестокой тирании, не смогут понять всей сложности выбора, стоящего перед Разумовым (кстати сказать, неудивительно, что английские романисты, много взявшие у Конрада, такие, как Грэм Грин и Уильям Голдинг, чаще всего переносят действие своих книг в дальние или выдуманные страны). Художник прикладывает огромные усилия, чтобы заставить нас увидеть и понять то, что понятно ему, и неожиданно для себя обнаруживает, что и теперь, тридцать пять лет спустя после того, как он покинул Польшу и ненавистную Российскую империю, ему по-прежнему ближе Разумов, чем типичный английский джентльмен, каким он, Конрад, и сам старается стать. Писатель намеревался "совершенно беспристрастно" изобразить Разумова и террористов, но, очевидно, в глубине души ощутил свое странное сходство с русским студентом, которого гложут сомнения. Несмотря на свое название, "Глазами Запада" совершенно не английский роман, его не мог бы написать англичанин; впрочем, он, возможно, написан для русских. Немудрено, что Конрад перенес тяжелое душевное расстройство, пока писал эту книгу, ведь он вплотную приблизился к собственным корням.

Конрада не раз называли "пессимистом", но это слишком избитое определение. Мыслящие люди не придерживаются прямолинейных "оптимистических" или "пессимистических" взглядов, которые ведут лишь к литературным стереотипам, расхожим идеям и банальным сочинениям. Конрад исследует глубины жизни, пытается понять, что движет людьми в минуту опасности, как на них влияет власть, как они справляются с чувством собственной вины. И хотя в конце XIX века, как он видит, в мире не осталось места для Бога, но — и это совершенно несомненно — все еще есть место для нравственного выбора. Выбор этот не бывает легким, потому что не совершается между совсем "хорошим" и совсем "плохим", все гораздо сложнее. Верность неким идеалам грозит слепотой по отношению к другим сторонам жизни, а скептицизм, хоть и открывает более широкий взгляд на вещи, иссушает душу. Исследовать все эти противоречия мог лишь очень глубокий человек, который в лучших своих произведениях на каждой странице поражает нас психологическими открытиями. Задача писателя — достигнуть словами души. И Конрад — англичанин, которому пришлось учиться языку своего нового отечества, — находит для этого оригинальные и точные слова.

Лео Гэрко
“*Один из нас*”

ЛЮБОЙ приклеенный к Конраду ярлык: реалист-романтик; авантюрист елизаветинской эпохи, по воле случая заброшенный в наше время; puissant rêveur[1], как выразился о нем один критик; честолюбивый рассказчик, которому лучше всего удается описание мужественных сердец и простых натур; английский гений польского происхождения; экзотический автор, питающий особое пристрастие к реалистической детали, — ни в коей мере не исчерпывает его как писателя и лишь свидетельствует о неоднозначности, присущей и его творчеству, и его мировоззрению, и его человеческой судьбе, на которую наложила отпечаток утонченная сложность и противоречивость его натуры. Неслучайно те, с кем ему доводилось близко общаться, воспринимали его совсем по-разному. Жена, несомненно считавшая Конрада гением, одновременно видела в нем трудного, неуравновешенного, хрупкого ребенка, которого надо оберегать от жизни, — странный взгляд на человека, который поднялся на капитанский мостик благодаря привычке к выматывающему морскому труду и всю жизнь гордился своим матросским умением тщательно делать любую ручную работу! Его опекуну — дяде по материнской линии Тадеушу Бобровскому — душа осиротевшего в одиннадцать лет племянника представлялась полем битвы, где инстинктивная тяга к порядку, унаследованная от матери, боролась за господство с разрушительными импульсами, доставшимися от отца. Эдвард Гарнет — первый читатель Конрада, литературный наперсник, критик и товарищ по ремеслу, рекомендовавший к публикации “Каприз Олмейера”, который стал литературным дебютом писателя, — видел в нем мученика пера, который трогательно благодарит друга за добрые слова, никогда не веря им до конца. Неуверенность в собственном таланте, сомнения в своей способности справиться с трудностями писательской техники и стиля, постоянное нервное напряжение, вызванное погружением в непривычный образ жизни и новый язык, — вот главные темы конрадовских посланий к Гарнету. Но за всем этим нетрудно разглядеть недюжинную личность, сознающую свою ответственность, разрабатывающую собственную эстетику и упрямо прокладывающую новые пути в искусстве. Форд Мэдокс Форд, в соавторстве с которым Конрад написал два ранних романа — “Наследники” и “Романтика”, — смотрел на этого поляка и моряка торгового флота, превратившегося в английского писателя, как на редкостный, не поддающийся классификации человеческий экземпляр. Сам Форд в пору их тесного общения был самоуве-

© В. Иванов. Перевод, 2000

Лео Гэрко — американский литературовед. Публикуемое эссе взято из книги “Гигант в изгнании” (Leo Gurko. “Giant in Exile”. New York, 1961).

1. Великий мечтатель (*франц.*).

ренным молодым человеком, который с жизнерадостным высокомерием покровительствовал старшему товарищу, недвусмысленно давая понять, что оказывает ему двойную услугу, посвящая и в тонкости английского языка, и в тайны ремесла. Но при всей самовлюбленности Форду достало проницательности оценить Конрада по достоинству: "Если вам удавалось завладеть его вниманием, — писал Форд, — он вставлял в правый глаз монокль и начинал внимательнейшим образом всматриваться в ваше лицо, будто часовщик, изучающий часовой механизм". Для молодого Ричарда Кёрла, дружившего с Конрадом в последние годы его жизни, тот был просто и безо всяких оговорок великим человеком; склонный к идеализации восторженный ученик, с восхищением взиравший на знаменитого писателя, особенно ценил в нем сердечного человека и заботливого друга. Совсем другого взгляда на Конрада придерживался Э. М. Форстер, лидер литературной группы "Блумсбери", которому он запомнился строгим, сухим, замкнутым аристократом, никого не допускающим в свой внутренний мир дальше передней, да и то с соблюдением всех положенных в таких случаях формальностей.

Все мы, разумеется, оцениваем других через себя, и вышеприведенные характеристики говорят о людях, состоявших в тесном знакомстве с Конрадом, не меньше, чем о нем самом. Тем не менее все они правы, и перечисленные качества существовали на самом деле. Он был сердечен и открыт и в то же время высокомерен и замкнут; доходившая до самоуничижения скромность часто бывала маской, скрывавшей самоуверенность, а вызванная тяжелой болезнью раздражительность (он с тридцати трех лет страдал подагрой) никогда не прорывалась сквозь броню привитой ему с детства старомодной учтивости и обходительности, в которых он был воспитан. Поляк и англичанин, патриот и противник патриотизма, сторонник империи и враг колониализма и, наконец, человек-амфибия, половину своей взрослой жизни проведший на море, а половину — на суше, считал человеческое существование полигоном, где испытанию на прочность подвергался и сам человек, и его идеи и чувства.

Вскоре после смерти Конрада интерес к его романам и со стороны критиков, и со стороны простых читателей резко пошел на убыль. Потребовалось совсем немного времени, чтобы его забыли на несколько десятилетий — до второй половины XX века он исчез из виду. Причины столь внезапного поворота судьбы следует искать в воззрениях писателя, столь же неоднозначных, как и он сам. В эпоху процветания эгалитаризма он с нескрываемым подозрением относился к демократии — сам он был воспитан в традициях земельной аристократии в те времена, когда этот класс стал исчезать под напором политических преобразований и начинавшегося на Западе технологического переворота. Он скептически смотрел на революции и радикальные движения, которым вот-вот предстояло распространиться по всему миру и обрести респектабельность. Не верил в общественные реформы, полагая, что они бесполезны, пока неизменным остается человеческое сердце, а это открыто противоречило государственным теориям всеобщего благосостояния. И хотя он всю жизнь критически отзывался об империализме и колониализме — российском, голландском, французском, бельгийском, американском и даже британском, — угнетенному туземному населению он сочувствовал не больше, чем живший за два века до него Джонатан Свифт — ирландцам, которых тем не менее защищал от англичан.

Равным образом не доверял Конрад и незыблемым традиционным ценностям. Родительская любовь, обычно окруженная ореолом, порою, как он знал, несет с собою катастрофы. Патриотизм считается возвышенным чувством, но подчас толкает людей на гибельные поступки. Преданность, смелость, трудолюбие, ответственность, составляющие высшие добродетели человека, далеко не всегда помогают ему устоять перед лицом разрушения и гибели. Даже самая верная любовь между мужчиной и женщиной может не выдержать соприкосновения с другими ценностями, такими, как идеализм, или естественными проявлениями натуры — как инстинкт самосохранения. Стремление помочь ближнему, которое у Тома Лингарда, главного героя трех малайских романов Конрада, превращается в наивную благотворительность, приносит лишь вред. Иначе говоря, добро способно порождать зло. Впрочем, Конрад допускает и противоположное — признает, что порою зло столь же неизбежно порождает добро. Встреча с Курцем в самом "сердце тьмы" выводит Марлоу к свету, и намеренная ложь, к которой он прибегает, чтобы поставить точку в этой истории, есть одновременно и очень непростая правда. Молодой капитан из повести "Тайный сообщник" укрывает убийцу, но это пробуждает в нем творческие силы. Фальк ест человеческую плоть, испытывая к самому себе величайшее омерзение, которое в конечном счете приводит его к любви и искуплению.

Вера в изначальное добро человеческой природы, вдохновлявшая романтиков и их последователей-викторианцев, у Конрада уступает место устрашающему взгляду на человека, который сдался на милость слепым силам собственной души, слишком разрушительным, чтобы удержать их в узде. Западному человеку XIX века, особенно англичанину, подобная система взглядов должна была казаться ненадежной, отталкивающей, да и просто несостоятельной. Э. М. Форстер как сын своей страны и своего времени верил в объективное существование нравственного начала в мире, и неудивительно, что Конрад настораживал его своей амбивалентностью, внушал подозрение, что под изысканным словесным орнаментом его сочинений ничего не кроется: "Он так же расплывчат в центре, как и на поверхности... в тайной шкатулке своего гения он укрывает не жемчужину, а сплошной туман, и не стоит пытаться рассуждать о нем философски, потому что... здесь не о чем рассуждать. По сути, у него нет мировоззрения. Есть только мнения и право их отбрасывать, когда факты свидетельствуют об их абсурдности". В этой раздраженной реплике слышится недоумение. Форстер выносит этот нелицеприятный вердикт от лица своей эпохи и своей Англии, куда Конрад вторгся извне и где, несмотря на длительное пребывание, так и остался чужаком.

Со своей стороны, Конраду наименее убедительной из всех человеческих иллюзий казалась идея прогресса. Среди современников он особенно не любил, пожалуй, даже ненавидел одного человека — Джорджа Бернарда Шоу, в котором видел крайнее воплощение либерализованного, порожденного XIX веком западного сознания. Страстная озабоченность Шоу политическими и общественными реформами, энергичные попытки убедить людей в необходимости достичь состояния сверхчеловека, рационалистические обоснования его безграничной веры в логику, его непростительная жизнерадостность — все коробило Конра-

да[1]. Мысль о том, что жизнь — это арена для спора, который может быть разрешен и улажен разумными доводами, действовала на Конрада, как красная тряпка на быка. Обретенный им в Восточной Европе и в далеких странах Азии, Африки, Австралии жизненный опыт не позволял ему усвоить оптимистический взгляд на общество и веру в тысячелетнее царство, столь характерные для Запада. Наше нынешнее разочарование в идеологических доктринах было ему уже знакомо. Три политических романа, написанных им подряд, один за другим в период с 1903 по 1910 год, стали зловещим и сбывшимся пророчеством. Как показал критик Ирвинг Хоу, первый из них, "Ностромо", в общих чертах воспроизвел будущие события на Кубе и в Аргентине, вплоть до точной типизации персонажей, мотивов и методов их поступков. То, что происходит в выдуманной Конрадом Костагуане, довольно точно отражает ход революций в слаборазвитых странах всего мира. В "Тайном агенте", втором из политических романов, исследуются анархистские учения XIX века и до тонкостей разбираются побудительные мотивы анархистов — не идеологических лидеров, а скромных исполнителей, незаметных агентов, сомнительных маргиналов, которые непременно участвуют в любом радикальном движении. В третьем романе, "Глазами Запада", пророчески анализируется Россия и "русская душа", какими они были почти за десять лет до большевистской революции и за двадцать — до прихода к власти Сталина. Нарисованная им картина лучше отражает характер грядущих событий XX века, чем тех лет, когда она впервые была предложена читателю.

Свой первый шедевр Конрад опубликовал в начале нового столетия, знамения и предвестия которого так пророчески расшифровал. Но за рамки взрастившего его XIX века он вышел не только как пророк, но и как художник, заговоривший с нами на удивительно современном языке. Вне всякого сомнения, он мастер современной прозы, во многом предопределивший эстетику XX века. К экспериментам с художественным временем и множественностью повествовательных слоев он приступил задолго до того, как Пруст, Жид и Джойс ввели их в обиход современной литературы. Как психолог, Конрад погружался в глубины раздвоенного сознания в поисках скрытого "я", изучал механизмы вины и искупления, а бездеятельную мечтательность, моральную беспомощность и паралич воли превратил в свою главную область исследования. Родившиеся на тридцать лет позже Конрада Т. С. Элиот и Юджин О'Нил сформировались под его влиянием. Персонажи ранней поэзии Элиота, от Пруфрока до бессильных космополитов из "Бесплодной земли" и "Полых людей", страдают той же атрофией воли, которая сковывала Олмейера, Уилемса и Джима. Без одиноких душ на борту "Нарцисса", бороздящего волны неведомого моря, не было бы созданных О'Нилом моряков с парохода "Гленкэрн"; присущая его поздним пьесам глубина психологического анализа, полное отсутствие социальных мотивировок, тщательное воссоздание иррациональности душевных движений — все это продолжение конрадовской эстетики и конрадовского скепти-

1. Герберт Уэллс рассказывал, что как-то раз Конрад, сочтя себя оскорбленным выпадом Шоу против его сочинений, решил вызвать своего обидчика на дуэль. Уэллсу удалось успокоить Конрада, сославшись на особенности присущего Шоу юмора. "Конрада легко было сбить с толку, упомянув слово "юмор". Это была одна из наших чертовых английских штучек, которые он так и не научился понимать". (*Прим. автора*).

цизма. Эрнест Хемингуэй, который появился на свет на сорок лет позже Конрада, позаимствовал у него холодные краски для изображения окружающего мира — места испытания его героев, которые, как и у Конрада, лишь в экстремальных условиях раскрываются до конца. Художественной формой своих романов Конрад проложил дорогу современному мировосприятию. С точки зрения психологии, он был одним из первых исследователей современного сознания. Задолго до того, как мы появились на исторической сцене, Конрад уже был "одним из нас".

"Он один из нас" — эти слова Марлоу, звучащие настойчивым рефреном в романе "Лорд Джим", в самом буквальном смысле слова приложимы к самому Конраду. Картина, предстающая перед взором Марлоу, когда он в последний раз видит Джима, символизирует положение человека в мире, как его понимал Конрад. По мере того как лодка, уносящая Марлоу от Патюзана, удаляется от берега, Джим все больше растворяется в быстро темнеющем пространстве: "Сумерки быстро спускались с неба, полоска песка уже исчезла у его ног, он сам выглядел не больше ребенка, потом стал только пятнышком — крохотным белым пятнышком, словно притягивающим весь свет, какой остался в потемневшем небе... "[1]. "Белая капля в сгущающихся сумерках" — центральный образ художественного мира Конрада. В отличие от Д. Г. Лоуренса, считавшего, что темнота священна, Конрад был за расширение области света — он был уверен в человеческом стремлении извлекать из жизни смысл, хотя и не верил, что эта область может простираться сколько-нибудь далеко, ибо знал, что любые, самые смелые прорывы за границы тьмы носят частный характер. "Забавная штука — жизнь... — замечает Марлоу в повести "Сердце тьмы". — Самое большее, что может получить от нее человек, это познание себя самого"[2].

Парадоксальная логика категорического императива, заставляющая человека штурмовать неподатливую, непроницаемую и, в конечном итоге, безразличную ко всему вселенную, сообщает романам Конрада большую философскую напряженность. Туман, непроницаемым облаком окутывающий горизонты его мира, стоит и перед нашим взором. Скептицизм, через призму которого он изучал людей и свойственные им сложные системы самообмана, стал тем необходимым лекарственным средством, которое возвращает нас к жизни.

Форстер был не прав: в шкатулке у Конрада есть жемчужина — его художественный мир. Очевидно, когда Форстер выносил свой вердикт, время Конрада еще не пришло.

Переводы с английского Д. Иванова

1. *Дж. Конрад.* Избранное в 2 т. Т. 1. С. 95. Перев. А. В. Кривцовой.
2. Там же. Т. 2. С. 95. Перев. А. В. Кривцовой.

Джозеф Конрад

Традиционное предисловие

Перевод с английского А. Ливерганта

ДЛЯ того чтобы поговорить о себе, нам по большей части особого поощрения не требуется, и все же небольшая эта книжка явилась результатом дружеского совета и даже некоторого дружеского давления. Одно время я довольно решительно сопротивлялся, однако друзья упорно настаивали: "Не спорь, это ведь твой долг!"

Хотя особой логики я в этом заявлении не усмотрел, я вынужден был немедленно сдаться. Долг есть долг!..

Слово — великая вещь. Если хочешь уговорить собеседника, прибегать следует не к веским аргументам, а к запоминающимся словам. Слово во все времена преобладало над смыслом. Говорю это вовсе не из чувства противоречия. Впечатлительный человек лучше, чем человек размышляющий. Людям — во всяком случае, большинству людей — размышления ничего хорошего не дали. А вот сила слов — таких, например, как Слава или Сострадание, — очевидна всякому. Мы знаем, о каких словах идет речь, они у всех на слуху. Прокричите эти два слова с настойчивостью, со страстью, с убежденностью — и они одним своим звучанием вдохновят на подвиг целые народы, пропитают живительной влагой высохшую, каменистую почву, на которой зиждется все наше общественное устройство. Такие слова, как Добродетель, всегда к вашим услугам. Разумеется, интонацией, правильным смысловым ударением также пренебрегать не следует. Это весьма существенно. Одни слова должны быть громоподобны, другие — нежны и мелодичны. И не говорите мне про рычаг Архимеда. Это был рассеянный человек с математической фантазией. К математике я отношусь с огромным уважением, но в рычагах особой нужды не испытываю. Дайте мне нужное слово и нужную интонацию — и я переверну мир безо всякого рычага.

У написанных слов тоже есть своя интонация. Да! Но главное — найти нужное слово среди всех тех бесчисленных сетований и ликований, что изливались во всеуслышание с того самого дня, когда надежда, неумирающая надежда, впервые снизошла на землю. Весьма вероятно, что слово это где-то здесь, под рукой, совсем близко — притаилось и терпеливо ждет, когда его наконец извлекут на свет. Легко сказать! Есть, конечно, люди, которые могут в одно мгновение нащупать иголку в стоге сена. Я, увы, не из их числа.

Так вот, интонация. Еще одна трудность. Ведь прежде чем мы выкрикнули слово и оно безвозвратно растаяло в воздухе безо всяких последствий для человечества, невозможно сказать, правильно мы его

© А. Ливергант. Перевод, 2000

Публикуемое эссе взято из автобиографической книги "Личные записи" (Joseph Conrad. "A Personal Record". The works of Joseph Conrad. V. 11. "William Heineman". London. 1921).

произнесли или нет. Жил-был некогда один император; мудрец и в некотором роде сочинитель, он записывал на дощечках из слоновой кости свои мысли, изречения и наблюдения, которые по случайности сохранились для просвещения будущих поколений. Среди прочих — цитирую по памяти — мне запомнилось следующее внушительное наставление: "Да будут все твои слова звучать с оттенком героической истины". Оттенок героической истины! Сказано отменно, но попробуй-ка воплоти в жизнь сей претенциозный совет сурового монарха. Ведь расхожие истины на этой земле в большинстве своем ничем не примечательны и ровным счетом ничего героического в себе не несут; к тому же в истории человечества бывали времена, когда "оттенок героической истины" ничего, кроме насмешки, не вызывал.

Пусть читатель не рассчитывает найти на страницах этой небольшой книги слова исключительной силы или интонацию исключительного героизма. Как ни стыдно мне в этом признаваться, должен сказать, что советы Марка Аврелия — не для меня. Они пригодятся скорее моралисту, чем художнику. Я же могу лишь пообещать, что записки мои будут отличаться правдивостью и искренностью. Той самой безупречной искренностью, которая делает нас безоружными в глазах врагов, однако вряд ли вызовет раздражение у друзей.

Впрочем, "раздражение" — слово, наверное, слишком сильное. Среди своих врагов и друзей я не могу припомнить ни одного, который был бы рассержен настолько, чтобы со мной рассориться. Точнее было бы сказать, "разочарование друзей". Почти всеми дружескими отношениями в жизни с тех пор, как я стал писателем, я обязан своим книгам; я знаю, что писатель живет в своих произведениях. Единственная реальность в вымышленном мире, он одиноко стоит среди выдуманных вещей, событий и людей. Когда он пишет о них, он пишет, в сущности, о самом себе. Но полностью он себя все равно не обнаруживает, в определенном смысле оставаясь фигурой в укрытии. Его присутствие скорее угадывается, за покровом вымысла слышен его голос, видна его тень. Так вот, в этих сугубо личных заметках такого покрова нет. Не могу в этой связи не вспомнить отрывок из "Подражания Христу"[1], где автор-отшельник, так хорошо знавший жизнь, говорит, что есть люди с хорошей репутацией, которые, демонстрируя свой нрав, ее подрывают. Этой опасности подвергается и автор художественного произведения, вознамерившись говорить о себе напрямую.

Когда эти воспоминания публиковались в периодической печати, меня упрекали в расточительности — так, будто я, потворствуя своим своекорыстным желаниям, до времени растрачиваю богатство будущих томов. Что ж, литературного образования мне, по всей вероятности, и впрямь не хватает. В самом деле, человек, который впервые напечатался в тридцать шесть лет, не может заставить себя рассматривать свое существование и свой опыт, свои мысли, чувства и эмоции, свои воспоминания, все им прожитое и выстраданное всего-навсего как литературный материал. Подобные упреки мне уже делались года три назад, когда я выпустил книгу впечатлений и воспоминаний "Зеркало моря". Уп-

1. Речь идет о книге монаха-августинца, автора христианских мистических произведений Фомы Кемпийского (1379–1471). В четырех книгах "Подражания Христу", переведенных с латыни на английский в середине XV века, повествуется об отделении души от мира и о ее союзе с Богом. *(Здесь и далее – прим. перев.).*

реки практического свойства. Но, по чести сказать, я никогда не видел смысла в той бережливости, к которой меня призывали. У меня ведь была совсем другая задача. Мне хотелось воздать должное морю, его кораблям и его людям, без которых я не стал бы тем, чем стал. Возродить их к жизни иным путем я не сумел бы, о любом же другом "способе подачи материала" не могло быть и речи. Бережливости мне, весьма вероятно, недостает, но со всей определенностью должен сказать, что я совершенно неисправим.

Поскольку характер мой формировался в особых — морских — условиях, к этой стороне прожитого я питаю особые чувства: впечатления от морской жизни были для меня самыми яркими, ее притягательность очевидна, а требования в полной мере соответствовали задору и силе молодости. В этой жизни не было ничего, что могло бы смутить юную душу. Говорю со всей ответственностью: в моей судьбе, судьбе человека, оторванного от родины и осыпаемого бесконечными попреками со стороны всех тех, кто не имел на эти попреки решительно никакого права, человека, отделенного огромным расстоянием от тех привязанностей, какие у него еще оставались, и даже в какой-то мере отрешенного от них из-за непостижимого образа жизни, который столь таинственным образом сбил его с пути истинного, — морю суждено было, по слепой воле обстоятельств, стать на многие годы всем моим миром, а торговому флоту — моим единственным пристанищем. Нет ничего удивительного поэтому, что в своих морских книгах, в "Негре с 'Нарцисса'" и в "Зеркале моря" (а также в нескольких новеллах из морской жизни, например, в "Юности" и в "Тайфуне"), я попытался почти что с сыновним чувством передать пульс жизни, бьющийся в безбрежном океане, в сердцах простых людей, которые от века бороздят морские просторы, а также живую природу кораблей — создание их рук и предмет их неустанной заботы.

Если только литератор не вознамерился постоянно упрекать человечество за то, чем оно является, и превозносить за то, чем оно не является, иными словами, учить человечество правилам хорошего тона, — в своем творчестве он должен как можно чаще обращаться к воспоминаниям, искать встречи с тенями. Не будучи по натуре человеком вздорным, а также льстецом или мудрецом, правилам хорошего тона я никогда человечество не учил, а потому готов признать свою незначительность — ведь незначительным у нас считается всякий, кто не вмешивается в чужие дела. Но смирение и равнодушие — вещи разные. Я бы не хотел стоять на берегу и безучастно наблюдать за тем, как могучее течение безвозвратно уносит тысячи жизней. Очень хочется верить: способностью к постижению мира я обладаю в достаточной мере, чтобы в моем голосе постоянно звучали сочувствие и сострадание.

Создается впечатление, что по крайней мере в одном авторитетном критическом сообществе меня заподозрили в бесчувственности, сухом, неэмоциональном приятии фактов, в том, что французы назвали бы sécheresse du coeur[1]. Глухое молчание, с которым я в течение пятнадцати лет встречаю порицание и похвалу, в полной мере свидетельствует о том, какое уважение я питаю к критике, этому нежнейшему цветку творческой экспрессии в литературной оранжерее. Однако в данном случае упрек носит личный характер, задевает не автора, а человека, и поэто-

1. Душевная черствость (*франц.*).

му в томе, представляющем собой личные записи на полях общественной летописи, обойти этот упрек стороной нельзя. Нет, я ничуть не обижен. Ведь обвинение это — если его вообще можно считать обвинением — носит весьма сдержанный характер, критик не столько обвиняет, сколько выражает сожаление.

Вот мой ответ. Если верно, что каждый роман содержит в себе элемент автобиографии — а с этим не поспоришь, ибо своим творением творец выражает прежде всего самого себя, — то должны же среди нас быть и такие, кому открытое выражение чувств претит. Я вовсе не хочу превозносить авторскую сдержанность. Часто все зависит исключительно от темперамента сочинителя. Однако сдержанность — это вовсе не всегда признак черствости. Это может быть гордость. Нет ведь ничего более унизительного, чем видеть, как наши бурные эмоции не вызывают ни смеха, ни слез. В самом деле, что может быть более унизительно?! Унизительно потому, что, если мы промахнулись, если бурное выражение наших эмоций не задело читателя, значит, эмоции эти обречены на позорную и жалкую смерть. Нельзя упрекать художника за то, что он избегает риска, которым пренебрегают лишь дураки и на который отваживается один только гений. Когда задача заключается главным образом в том, чтобы излить миру душу, забота о приличиях, даже ценой успеха, — это забота о нашем собственном достоинстве, которое совершенно неотделимо от достоинства нашего творения.

И потом, на этой земле очень трудно быть только веселым или только печальным. Улыбка, в том случае если она не искусственна, может преобразиться в сжатые губы скорби; некоторые же наши огорчения (только некоторые, не все, ибо человека в глазах других людей возвышает прежде всего способность переносить страдания) берут начало в наших слабостях: их, как это ни печально, следует признать нашим всеобщим достоянием. Радость и печаль в этом мире переходят одна в другую, их очертания и бормотанье неразличимы в сумерках жизни, столь же таинственных, как и погруженный во тьму океан, — между тем как ослепительный свет наших величайших надежд пленительно и неподвижно озаряет море на самом его горизонте.

Джозеф Конрад в 1916 г.

Да! Я бы тоже хотел посредством волшебного жезла подчинить себе смех и слезы, что почитается высшим достижением изящной словесности. Вот только, чтобы стать великим чародеем, необходимо отдаться темным и своевольным силам, таящимся либо вне нас, либо в нас самих. Нам всем не раз приходилось слышать истории о простых людях, которые ради любви или власти продают душу какому-то абсурд-

ному дьяволу, и не надо быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить: подобные сделки никогда ничего хорошего не сулят. Я вовсе не претендую на какую-то особую мудрость, вовсе не хочу прослыть скептиком. Возможно, здесь сказывается моя морская выучка: я всегда слежу за тем, чтобы земля не уходила у меня из-под ног. Больше всего на свете я боюсь хотя бы на одно мгновение потерять над собой контроль — это является обязательным условием хорошей службы. А представление о хорошей службе я пронес через всю жизнь. Я, который всегда видел в написанном на бумаге слове лишь форму Прекрасного, перенес этот символ веры с палубы корабля на более ограниченное пространство письменного стола, из-за чего и стал, по-видимому, постоянной мишенью для высшего общества чистых эстетов.

Как в политике, так и в литературе друзей мы приобретаем главным образом благодаря неизменности своих убеждений и предрассудков. Из-за верности к неким высшим принципам я так и не научился любить то, что нелюбимо, или ненавидеть то, что не ненавистно. Не знаю, требуется ли особое мужество, чтобы сделать это признание. Когда половина жизненного пути уже пройдена, подстерегающие нас опасности и предстоящие утехи сердцебиения не вызывают. А потому с полным беспристрастием заявляю: в попытках привнести в текст эмоциональный накал я всегда усматривал тошнотворный налет неискренности. Для того чтобы заставить волноваться других, мы должны разволноваться сами, утратить над собой контроль — пусть ненадолго, пусть по необходимости, подобно актеру, который, выйдя на сцену, говорит громче обычного, — но должны. И, понятное дело, большого греха в этом нет. Однако опасен тот писатель, который становится жертвой собственных эмоций, который теряет представление о том, что такое искренность, и в конечном счете преисполняется ненавистью к самой истине как к чему-то излишне холодному, несоответствующему его цели — к чему-то недостойному его пылких чувств. От смеха и слез ничего не стоит опуститься до смешков и соплей.

Подобные рассуждения могут показаться своекорыстными, но ведь невозможно, руководствуясь здравой моралью, осудить человека, если он не желает кривить душой. Это — его долг. Менее всего мы вправе осудить художника за то, что он — пусть робко, пусть ошибаясь — решает свои творческие задачи. В том внутреннем мире, где его мысль и чувства усваивают воображаемый опыт, нет ни полиции, ни закона, ни давления обстоятельств или общественного порицания — всего того, что могло бы призвать его к порядку. Кто же, как не его совесть, скажет "нет" его искушениям?

Вдобавок — будем же откровенны до конца — любые амбиции правомерны, за исключением тех, что преумножают несчастья и легковерие человечества. Любые интеллектуальные и художественные амбиции простительны, если они находятся в пределах (и даже когда выходят за пределы) разумного. Они никому повредить не могут. Если же амбиции эти безумны — тем хуже для художника. Такие амбиции, как и добродетель, вознаграждают себя сами. Так ли уж нелепо верить в свое искусство, пытаться найти иные способы, иные пути подтверждения этой веры в глубинной привлекательности своего произведения? Пытаться докопаться до сути вовсе не значит проявить нечувствительность. Сердцевед не разменивается на эмоции, однако при всей своей

неэмоциональности он проникает глубже, ибо его цель — добраться до самого источника смеха и слез. Вид дел человеческих заслуживает восхищения и жалости, равно как и уважения, а потому нельзя считать нечувствительным того, кто отдает им дань вздохом, а не всхлипом, улыбкой, а не ухмылкой.

Смирение — не мистическое, не остраненное, а смирение с открытыми глазами, смирение, продиктованное и пронизанное любовью, — это единственное из наших чувств, за которое нам никогда стыдно не будет.

Я вовсе не считаю смирение высшей мудростью. Я ведь человек своего времени. Но я считаю, что истинная мудрость — хотеть того, чего хотят боги, порой не зная в точности, что именно они хотят и хотят ли вообще. А в таком отношении к жизни и к искусству для нашего счастья важно не столько "почему", сколько "как". Сказал ведь один француз: "Il y a toujours la manière". Совершенно верно. Да. На всё есть своя манера. Манера смеяться, плакать, иронизировать, негодовать и рассыпаться в похвалах; манера судить и даже любить. Манера, в которой, как в чертах и в типе человеческого лица, внутренняя истина раскрывается тем, кто знает себе подобных.

На мой взгляд и это известно моим читателям, мир, не вечный, а нас окружающий мир, зиждется на нескольких очень простых идеях; таких простых, что они, должно быть, старей самых старых гор. В том числе и на идее Верности. Во времена, когда только революционные идеи способны произвести впечатление, я в своих литературных опытах всегда был ретроградом. Революционный дух очень удобен тем, что он освобождает человека от всяческих сомнений и колебаний. Мне его навязчивый, безграничный оптимизм отвратителен из-за той угрозы фанатизма и нетерпимости, которая в нем до времени скрывается. Разумеется, опасения эти могут вызвать улыбку. Ничего не поделаешь: философ из меня немногим лучше, чем эстет. Любая претензия на высшую справедливость пробуждает во мне то презрение и негодование, от которых философский ум должен быть свободен...

Боюсь, что в полемическом задоре я то и дело сбиваюсь с мысли. Что ж, я никогда в полной мере не владел искусством полемики, тем самым искусством, которое, насколько я могу судить, считается сейчас утраченным. В молодые годы, когда формируются наши привычки и характер, полемизировать мне было особенно не с кем. Те же разговоры, которые приходилось вести, полемикой назвать трудно. Нет, этим искусством я не владею. И все же мое сбивчивое предисловие имеет некоторое отношение к воспоминаниям, которые оно предваряет. Их ведь тоже не раз обвиняли в сбивчивости, в пренебрежении к хронологии (что само по себе — преступление), в нетрадиционной форме (что совершенно непростительно). Мне с раздражением говорилось, что читателю не понравится неформальный характер моих воспоминаний. "Поймите, — пытался вяло протестовать я, — не начинать же мне с сакраментальных слов: "Я родился тогда-то и там-то"! Удаленность моего места рождения лишила бы это заявление всякого смысла. Со мной не происходило увлекательных приключений, которые могли бы печататься seriatim[1]. Я не встречался со знаменитостями, в адрес которых мог бы отпустить несколько глубокомысленных замечаний, не был участником исторических событий, не был замешан в скандалах. Моя книга — это нечто вроде

1. С продолжением (*лат.*).

психологического документа, не более того, причем без всяких обобщений с моей стороны".

Критик мой, однако, был неумолим. "Ваши слова, – сказал он, – могут служить доказательством того, что не надо было вообще браться за перо, а вовсе не апологией того, что уже написано".

И верно: доказать, что за перо браться не стоило, очень легко. Но раз уж книга написана, хочу сказать в ее защиту только одно: если эти воспоминания и созданы вразрез с установленными правилами, это вовсе не значит, что здесь нет своей логики и своей задачи. Здесь есть надежда и цель. Надежда, что после прочтения этих страниц у читателя, быть может, возникнет наконец представление о личности автора, написавшего за свою жизнь такие разные произведения, как, скажем, "Каприз Олмейера" и "Тайный агент", – и тем не менее личности и в словах и в делах осмысленной и незлокозненной. В этом заключается моя надежда. Цель же, неразрывно связанная с надеждой, состоит в том, чтобы правдиво и непосредственно передать те чувства и ощущения, которые я испытал, когда писал свою первую книгу и впервые соприкоснулся с морем.

Найдутся, быть может, доброжелатели, которые различат в резонансе этого двойного натяжения едва различимую гармонию.

Ю. К. К.[1]

1. Юзеф Конрад Коженёвский.

Джозеф Конрад

Караин: воспоминание

Рассказ

Перевод с английского Л. Мотылева

I

Мы знали его в те дни, когда, подверженные различным опасностям, довольны были уже тем, что держим в руках и жизни свои, и имущество. Никто из нас, насколько мне известно, не владеет ныне имуществом, и многие, я слышал, по небрежению лишились и жизни; но я уверен, что малочисленным уцелевшим хватает зоркости разглядеть на полосах газет с их туманящей взор респектабельностью сообщения о вспыхивающих там и сям волнениях среди коренных жителей Малайского архипелага. Меж строк этих скупых абзацев сияет солнце — солнце и ослепительная морская гладь. Чужеземное имя или название растревоживает память; напечатанные буквы рождают в дымном воздухе нынешнего дня чуть ощутимый аромат, проникающий и тонкий, словно навеянный береговым бризом сквозь звездную тьму минувших ночей; вот сигнальный костер шлет алмазный луч с вершины крутого мрачного утеса; вот могучие деревья, точно высланные великими лесами в дозор, недвижно вглядываются в просторы уснувшего океана; вот белая гряда прибоя с грохотом рушится на пустой берег; вот мелководье вспенивается вокруг рифа; вот островки зеленеют посреди полуденного покоя гладко отполированных вод как горсть изумрудов, брошенная на стальное блюдо.

Возникают и лица — лица смуглые, свирепые, улыбающиеся; открытые, отважные лица мужчин, не носящих обуви, хорошо вооруженных, нешумных. Узкие палубы нашей шхуны заполняла порой эта пестрая варварская толпа с многоцветьем клетчатых саронгов[1], красных тюрбанов, белых курток, богатого шитья; с блеском ножен, золотых колец, амулетов, браслетов, наконечников копий, драгоценных каменьев на рукоятках оружия. В осанке этих людей видна независимость, в глазах — решимость, в повадках — сдержанность; нам и теперь слышатся их мягкие голоса, повествующие о битвах, путешествиях и опасностях; их спокойная похвальба, их беззлобные шутки; порой негромкие учтивые речи о нашей щедрости, об их отваге; порой верноподданническая хвала доблестям их правителя. Мы вспоминаем лица, глаза, голоса; мы вновь видим блеск шелка и металла; мы ощущаем шелестящее колыханье толпы — яркой, праздничной и воинственной; мы будто чувствуем прикосновения дружеских смуглых ладоней, что после короткого пожатия вновь ложатся на чеканные оружейные рукояти. Это были люди Караи-

© Л. Мотылев. Перевод, 2000

1. Саронг — мужская и женская одежда народов Юго-Восточной Азии: кусок ткани, обернутый вокруг бедер наподобие юбки. *(Здесь и далее – прим. перев.)*

на — его верная свита. Его слова мигом претворялись в их движения; в его глазах они читали свои собственные мысли; он небрежно изрекал повеления, означающие чью-то жизнь, чью-то смерть, и они принимали их смиренно как даяние судьбы. Все они были люди свободные, но, обращаясь к нему, называли себя "твой раб". Когда он шел сквозь толпу, голоса умолкали и молчание окружало его подвижной броней; шлейф почтительных шепотков тянулся за ним. Его они называли своим военачальником. Он был правителем трех селений на узком участке побережья, владыкой ничтожной полоски завоеванной земли, изогнутой, как едва народившийся месяц, надежно упрятанной между горами и морем.

Стоя на палубе нашей шхуны, бросившей якорь посреди залива, он очертил свои владения театральным движением руки вдоль зазубренной кромки гор; мощный взмах, казалось, расширил эти владения, внезапно превратив их в нечто столь необъятное и неопределенное, что на миг показалось, будто ограничивает их одно небо. И вправду, глядя на этот берег, укрытый от остального моря в глубине залива, отделенный от остальной суши обрывистыми кручами гор, трудно было вообразить что-либо по соседству. Тихая, замкнутая в себе и неведомая миру, здесь украдкой шла жизнь, уединенностью своей тревожившая чужестранца, — жизнь, непостижимым образом лишенная всего, что способно возбудить мысль, тронуть сердце, напомнить о таящей угрозу череде дней. Это была, казалось нам, земля без воспоминаний, сожалений, надежд — земля, где с наступлением ночи все умирало, где не существовало ни "вчера", ни "завтра", где каждый новый рассвет был подобен ослепительному акту творения.

Караин обвел этот край круговым жестом: "Мое!" Он ударил по палубе длинным посохом; золотой набалдашник вспыхнул, как падающая звезда; из всех толпившихся вокруг малайцев лишь один не последовал взором за властным движением руки — молчаливый старик в богато изукрашенной шитьем черной куртке, стоявший почти вплотную к повелителю у него за спиной. Он даже не поднял глаз. Он горбился, склонив голову, позади владыки и, не двигаясь, держал на плече рукояткой вверх длинный меч в серебряных ножнах. Он исполнял службу, не питая любопытства, и выглядел утомленным, но не годами, а владением некой тяжкой тайной бытия. Караин, массивный и гордый, стоял в величественной позе и дышал неспешно. Мы, приплывшие сюда впервые, с любопытством оглядывались по сторонам.

Шхуна словно повисла в бездне, полной ослепительного света. Круг воды отражал светозарное небо, и окаймлявшие залив берега образовывали кольцо плотной суши, плывущее в единой прозрачной пустой синеве. Горы, лиловые и бесплодные, массивно высились на фоне неба; их вершины, казалось, таяли в ярком воздухе, дрожавшем, словно от восходящего пара; крутизну их склонов тут и там прочерчивали узкие зеленые ущелья; у их подножья виднелись рисовые поля, банановые рощицы, участки желтого песка. Оброненной ниткой вился горный ручей. Селения, осененные купами плодовых деревьев, были легко различимы; стройные пальмы соприкасались клонящимися кронами над невысокими постройками; крыши из высушенных пальмовых листьев светились вдалеке, точно золотые, под сумрачной колоннадой древесных стволов; фигуры людей выступали, прятались в тень; дымы очагов поднимались столбами над зарослями цветущего кустарника; бамбуко-

вые изгороди поблескивали на солнце, уходя ломаными линиями в глубину полей. Внезапный крик на берегу, жалобно зазвучав издали, резко оборвался, словно задохнувшись в низвергающемся потоке лучей; порыв бриза омрачил гладкую воду беглой полосой ряби, тронул нам лица и был забыт. Полная неподвижность. Солнце изливало свой жар в лишенное теней вместилище красок и тишины.

Такова была сцена, по которой он горделиво расхаживал, безупречно наряженный, неимоверно величественный, властной силой своей способный заставить нас замереть в глупом ожидании чего-то героического — действия, песни, — что вот-вот должно было грянуть под тугой аккомпанемент могучего солнца. Сама изукрашенность его внушала тревогу: кто знает, какие пучины, какие ужасающие пустоты может скрывать под собой столь сложно расцвеченная поверхность? Он не носил маски — жизнь била в нем через край, а любая маска безжизненна; но он выступал перед нами именно как актер, как существо, агрессивно выстроившее свой облик. Малейшие его действия были продуманы и неожиданны, тон — суров и серьезен, фразы — загадочны, как зловещие намеки, и замысловаты, как арабески. Ему оказывалось такое торжественное почтение, каким на нашем непочтительном Западе пользуются только монархи сцены, и он принимал знаки поклонения с подчеркнутым достоинством, какого у нас не увидишь нигде, кроме как в свете рампы, в сгущенной фальши той или иной аляповато-трагической ситуации. Требовалось усилие, чтобы вспомнить, кто он в действительности, — всего-навсего мелкий местный правитель в удобно изолированном уголке Минданао, где мы могли в относительной безопасности нарушать закон, запрещавший продажу коренным жителям огнестрельного оружия и патронов. О том, что может случиться, если какая-либо из доживающих свой век испанских канонерок вдруг встрепенется, как гальванизированный труп, в краткой вспышке действия, мы, находясь внутри залива, не помышляли вовсе — настолько казался он отгороженным от докучливого мира; к тому же в те дни нам хватало воображения, чтобы с неким веселым равнодушием думать о возможности быть тихо вздернутыми в каком-нибудь укромном месте, недоступном для дипломатических демаршей. Что касается Караина, его, конечно, ждала та же участь, что нас всех, то есть крах и смерть; но ему была присуща способность облекаться в иллюзию неизбежного успеха. Он представлялся нам столь умелым, столь необходимым на своем месте, столь жизненно важным для существования этой земли и этих людей, что уничтожить его могло, казалось, лишь землетрясение. Он был квинтэссенцией расы, страны, всех стихийных сил этой знойной жизни, этой тропической природы. Он был наделен ее буйной мощью, ее великолепием; и, как она, он таил в себе зерно беды.

За многие посещения мы хорошо изучили его сцену — лиловый полукруг гор, клонящиеся над домами селений высокие пальмы, желтый береговой песок, струящуюся вниз зелень ущелий. Всему этому были присущи контрастный, кричащий колорит, некая чуть ли не нарочитая законченность, подозрительная неподвижность раскрашенных декораций; все это с таким совершенством охватывало искусную выстроенность его поразительных поз, что остальной мир казался навеки отгороженным, исключенным из ослепительного спектакля. Вокруг вообще ничего не могло существовать. Точно планета, ни на миг не замедляю-

щая вращения, потеряла в пространстве эту землю — эту кроху своей поверхности. Ее властитель был словно начисто отрезан от всего, кроме солнечного света, да и тот, чудилось нам, был сотворен для него одного. Раз, когда его спросили, что находится по ту сторону гор, он с многозначительной улыбкой ответил: "Друзья и враги — врагов много; а то зачем бы я стал покупать у вас ружья и порох?" Вот таким он всегда был: знающим свою роль назубок, безошибочно играющим на тайнах и явностях того, что его окружало. "Друзья и враги" — ничего больше. Такая неосязаемость, такая ширь! Воистину земля, вращаясь, выкатилась из-под его крохотных владений, и он с горсткой своих людей стоял словно бы посреди некой беззвучной битвы мятущихся теней. Ни звука не проникало к нему снаружи. "Друзья и враги!" Он мог бы добавить: "И воспоминания", — во всяком случае, в отношении себя лично; но он предпочел тогда об этом умолчать. Воспоминаниям было отведено другое время — после дневного спектакля; о них шла речь за кулисами, при погашенных огнях рампы. Днем же он царствовал на сцене с варварским достоинством. Лет десять назад он со своими людьми — с разношерстной ватагой бродячих буги[1] — захватил этот берег, и ныне под его монаршим владычеством они позабыли свое прошлое и перестали беспокоиться о будущем. Он раздавал им поучения, советы, награды и наказания, присуждал их к жизни или смерти с неизменной безмятежностью в позе и голосе. Он знал толк в ирригации и военном искусстве, разбирался в качестве оружия и в тонкостях судостроения. Он умел таить свои мысли; он был выносливее, мог проплыть дальше и управлять лодкой лучше, чем кто-либо из его людей; он целился прямей и вел переговоры извилистей, чем любой из известных мне представителей его расы. Он был морским авантюристом, отщепенцем, владыкой — и моим очень хорошим другом. Я желаю ему мгновенной смерти в открытой схватке, смерти при свете солнца, ибо он познал раскаяние и власть, а большего не может требовать от жизни никто. День за днем он появлялся перед нами, храня поразительную верность иллюзиям сцены, и вечером тьма опускалась на него со стремительностью падающего занавеса. Изборожденные ущельями горы превращались в тени, темнеющие на фоне чистого неба; над ними яркий хаос звезд был похож на бешеное коловращение, остановленное мановением руки; звуки умолкали, люди засыпали, очертания меркли, оставалась лишь подлинность Вселенной, завораживающей людские взоры темнотой и мерцанием.

II

Но именно по ночам он говорил с нами открыто, отбрасывая условности сцены. Днем не то — днем были дела, обсуждение которых требовало официальности. Его и меня поначалу многое разделяло: его великолепие, мои убогие подозрения, сценический ландшафт, что постоянно навязывал фактам наших жизней недвижную фантасмагорию контура и цвета. Вокруг него толпилась его свита; широкие наконечники копий топорщились над его головой колючим железным нимбом; эти люди отгораживали его от простых смертных яркостью шелков, блеском ору-

1. Буги — малайская народность, населяющая юго-западную часть острова Сулавеси (Целебес).

жия, возбужденно-почтительным гудением усердных голосов. Перед закатом он церемонно отплывал на берег, сидя в своей лодке под красным зонтом, эскортируемый двумя десятками судов. Весла взмывали в воздух и вспахивали воду разом, с единым могучим плеском, громко отдававшимся в монументальном амфитеатре гор. За флотилией тянулась широкая полоса ослепительно белой пены. Лодки на фоне шипящей белизны казались необычайно черными; увенчанные тюрбанами головы двигались взад-вперед; десятки рук в красном и желтом поднимались и опускались одновременно; стоявшие на носу каждой лодки копьеносцы были одеты в многоцветные саронги, и плечи их блестели, как у бронзовых статуй; негромкий речитатив гребцов переходил в конце каждого куплета в жалобный, тоскующий крик. Они удалялись, уменьшались; пение умолкало; вот они уже толпятся на берегу в длинных тенях западных гор. Свет вокруг лиловых вершин еще не померк, и нам видно было, как во главе свиты этот крепкий, статный мужчина с непокрытой головой идет к своему укреплению, далеко опередив поспешающий следом кортеж, мерно вскидывая перед собой посох черного дерева, более высокий, чем он сам. Темнело стремительно; огни факелов то появлялись, то пропадали за скоплениями кустов; один-два протяжных возгласа нарушали безмолвие вечера; и наконец ночь набрасывала свой гладкий черный покров на берег, на огни и на голоса.

Но затем, едва мы начинали подумывать об отдыхе, вахтенные на шхуне окликали лодку, чье приближение в звездном мраке залива выдавал плеск весел; с лодки отвечал осторожный голос, и наш серанг[1], опустив голову в открытый люк, извещал нас, не выказывая ни капли удивления: "Их раджа, он опять. Уже здесь". И в двери нашей маленькой каюты бесшумно возникал Караин. Теперь он был сама простота: весь в белом, на голове тюрбан, из оружия только крис — малайский кинжал — с простой роговой рукояткой, который он, прежде чем переступить порог, вежливо прятал в складках саронга. Чуть позади, почти вплотную к его плечу, виднелось лицо старого меченосца, изможденное и скорбное, морщинистое настолько, что казалось завешанным густой темной сетью. Караин и шагу не желал ступить без этого спутника, который неизменно стоял или сидел на корточках у него за спиной. Вождь не любил пустоты позади себя. Даже больше, чем не любил, — это напоминало страх, болезненную нервозность из-за того, что могло случиться вне поля его зрения. При той бьющей в глаза пламенной верности, что его окружала, это было необъяснимо. Один посреди преданных ему людей, он, казалось, мог не опасаться ни засад близких соседей, ни честолюбия близких родственников; тем не менее гости наши неоднократно говорили нам, что их владыка не выносит одиночества: "Даже когда он ест или спит, рядом на страже всегда тот, у кого сила и оружие". Да, стражник всегда был рядом, хотя говорившие не знали, какой именно силой, каким оружием — одновременно призрачным и ужасным — он располагает. Мы узнали, но позже, когда Караин рассказал нам свою историю. Пока что мы замечали, что даже во время важнейших разговоров он часто вздрагивает и, прервав речь на полуслове, шарит рукой позади себя, проверяя, на месте ли старик. Непроницаемый и усталый, он всегда был на месте. Караин делил с ним все: пищу, ночной покой, мысли; телохранитель знал планы вождя и

1. Серанг — боцман (*слово персидского происхождения*).

оберегал его секреты; сама бесстрастность позади его непокоя, он, оставаясь в полной неподвижности, успокаивающе шептал ему на ухо какие-то слова, которых мы не могли разобрать.

Только в нашей каюте, только в окружении белых лиц, посреди чужих ему образов и звуков Караин, казалось, забывал о странном навязчивом страхе, что черной нитью тянулся, извиваясь, сквозь парадное великолепие его выходов. По ночам мы вели себя с ним непринужденно — только что не хлопали его по спине (некоторых вольностей нельзя разрешать себе с малайцем никогда). Он сам не раз говорил, что в этих случаях он не более чем частное лицо в гостях у других частных лиц, которых он считает равными себе по рождению. Я думаю, он так до конца и остался в заблуждении, принимая нас за эмиссаров британского правительства, негласно уполномоченных исполнять посредством нелегальной торговли оружием некую тайную задачу высшей государственной важности. Никакие наши заверения в обратном не могли его переубедить. Он вежливо, понимающе улыбался и пускался в расспросы о королеве. С этих расспросов начинался каждый его приход; он был жаден до подробностей; его зачаровывала мощь держательницы скипетра, тень от которого, распластавшись с запада на восток по суше и морю, простиралась много дальше захваченного им клочка земли. Он спрашивал и спрашивал; воистину неутолима была его жажда сведений о владычице, о которой он говорил не иначе как с почтительным удивлением и даже с неким благоговейным трепетом! Позднее, узнав, что он — сын женщины, много лет назад правившей маленьким бугийским государством, мы заподозрили, что воспоминания о горячо любимой матери каким-то образом переплелись в его сознании с представлением о далекой королеве, которое он пытался для себя составить, — о той, кого он называл Великой, Непобедимой, Благочестивой и Благословенной. Истощив свои познания, мы принялись изобретать для него подробности, и наша верноподданническая совесть не слишком роптала, ибо мы старались, чтобы подробности эти не противоречили его блистательному августейшему идеалу. Мы разговаривали. Ночь плавно скользила над нами, над неподвижной шхуной, над спящей землей и над бессонным морем, отдаленно рокочущим у рифов за горловиной залива. Двое его надежных гребцов спали в лодке у нижнего конца забортного трапа. Старый телохранитель, свободный сейчас от службы, дремал на корточках у спуска в нашу каюту, прислонясь спиной к косяку двери; а Караин — тот сидел, прямой и осанистый, в нашем деревянном кресле под легким покачиванием потолочной лампы: меж смуглых пальцев манильская сигара, на столе перед ним стакан с лимонадом. Его забавляла шипучесть напитка, но, сделав глоток-другой, он ставил стакан и позволял пене улечься, после чего учтивым движением руки давал понять, что хочет другую бутылку. Он стремительно расправлялся с нашим скудным запасом, но мы не были на него в обиде, потому что, начав говорить, он говорил хорошо. В прежние времена он, судя по всему, был настоящим бугийским денди, ведь даже в немолодом возрасте, когда мы его узнали, вид его был безупречен; свои седеющие волосы он красил в черный цвет с легким оттенком коричневого. Сдержанное достоинство его манер превращало тускло освещенную корабельную каморку в зал для аудиенций. Он говорил о делах межостровной политики с иронически-меланхолической проницательностью. Он много где побывал, немало пере-

страдал, интриговал, сражался. Он знал дворы туземных владык, сеттльменты европейцев, леса, моря; и по его словам, он повидал на своем веку немало великих людей. Ему нравилось говорить со мной, потому что некоторых из них я знал в свое время тоже; похоже, он решил, что я способен его понять, и он с великолепной самоуверенностью высказал предположение, что уж мне-то должно быть ясно, насколько он их превосходит. Впрочем, охотнее всего он говорил о своей родине — маленьком бугийском государстве на острове Целебес. Я побывал там незадолго до нашего знакомства, и он с интересом спросил, каковы новости. То и дело, услышав от меня знакомое имя, он говорил: "Мальчишками мы с ним плавали наперегонки" или "Мы вместе охотились на оленей. Он орудовал копьем и арканом почти так же ловко, как я". Время от времени он беспокойно поводил большими мечтательными глазами; он то хмурился, то улыбался, то вдруг делался задумчив и, молча глядя в пустоту, легонько кивал вслед некоему милому видению прошлого.

Его мать была в свое время правительницей маленького полунезависимого приморского государства в глубине залива Боне. Он говорил о ней с гордостью. Она была решительна во всем — и в делах государственных, и в делах сердечных. После смерти первого мужа, не смущаясь ярым недовольством вождей, она вышла замуж за богатого торговца — безродного человека из народа коринчи. Именно в этом втором браке у нее родился Караин, но причиной его изгнанничества явно была не подпорченная родословная. Причину эту он нам не объяснил, лишь обронил однажды со вздохом: "Нет, тело мое своим весом не обременит больше землю, где я родился". Но о странствиях своих он рассказывал нам охотно, как и о завоевании этого берега. О людях, живущих по ту сторону гор, он отозвался мягко, с беспечным взмахом руки: "Раз пришли через горы драться с нами, но те, кто вернулся домой, больше не явятся". Он помолчал, улыбаясь подступившим воспоминаниям. "Вернулся мало кто", — добавил он с горделивым спокойствием. Он дорожил памятью о победах; ему была свойственна восторженная жажда подвигов; вид у него, когда он говорил, был воинственный, благородный и вдохновляющий. Неудивительно, что его люди восхищались им. Мы видели однажды, как он проходит днем среди построек селения. Женщины, собравшиеся кучками у дверей домов, провожали его увлажненными взорами, мягко воркуя; вооруженные мужчины расступались с почтением, с прямой осанкой; другие наоборот — приближались кто справа, кто слева и смиренно обращались к нему, сгибая спины; какая-то старуха протянула к нему иссохшую руку, покрытую складчатой тканью; "Будь благословен!" — крикнула она из темного дверного проема; за низкой оградой банановой рощицы возник мужчина с пламенными очами, мокрым от пота лицом и двумя шрамами на обнаженной груди; "Аллах дарует успех нашему повелителю!" — задыхаясь, прокричал он ему вслед. Караин стремительно шел крупными, твердыми шагами, отвечая на звучавшие отовсюду приветствия быстрыми пронизывающими взглядами. Детишки, перебегая от дома к дому, храбро выглядывали из-за углов; мальчики постарше скользили в кустах с ним наравне, глаза их блестели из темной листвы. Старый телохранитель с мечом в серебряных ножнах на плече поспешал за ним шаркающей походкой, склонив голову и уставив взгляд в землю. Окруженные великим волнением, они шли быстро и отрешенно, словно сквозь великое безлюдье.

Под навесом, где заседал совет, его окружала степенность вооруженных вождей; старейшины в одежде из хлопка сидели на корточках двумя длинными рядами, свесив с колен праздные руки. Под крышу из пальмовых листьев, поддерживаемую гладкими столбами, каждый из которых стоил жизни молодой прямоствольной пальме, аромат цветущих живых изгородей заплывал теплыми волнами. Солнце клонилось к закату. Просители, входившие сквозь ворота в обнесенный частоколом двор, загодя поднимали над склоненными головами сведенные вместе ладони и низко сгибались, охваченные потоком яркого света. Под раскидистыми ветвями большого дерева сидели юные девушки, разложив на коленях цветы. Голубой дым очагов стлался прозрачным туманом над островерхими постройками, чьи стены, сплетенные из гладкого блестящего тростника, были опоясаны рядами грубых деревянных столбов, поддерживающих свесы кровель. Он отправлял правосудие в тени; с высокого своего сиденья приказывал, советовал, порицал. Порой гул одобрительных голосов усиливался, и тогда праздные копьеносцы, вяло проводившие время, подпирая спинами столбы и поглядывая на девушек, медленно поворачивали головы. Уважение, доверие, благоговение, которые питали к нему люди, были столь велики, что он, казалось, должен был чувствовать себя таким защищенным, как ни один человек в мире. Тем не менее временами он подавался вперед, словно бы прислушиваясь к дальнему диссонирующему звуку, словно бы ожидая услышать чей-то слабый голос или чьи-то легкие шаги; или же привставал с сиденья, как будто чья-то знакомая рука дотрагивалась до его плеча. Он тревожно оглядывался; старый наперсник что-то еле слышно шептал ему на ухо; вожди отводили глаза в молчании, чтобы правитель мог без помех уловить тихую речь мудреца, способного заклинать духов и насылать на врагов злые чары. В краткой тишине под открытым с боков навесом раздавался лишь шелест деревьев, да еще порой чистый, мягкий смех девушек, игравших с цветами. Когда налетал ветер, длинные крашеные пучки конского волоса у наконечников вертикально стоящих копий развевались, темно-красные и лоснящиеся; а за великолепием живых изгородей прозрачный чистый ручей бежал, невидимый под нависающей береговой травой, но отчетливо слышный, бежал с настойчивым журчанием, и страстным, и ласковым.

После захода солнца огни факелов, горящих под высоким навесом для заседаний совета, были видны издалека — через поля, через залив. Коптящие красные языки колыхались на длинных шестах, отсветами вспыхивали на лицах, отражались в гладких пальмовых столбах, высекали яркие искры на кромках металлических блюд, расставленных на тонких циновках. Этот полубезродный авантюрист пировал по-царски. Люди сидели на корточках тесными группами вокруг больших деревянных чаш; смуглые руки витали над белоснежными холмами риса. Сидя поодаль от остальных на незамысловатом своем сиденье, он опустил на локоть низко склоненную голову; рядом юный певец-импровизатор пел высоким голосом славу его отваге и мудрости. Юноша раскачивался взад-вперед, экстатически выкатив глаза; старые женщины, ковыляя, разносили блюда с едой, а мужчины, низко сидя на корточках, порой поднимали головы и серьезно слушали певца, не переставая жевать. Песня триумфа звенела в ночи, куплеты ее звучали скорбно и яростно, как пророчества отшельника. Караин остановил певца знаком: "Довольно!"

Вдалеке ухнула сова, ликованием встречая в гуще листвы кромешную тьму; наверху ящерицы бегали в сухих пальмовых ветвях кровли, шурша и тихо попискивая; шум перемешанных голосов вдруг сделался громче. Обведя всех круговым встревоженным взглядом, как человек, чей сон внезапно был прерван ощущением некой опасности, он откинулся на спинку сиденья и под взором старого чародея, глядевшего на него сверху вниз, вновь подхватил, не смежая широко раскрытых глаз, ускользнувшую было нить сновидения. Люди были чутки к его настроениям; оживившийся на миг разговор соскользнул в тишину, как волна по наклонному берегу. Вождь был не в духе. И поверх разровнявшегося, еле слышного шепота теперь возникали лишь единичные звуки — то легкий звяк оружия, то более громко произнесенное слово, отчетливое и отдельное, то тяжелый звон массивного медного подноса.

III

Два года мы наведывались к нему через небольшие промежутки времени. Мы прониклись к нему симпатией, доверием, почти восхищением. Он замышлял и готовил войну с терпением и прозорливостью, проявляя такую верность поставленной цели и такое упорство, какие я считал невозможными в малайце. Казалось, он не испытывает страха перед будущим, и дальновидность его планов была бы безупречной, если бы не его полное неведение обо всем, что касалось других частей мира. Мы пытались его просветить, но все наши попытки объяснить ему, что силы, с которыми он собирается тягаться, неодолимы, разбивались о его неудержимое стремление разящим ударом удовлетворить свои первобытные чаяния. Он нас не понимал и выдвигал в ответ доводы, в практичности своей столь детские, что было от чего прийти в бешенство. Ну как прикажете спорить с подобной нелепостью? Порой мы замечали тлеющую в нем угрюмую ярость — смутное, хмурое, сосредоточенное ощущение несправедливости, сгущенную тягу к насилию, всегда опасную в жителе этих краев. Он в любой миг мог полыхнуть одержимостью. Однажды, когда мы допоздна засиделись у него в кампонге[1], он вдруг вскочил на ноги. Рядом в роще горел большой, яркий костер; пятна света и мглы, перемежаясь, плясали меж древесных стволов; в неподвижном ночном воздухе летучие мыши выпархивали из крон и впархивали обратно, как трепещущие хлопья более плотной тьмы. Выхватив из рук у старика ножны, он с визгом железа обнажил меч и с размаху всадил острием в землю. Серебряная рукоять, как живая, закачалась перед ним, отпущенная, на узком прямом лезвии. Он отступил на шаг и глухим, яростным голосом обратился к подрагивающему клинку: “Если есть святая доблесть в огне и в железе, в руке, что выковала тебя, и в словах, что сказаны над тобой, в желании моего сердца и в мудрости оружейников — вместе мы одолеем всех!” Он выдернул меч из земли, оглядел лезвие. “На”, — сказал он через плечо старому меченосцу. Тот, не вставая с корточек, вытер острие краем саронга, вложил клинок в ножны и вновь упокоил оружие у себя на коленях, так ни разу и не подняв глаз. Караин, вдруг совершенно спокойный, с достоинством сел на свое место. Мы же после этого перестали его отговаривать и позволили ему идти своим путем к славному краху. Старались лишь,

1. Кампонг — небольшой поселок (*малайск.*).

чтобы порох был доброкачественным и стоил запрашиваемых нами денег, чтобы ружья, пусть и старые, были исправными.

Но игра ближе к концу стала для нас слишком опасной; и хотя мы, кому не привыкать было к опасностям, задумывались о них мало, некие весьма респектабельные люди в уютных кабинетах решили, что риск уже неоправданно велик и что можно совершить еще только одно плавание. Постаравшись, как обычно, с помощью разнообразных уловок скрыть истинную нашу цель, мы тихо скользнули в сторону от курса и стремительным броском достигли залива. Мы вошли в него рано утром, и не успел наш якорь коснуться дна, как шхуну окружили туземные лодки.

Первым, что мы услышали, была весть о том, что таинственный меченосец Караина умер несколько дней назад. Мы не придали этой кончине особенного значения. Да, конечно, представить себе владыку без этого неотлучного спутника было трудно; но, что ни говори, телохранитель был стар, он ни разу не сказал нам ни слова, и мы вообще почти не слышали его голоса; для нас он стал неодушевленным предметом, одной из регалий нашего друга, чем-то вроде меча, носимого за Караином, или красного бахромчатого зонта — атрибута официальных выходов. Вопреки своему обыкновению Караин не прибыл к нам на шхуну — лишь прислал перед закатом приветствие и плоды своей земли. Наш друг всегда принимал нас с достоинством принца, хоть в денежных расчетах был по-банкирски прижимист. Дожидаясь его, мы в тот день не ложились до полуночи. Под кормовым навесом бородатый Джексон тренькал на старой гитаре и пел с отвратительным акцентом испанские любовные песни; между тем мы с молодым Холлисом, растянувшись на палубе, сражались в шахматы при свете судового фонаря. Караин так и не появился. На следующий день мы были заняты разгрузкой и между делом услышали, что раджа нездоров. Мы ждали приглашения посетить его на берегу, но оно не поступило. Мы попросили передать ему наши дружеские приветы, однако, боясь помешать какому-нибудь тайному совещанию, оставались на борту шхуны. Утром третьего дня мы отправили на берег последнюю партию пороха и ружей, а также наш общий подарок доброму другу — медную пушку со станком и запасом шестифунтовых ядер. После полудня сделалось душно. Из-за гор показались рваные края черных туч, и отдаленные грозы принялись ходить невидимыми кругами, глухо ворча, как дикие звери. Мы готовились выйти в море завтра с рассветом. Весь день беспощадное солнце оглушало залив зноем, свирепое и бледное, словно раскаленное добела. На суше все будто вымерло.

Берег был пуст, селения казались покинутыми; дальние деревья высились застывшими скоплениями, как нарисованные; белый дым от неведомо где занявшегося лесного пожара стлался вдоль кромки залива, как вечерний туман. Ближе к вечеру трое лучших людей Караина, одетые в парадные одежды и вооруженные до зубов, привезли в лодке ящичек с долларами.

Сумрачные и безучастные, они сказали нам, что не видели своего раджу пять дней. Да его и никто не видел! Они рассчитались с нами и, по очереди пожав нам руки в полной тишине, один за другим спустились в лодку; гребцы доставили их на берег, сидящих вплотную друг к другу, облаченных в яркие одежды, понуривших головы; золотое шитье на их куртках ослепительно вспыхивало, пока они скользили по гладкой воде, и никто из них не обернулся даже единожды.

Перед самым закатом громыхающие тучи одним броском взяли рубеж гор и покатились вниз по внутренним склонам. Вмиг все исчезло; клубы мглы заполнили чашу залива, посреди которого наша шхуна раскачивалась из стороны в сторону под порывами переменного ветра. Одиночный взрыв грома грянул в гулком амфитеатре с такой яростью, что обод гор, казалось, мог лопнуть, расколоться на мелкие части; теплый водопад свергся с небес. Ветер сгинул в стене ливня. Мы задыхались в закрытой каюте; по лицам струился пот; залив снаружи шипел, словно вскипая; дождь терзал его отвесной атакой тяжелых штыков; вода жестоко секла палубу, ручьями стекала с рангоута, клокотала, рыдала, бурлила, рокотала в слепой ночи. Наша лампа светила тускло. Холлис, голый выше пояса, растянулся на рундуках, закрыв глаза, неподвижный и похожий на раздетый мародерами труп; Джексон над его головой перебирал гитарные струны и, вздыхая, заунывно печалился о безнадежной любви и очах-звездах. Вдруг мы услышали поверх стука дождя изумленные крики на палубе, торопливые шаги у себя над головой — и в дверном проеме каюты возник Караин. Его лицо и обнаженная грудь блестели под лампой; пропитанный влагой саронг облепил ноги; в левой руке он держал крис в ножнах; клейкие пряди мокрых волос, выбившиеся из-под красной наголовной повязки, доходили до его скул, завешивая глаза. Он быстро шагнул внутрь, озираясь через плечо, словно его кто-то преследовал. Холлис рывком перекатился набок и открыл глаза. Джексон прихлопнул огромной ладонью струны гитары, и звон ее разом смолк. Я встал.

— Мы не услышали приветствия с твоей лодки! — воскликнул я.

— Да какая там лодка! Он вплавь, — подал голос Холлис со своего рундука. — Вид-то какой.

Караин тяжело дышал, блуждая безумными глазами, пока мы молча разглядывали его. Вода, капая с его тела, образовала темную лужицу и кривым ручейком потекла по полу. Слышен был голос Джексона, вышедшего отогнать наших матросов-малайцев, которые столпились было у навеса над спуском в каюту; он грозно чертыхался под скороговорку ливня, и на палубе царила великая суета. Вахтенные, до смерти напуганные видом темной фигуры, перелезающей через фальшборт, — материализовавшейся, так сказать, из ночи, — переполошили всю команду.

Наконец Джексон, все еще сердитый, вернулся с блестящими бусинами воды в бороде и волосах; Холлис, который, хоть и был из нас младшим, порой напускал на себя вид этакого ленивого превосходства, проговорил, не двигаясь с места:

— Дайте ему сухой саронг; мой хотя бы. Он висит в умывальне.

Караин положил крис на стол рукояткой вперед и сдавленным голосом произнес несколько слов.

— Что-что? — спросил Холлис, не расслышав.

— Он просит извинения за то, что явился с оружием в руке, — сказал я потерянно.

— Церемонный нищий, однако. Скажи ему, что мы, так уж и быть, простим друга... в такую-то ночку, — протянул Холлис. — Что стряслось?

Караин надел через голову сухой саронг, скинул мокрый себе под ноги и переступил через него. Я жестом пригласил его расположиться в деревянном кресле — в его кресле, можно сказать. Он сел, держа спину очень прямо, и издал громкое “Ха!”; по его крупному туловищу про-

шла короткая судорога. Он неспокойно оглянулся через плечо, потом повернулся к нам, словно желая заговорить, но только таращил глаза диковинным невидящим манером; затем вновь поглядел назад.

— Эй, там, на палубе, смотреть в оба! — проревел Джексон и, услышав сверху слабый ответ, потянулся ногой и захлопнул дверь каюты.

— Теперь можно, — сказал он.

Губы Караина слегка шевельнулись. Яркая вспышка молнии на миг превратила два круглых кормовых иллюминатора перед ним в пару свирепых фосфоресцирующих глаз. Свет лампы словно приугас, сделавшись бурой пылью, а зеркало на маленьком шкафчике у него за спиной вдруг выступило гладким листом бледного пламени. Гром покатился к нам, треснул прямо над нами; шхуна содрогнулась, и великий глас, не переставая гневно грозить, двинулся дальше в морское пространство. Меньше минуты бешеный ливень окатывал палубу, затем прекратился. Караин медленно переводил взгляд с одного лица на другое, пока тишина не стала такой глубокой, что мы все ясно услышали тиканье двух хронометров в моей каюте, с ровным неослабным рвением состязающихся в беге.

Каждый из нас троих, странно завороженный, не мог оторвать от него взгляда. То таинственное, что погнало его сквозь ночь и грозу искать укрытия в тесной каюте шхуны, делало его в наших глазах и загадочным, и беззащитным. Не было сомнений, что перед нами сидит беглец, как бы невероятно это ни было. Он сильно осунулся, словно бессонница мучила его неделями; исхудал, словно по целым дням не мог есть. Щеки у него отощали, глаза ввалились; мышцы груди и рук чуть заметно подергивались, как после изнурительного поединка. Да, конечно, он только что покрыл большое расстояние вплавь; но на его лице читалась другая усталость — мучительное бессилие, гнев и страх, рожденные борьбой с мыслью, с идеей — с тем, чего нельзя ухватить, свалить наземь, чему неведом покой, — с тенью, с небытием, непобедимым и бессмертным, питающимся живой жизнью. Мы знали это так же верно, как если бы он прокричал это нам в уши. Его грудь то и дело вздымалась, словно не могла сдержать биение сердца. В тот миг он был наделен мощью одержимых, способной пробуждать в очевидцах изумление, боль, жалость и наводящее страх ощущение близости невидимого, всего темного и безгласного, чем окружено одиночество рода людского. Какое-то время его глаза еще бесцельно блуждали, потом успокоились. С усилием он заговорил:

— Вот, я пришел... Бросился прочь из моего укрепления, как побежденный. Я побежал в темноту. Вода была черная. Он кричал позади меня у края черной воды... Я оставил его одного на берегу. Я поплыл... Он кричал мне... Я плыл...

Он дрожал с головы до пят, сидя в напряженной позе и глядя прямо перед собой. Кого он оставил? Кто кричал? Мы не знали. Понять было невозможно. Я сказал наудачу:

— Крепись.

Внезапный звук моего голоса остановил его дрожь, привел его тело в оцепенение, но сверх этого не произвел, казалось, никакого действия. Некоторое время он словно бы прислушивался, словно бы ждал чего-то, затем продолжал:

— Сюда он не посмеет явиться — вот почему я здесь. Вы, люди с белыми лицами, презираете голоса невидимых. Ему не вынести вашего неверия, силы вашей.

Помолчав, он негромко воскликнул:

— Что, что сравнится с силой неверующих!

— Здесь только ты да мы трое, никого больше нет, — тихо сказал ему Холлис. Он полулежал, подперев голову согнутой в локте рукой, и не шевелился.

— Я знаю, — сказал Караин. — Он никогда не тревожил меня здесь. Старый мудрец охранял меня. Но вот он умер, старый мудрец, знавший о моей беде, и теперь я слышу голос каждую ночь. Я затворился — на много дней — в темноте. Мне слышны печальные перешептывания женщин, шелест ветра, журчание бегущей воды; звон оружия в руках верных людей, их шаги — и его голос!.. Ближе... Вот! Прямо в ухо! Он был рядом... Я почувствовал его дыхание на моей шее. Молча, без крика я кинулся в темноту. Вокруг все тихо спали. Я побежал к морю. Он бежал рядом неслышными шагами и шептал, шептал мне прежние слова — шептал прежним голосом мне в ухо. Я бросился в море; я поплыл к вам, зажав в зубах мой крис. Я, вооруженный, бежал от дыхания — под вашу защиту. Увезите меня в вашу страну. Старый мудрец умер, и с ним умерла сила его слов и заклинаний. И я не могу рассказать никому. Никому. Кто из своих так предан мне и так мудр, чтобы вынести это знание? Только рядом с вами, неверующие, тревога моя рассеивается, как туман под оком дня.

Он повернулся ко мне.

— С тобой я готов отправиться! — воскликнул он, держа голос в узде. — Ты ведь знаешь многих из нас. Я не хочу возвращаться на эту землю — к моим людям... и к нему — туда.

Трясущимся пальцем он неопределенно ткнул себе за спину. Мы с трудом выдерживали насыщенность неясного нам переживания. Холлис смотрел на него во все глаза. Я мягко спросил:

— Где угроза?

— Везде, кроме этого места, — ответил он скорбно. — Повсюду, где я. Он подстерегает меня на тропинках, под деревьями, там, где я сплю, — но только не здесь.

Он оглядел маленькую каюту с ее крашеными бимсами и покрытыми потемневшей олифой переборками; оглядел, словно взывая ко всей ее неказистой чужеродности, ко всей беспорядочной мешанине незнакомых ему вещей, принадлежащих к невообразимому миру воли, дерзаний, натуги, неверия — к мощному миру белых людей, что неодолимо и тяжко шествует у самого рубежа внешней тьмы. Он простер вперед руки, словно желая обнять и нас, и все наше. Мы смотрели на него. Ветер и дождь утихли, и ночь окружила шхуну таким безмолвным оцепенением, что казалось, будто скончавшееся мироздание погребено в могиле из плотных туч. Мы ждали, когда же он заговорит. Властная внутренняя необходимость мучила его губы. Мне приходилось порой слышать, что туземец ни за что не откроется белому человеку. Ошибочное мнение! Да, хозяину не откроется; но страннику и другу — тому, кто явился не поучать и не править, кто ничего не требует и готов принять все, что видит, — ему открываются у лагерного костра, в братском безлюдье моря, в приречных селениях, на привале посреди леса, открываются невзирая на расу и цвет кожи. Одно сердце говорит — другое слушает; и земля, море, небо, пролетающий ветер, трепещущий лист тоже слушают исполненную тщеты повесть о бремени бытия.

И вот он начал. Мне не передать впечатления от его рассказа. Неумирающее, оно живо лишь как воспоминание, и яркость его, как яркость сновидения, недоступна чужому рассудку. Надо было знать этого человека раньше, знать во всем его природном великолепии — и надо было видеть его тогда. Колеблющийся сумрак узкой каюты; бездыханная тишь снаружи, нарушаемая лишь еле слышным плеском воды у бортов шхуны; бледное лицо Холлиса, его внимательные темные глаза; буйная голова Джексона, зажатая меж двух его могучих лапищ, его длинная золотистая борода на струнах лежащей на столе гитары; прямая осанка Караина, его неподвижность, его тон — все это сложилось в единое целое, забыть которое невозможно. Он сидел по ту сторону стола. Его черноволосая голова и бронзовый торс возвышались над потемневшей от времени доской, блестящие и застывшие, словно отлитые из металла. Шевелились лишь губы, а глаза вспыхивали, гасли, вновь загорались, затем вперялись в скорбную полутьму. То, что он говорил, шло прямо из его истерзанного сердца. Слова звучали то приглушенно, подобно печальному бормотанию бегущей воды; то громко, как звон боевого гонга; то они влачились медленно, как усталые путники; то неслись вперед, подхлестываемые страхом.

IV

Вот его рассказ — в моей неполной, неточной передаче.

— Это было после великих волнений, разрушивших союз четырех государств Ваджо. Мы бились друг с другом, а голландцы смотрели на нас издали, пока мы не обессилели. Потом дым их боевых кораблей показался близ устий наших рек, и их начальники приплыли на лодках, полных солдат, говорить с нами о защите и мире. Мы отвечали осторожно и хитро, потому что деревни наши были сожжены, укрепления слабы, люди утомлены, клинки затуплены. Они приплыли и уплыли; было много толков, но после их отбытия все как будто осталось по-прежнему, только с нашего берега все время виднелись их корабли, и очень скоро к нам начали являться их торговцы, которым была обещана безопасность. Мой брат был Правителем — одним из тех, кто дал обещание. Я был молод тогда, но прошел войну, и Пата Матара бился бок о бок со мной. Мы делили с ним голод, опасность, усталость — и победу. Его глаза быстро видели грозящую мне беду, моя рука дважды спасала его от смерти. Это была судьба его. Он был мой друг. И он был славен меж нас; брат мой, Правитель, держал его близ себя. Он говорил в совете, отвага его была велика, и он был вождем многих селений вокруг великого озера, что лежит посреди нашей страны, как сердце — посреди человеческого тела. Когда перед его прибытием в кампонг туда вносили его меч, девушки завороженно перешептывались под плодовыми деревьями, богачи собирались в тени на совет, и люди с весельем и песнями принимались готовить пир. Он был в чести у Правителя, и в нем души не чаяла беднота. Он любил войну, оленью охоту и женские ласки. У него было все: драгоценности, счастливое оружие, людская преданность. Он был неистовый человек, и мне не надо было иного друга.

Я был вождем укрепления близ устья реки и собирал для брата моего пошлину с проплывающих лодок. Однажды я увидел голландского торговца, который двигался вверх по реке. У него было три лодки, и я

не взял с него пошлины, потому что в открытом море виднелся дым голландских боевых кораблей и мы были слишком слабы, чтобы пренебрегать договорами. Он поднялся по реке, пользуясь обещанной нами безопасностью, и мой брат взял его под защиту. Голландец сказал, что прибыл по торговым делам. Он выслушал нас, ведь мы привыкли говорить без стеснения и страха; он пересчитал наши копья, осмотрел деревья, ручьи, береговые травы, склоны наших холмов. Потом он отправился во владения Матары, и тот разрешил ему построить там дом. Он торговал и плантаторствовал. Он презирал наши радости, наши думы и наши печали. Лицом он был красен, волосами рыж, как огонь, глазами бледен, как речной туман; ходил тяжелым шагом, говорил густым голосом; хохотал во всю глотку, как неотесанный, и в речах своих не знал учтивости. Он был рослый, спесивый человек; глядел в лица женщин и клал руку на плечи свободных мужчин, словно был высокородный вождь. Мы молча это сносили. Время шло.

А потом сестра Паты Матары убежала из кампонга и пошла жить в дом голландца. Она была блистательна и своенравна; я видел однажды, как рабы несут ее с непокрытым лицом в высоком паланкине сквозь людскую толпу, и мужчины в один голос говорили, что красота ее исключительна, что она, красота эта, лишает людей разума и околдовывает сердца. Все пришли в смятение; лицо Матары почернело от позора, ведь она знала, что обещана другому. Матара отправился в дом голландца и сказал ему: "Отдай ее нам на казнь — она из семьи вождей". Белый человек отказался и закрылся у себя в доме, велев слугам охранять его день и ночь с заряженными ружьями. Матара был в ярости. Мой брат созвал совет. Но голландские корабли стояли близко и смотрели на наш берег с жадностью. Мой брат сказал: "Если он умрет сейчас, наша страна заплатит за его кровь. Не трогай его, пока мы не станем сильнее и корабли не уйдут". Матара был умен; он ждал и смотрел. Но белый человек испугался за ее жизнь и уехал.

Он оставил дом, плантации, груду добра! Уехал, вооруженный и грозный, бросив ради нее все! Она околдовала его сердце! Из моего укрепления я видел, как он выходит в море в большой лодке. Матара и я, мы смотрели на него из-за частокола, с боевого возвышения. Он сидел на кормовой надстройке своей прау[1] с ружьем в руках, положив ногу на ногу. Блестящий ствол пересекал наискось его большое красное лицо. Под ним была речная ширь — плоская, гладкая вода, сверкающая, как лист серебра; его прау, казавшаяся с берега короткой и черной, скользила по серебру в синеву моря.

Трижды Матара, стоявший рядом со мной, выкрикивал ее имя с горечью и проклятиями. Он растревожил мне сердце. Оно встрепенулось три раза; три раза внутренним взором я увидел в темном замкнутом чреве прау женщину с текучими волосами, покидающую свою землю и свой народ. Я почувствовал гнев — и жалость. Почему? Потом я тоже стал изрыгать проклятия и угрозы; Матара сказал: "Теперь, когда они оставили нашу землю, жизни их — мои. Я отправлюсь вслед и нанесу удар, а потом один расплачусь за кровь". Над пустой рекой в сторону закатного солнца подул великий ветер. Я крикнул: "Где ты, там и я!" Он кивнул в знак согласия. Это была судьба его. Солнце село, и деревья с великим шумом раскачивались над нашими головами.

1. Прау — малайское парусное судно.

На третью ночь мы вдвоем отплыли с нашей земли в торговой прау.

Нас встретило широкое море — без путей и дорог, без голосов. Прау не оставляет на нем следа. Мы поплыли на юг. Светила полная луна; посмотрев на нее, мы сказали друг другу: "Когда следующая станет круглая, как эта сейчас, мы будем дома и они будут мертвы". С тех пор прошло пятнадцать лет. Луны налились и иссохли во множестве, а я так и не увидел родной земли. Мы двигались на юг; мы обогнали немало прау; мы обследовали устья рек и заливы; мы увидели край нашего берега, нашего острова — крутой утесистый мыс над бурным проливом, где ветер гоняет тени разбитых прау, где ночью жалобно голосят утопленники. Теперь нас окружало открытое море. Мы увидели горящую посреди вод огромную гору; увидели тысячи островков, рассыпанных, как картечь после выстрела из гигантской пушки; увидели длинный берег с горами и низинами, тянувшийся под солнцем с запада на восток. Это была Ява. Мы сказали друг другу: "Они здесь; время их близко, и мы либо вернемся, либо умрем, но сотрем бесчестье".

Мы сошли на берег. Не знаю, что хорошего в этой земле. Твердые, пыльные тропы ее прямы. Каменные кампонги, полные белых лиц, окружены плодородными полями, но всякий, кого там увидишь, — раб. Правители живут там под лезвием чужеземного меча. Мы поднимались на горы, пересекали долины; мы входили в селения на закате. И каждого спрашивали: "Не встречал ли ты белого человека такого-то вида?" Одни только таращились; другие смеялись; женщины порой выносили нам пищу, испытывая страх и почтение, словно мы были боговидцами; иные не понимали нашего языка, иные руганью гнали нас прочь или, зевнув, презрительно спрашивали, с какой стати мы его ищем. Раз, когда мы уже уходили, один старик крикнул нам вслед: "Смиритесь!"

Мы шли и шли. Скрывая, что вооружены, униженно отходили в сторону, давая дорогу всадникам; низко кланялись во владениях вождей, что были не лучше рабов. Блуждали в полях, в джунглях; однажды ночью вышли из непролазного леса к месту, где среди деревьев стоят полуразрушенные старые стены, где диковинные каменные истуканы — резные дьяволы со множеством рук и ног, с обвившимися вокруг тел змеями, с двадцатью головами и сотней мечей — казались нам живыми и грозными в пляшущих отсветах нашего костра. Нас не останавливало ничто. И у каждого костра, на каждом привале мы говорили о ней и о нем. Время их было близко. Мы не говорили ни о чем другом. Ни о голоде, ни о жажде, ни об усталости, ни о слабеющих сердцах. Я сказал — о ней и о нем? Нет, о ней! И думали мы — нет, не о них — о ней! Матара часто погружался в размышления у костра. Я сидел рядом и думал, думал, пока передо мной вдруг вновь не возникал образ женщины, красивой, молодой, величественной, гордой и нежной, покидающей свою землю и свой народ. Матара говорил мне: "Найдем их — убьем сначала ее, чтобы стереть бесчестье; потом настанет его черед". Я отвечал: "Будет так, как ты говоришь; это *твое* отмщение". Он подолгу смотрел на меня большими запавшими глазами.

Мы вернулись на берег. Ноги наши кровоточили, тела исхудали. Мы ложились спать, укрываясь тряпьем, у каменных оград; мы рыскали, грязные и тощие, около ворот, что вели во дворы белых людей. Их лохматые псы облаивали нас, их слуги кричали нам издали: "Прочь отсюда!" Порой тот или этот из низкого отребья, охраняющего улицы камен-

ных кампонгов, спрашивал нас, кто мы такие. Мы лгали, раболепствовали, улыбались с ненавистью в сердцах и всё искали их, искали — его, белого человека с рыжими, как огонь, волосами, и ее, презревшую веления чести и заслужившую этим смерть. Мы искали их. Пришло время, когда в каждом женском лице мне стали мерещиться ее черты. Мы бросались к ней. Нет! Иногда Матара шептал мне: "Вот он"; мы, затаившись, ждали. Он приближался. Это был не он — голландцы все на одно лицо. Нас терзали обманчивые видения. Во сне мне являлось ее лицо, и я чувствовал одновременно радость и жалость... Почему?.. Я слышал позади себя ее шепот. Быстро оборачивался. Никого! Пока мы устало брели от одного каменного города к другому, мне порой чудились рядом легкие шаги. Настала пора, когда они уже не умолкали у меня в ушах, и я был этому рад. Влачась по жестким тропам белых людей, обессиленный, оглушенный, я думал: "Она здесь — около нас!.." Матара был мрачен. Мы часто голодали.

Мы продали резные ножны наших крисов — ножны из слоновой кости с золотыми ободами. Мы продали рукояти, украшенные дорогими каменьями. Но клинки сохранили — для них. Клинки, что если разят, то наповал, — для нее... Почему? Она всегда была рядом... Мы голодали. Нищенствовали. Наконец мы покинули Яву.

Мы побывали на западе и на востоке. Мы повидали много земель, много чужих лиц, повидали людей, которые живут на деревьях, и людей, которые съедают своих старцев. За горстку риса валили в лесах пальмы, ради пропитания мели палубы больших кораблей и терпели ругань матросов. Мы батрачили в деревнях; плавали по морям с людьми баджу, у которых нет родины. Мы воевали ради денег; мы нанялись на работу к торговцам с островов Горам и были обмануты; повинуясь приказам людей с обветренными белыми лицами, ныряли за жемчугом в бесприютных заливах, чьи воды усеяны черными скалами, чьи берега — сплошь песок и пустота. И повсюду мы смотрели, слушали, спрашивали. Спрашивали торговцев, грабителей, белых людей. Выслушивали насмешки, издевательства, угрозы — слова удивления и слова презрения. Мы не знали покоя; о доме не помышляли, потому что дело наше не было сделано. Прошел год, за ним другой. Я потерял счет ночам, лунам, годам. Я заботился о Матаре. Последняя горстка риса всегда была его; если воды хватало на одного, пил ее он; я укрывал его, когда он дрожал от холода; когда он свалился в горячке, я ночь за ночью сидел, обмахивая его лицо. Он был неистовый человек и мой друг. Он говорил о ней: днем — с яростью, ночью — с печалью; вспоминал, какая она была в здоровье, в болезни. Я молчал; но я видел ее каждый день — видел! Поначалу только ее голову, словно она шла по речному берегу в полосе стелющегося тумана. Потом она стала подсаживаться к нашим кострам. Я видел ее! Смотрел на нее! У нее были нежные очи и колдовское лицо. По ночам я обращался к ней шепотом. Матара порой сонно спрашивал: "С кем это ты разговариваешь? Кто там?" Я торопливо отвечал: "Никого, никого..." Я лгал! Она никогда не покидала меня. Она грелась у наших костров, сидела со мной на подстилке из листьев, плыла за мной по морям... Я видел ее!.. Говорю вам: я видел ее распущенные черные волосы на освещенной луной воде, когда она, гребя обнаженными руками, держалась наравне с быстрой прау. Она была прекрасна, она была верна, и в немой бессловесности чужих стран она тихо-тихо говорила со мной на

языке моего народа. Никто другой не видел ее; никто другой не слышал ее; она была моя, только моя! Днем она шла покачивающейся походкой впереди меня по изнурительным тропам; тело у нее было прямое и гибкое, точно ствол стройного дерева; пятки ее босых ног были круглые и гладкие, как яичная скорлупа; рукой она делала мне плавные знаки. По ночам она смотрела мне прямо в лицо. Как она была печальна! Глаза нежные и испуганные, голос мягкий и умоляющий. Однажды я прошептал ей: "Ты не умрешь", — и она улыбнулась... всегда потом улыбалась!.. Она придавала мне сил терпеть невзгоды, терпеть усталость. Она врачевала одолевавшую меня боль. Мы блуждали, странствовали, искали. Мы испытали обман, ложные надежды; испытали плен, болезнь, жажду, несчастье, отчаяние... Довольно об этом! Мы нашли их!..

Выкрикнув эти слова, он умолк. Его лицо было бесстрастно, и он хранил неподвижность, словно охваченный трансом. Холлис рывком сел и положил руки на стол. Джексон, сделав невольное размашистое движение, коснулся гитары. Струны, разом заголосив, наполнили каюту смешанным заунывным замирающим звоном. Караин вновь начал говорить. Сдержанное неистовство его тона казалось идущим откуда-то извне, принадлежащим слышимой, но непроизносимой речи; оно наполняло каюту и обволакивало своим напряженно-мертвенным звучанием сидящую в кресле фигуру.

— Мы плыли в Аче[1], где шла война; но корабль сел на песчаную мель, и нам пришлось сойти на берег в Делли. Мы заработали немного денег и купили ружье у торговцев из Селангора; только одно ружье, стрелявшее от искры, высекаемой из камня; Матара нес его. Мы сошли на берег. Белые люди жили там во множестве, выращивали табак на захваченных равнинах, и Матара... Но довольно. Он увидел его!.. Голландца!.. Наконец!.. Мы таились и высматривали. Две ночи и день мы высматривали. У него был дом — большой дом на расчищенном месте посреди его полей; вокруг росли цветы и кустарники; там были узкие тропки желтой земли, окруженные подрезанной травой, и густые живые изгороди, не пускавшие к дому посторонних. На третью ночь мы пришли вооруженные и легли за изгородью.

Обильная роса словно напитывала нашу плоть и выстуживала внутренности. Трава, ветви, листья, покрытые каплями влаги, были серыми под луной. Матара спал, съежившись в траве, и во сне его трясла дрожь. Стук моих зубов звучал у меня в голове так громко, что я боялся разбудить этим стуком всю округу. Вдали сторожа, охранявшие дома белых людей, били в деревянные колотушки и кричали во мраке. И как во всякую ночь, я видел ее подле себя. Она больше не улыбалась!.. Грудь мне жгло огнем муки, и она шептала мне сострадательно, жалостно, мягко — так, как это делают женщины; она утишала боль моего рассудка; она склоняла надо мной лицо — лицо той, что лишает людей разума и околдовывает сердца. Она была моя, только моя, и никто, кроме меня, не мог ее видеть — никто из живущих! Звезды светили сквозь ее грудь, сквозь текучие волосы. Я был охвачен сожалением, нежностью и тоской. Матара спал... А я — я спал? Матара тряс меня за плечо, пламя солнца сушило траву, кусты, листья. Был день. В ветвях деревьев висели клочья белого тумана.

1. Аче — султанат на севере острова Суматра. В 1873—1904 гг. Нидерланды вели против Аче колониальную войну.

Ночь была или день? Я забылся вновь, пока мне не стало слышно частое дыхание Матары, и вот я увидел ее около дома. Увидел обоих. Они вышли. Она села на скамью у стены, и вьющиеся ветви, усыпанные цветами, взбегали высоко над ее головой и свисали, касаясь ее волос. Положив на колени шкатулку, она принялась считать жемчужины — на сколько их стало больше? Голландец стоял подле нее и смотрел; улыбался ей сверху вниз; его зубы ярко белели; волосы у него на губе были как два изогнутых огненных языка. Он был большой, тучный, веселый, и он не знал страха. Матара всыпал в ружье из глубины ладони свежий порох, поскреб ногтем кремень и дал оружие мне. Да, мне! Я взял... О судьба!

Он зашептал мне в ухо, лежа плашмя на животе: "Я подползу близко, и — амок[1] ... Пусть она умрет от моей руки. Ты целься в этого жирного кабана. Дай ему увидеть удар, которым я сотру свой позор с лица земли, а потом... ты мой друг — убей верным выстрелом!" Я ничего не ответил; в груди у меня не было воздуха — и нигде его не было. Матара внезапно исчез. Высокая трава кивнула. Потом раздался шорох в кустах. Она подняла голову.

Я увидел ее! Ее, утешительницу моих бессонных ночей, моих изнурительных дней; попутчицу долгих скитаний! Я увидел ее! Она смотрела прямо туда, где я прятался. Она была такая, какой являлась мне все эти годы, — верная моя подруга. Она смотрела печальными глазами, но губы ее улыбались; смотрела на меня... Губы улыбались! Не я ли ей обещал, что она не умрет?

Она была далеко, но мне казалось, что она рядом. Ее прикосновение ласкало меня, ее голос шелестел, шептал надо мной, вокруг меня: "Умру я — кто будет твоим попутчиком, кто утешит тебя?" Я увидел, как цветущие заросли по левую руку от нее шевельнулись... Матара готов был ударить... Я громко крикнул: "Вернись!"

Она вскочила на ноги; шкатулка упала; жемчуг рассыпался по земле. Высокий голландец подле нее грозно повел глазами в неподвижном солнечном свете. Приклад пошел к моему плечу сам собой. Я стоял на коленях, и я был крепок — крепче деревьев, скал, гор. Но там, впереди, куда целился длинный застывший ствол, все качалось: поля, дом, земля, небо, — все ходило ходуном, как лесные тени в ветреную погоду. Матара кинулся к ней из кустов; лепестки потревоженных цветов взметнулись перед ним, как от порыва бури. Я услыхал ее крик; увидал, как она, разведя руки в стороны, встала перед белым человеком. Она была дочерью моего народа, и в ней текла благородная кровь. Да, таковы они! Я услыхал ее возглас муки и страха — и вдруг все застыло! Поля, дом, земля, небо стояли на месте, пока Матара летел к ней, замахиваясь для удара. Я нажал спуск, увидел искру, но звука не услышал; дым завесил мне лицо, а потом я увидел, как Матара повалился головой вперед и рухнул к ее ногам, раскинув руки. Ха! Верным выстрелом! Солнце заливало мне спину холодом, как проточная вода. Верным выстрелом! Я отбросил ружье. Он и она стояли над мертвым как околдованные. Я крикнул ей: "Живи и помни!" Потом — не знаю, как долго, — я вслепую бродил в холодной тьме.

Позади послышались громкие возгласы, топот многих бегущих ног; чужестранцы окружили меня, выкрикивали мне в лицо невнятные сло-

1. Амок — внезапно возникающее агрессивное состояние (*малайск.*).

ва, толкали меня, тащили, подхватывали под руки... Я стоял перед большим голландцем; он пялился на меня так, словно лишился рассудка. Он хотел знать то и это, говорил торопясь, сулил благодарность, предлагал мне еду, кров, золото — и спрашивал, спрашивал. Я рассмеялся ему в лицо. Я сказал: "Я из людей коринчи, прибыл сюда из Перака и о мертвеце этом знать ничего не знаю. Шел себе по тропе, вдруг услыхал выстрел, и твои неотесанные люди накинулись на меня и приволокли меня сюда". Он вскидывал руки, дивился, не мог поверить, не мог ничего понять, кричал на своем языке! А она — она стояла, обвив руками его шею и глядя на меня через плечо широко раскрытыми глазами. Я улыбался и смотрел на нее; улыбался и ждал, когда же прозвучит ее голос. Белый человек внезапно спросил ее: "Ты его знаешь?" Я напряг слух — вся жизнь моя перетекла ко мне в уши! Долго смотрела она на меня без смущения во взоре, потом сказала: "Нет! Я никогда его не видела"... Как! Никогда? Выходит — уже забыла? Быть такого не может! Уже забыла — после стольких лет, после всех скитаний, дружества, тревог, нежных речей! Уже забыла!.. Я высвободился из рук, что держали меня, и ушел, не сказав ни слова... Они дали мне уйти.

Я был утомлен. Спал я или нет? Не знаю. Помню, как шел по широкой тропе под ясными звездами; чужая земля была вокруг так обширна, рисовые поля так необъятны, что голова у меня плыла от страха перед пространством. Потом я увидел лес. Веселый свет звезд мучил меня. Я свернул с тропы и углубился в чащу, где было очень темно и очень печально.

V

Караин говорил все тише и тише, словно удаляясь от нас, и последние его слова прозвучали слабо и отчетливо, как будто он прокричал их в безветренный день с большого расстояния. Он не шевелился. Он уставил взгляд в одну точку мимо застывшей головы Холлиса, сидевшего лицом к нему в такой же, как он, неподвижности. Лицо Джексона было теперь повернуто к нему в профиль; бородач опирался локтем на стол, и его ладонь, приставленная ко лбу, затеняла глаза. Я смотрел и смотрел, изумленный, растроганный; смотрел на того, кто оставался верен видению, кого предала его греза, кто был отвергнут иллюзией и кто пришел к нам, неверующим, в поисках защиты — защиты от мысли. Стояла глубокая тишина; но она, казалось, была населена безгласными призраками, всем тем скорбным, сумеречным, немым, в чьем незримом присутствии твердая, мерная поступь двух судовых хронометров, секунду за секундой отщелкивающих время по Гринвичу, сулила некое покровительство и успокоение. Караин взирал в никуда, как изваяние, и, глядя на его окаменевшую фигуру, я размышлял о его странствиях, об этой смутной одиссее отмщения, обо всех, кто скитается среди иллюзий; об иллюзиях, столь же беспокойных и переменчивых, как люди; об иллюзиях верных и вероломных; об иллюзиях, доставляющих радость, печаль, боль, умиротворение; о непобедимых иллюзиях, благодаря которым жизнь и смерть могут казаться безмятежными, вдохновляющими, мучительными или подлыми.

Послышался тихий голос; он шел словно снаружи, проникая в освещенную лампой каюту из некоего сновидения. Караин говорил:

— Я жил в лесу. Она не являлась больше. Ни разу! Ни единожды! Я жил сам по себе. Она забыла. Это было хорошо для меня. Я не хотел ее; я никого не хотел. Я нашел заброшенный дом на расчищенном месте. Никто меня не тревожил. Иногда вдалеке слышны были голоса людей, идущих по тропе. Я отсыпался; отлеживался; там был дикий рис, проточная вода в ручье — и покой! Каждый вечер я сидел один у маленького костра перед хижиной. Много ночей прошло над моей головой.

Потом однажды вечером, сидя у костра после ужина и уставившись в землю, я начал вспоминать мои странствия. Вдруг я поднял голову. Я не слышал ни звука, ни шороха, ни шагов — но голову поднял. Через маленькую поляну ко мне шел человек. Я выжидал. Он приблизился и, не поздоровавшись, сел на корточки у моего костра. Потом обратил ко мне лицо. Это был Матара. Он смотрел на меня неистовым взглядом больших запавших глаз. Вечер был холодный; вдруг костер перестал греть; а он все смотрел на меня. Я поднялся и ушел оттуда, оставив его у костра, который не давал тепла.

Я шел всю ночь и весь другой день, а вечером развел большое пламя и сел рядом — ждать его. Но он не вышел на свет. Я слышал его в кустах то здесь, то там — шепот, шепот. В конце концов я разобрал слова — я слышал их раньше: "Ты мой друг — убей верным выстрелом".

Я терпел это, пока мог, потом бросился прочь, как бросился нынешней ночью из моего укрепления, чтобы добраться до вас вплавь. Я бежал — бежал со слезами, как ребенок, оставшийся один вдалеке от домов. Он бежал рядом беззвучными шагами, но с шепотом, с шепотом — невидимый, слышный. Мне нужны были люди, чем больше, тем лучше, — люди, которые не умерли! Так мы опять стали скитаться вдвоем. Я искал опасности, насилия, смерти. Я сражался в Аче, и храбрые жители этой земли дивились доблести чужестранца. Но нас было двое; он отводил от меня удары... Зачем? Я не жизни хотел, а покоя. Никто не видел его, никто про него не знал — я не смел никому сказать. Иногда он покидал меня, но ненадолго; потом возвращался, чтобы шептать или смотреть. Мое сердце было изорвано страхом, но умереть не могло. Потом мне повстречался старик.

Вы его видели. Люди называли его моим чародеем, слугой, меченосцем; но он был мне отцом, матерью, защитой, убежищем и успокоением. Мы встретились, когда он возвращался из Мекки; я услыхал его молитву на закате солнца. Он ходил к святым местам с сыном, женой сына и их маленьким ребенком; но на обратном пути по воле Всевышнего они все умерли — сильный мужчина, молодая мать и ребенок; старик вернулся на родную землю один. Он был полон паломнического покоя и благоговения, он был очень мудр и очень одинок. Я рассказал ему все. Мы стали жить вместе. Он произносил надо мной слова утешения, мудрости, молитвы. Он оберегал меня от тени мертвого человека. Я упрашивал его дать мне амулет, который сделает меня неуязвимым. Он долго отказывался; но наконец со вздохом, с улыбкой дал мне его. Дух, над которым старик имел власть, был сильней, чем непокой моего мертвого друга, и он перестал тревожить меня; но я стал неугомонен, стал искателем смуты и опасности. Старик всегда был рядом со мной. Мы странствовали вместе. Нас привечали могущественные; его мудрость и мою отвагу помнят там, где мощь ваша, о белые люди, уже позабыта! Мы служили султану Сулы. Мы сражались с испанцами. Были победы, надеж-

ды, поражения, скорбь, кровь, женские слезы... Зачем?.. Мы бежали оттуда. Мы собрали вокруг себя воинственное племя скитальцев и пришли сюда на новую битву. Остальное вы знаете. Я — правитель покоренной земли, любящий войну и опасность, воин и заговорщик. Но старика больше нет, и вот опять я раб мертвеца. Нет его подле меня, чтобы отогнать укоризненную тень, чтобы заставить безжизненный голос умолкнуть! Сила его амулета умерла вместе с ним. И я теперь знаю страх; слышу шепот: "Убей! Убей! Убей!.." Разве мало я убивал?..

В первый раз за ту ночь его лицо исказила судорожная гримаса бешенства. Взгляд его заметался по каюте, как мечутся перед грозой испуганные птицы. Он вскочил на ноги с криком:

— Клянусь духами-кровопийцами, клянусь духами, что воют в ночи, клянусь всеми духами гнева, несчастья и смерти: настанет час, когда мой клинок вопьется в каждое встречное сердце, когда...

Он выглядел таким грозным, таким опасным, что мы как один подскакали с мест и Холлис тыльной стороной ладони смахнул со стола крис. Кажется, мы даже вскрикнули хором. Но вспышка миновала, и миг спустя он уже снова сидел в своем кресле; мы, трое белых, стояли над ним с довольно-таки нелепым видом. Нам стало немного совестно. Джексон поднял с пола крис и, вопросительно взглянув на меня, подал ему. Он взял оружие с легким церемонным наклоном головы и, демонстративно придав ему мирное положение, упокоил его в складках саронга. Потом посмотрел на нас со строгой улыбкой. Мы были смущены и пристыжены. Холлис теперь сидел на столе боком к нему, подперев рукой подбородок, и разглядывал его в задумчивой тишине. Я сказал:

— Ты не должен бросать своих людей. Как они без тебя? И есть, есть забвение в жизни. Проходит время, и даже мертвые умолкают.

— Я не женщина, чтобы забыть долгие годы, не успев моргнуть глазом! — воскликнул он с горьким негодованием.

Он поразил меня. Было чему удивляться. Его жизнь — этот нескончаемый жестокий мираж, мираж любви и успокоения — была для него такой же реальной, такой же неоспоримой, какой собственная жизнь представляется любому святому, философу или дураку из нашего племени. Холлис пробормотал:

— Нужны ему твои прописи.

Караин обратился ко мне:

— Ты знаешь нас. Ты жил среди нас. Зачем — нам неведомо; но тебе внятны наши думы, наши печали. Ты жил на моей родине и знаешь, чего мы желаем, чего страшимся. С тобой хочу я отправиться. В твою страну, к твоим людям. К твоим людям, живущим в неверии; для кого день — это день, а ночь — это ночь, ничего больше, потому что вы разумеете все видимое и презираете остальное! В твой край, лишенный веры, где мертвые не говорят, где каждому даны мудрость, одиночество — и покой!

— Любопытная, однако, характеристика, — заметил, бегло улыбнувшись, Холлис.

Караин поник головой.

— Я умею трудиться, сражаться и хранить верность, — прошептал он усталым голосом, — но на берег, где ждет меня он, я не могу возвратиться. Нет! Возьмите меня с собой... или уделите мне часть вашей мощи — вашего неверия... дайте мне амулет!..

Он выглядел совершенно обессиленным.

— Да, забрать его, положим, — проговорил Холлис очень тихо, словно раздумывая вслух. — А другого выхода и не видно. Призраки в нашем обществе есть, как же без них, они не прочь учтиво покалякать с леди и джентльменами, но с омерзением отшатнутся от нагого человека вроде нашего высокородного друга... Нагого... я бы сказал — освежеванного. Да, жаль его. Невозможно, разумеется. А кончится все тем, — продолжал он, глядя на нас, — что в один прекрасный день он взбесится, впадет в амок посреди своих верных подданных и отправит изрядное их число к праотцам, пока кто-нибудь из них не отважится хряснуть его изменнически по башке.

Я кивнул. Подобный конец представлялся мне более чем вероятным. Очевидно было, что мучительная мысль довела его до предела человеческого терпения, что еще немного — и он опрокинется в тот особый род безумия, какому подвержены малайцы. Передышка, которую подарил ему старик, сделала возврат терзаний невыносимым. Это было ясно как день.

Вдруг он поднял голову; до этого нам на миг показалось, что он задремал.

— Дайте мне защиту — или силу вашу! — воскликнул он. — Амулет... оружие!

И опять уронил подбородок на грудь. Мы посмотрели на него, потом друг на друга с сомнением и трепетом, словно неожиданно набрели на место, где случилось некое таинственное бедствие. Он отдал себя в наши руки, доверил нам свои проступки и терзания, свою жизнь и покой, а мы не знали, как с этим быть, как решить задачу, что задала нам "тьма внешняя". Мы, трое белых, смотрели на малайца и не могли вымолвить ни единого дельного слова — если вообще существовало слово, способное дать решение задачи. Чем дольше мы думали, тем сильней унывали. Мы чувствовали себя так, словно нас позвали к самым вратам Преисподней свершить суд, определить судьбу странника, вдруг явившегося из мира солнечного света, мира иллюзий.

— Это же надо, за какое могучее племя он нас считает, — потерянно прошептал Холлис.

И вновь тишина, слабый переплеск воды, упорное тиканье хронометров. Джексон сидел, скрестив на груди голые руки и прислонясь к переборке каюты. Он пригибал голову, достававшую до самого бимса, и светлая его борода величественно осеняла грудь; он выглядел огромным, бесполезным и размягченным. В атмосфере каюты ощутимо добавилось мрака; воздух в ней медленно, но верно заряжался жестоким холодком беспомощности, безжалостным раздражением, с каким эгоизм отвергает посягательство непостижимой боли. Как быть — мы не знали; мы начали проникаться горьким отвращением к суровой необходимости отделаться от этого человека.

Холлис, сидевший в задумчивости, вдруг издал короткий смешок и пробормотал: "Силу... Защиту... Амулет". Он соскользнул со стола и, не взглянув на нас, вышел из каюты. Это выглядело подлым дезертирством. Мы с Джексоном обменялись негодующими взорами. Слышно было, как Холлис копошится в своей крохотной каюте. Что, решил просто-напросто улечься спать? Караин вздохнул. Положение становилось невыносимым!

Но Холлис вернулся, держа обеими руками небольшой обтянутый кожей сундучок. Осторожно поставив его на стол, он посмотрел на нас и странно замер на полувдохе, как будто по неизвестной нам причине лишился на миг дара речи или испытал по поводу своих действий внезапное сомнение этического свойства. Но секунду спустя дерзкая и непогрешимая мудрость молодости дала ему необходимую отвагу. Отпирая сундучок маленьким ключиком, он скомандовал:

— А ну-ка примите самый наиторжественный вид!

Однако вид у нас, судя по всему, был удивленный и глупый, не более того; он зыркнул на нас через плечо и сердито сказал:

— По-вашему, я шутки шучу? Я правда намерен ему помочь. Сделайте серьезные лица, черт вас дери!.. Неужели трудно маленько приврать... ради друга?

Караин, казалось, не обращал на нас никакого внимания, но, когда Холлис откинул крышку, его взгляд метнулся к сундучку — как и наши взгляды. Простеганный рдяный атлас, которым он был обит изнутри, загорелся в угрюмом сумраке каюты пиршественным огнем; воистину то была пища для очей — восхитительный цвет!

VI

Холлис, улыбаясь, заглянул в сундучок. Некоторое время назад он совершил бросок на родину через Суэцкий канал. Он был в отлучке полгода и едва успел вернуться к последнему плаванию. Сундучка мы раньше не видели. Его руки медлили над ним; в его голосе зазвучала ирония, даже сарказм, но лицо Холлиса вдруг стало таким серьезным, словно он произносил над содержимым сундучка всесильное заклинание.

— Каждого из нас, — произнес он с паузами, в которых было едва ли не больше едкости, чем в самих словах, — каждого из нас, не правда ли, преследовал тот или иной женский образ... А... что до друзей... от которых по пути приходилось избавляться... спроси́те лучше себя сами...

Он умолк. Караин смотрел во все глаза. Наверху, под самой палубой, что-то глухо громыхнуло. Джексон возмутился:

— Не будь таким мерзким циником.

— Ну, ты-то у нас невинная душа, — печально отозвался Холлис. — Ничего, поймешь еще, что к чему... Так или иначе этот малаец — наш друг...

Он несколько раз задумчиво повторил: "Друг... Малаец... Друг... Малаец", словно сравнивая эти слова на вес; затем заговорил живее:

— Таких поискать — джентльмен в своем роде. Нам никак нельзя поворачиваться спиной к его надежде, к его, можно сказать, вере в наше белое племя. Эти малайцы — люди впечатлительные; нервы и нервы, сами знаете; а потому...

Он резко повернулся ко мне.

— Ты знаешь его лучше, чем я или Джексон, — сказал он деловито. — Как по-твоему, он фанатик? Твердокаменный мусульманин?

Изумленный до глубины души, я пробормотал, что так не считаю.

— А то ведь это человеческий лик — чеканный образ, — загадочно проговорил Холлис, вновь обращая взор к сундучку. Наконец его пальцы погрузились туда. Глаза Караина сияли, рот был приоткрыт. Мы заглянули в атласное нутро.

Там были две катушки ниток, набор игл, моток темно-синей шелковой ленты; еще фотография кабинетного формата, на которую Холлис бросил беглый взгляд, прежде чем положить ее на стол лицом вниз. На карточке мелькнули девичьи черты. Среди прочих разнообразных мелочей я заметил сухой букетик цветов, узкую белую перчатку с многочисленными пуговками, тоненькую стопку аккуратно перевязанных писем. Вот они, амулеты белых людей! Их талисманы, их обереги! Волшебные вещицы, что прямят их и горбят, что заставляют юношу вздохнуть, старика улыбнуться. Источники могучих чар, навевающих радостные грезы, скорбные раздумья; способных размягчить отверделое сердце, а нежное — закалить до стальной неподатливости. Дары небес — земные памятки...

Холлис шарил в сундучке.

А мне в эти секунды ожидания почудилось, будто каюта шхуны начала наполняться неким незримым живым непокоем еле слышных дыханий. Все призраки, выдворяемые с лишенного веры Запада людьми, делающими вид, что им даны мудрость, одиночество и покой, — все неприкаянные призраки нашего скептического мира вдруг окружили фигуру склонившегося над сундучком Холлиса; изгнанные милые тени былых любимых; прекрасные и хрупкие призраки тех идеалов, что мы помним, забываем, лелеем, клянем; отвергнутые, исполненные укора призраки тех друзей, кем мы восхищались, кому доверяли, на кого валили вину, кого предавали, кому жизнью пришлось оплатить наш дальнейший путь, — все они слетелись, казалось, из бесприютных областей земли в нашу полутемную каюту, как будто она была для них убежищем и единственным посреди всеобщего неверия местом отмщающей веры... Мгновение ока — и они исчезли. Холлис стоял перед нами один, и что-то маленькое поблескивало меж его пальцев. Монета?

— Вот, нашел-таки, — сказал он.

Он поднял руку повыше. В ней был зажат позолоченный шестипенсовик, выпущенный к юбилею восшествия на престол королевы Виктории. У края в монете была просверлена дырочка. Холлис бросил взгляд на Караина.

— Амулет для нашего друга, — сказал он нам. — Деньги, как вы понимаете, сами по себе великая сила, и к тому же его воображение уже работало так, как нам нужно. Рыцарственный бродяга; лишь бы только отчеканенное лицо не оскорбило его правоверия...

Мы молчали, не зная, возмущаться нам, забавляться или испытывать облегчение. Холлис приблизился к Караину, вскочившему на ноги в тревожном изумлении, и, показывая ему монету, заговорил по-малайски.

— Это образ Великой Королевы, самая могучая вещь из всех, какими обладают белые люди, — торжественно изрек он.

Караин смотрел на венценосную голову во все глаза, прикрыв в знак почтения тканью рукоятку своего криса.

— Непобедимая, Благословенная, — пробормотал он.

— Мощью своей она превзошла Сулеймана Премудрого, повелевавшего джиннами, — веско заявил Холлис. — Дарю это тебе.

Держа шестипенсовик на раскрытой ладони и сосредоточенно глядя на монету, он опять обратился к нам по-английски:

— Она ведь тоже повелевает неким духом — духом нации; дотошным, хозяйским, бесцеремонным, несокрушимым духом... который творит

массу добра — невзначай... массу добра... изредка, — и не потерпит малейшего писка даже от самого важного туземного призрака из-за такой ерунды, как выстрел нашего друга. Ну что вы стойте рты разинув! Помогите мне, заставьте его поверить — в этом вся штука.

— Его люди возмутятся, — тихо возразил я.

Холлис пристально посмотрел на Караина, который выглядел воплощением неподвижного восторга. Он стоял очень прямо, откинув голову назад; его пылающие глаза были экстатически выкачены, раздувшиеся ноздри трепетали.

— Ладно, так и быть, — сказал наконец Холлис, — он хороший парень. Пожертвую для него тем, что мне и вправду дорого.

Он вынул из сундучка ленту, посмотрел на нее с презрительной улыбкой, после чего вырезал ножницами кусок кожи из ладони белой перчатки.

— Сделаю ему медальон, какие носят итальянские крестьяне.

Он зашил монету в тонкую кожу, продернул ленту и связал ее концы. Он орудовал иглой быстро, яростно. Караин не отрывал взгляда от его пальцев.

— Ну вот, — сказал Холлис и шагнул к Караину.

Они посмотрели друг на друга с близкого расстояния. Взгляд Караина был растерянным; глаза Холлиса, казалось, еще потемнели и глядели властно, повелительно. Эти два человека являли между собой разительный контраст; один, бронзовокожий, был неподвижен, другой, снеговой белизны, поднял впереди себя руки, и сильные мышцы перекатились под его отсвечивающей, как атлас, кожей. Джексон подвинулся к нему поближе с видом человека, готового прикрыть товарища в трудном бою. Показывая на Холлиса, я сказал внушительным тоном:

— Он молод, но мудр. Верь ему!

Караин наклонил голову. Холлис легким движением накинул ему на шею темно-синюю ленту и отступил чуть назад.

— Забудь и обрети мир! — воскликнул я.

Караин, казалось, пробудился от сна. "Ха!" — произнес он и повел плечами, словно сбрасывая ношу. Он окинул нас уверенным взглядом. Кто-то из бывших на палубе отодвинул крышку люка, и в каюту хлынул свет. Утро уже настало.

— Пора наверх, — сказал Джексон.

Холлис надел куртку, и мы поднялись на палубу; Караин шел первым.

Солнце еще не показалось из-за гор, и их длинные тени тянулись в жемчужном свете далеко по водам залива. Воздух был прохладен и ясен — без единого пятнышка. Я показал на изогнутую полосу желтого берегового песка.

— Его там нет, — заверил я Караина. — Он больше тебя не ждет. Ушел навсегда.

Узкий поток горячих ярких лучей ударил в залив из впадины между верхами двух гор, и вода вокруг нас словно по волшебству ослепительно вспыхнула.

— Нет, он не ждет меня там, — согласился Караин после долгого взгляда на берег. — Я не слышу его, — продолжал он медленно. — Нет!

Он повернулся к нам.

— Он ушел опять — навсегда! — воскликнул Караин.

Мы многократно, решительно и без малейших угрызений совести

подтвердили его слова. Очень важна была сила внушения, его уверенность в полном и окончательном избавлении от напасти. Мы постарались на славу и, надеюсь, выразили нашу веру в могущество амулета с убедительностью, исключавшей даже тень сомнения. Голоса наши весело звучали вокруг него в неподвижном воздухе, а над его головой ясное, безупречное в своей чистоте небо обнимало нежно-голубым сводом весь залив от края до края, словно обволакивая воду, землю и человека лаской света.

Якорь был поднят, но паруса дрябло висели из-за безветрия, и со стороны берега к нам двигалось несколько больших лодок, чтобы вывести нас на буксире. Гребцы в первой из них, сойдясь с нами борт о борт, подняли головы и увидели среди нас своего правителя. Послышался легкий ропот удивления, затем общий приветственный возглас.

Он покинул нашу шхуну, шагнув, казалось, прямо в ослепительное великолепие своей сцены, вновь облекшись в иллюзию неизбежного успеха. Несколько мгновений он стоял, гордо расправив спину, поставив ногу на сходной трап, положив ладонь на рукоятку криса, в воинственной позе; избавленный от страха перед внешней тьмой, он держал голову высоко, он спокойным взглядом обвел завоеванный им берег. Дальние лодки подхватили приветственный клич; мощное многоголосие прокатилось по водам залива; горы откликнулись эхом, посылая вспять слова, сулящие долгую жизнь и славные победы.

Он спустился в лодку, и, как только она отвалила от борта, мы прокричали ему троекратное "ура". После дикого радостного вопля его верных подданных наши голоса, должно быть, прозвучали худосочно и чинно, хоть мы и старались вовсю. Встав в лодке, он поднял вверх обе руки, потом показал на необоримый амулет. Мы вновь гаркнули: "Ура! Ура! Ура!" Малайцы озадаченно, завороженно смотрели из лодок. Хотел бы я знать, что́ они думали; что думал он... что думает читатель.

Нас медленно вели к горловине залива. Мы увидели, как он причаливает, как смотрит на нас с берега. Кто-то приблизился к нему, смиренно, но открыто, не так, как приближался разгневанный призрак. Видны были другие бегущие фигуры. Возможно, его ночное отсутствие было замечено. Так или иначе, там началось великое волнение. Подбегали всё новые люди; а он шагал по песку, сопровождаемый разбухающей свитой, почти не отставая от идущей вдоль берега шхуны. В бинокли мы видели синюю ленту у него на шее и белый кружок на смуглой груди. Залив пробуждался. Утренние дымы, прозрачно завиваясь, поднимались выше пальмовых крон; по зеленому склону валко пронеслось стадо буйволов; худощавые фигуры мальчишек, фехтующих палками, скакали в длинной траве и казались на фоне зелени черными; цветная цепочка женщин с сосудами для воды на головах двигалась, покачиваясь, сквозь реденькую рощицу фруктовых деревьев. Караин остановился, окруженный людьми, и помахал нам рукой; затем, отделившись от живописной группы, подошел один к самой кромке воды и помахал нам еще раз. Миновав два скалистых мыса, служивших воротами залива, мы вышли в открытое море, и в этот миг Караин покинул наши жизни навеки.

Но память остается. Несколько лет спустя на Стрэнде я повстречался с Джексоном. Вид у него был, как всегда, внушительный. Его голова изрядно возвышалась над толпой, являя всем золото бороды, красноту

лица, голубизну глаз; на нем была широкополая серая шляпа и ни жилетки, ни манишки — воистину вдохновляющий персонаж. Выяснилось, что он только-только прибыл на родину — сошел на берег в тот самый день! Наша встреча создала завихрение в плотном потоке прохожих. Спешащие люди натыкались на нас, обходили нас, оборачивались, чтобы еще разок взглянуть на гиганта. Семь лет жизни мы попытались спрессовать в семь коротких восклицаний, после чего внезапно утихомирились и степенно пошли бок о бок, делясь друг с другом новостями давнего и недавнего прошлого. Джексон все время озирался по сторонам, словно искал знакомые приметы, затем остановился у витрины магазина Бланда. Огнестрельное оружие всегда было его страстью; он застыл как вкопанный, разглядывая грозное великолепие образцов, расположенных в ряд за стеклами, чьи черные рамы наводили на траурные мысли. Я стоял рядом. Вдруг он спросил:

— Помнишь Караина?

Я кивнул.

— Вот гляжу сейчас на это хозяйство и думаю про него, — сказал он, приблизив лицо к стеклу... И я увидел другого мужчину, его двойника, могучего и бородатого, вперившего в него взор из царства гладких вороненых стволов, способных излечить немало иллюзий.

— Да, вот гляжу и думаю, — повторил он медленно. — Нынче утром открыл газету: они опять там дерутся. Как пить дать, он тоже полез. Всыплет этим кабальеро по первое число! И пускай, удачи ему, бедолаге. Молодец был, любо-дорого посмотреть.

Мы двинулись дальше.

— Я все гадаю, помог амулет или не помог, — я про денежку Холлиса, помнишь? Допустим, помог... Вот уж тогда действительно шесть пенсов были потрачены с пользой. Натерпелся бедняга, однако! Надеюсь, избавился наконец от дружка. Хорошо бы... А знаешь, я вот думаю иногда...

Я остановился и поднял на него глаза.

— ...Я думаю... было оно, не было?.. Казалось ему или на самом деле?.. Ты-то как считаешь?

— Друг-дружище! — воскликнул я. — Слишком долго ты мотался по свету. Экие вопросы! Да ты только погляди вокруг.

Луч водянистого солнца проблеснул на западе и погас меж двумя рядами домов; ломаный хаос крыш и дымовых труб, золотистые буквы на фасадах зданий, тусклая гладь окон — все это разом нахмурилось, сделалось безучастным во внезапно сгустившихся сумерках. Улица, глубокая, как колодец, и узкая, как коридор, на всем ее протяжении, была наполнена некой мглистой, всепроникающей субстанцией. В ушах у нас стоял набегающий шорох и перестук быстрых шагов, под которым чувствовался и другой шум — обширный, еле слышный, пульсирующий, словно от судорожных дыханий, бьющихся сердец, осекающихся голосов. Бесчисленные глаза смотрели вперед, ноги семенили, пустые лица плыли потоком, руки раскачивались в такт ходьбе. Поверх всего этого узкая рваная полоса дымного неба змеилась промеж высоких крыш, протяженная и неподвижная, похожая на засаленный вымпел, реющий над сборищем черни.

— Да-а-а, — задумчиво протянул Джексон.

Большие колеса экипажей, медленно поворачиваясь, перемещались вдоль тротуаров; бледный юноша, одолеваемый усталостью, ковылял,

опираясь на палку, и длинные полы пальто легонько хлопали его по ногам у щиколоток; лошади, встряхивая головами, осторожно переступали по грязной мостовой; прошли две девушки, блестя глазами и оживленно беседуя; важный старик с багровым лицом прошествовал, поглаживая седой ус; желтые доски с синими буквами, колыхаясь, двигались мимо нас медленной цепочкой, похожие на диковинные обломки кораблекрушения, плывущие по реке шляп.

— Да-а-а, — повторил Джексон.

Его ясные мальчишеские голубые глаза смотрели вокруг презрительным, твердым, веселым, изумленным взглядом. Приблизилась, покачиваясь, неуклюжая вереница красных, желтых и зеленых омнибусов, чудовищных и кричаще ярких; двое мальчиков-оборванцев перебежали дорогу; грязноватые типы с красными платками, повязанными на голые шеи, прошли вразвалку компанией, грубо галдя; одетый в лохмотья старик с лицом, полным отчаяния, выкрикивал жутким голосом, стоя в грязи, название газеты; а вдалеке на перекрестке, среди кивающих лошадиных голов, тусклого поблескивания сбруй, мешанины ярких рекламных щитов и верхов экипажей виднелся полицейский в шлеме и темной форменной одежде, простирающий твердую руку.

— Да уж, вижу, — медленно произнес Джексон. — Всё тут как тут; и пыхтит, и бежит, и крутится; сильное, живое; не побережешься — раздавит напрочь; но будь я проклят, если это такое же для меня настоящее, как... другие дела... ну, скажем, история Караина.

Все-таки он явно слишком долго мотался по свету.

Джозеф Конрад

Зверюга

Рассказ

Перевод с английского И. Бернштейн

ДОЖДЬ лил как из ведра. Я заскочил с улицы к "Трем воронам" и в баре при входе, соблюдая, впрочем, совершенную корректность, обменялся улыбкой и взглядом с мисс Бланк. Страшно подумать, ведь ей теперь, если она вообще еще жива, должно быть за шестьдесят! Надо же, как летит время...

Заметив, что я вопросительно посмотрел на перегородку из стекла и крашеной фанеры, мисс Бланк была столь любезна, что сказала:

— Проходите, проходите! В салоне только мистер Джермин и мистер Стонор, и с ними еще один джентльмен, не знаю, кто такой.

Я направился к двери в салон. Там за тонкой перегородкой о чем-то рассказывали, и говорящий так повысил голос, что я отчетливо расслышал его последние кровожадные слова:

— Этот парень Уилмот вышиб ей мозги и правильно сделал!

Такие бесчеловечные речи, а мисс Бланк, не найдя в них ни грубости, ни неприличия, лишь преспокойно зевнула, чуть прикрыв рот ладонью и не отводя глаз от окна в обильных струях дождя.

Я отворил дверь салона. Прежний голос между тем продолжал свой жестокий рассказ:

— Я был рад, когда услышал, что она наконец получила по заслугам. Но жаль беднягу Уилмота. Мы с ним когда-то приятельствовали. Понятно, для него это был конец. Случай совершенно ясный, не оспоришь, тут и сомнений быть не может.

Говорил как раз тот самый джентльмен, про которого мисс Бланк не знала, кто такой. Он стоял у камина, расставив длинные ноги. Рядом Джермин, пригнувшись к огню, сушил перед каминной решеткой развернутый носовой платок. При моем появлении он со страдальческим видом оглянулся, и я, пробираясь за деревянный столик, ему кивнул. По другую сторону от камина, внушительный и спокойный, восседал мистер Стонор, с трудом поместившийся в просторном деревянном виндзорском кресле[1]. Все в этом человеке было крупное, массивное, не считая коротеньких седых бачек. Рядом с ним на стуле покоилось его пальто, на которое пошли несчетные ярды тончайшего синего сукна. Судя по всему, мистер Стонор только что провел к причалу океанский лайнер, так как тут же, на другом стуле, был разложен черный непромокаемый плащ, широкий, как гробовой покров, и сшитый из трех слоев проклеенного шелка да еще и дважды простеганный. Обычных размеров мужская сумка на полу у его ног выглядела как детская игрушка.

© И. Бернштейн. Перевод, 2000

1. Деревянное кресло без обивки, со спинкой из вертикальных планок. (*Здесь и далее – прим. перев.*)

Ему я кивать не стал. Такому великому человеку не кивают при встрече в жалком кабачке. Он был старшим лоцманом из Тринити-хауса[1] — настолько важная персона, что соглашался выходить в свой черед на лоцманском катере исключительно в летние месяцы. А сколько раз он проводил в порт и из порта на рейд королевские яхты! И вообще, какой прок кивать монументу? Мистер Стонор вполне походил на монумент. Ничего не говорил, не шевелился. А просто сидел, высоко держа свою красивую старую голову, недвижный и почти неправдоподобно большой. Великолепное зрелище. Рядом с мистером Стонором старина Джермин выглядел маленьким и тщедушным, а разговорчивый джентльмен в твидовом костюме перед камином казался совсем зеленым юнцом. На самом-то деле ему было, наверно, лет тридцать с небольшим, и он явно не принадлежал к числу тех, кто смущается выступать перед людьми. Он дружеским взглядом как бы включил меня в свою публику и продолжал рассказывать.

— Да, я был рад, — убежденно повторил он. — Вы наверно этому удивитесь, но ведь вы не прошли через то, что я от нее выстрадал. Поверьте, такое не забывается. Я, правда, дешево отделался, как видите. Но она из кожи вон лезла, чтобы скрутить меня в бараний рог. Такого молодца чуть не довела до сумасшедшего дома. Что вы на это скажете, а?

На монументальном лице мистера Стонора и веко не дрогнуло. Памятник, и все тут. Говоривший заглянул в глаза мне.

— Я, бывало, как подумаю, что она все еще гуляет по свету и губит людей, мне прямо тошно становилось.

Джермин, кряхтя, поднес носовой платок ближе к огню. Просто привычка у человека была такая, кряхтеть.

— Видел я ее как-то раз, — проговорил он с погребальным безразличием. — У нее была башня...

Незнакомец в твиде обернулся и недоуменно посмотрел на него сверху вниз.

— У нее были три надстройки, — авторитетно поправил он Джермина. Но тот не уступил.

— Одна башня, я говорю, — возразил он с унылым упорством. — Огромное такое безобразное сооружение белого цвета, видно за много миль. Торчало прямо в небо.

— Так, так, — согласился рассказчик. — Это старый Колчестер придумал, хотя сам же твердил, что хочет от нее избавиться. Больше, мол, он ее злодейств терпеть не может, хорошенького понемножку, он умывает руки и знать ее не желает, даже если другую ему уж никогда не заполучить... ну и так далее. Он бы, я думаю, и вправду с ней расстался, да только, вообразите, его хозяйка слышать об этом не хотела. Забавно, а? С женщинами не угадаешь, как они к чему отнесутся, но на миссис Колчестер поглядеть: брови черные, усы — видно, что с сильным характером дама. Всегда ходила в коричневом шелковом платье и на шее толстая золотая цепь. Жена ему на эти разговоры скажет, бывало, как отрежет, вы бы слышали: "Вздор!" или "Чушь собачья!" Знала свою выгоду. Детей у них не было, и своим домом они никогда не жили. На берегу перебивались временно в какой-нибудь дешевой гостинице или в пансионе. А ей хотелось жить в комфорте, как она смолоду привыкла. И она отлично

1. Английская маячно-лоцманская корпорация, основана в 1514 г.

понимала, что любые перемены будут для нее не к лучшему. Да и Колчестер хоть и достойнейший человек, но был уже, так сказать, не первой молодости, и возможно, она соображала, что заполучить другую, как он выражался, ему было бы нелегко. Так ли, нет ли, но ее ответ был один: "Вздор!" и "Чушь собачья!" Раз я случайно слышал, как младший мистер Эпс сам ей признался: "Уверяю вас, миссис Колчестер, меня всерьез беспокоит дурная молва, которая о ней ходит". А капитанша ему в ответ с басовитым своим смешком: "Мало ли чего болтают по глупости, — и показала ему разом все свои безобразные вставные зубы. — Из-за одного этого еще не стоит терять к ней доверия".

Тут мистер Стонор все с тем же каменным выражением лица вдруг сардонически рассмеялся. Это прозвучало очень внушительно, но в чем смех, я не понял. Смотрю на одного, на другого, вижу, незнакомец криво усмехается.

— А мистер Эпс пожимает ей обе руки, до того доволен, что она заступилась за его любимицу. Все Эпсы, вы знаете, и старый и малый, были без ума от этой коварной, вредоносной ...

— Прошу извинения, — перебил его я, поскольку рассказ свой он, похоже, адресовал мне одному. — Но, Бога ради, о ком вы говорите?

— О семье Эпс, — любезно ответил рассказчик.

Я чуть было не чертыхнулся. Но в этот миг в дверь просунула голову достойнейшая мисс Бланк и сообщила, что, если мистер Стонор хочет поспеть на одиннадцать ноль три, кэб ждет у порога.

Старший лоцман тут же воздвигся над креслом во всем своем величии и принялся с поистине сейсмическими усилиями напяливать пальто. Незнакомец и я, не раздумывая, подскочили на подмогу, и едва только мы принялись за дело, как могучий лоцман сделался покорен будто малое дитя. Мы старались, высоко задирали руки, тянули изо всех сил. Это было похоже на одевание послушного слона. "Спасибо, джентльмены", — произнес он наконец, пригнулся и второпях протиснулся в дверь.

Мы дружески переглянулись.

— Интересно, как он умудряется взойти по веревочному трапу на борт, — сказал рассказчик.

А бедняга Джермин, который был только лоцманом Северного моря, то есть не имел официального статуса, одно название что лоцман, по своему обыкновению прокряхтел:

— Он получает по восемь сотен в год!

— А вы тоже моряк? — спросил я у незнакомца, возвратившегося на свое место у огня.

— Был в прежние времена, до того как женился два года назад, — ответил этот общительный господин. — И даже ходил вначале на том самом судне, про которое мы тут толковали, когда вы вошли.

— Про какое это судно вы толковали? — не понял я. — По-моему, ни о каком судне речи не было.

— Ну как же, — возразил он. — Дорогой сэр, я только что сказал вам, как оно называлось: "Семья Эпс". Вы ведь конечно знаете компанию "Эпс и сыновья, судовладельцы"? У них была целая флотилия: "Люси Эпс" и "Харольд Эпс", а также "Анна", "Джон", "Малкольм", "Клара", "Джульетта" и так далее, одни Эпсы. У всех братьев, сестер, теток, свояков и жен — и бабок тоже, насколько мне известно, — имелось по своему судну, ходящему под их именами. Это были хорошие, прочные, надежные

корабли, построенные в старом духе и на долгие годы. Безо всяких там новомодных приспособлений, облегчающих матросский труд, но с многочисленной командой и с обильными запасами солонины и прочных канатов в трюме. Оснастились, загрузились — и в море, прокладывать себе путь в волнах, сначала туда, потом назад.

Горемыка Джермин одобрительно крякнул, но можно было подумать, что он опять кряхтит. Да, суда были что надо. По его вкусу. Новомодным приспособлениям ведь не скажешь: "А ну, пошевеливайтесь, ребятки!" — печально заметил он. Новомодное приспособление не пошлешь на топ-мачты в непогожую ночь, когда тебя несет на песчаную банку.

— Ваша правда, — согласился рассказчик, незаметно подмигнув мне. — Похоже, что и Эпсы не верили в новомодные приспособления. С командами обращались хорошо, теперь так не обращаются. И ужасно гордились своими судами. Надежные были посудины. Последнюю из них, "Семью Эпс", задумали соорудить в том же роде, что и предыдущие, только еще прочнее, еще надежнее, еще вместительнее и удобнее. Можно сказать, заказывали на века. Строительный материал композитный — и железо, и тиковая древесина, и твердые породы; а уж обшивка бортов так прямо сказка. Это гордыня подсказала им сделать такой заказ. Чтобы все только самое лучшее. Командовать новым судном должен был главный капитан их компании, и для него спроектировано было помещение, целый дом под возвышенным ютом, от кормы чуть не до грот-мачты. Так что понятно, почему миссис Колчестер не позволяла своему благоверному от нее отказаться. "Семья Эпс" служила ей домом, удобней которого у нее за всю замужнюю жизнь не было. Храбрая женщина, что и говорить.

Заложили корпус, а владельцы все не могли угомониться, хлопотали: вот тут бы немного подкрепить, а там бы чуть-чуть утяжелить; и может, вот эту штуковину заменить на другую, потолще. Судостроители усвоили правила игры, и на глазах у всех "Семья Эпс" на верфи превращалась в самое громоздкое, самое неповоротливое судно в своем классе, а никто даже не спохватился. Водоизмещение ей было предусмотрено в 2000 тонн или чуть побольше, но во всяком случае, не меньше. Однако получилось вот что. Когда работы закончились и стали ее вымерять, вышло в ней 1999 тонн с десятыми. Все в ужасе! А старый мистер Эпс, говорят, был так раздосадован, когда услышал это, что слег в постель и помер. Вообще-то он удалился от дел за двадцать пять лет до того, и шел ему уже девяносто седьмой год, так что его кончина никого особенно не удивила. Однако мистер Люциан Эпс был убежден, что его папаша доживет до ста. Итак, это была первая жертва. Следующим идет рабочий верфи, которого эта зверюга настигла и раздавила, когда сходила со стапелей. Называлось это "спуск судна на воду", но, как рассказывали, столько было при том крику и воплей и рабочие так поспешно разбегались с ее пути, что казалось, это дьявола выпускают в реку. Зверюга разорвала канаты, будто шпагат из галантерейной лавки, подломила стапель-блоки и, точно фурия, набросилась на тащившие ее буксиры. Народ опомниться не успел, как она один из них отправила на дно, а второму продырявила борт, его потом три месяца ремонтировали. Якорная цепь с одного борта лопнула — и вдруг неизвестно почему махина эта мирно, как овечка, встала на втором якоре.

Так и пошло. Никогда нельзя было предугадать, что она устроит в следующую минуту. Бывают корабли, которыми трудно управлять, но, как правило, при этом они ведут себя логично. А с этой, что ни делай, никогда не знаешь, чем кончится. Зловредная была зверюга. Или, может быть, просто сумасшедшая.

Это предположение было высказано совершенно всерьез, и я не смог удержаться от улыбки. Рассказчик отпустил закушенную губу и обратился ко мне с укоризной:

— А что? Разве не могло быть в ее конструкции чего-то, соответствующего... ну, как бы сказать? В сущности, что такое сумасшествие? Всего лишь небольшое отклонение от нормы в устройстве вашего мозга. Почему же не быть сумасшедшему судну? В корабельном смысле, конечно. Когда ни при каких обстоятельствах нельзя быть уверенным, что оно отзовется на твои действия так, как любое нормальное судно на его месте. Бывают такие суда, которые плохо слушаются руля; и такие, которые не держатся на курсе; за иными нужен глаз да глаз во время шторма; или, скажем, есть такие, что впадают в качку при самом небольшом волнении. Но это его особенность, и ты всегда знаешь, как оно будет себя вести в тех или других условиях. Вроде как черта характера у человека, с которой надо считаться, когда имеешь с ним дело. Но с "Семьей Эпс" ничего не получалось. Понять ее было невозможно. И если это не сумасшествие, значит, она была самой подлой, коварной, бешеной зверюгой изо всех кораблей, когда-либо ходивших по водам. Я был свидетелем того, как она прекрасно шла при сильном шторме двое суток кряду, а на третьи под вечер дважды бросалась к ветру и становилась лагом к волне. Первый раз перекинула рулевого через штурвальное колесо. Но так как он худо-бедно все же остался жив, она часа через два сделала еще одну попытку — приняла горы воды с носа и с кормы, разодрала все поставленные паруса, нагнала такого страху, что струхнула даже миссис Колчестер в своем уютном кормовом жилище, которым так гордилась. А после, когда мы устроили перекличку, одного человека недосчитались. Снесло за борт беднягу, и никто не видел, не слышал, можно только удивляться, что обошлось всего одним.

И так всякий раз. Обязательно. Я слышал, как старый боцман, бывалый моряк, признавался капитану Колчестеру, что стал бояться рот раскрыть, чтобы дать команду, до того она его довела. И в порту было то же, что и в открытом море. На нее ни в чем нельзя было положиться. Чуть что, она вдруг принималась рвать канаты, цепи, стальные тросы, будто морковку хрупала. Она была тяжелая, неуклюжая, неподатливая, что правда, то правда — но этим все же нельзя было объяснить всю ее злую силу. Честно сказать, когда я думаю о ней, мне всегда приходят на ум рассказы про вырвавшихся на свободу бесноватых безумцев.

Он заглянул мне в лицо, ища понимания. Но я, конечно, не мог допустить мысли о том, что бывают сумасшедшие корабли.

— В портах, где ее знали, — продолжил он, — один вид ее наводил ужас. Ей ничего не стоило отбить футов двадцать каменной облицовки с набережной или сре́зать край дощатого причала. За годы, что она проплавала, она потопила не одну милю цепей и якорей — наверно, тонн сто. Если она сходилась борт о борт с каким-нибудь бедным безобидным судном, отцепиться от нее бывало ой как нелегко. А у нее самой никаких повреждений, так, разве одна-две царапины. Ведь владельцы пожелали,

чтобы новое судно имело прочный корпус. Прочный корпус ей и построили, хоть взламывай полярные льды. Как она начала, так все и продолжалось. С того дня, когда ее спустили на воду, года не проходило, чтобы она кого-нибудь не отправила на тот свет. Владельцев это, наверно, сильно беспокоило. Но Эпсы жестоковыйный народ; они не допускали такой мысли, что с "Семьей Эпс" может быть что-то не так. Они и имя ей сменить не пожелали. "Вздор и чушь", — говорила миссис Колчестер. А надо бы им, по крайней мере, запереть ее навсегда в сухом доке где-нибудь выше по реке, чтобы она никогда больше не нюхала соленой воды. Уверяю вас, дорогой сэр, она в каждом плаванье непременно кого-нибудь убивала. И все это отлично знали. Слава о ней разошлась по всему свету.

Я выразил недоумение: как на судно, пользующееся такой дурной репутацией, могли набирать команду?

— Ну, значит, вы плохо знаете моряков, дорогой сэр. Позвольте объяснить вам на примере. Как-то раз в порту, прохлаждаясь на полубаке, я заметил на пристани двух достойных мореходов, которые приближались к нашему судну, один в летах, солидный и бывалый, другой помоложе, прыткий. Прочитали на борту название судна, задрали головы и разглядывают. Старший говорит: "Это "Семья Эпс", Джек. Та самая сука и людоедка (я смягчаю выражения), что в каждом плаванье убивает по человеку. На нее я ни за что бы в жизни не поступил, хоть меня озолоти". А второй еще добавляет: "Будь она моя, я бы отбуксировал ее в болото и поджег, вот ей-богу, поджег бы". Первый говорит: "А им и горя мало. Матросский труд дешев, кто этого не знает?" Младший сплюнул на воду. "Нет, — говорит, — меня им не заполучить даже за двойное жалованье". Постояли, поговорили и дальше пошли. А через полчаса я увидел обоих у нас на палубе, они высматривали старшего помощника и, похоже, хотели зачислиться в команду. Их и зачислили.

— И чем же вы это объясняете? — спросил я.

— Трудно сказать, — отвечает он. — Безрассудством. Желанием вечером похвастать перед собутыльниками, что, мол, вот мы какие бесстрашные, только что записались на проклятую "Семью Эпс". Или глупым моряцким нахальством. А может, любопытством. А вернее, всего понемножку. Во время плаванья я им обоим задал этот вопрос: почему? Старший ответил так: "Смерть на каждого одна". А молодой сказал со смехом, что хочет посмотреть, как она управится на этот раз. Но я лично вот что вам скажу: в Зверюге была какая-то чара.

Джермин, перевидавший на своем веку все корабли, сколько их плавает по свету, хмуро заметил:

— Я видел ее один раз вот из этого самого окна, шла на буксире вверх по реке — эдакая уродливая черная махина, похожая на огромный катафалк.

— Действительно, в ее облике было что-то зловещее, верно? — подхватил рассказчик в твидовом костюме, дружелюбно наклоняясь к старому Джермину. — На меня она всегда наводила ужас. Она меня жестоко напугала в первый же день, даже в первый же час, когда я четырнадцатилетним мальчишкой только поступил в ее команду. Отец приехал тогда в порт проводить меня в плаванье. Он собирался спуститься с нами до Грейвзенда. Я был вторым сыном, которого он отдавал в моряки. Старший мой брат к тому времени уже плавал офицером. Мы поднялись

на борт около одиннадцати утра, "Семья Эпс" была уже полностью готова к выходу из дока. Но она проползла кормой вперед всего на три корпуса, когда на легкий толчок буксира, направлявшего ее в ворота дока, она, по своему обыкновению, ответила таким сильным рывком и сразу так натянула новый шестидюймовый стальной трос, что на носу не успели его потравить, и он лопнул. У меня на глазах свободный конец троса подлетел к небу, а корма хряснула об один из пилонов, так что тряхнуло хорошенько всех, кто был на палубе. С самой Зверюгой ничего не сталось, при такой-то прочности. А вот один юнга, которого боцман только что отправил за каким-то делом на бизань-мачту, сорвался и упал на палубу чуть не у самых моих ног. Он был всего чуть постарше меня. За несколько минут до того мы с ним ухмыльнулись друг другу. Вовсе не готовый к такому толчку, он, верно, недостаточно крепко держался. Я услышал тонкий отчаянный возглас и успел заметить, как он, обмякнув в падении, грохнулся на доски обшивки. Бр-р-р! Бедный отец был бледен, как полотно, когда пожимал мне руку на прощанье в Грейвзенде. "Ты как, ничего?" — спросил он, заглядывая мне в глаза. "Ничего, отец". — "Точно?" — "Да, отец". — "Ну что ж, тогда до свидания, мой мальчик". Потом он мне рассказывал, что, скажи я тогда хоть полслова, он не раздумывая увез бы меня домой. Я в семье самый младшенький, — пояснил с улыбкой рассказчик, разглаживая усы.

Я буркнул что-то сочувственное в ответ. Он небрежно отмахнулся.

— После такого переживания, знаете ли, малец вполне мог потерять кураж, чтобы карабкаться по вантам, вполне мог. Юнга упал в двух футах от меня и при этом раскроил себе череп о кнехт. Он даже не дернулся. Умер сразу. Славный такой был с виду мальчишка. А я только-только подумал, что мы с ним непременно подружимся. Однако это еще не самое худшее, что учиняла "Семья Эпс". Я прослужил на ней три года, а потом меня перевели на "Люси Эпс" сроком на один год. Наш парусный мастер тоже там оказался, и помню, как-то вечером, после недели плаванья, он мне говорит: "Ну что за славная, тихая посудинка, а?" Неудивительно, что "Люси Эпс" казалась нам славной, тихой посудинкой после той огромной, хищной Зверюги. Мы словно очутились в раю. Офицеры на ней были мирные, спокойные. Мне, не знавшему другого судна, кроме "Семьи Эпс", "Люси" представлялась волшебным корабликом из сказки, который сам выполняет все, что ни пожелаешь. Раз как-то вечером мы неожиданно попали в левентик, ветер зашел прямо с носа. Но и десяти минут не прошло, а паруса наши уже снова были полны, шкоты натянуты, гитовы отпущены, и на палубе никого, только вахтенный офицер мирно поглядывает вокруг, облокотясь на ограждение у подветренного борта. Мне тогда это показалось просто чудом. Наша бы "Семья Эпс" добрых полчаса болталась на волне, потеряв управление, по палубе бы перекатывались потоки, сбивая матросов с ног, — мачты трещат, шкоты рвутся, реи ходят туда-сюда, и на борту паника, потому что наше штурвальное колесо, будь оно проклято, крутится по всем румбам, и у людей волосы от ужаса шевелятся. Я потом еще много дней вспоминал и только диву давался.

Ну вот, кончил я свои годы учения на маленьком суденышке — не такое уж и маленькое оно было кстати сказать, но по сравнению с той дьявольской махиной казалось игрушечным. Отработал свое, сдал экзамены. Но как раз когда я предвкушал, как проведу в свое удовольствие

три недели отдыха на берегу, получаю за завтраком письмо: мне предлагается как можно скорее явиться на "Семью Эпс" и приступить к службе в должности третьего помощника капитана. Я в сердцах оттолкнул тарелку, она выехала на середину стола; отец поднял глаза от газеты, мать в удивлении всплеснула руками, а я, как был, без шапки, вышел в сад и ходил там кругами битый час.

Когда вернулся в столовую, матери там уже не было, а отец перебрался из-за стола в кресло. Письмо лежало на каминной полке.

— Для тебя большая честь получить такое предложение, — говорит мне отец. — А с их стороны очень любезно было тебе его сделать. Я вижу, что и Чарльз назначен в это же плаванье старшим помощником.

И действительно, я не заметил, а на обороте была об этом приписка рукой самого мистера Эпса. Чарли был мой старший брат.

— Мне не очень нравится отправлять двоих сыновей на одном судне, — продолжал отец медленно и рассудительно. — И могу тебе сообщить, что готов это написать мистеру Эпсу.

Славный мой старый отец! Лучший из отцов! Что тут было делать? Возвратиться на Зверюгу, да еще офицером, чтобы она дни и ночи терзала меня, и мотала, и не давала дух перевести, мне совсем не улыбалось. Но от такого предложения так просто не отказываются. К тому же истинный мотив отказа был бы для Эпса и сыновей смертельным оскорблением. Их фирма, да и все семейство, как я понимаю, включая незамужних теток, очень болезненно относилось к репутации проклятой посудины. И если ты не хотел утратить на всю жизнь их доброе расположение, тебе и на смертном одре ничего иного не оставалось, как ответить: "Готов явиться по вашему вызову", — что я и сделал, отбил им сразу телеграмму, чтобы обратного пути уж не было.

Что мне предстояло плыть на одном судне с братом, меня радовало, но одновременно и тревожило. Сколько я помнил себя с самого раннего детства, он всегда был со мною очень добр, и я смотрел на него снизу вверх и считал, что лучше его нет никого на свете. Да так оно и было. Другого такого офицера не найти было на всем торговом флоте. Это истинная правда. Из себя он был ладный, крепкий, широкоплечий молодой моряк со смуглым от загара лицом, волнистыми каштановыми волосами и зорким ястребиным взглядом. Молодец молодцом. Мы много лет не виделись, и даже теперь, хоть он и находился в Англии целые три недели, дома он до сих пор не появлялся, а проводил время где-то в Суррее, ухаживал за Мэгги Колчестер, племянницей старого капитана Колчестера. Ее отец, сахароторговец, был давний друг нашего отца, и их дом был для Чарли вроде второго родного дома. Я беспокоился, как ко мне отнесется после разлуки мой старший брат. У него всегда было строгое выражение лица, даже когда он шутил и забавлялся.

Он встретил меня громким хохотом, как будто бы мое появление на судне в качестве третьего помощника — это какая-то небывалая шутка. Между нами было десять лет разницы, и он, должно быть, помнил меня в детском передничке. Я был четырехлетним малышом, когда он впервые ушел в море. Я и не знал, что он может вести себя так шумно.

— Вот теперь посмотрим, из какого теста ты сделан! — воскликнул мой брат. Он схватил меня за плечи, ткнул кулаком под ребра и повалил на свою койку. — Сядь, Нед. Я рад, что ты будешь у меня под рукой. Я наведу на тебя последний лоск, мой юный офицер, если, конечно,

увижу, что ты того стоишь. И прежде всего усвой и запомни вот что: в этом плаванье мы не позволим Зверюге никого убить. Положим конец ее злодействам.

[228]
ИЛ 7/2000

Брат говорил вполне серьезно — и о "Семье Эпс", и о том, что нам придется все время быть начеку, чтобы она со своими дьявольскими выходками не застала нас врасплох. Он прочел мне целую лекцию об особых методах кораблевождения, подходящих для этого судна. А потом изменил тон и принялся без устали молоть всяческую уморительную, веселую чушь, и мы с ним хохотали, я чуть не лопнул от смеха. Замечаю, что он что-то уж слишком развеселился, больше обычного, и явно не из-за моего приезда, до такой степени мой приезд его обрадовать не мог. Но у меня и в мыслях не было спрашивать, в чем дело. Я, как полагалось, со всем надлежащим почтением относился к старшему брату. Впрочем, дня через два и так все разрешилось: оказывается, с нами в плаванье идет Мэгги Колчестер. Дядя прихватил ее в море для поправки здоровья.

Хотя, что там у нее было со здоровьем, непонятно. Веселая, синеглазая, румянец во всю щеку и целая копна золотых волос. На шторм, дождь, пенные брызги, на жаркое солнце и зеленые океанские валы она не обращала ни малейшего внимания. Словом, девушка что надо, лучше не бывает. Но без конца подтрунивала над моим братом, я все время боялся, как бы не кончилось дело громкой ссорой. И только в порту Сиднея, когда мы уже простояли там неделю, все стало на свои места. Раз во время обеда команды, когда я валялся на койке и мирно курил, брат просунул голову в мою каюту.

— Пошли сойдем на берег, Нед, — коротко, как всегда, говорит он мне.

Я, понятно, вскочил и со всех ног вслед за ним по сходням и дальше по Джордж-стрит. Он шагал гигантскими шагами, я вприпрыжку поспевал рядом. А жарища была адова.

— Куда это мы несемся, Чарли? — не выдержал я наконец.

— Сюда, — отвечает он.

Мы как раз подошли к ювелирной лавке. Я в толк не возьму, что ему там могло понадобиться? С ума он, что ли, сошел или дурака валяет? А он сует мне под нос три колечка, такие маленькие на его большой, смуглой ладони, и бурчит:

— Для Мэгги! Которое?

Я даже перепугался, слова не могу вымолвить, только пальцем указываю на одно — на нем камешки синим и белым переливаются. Брат положил колечко себе в нагрудный карман, заплатил целую кучу соверенов, и мы выскочили на улицу. Пока добрались в порт и поднялись на палубу, я уже совсем задохнулся. "Дай пожму твою руку, старина", — говорю я ему, даже не отдышавшись. А он хлопнул меня по спине и говорит: "Твоя вахта. Можешь давать боцману какие хочешь команды, а у меня нынче свободный день".

И ушел с палубы. Немного спустя выходит из кают-компании с Мэгги, и вдвоем они открыто, рука об руку, на глазах у всей команды спустились по сходням и отправились гулять по страшной, невыносимой жаре в тучах пыли, висящей в воздухе. Обратно возвратились через несколько часов, вид чинный, степенный, а вот где были, что видели, не помнят.

Во всяком случае, когда за чаем миссис Колчестер попробовала их расспросить, они ей ответить не смогли.

Как она набросилась на Чарли! "Вздор! — кричит своим трубным басом, как у ночного извозчика. — Как это можно не знать, где были? Чушь собачья! Уходил девушку, так что она ног под собою не чует. Смотри больше так не делай".

Просто удивительно, как кроток был Чарли с этой старухой. Один раз только шепнул мне: "Слава Богу, что она Мэгги не родная тетка, а просто жена дяди. Некровное родство". Но по-моему, он слишком много Мэгги во всем уступал. Она прыгала по судну в подобранной юбке и в красном берете с помпоном, точно пестрая птичка на засохшем дереве. Старые мореходы ухмылялись про себя, когда встречались с нею, и предлагали научить морским узлам и сплесниванию канатов. И она к ним хорошо относилась, из любви к Чарли, я думаю.

Сами понимаете, о дьявольских наклонностях проклятой посудины на борту разговоров не было. Разве что в кубрике, но среди офицеров никогда. И только на обратном пути Чарли однажды неосторожно обмолвился о том, что, мол, на этот раз он всю команду везет домой целехонькую. У капитана Колчестера лицо сразу сделалось испуганное, а его глупая железная старуха гаркнула на Чарли, словно он сказал что-то неприличное. Мне и самому стало как-то не по себе. И только Мэгги хлопала глазами, ничего не понимая. Но не прошло и дня, как она уже все у меня выспросила. Как можно было солгать такой девушке?

— Ужасно! — сказала она мне, расширив глаза. — Столько народу погибло. Слава Богу, что плаванье подходит к концу. Я теперь буду каждую минуту волноваться за Чарли.

Я постарался успокоить ее насчет Чарли. Не такой он человек, чтобы Зверюга могла с ним совладать. С этим Мэгги согласилась.

На следующий день подошел лоцманский катер из Данджнесса. Когда закрепили буксирный конец, Чарли потер руки и вполголоса сказал мне:

— Мы ее перебороли, Нед.

— Похоже на то, — отвечаю я и улыбаюсь.

Погода была чудесная, море лежало гладкое, как мельничный пруд. Мы вошли в устье реки и прошли вверх к докам без единой задоринки, только раз на траверсе Холхейвена Зверюга вдруг рыскнула и едва не снесла баржу, стоявшую на якоре чуть не в самом фарватере. Но я был на юте и следил за рулевым, так что она не застала меня врасплох. На ют поднялся Чарли, лицо у него было озабоченное.

— На волосок были, — сказал он.

— Не важно, Чарли, — бодро отозвался я. — Ты ее укротил.

Нас должны были отбуксировать прямехонько в док. Сразу после Грейвзенда к нам поднялся речной лоцман и сразу же сказал мне: "Можете поднять свой левый якорь, помощник".

Мы так и сделали, и я прошел вперед. Смотрю, на полубаке сидит Мэгги и упивается общей суматохой. Я попросил ее перейти на корму, но она, само собой, не обратила на мои слова никакого внимания. Потом и Чарли, выше головы занятый на носу, тоже заметил ее и крикнул во всю глотку: "Сойди с полубака, Мэгги, ты мешаешь!" А она в ответ только скорчила гримасу, и бедняга Чарли отвернулся, пряча улыбку. Мэгги, разрумянившаяся от удовольствия, смотрела вперед на реку, и из глаз ее словно сыпались голубые электрические искры. Впереди нас

выплыл из-за мыса бриг-угольщик, и наш буксир едва успел застопорить машину, чтобы избежать столкновения.

А в следующую минуту на реке, как обычно бывает, вдруг образовалась пробка. Прямо посредине зацепились друг за друга и никак не могли выпутаться какая-то шхуна и двухмачтовый кеч. Было интересно наблюдать, как они стараются расцепиться, а наш буксир стоял все это время на месте, так как двигаться дальше было некуда. Всякое другое судно могло бы постоять на месте минуту-другую, но не Зверюга! Потеряв ход, она перестала слушаться руля и сразу начала дрейфовать назад по течению, волоча за собой буксир. Я заметил в четверти мили вниз по течению скопление малых каботажных парусников на якоре и понял, что надо срочно предупредить лоцмана.

— Если вы допустите ее до них, — негромко сказал я ему, — то она там размолотит кое-кого в щепки, прежде чем мы успеем ее отвести.

— Да разве же я ее не знаю? — крикнул он мне в ответ и в ярости топнул ногой.

Он достал свисток, чтобы приказать злосчастному буксиру немедленно снова дать передний ход. Он свистел изо всех сил и махал левой рукой, и вскоре мы увидели, что буксир опять запустил машину. Плицы его вспенили воду, но он словно тянул за собою скалу; "Семья Эпс" не сдвинулась за ним ни на дюйм. Лоцман свистнул еще раз и еще раз махнул левой рукой. Колеса буксира закрутились быстрее, еще быстрее, взбивая пену под самым нашим носом.

Мгновенье казалось, будто судно и буксир зависли на месте в окружении суетливых парусников. Но потом огромная сила, которую проклятая неумолимая Зверюга прилагала при всяком своем действии, вырвала у нее с мясом всю киповую планку. Буксирный трос взвился вверх, разбивая, точно палочки сургуча, железные стойки носового ограждения. И тут только я заметил, что Мэгги, чтобы мы не загораживали ей вид, вскарабкалась на левый якорь, который плашмя лежал вверху на полубаке. Он был уложен по всем правилам, в два углубления из твердой древесины, но принайтовить его не хватило времени. Хотя, чтобы войти в док, он и так лежал надежно. И вот я увидел, что взметнувшийся трос сейчас захлестнет торчащую третью лапу якоря. Сердце у меня чуть не выскочило, но я все-таки крикнул: "Прыгай с якоря!" Только по имени окликнуть ее не успел. Я думаю, она меня вообще и не услышала.

При первом касании железного троса ее сбросило на палубу. Но она тут же проворно вскочила на ноги; да только вскочила не с той стороны. Я услышал страшный скрежет, якорь тяжело перекувырнулся и встал, как живой. Его свободная лапа, как огромная железная рука, обхватила Мэгги за талию, словно обняла и прижала в убийственном объятии, а затем якорь вместе с девушкой, лязгая, перевалил через борт и канул в воду. Послышались удары металла о металл, по корпусу судна пробежала дрожь — это сработал стопор на якорной цепи.

— Какой ужас! — закричал я.

— Потом мне много лет снились якоря, уносящие под воду девушек, — с волнением заключил рассказчик в твидовом костюме. И весь передернулся. — Чарли страшно закричал, сразу же прыгнул за борт вслед за Мэгги. Но какое там! В бурлящей воде он не увидел даже красного берета с помпоном. Ничего, ни следа! Нас тут же окружили шлюпки, в одну из них втащили Чарли. Мы с боцманом и судовым плотником поспеш-

но выкинули второй якорь и таким образом все-таки задержали Зверюгу. Лоцман как с ума сошел. Он ходил взад-вперед по полубаку, ломая руки и бормоча себе под нос: "Теперь она женщин убивает! Теперь она женщин убивает!" И больше ни единого слова.

Наступили сумерки, спустилась ночь, черная как деготь. Я стоял и смотрел вперед на реку и вдруг слышу оклик: "Эй, на судне!" — негромкий и горестный. Подошли на лодке два речника. Покачиваясь у нашего борта, они держались за веревочный трап и, задрав головы, смотрели снизу, не произнося ни слова. У лодочников был фонарь, и я разглядел в пятне света сноп разметанных золотистых волос.

Его снова передернуло.

— Начался прилив, и тело бедняжки Мэгги всплыло у большой шварговой бочки, — пояснил он. — Я едва живой уполз на ют, себя не помня, выпустил ракету, чтобы оповестить всех участвовавших в поисках. А потом, как последний трус, пробрался на нос и всю ночь просидел на пятке бушприта, лишь бы только не попасться на глаза Чарли.

— Бедный, бедный! — посочувствовал я.

— Да. Бедный, — задумчиво повторил он за мной. — Зверюга не позволила даже ему отнять у нее добычу. Наутро он не сошел на берег, пока не поставил судно в док. Мы с ним не обменялись ни словом, ни взглядом. У меня не хватало духу взглянуть на него. Когда закрепили последнюю снасть, он сжал ладонями голову и так стоял, глядя себе под ноги, словно старался что-то вспомнить. Команда ждала на шканцах, ему полагалось произнести прощальные слова по случаю окончания плаванья. Может быть, их он и старался припомнить. Этот долг исполнил за него я. "Все, ребята", — сказал я.

Я никогда не видел, чтобы матросы так тихо расходились с судна. Они осторожно перелезали один за другим через фальшборт, стараясь не грохотать своими сундучками. Каждый бросал взгляд в нашу сторону, но ни у кого не хватило духу подойти и, как принято, попрощаться и пожать ему руку.

Я ходил за братом туда-сюда по всему судну, когда на борту уже не осталось кроме нас с ним, ни живой души и даже старый сторож запер ся в камбузе, заложив входную и выходную двери. Вдруг бедный Чарли, словно помешанный, бормочет себе под нос: "Тут больше делать нечего" — и поворачивает к сходням. Я — за ним. Он поднимается из дока на набережную, выходит из ворот и шагает в сторону Тауэр-хилла. Раньше он снимал квартиру у одной доброй старушки тут же, на Американ-сквер, поблизости от работы.

Внезапно он останавливается как вкопанный, поворачивается кругом и идет прямо на меня. "Нед, — говорит он, — мне надо домой". По счастью, я заметил кэб и едва успел втащить в него брата. У него уже подкашивались ноги. Дома, как только мы вошли, он упал на кресло, и никогда не забуду недоуменные лица отца и матери, молча склонившихся над ним. Они не понимали, что с ним, покуда я не выпалил: "Мэгги утонула вчера вечером на реке".

Мать вскрикнула. Отец перевел взгляд с Чарли на меня и с меня на Чарли, словно не узнавая, потому что, честное слово, Чарли был совсем на себя не похож. Мы стоим над ним неподвижно, а он, бедный, медленно поднимает свои большие, загорелые руки к горлу и вдруг одним рывком раздирает на себе все — воротник, рубашку, жилет, бушлат. Погиб-

ший человек. Мы с отцом кое-как отволокли его наверх, и мать чуть не убилась, выхаживая его, пока он лежал с воспалением мозга.

Наш рассказчик опять посмотрел на меня и многозначительно кивнул.

— Да, на Зверюгу не было никакой управы. В ней дьявол сидел.

— А где теперь ваш брат? — спросил я, ожидая услышать, что его нет в живых.

Но он, оказалось, командовал новеньким пароходом в китайских водах и дома больше не появлялся.

Джермин испустил тяжелый вздох и бережно приложил просушенный платок к своему красному, исстрадавшемуся носу.

— Не судно, а ненасытное чудовище, — помолчав, повторил рассказчик в твидовом костюме. — Старый Колчестер отказался от места. Но поверите ли, "Эпс и сыновья" прислали ему письмо с просьбой пересмотреть свое решение! На все шли, лишь бы спасти доброе имя "Семьи Эпс"! Тогда старый Колчестер явился к ним в контору и сказал, что готов снова принять командование Зверюгой, но только для того, чтобы вывести ее в Северное море и там затопить. Он был как помешанный. Раньше у него волосы были темные с проседью, но тут за две недели побелели как снег. А мистер Люциан Эпс (в молодости они дружили) сделал вид, будто ничего не замечает. Видали? Такая страстная привязанность к судну. Такая дьявольская гордыня.

Они ухватились за первого, кто подвернулся, боялись, что, когда слава о "Семье Эпс" разойдется широко, им не удастся залучить на нее ни одного шкипера. Новый капитан был, кажется, весельчак, но держал Зверюгу в ежовых рукавицах. Уилмот ходил у него вторым помощником. Безалаберный был парень и делал вид, будто презирает женский пол. На самом-то деле он просто робел. Но стоило какой-нибудь мизинчиком поманить, и его уже не удержишь. Один раз, еще юнгой, он в иностранном порту сбежал с судна, погнался за юбкой, и тут бы ему и конец, но шкипер не поленился, разыскал его в одном из домов порока и выволок оттуда за уши.

Был слух, будто бы кто-то из Эпсов сказал, что хорошо бы от Зверюги поскорее избавиться. Мне в это трудно поверить, разве что говоривший был мистер Альфред Эпс, о котором в семье были невысокого мнения. Он сидел у них в конторе, но его считали пропащим, уж очень он часто срывался и удирал на скачки и возвращался домой пьяный. Казалось бы, судно с таким норовом, как "Семья Эпс", из одной подлости рано или поздно сядет на мель. Но нет, не тут-то было. Она, похоже, собиралась существовать вечно. Драла нос кверху, а не метила на дно.

Джермин утвердительно крякнул.

— Лоцману такое судно по душе, да? — усмехнулся рассказчик. — Ну, словом, Уилмот с ней управлялся. Не давал ей спуску. Но даже и он, я думаю, спасовал бы, если бы не зеленоглазая гувернантка, или нянька, или кто там она была при детях мистера и миссис Памфилиус.

Они плыли пассажирами из Порт-Аделаиды до Кейптауна. Ну и вот. За день до отплытия вышли из гавани и бросили якорь на рейде. Капитан, гостеприимная душа, как всегда пригласил множество гостей из города на прощальный обед. Обратно последняя городская шлюпка отвалила от борта уже в шестом часу. Стемнело, в заливе расходилось волнение. Пускаться в путь на ночь глядя по такой воде не было резона.

Однако капитан уже всем объявил, что они отплывают сегодня, и считал, что откладывать неприлично. А поскольку ему совсем не улыбалось после обильных возлияний выходить на открытую воду в темноте и при малом ветре, он распорядился оставить нижние марсели и фок и идти вдоль береговой линии, прижимаясь как только можно ближе к берегу, покуда не рассветет. А сам завалился на заслуженный отдых. На вахте, умываясь потоками дождя, остался стоять старший помощник. В полночь его сменил Уилмот.

У "Семьи Эпс", как вы помните, имелась на корме надстройка.

— Да, торчала в небо такая здоровенная белая гора, — печально подтвердил Джермин у камина.

— Верно. Кают-компания и штурманская рубка одновременно, и туда выходили все жилые помещения. Шквалы изливали на сонного Уилмота потоки дождя. Судно медленно продвигалось вдоль берега к югу, суша была на расстоянии не больше трех миль с наветренной стороны. Опасностей в этой части залива никаких не было, и Уилмот спрятался от дождя за штурманской рубкой. Дверь была открыта. А темень стояла как в бочке с дегтем. И вдруг он слышит, его зовет тихий-тихий женский голос.

Та зеленоглазая девица, будь она неладна, давно уже уложила детей, но самой ей никак не спалось. Она слышала, как пробило восемь склянок и старший помощник спустился к себе в каюту. Выждав еще немного, она накинула халат и прокралась по ступеням в пустую штурманскую рубку. Ну и уселась на транец у открытой двери, хотела, наверно, подышать прохладным воздухом.

Я думаю, когда Уилмот услышал зовущий его женский голос, у него словно спичка в мозгу вспыхнула. Как они успели познакомиться, я не знаю. Наверно, еще на берегу встречались. От него я толку не мог добиться, потому что, рассказывая, он запинался от бешенства и зверски чертыхался на каждом слове. Я его встретил на пристани в Сиднее, на нем был фартук из мешковины до самого подбородка и большущий кнут в руке. Возчиком нанялся. Рад был хоть какой-то работе, чтобы с голоду не умереть. Вот до чего человек докатился.

Словом, сунул он голову в рубку и не иначе как преклонил на девичье плечико. Это вахтенный-то офицер! Рулевой потом на разбирательстве показывал, что несколько раз кричал ему: у него нактоузный фонарь погас. Вообще-то это не имело значения, приказ был держать вдоль берега. "Мне казалось странно, — объяснял он, — что с каждым шквалом она уваливалась под ветер, но я всякий раз ее приводил. А темнотища была такая, я руки своей не видел, и дождь лился мне на голову как из ведра".

Дело-то было в том, что ветер при шквалах все больше заходил, и в конце концов судно оказалось повернуто носом прямо к берегу, хотя на борту ни одна живая душа об этом не подозревала. Уилмот сам признался, что не подходил к судовому компасу в течение, наверно, часа. Еще бы ему не признаться! Он спохватился, только когда впередсмотрящий заорал: "Полундра!"

Уилмот, по его словам, высвободил шею и кричит тому:

— Ты чего?

— Прибой прямо по носу, сэр! — прокричал тот в ответ и бросился в кубрик, где сидели его товарищи.

А сверху в это время дождь лил, Уилмот говорит, ну просто как водопад. В первое мгновенье он с перепугу так растерялся, что не мог сообразить, с какого борта берег. Он был неважный офицер, но тем не менее все-таки моряк. Он взял себя в руки, и нужные команды сами собой сорвались с его губ. Он приказал положить руль на борт и обстенить грота и бизань марсели.

И действительно, паруса вроде бы заполоскали, он их не видел, но слышен был треск и стук над головой. "Бесполезно!" — рассказывал он дальше, и чумазое его лицо исказилось, а длинный кнут в руке задрожал. Она не слушалась. Вдруг паруса над головой перестали полоскать. В этот решающий миг с кормы опять рванул порыв ветра, наполнил паруса и бросил Зверюгу прямо на прибрежные скалы. На этот раз она сама себя перехитрила. Настал ее срок. Все сошлось: время, и человек, и непроглядная тьма, и предательский порыв ветра; и к тому же еще как раз подходящая женщина, чтобы от ее руки ей погибнуть. Ничего другого Зверюга и не заслуживала. Дивны орудия Провидения. Во всем этом есть своя поэтическая справедливость...

Рассказчик опять посмотрел прямо на меня.

— Первая же отмель, через которую ее протащило, содрала ее фальшкиль. Трррах! Капитан выскакивает из своей каюты и видит обезумевшую женщину в красном халате, она носится кругами по рубке и орет пронзительно, как какаду.

Следующий удар пробил корпус насквозь прямо под капитанским столом. Он же выбил ахтерштевень и оторвал перо руля. Зверюга вползла вверх по ступенчатой, каменистой отмели, вспарывая себе днище, и наконец остановилась, и ее фок-мачта, надломившись, легла от палубы до берега, точно сходни.

— Кто-нибудь погиб у них? — спросил я.

— Никто, если не считать беднягу Уилмота, — ответил джентльмен, про которого мисс Бланк не знала, кто такой, и стал озираться в поисках своей фуражки. — Но для мужчины кончить жизнь так — еще страшнее, чем утонуть. Все благополучно выбрались на сушу. Шторм пришел с запада только на следующие сутки, но на удивление быстро разломал Зверюгу в щепки. Как будто бы внутри нее сидела гниль... А дождь-то, кажется, перестал, — заметил он совсем другим тоном. — Мне пора вывести велосипед и поспешить домой к ужину. Я живу в Херн-Бее, а сюда заехал утром, прокатиться захотелось.

Он дружески кивнул мне и вышел бодрой походкой.

— Кто он, ты не знаешь, Джермин? — спросил я.

Лоцман по Северному морю сокрушенно покачал головой.

— Подумать только! Утопить так глупо свое судно! Надо же, ай-яй-яй! — скорбно прокряхтел он и снова развесил мокрый платок, словно ширмой загораживаясь от пламени.

Уходя, я опять вполне корректно обменялся улыбкой и взглядом с уважаемой мисс Бланк, буфетчицей в "Трех воронах".

Джозеф Конрад
Письма

Эдварду Гарнету
Кейпл-хаус, 27 мая 1912 г.

Дражайший Эдвард,
Надеюсь, что ты не очень рассердился на меня за то, что я все еще не поблагодарил тебя за "Карамазовых"[1]. Как хорошо, что ты обо мне вспомнил; я, конечно, был весьма заинтригован. Но это лишь несуразная глыба бесценного материала. Страшно неудачно, слишком эмоционально и раздражающе. Кроме того, не знаю, что отстаивает или разоблачает Д[остоевский], но знаю твердо — для меня он чересчур русский. Во всем этом мне слышится некое подобие яростных воплей, идущих из глубины доисторических времен. Я понимаю, русские только что "открыли" его. Мои поздравления...

Перевод твоей жены, вне всякого сомнения, великолепен. От одной мысли о нем дух захватывает. Какое мужество! Какое упорство! Какой талант — талант истолкования, если можно так выразиться. Слово "перевод" не годится для описания тех высот, которых достигла твоя жена. Однако в действительности творение этого человека не заслуживает такой счастливой судьбы. Только Тургенев (и, возможно, Толстой) по-настоящему достойны ее. Передай ей от меня поклон, преисполненный благоговения и восхищения. Я бесконечно ей благодарен за возможность думать о Д. и чувствовать его.

Когда у тебя выдастся свободная минута, расскажи мне, как приняли твою испанскую пьесу[2]. Из всего сказанного тобой заключаю, что она вот-вот пойдет. В газеты не заглядывал уже неделю. Пытаюсь начать повесть, а эти чудовищные события очень отвлекают меня. Знаю, что объявлена еще одна забастовка, и это все. Подобные события развиваются медленно и однообразно. Я же ни к одной из партий не испытываю уважения и чрезмерного волнения во время этой игры не ощущаю.

Барретту Х. Кларку
Кейпл-хаус, 4 мая 1918 г.

Уважаемый мистер Кларк, нет, меня отнюдь не забрасывают такого рода посланиями, как Вы думаете. Признаюсь, по большей части они глупы,

© М. Красновский. Перевод, 2000

Публикуется по книге "Письма к Уильяму Блэквуду и Дэвиду Мелдрэму" (Joseph Conrad. "Letters to William Blackwood and David S. Meldrum". London—NY. 1927).

1. "Братья Карамазовы" в переводе Констанции Гарнет.
2. "Испанские любовники" — "Селестина" Ф. Рохаса в переработке Эдварда Гарнета. (*Здесь и далее прим. изд.*)

бессмысленны и ничего не имеют общего с Вашим письмом, которое своим содержанием и дружеским тоном доставило мне немало удовольствия. Надеюсь, Вы простите, что свой ответ я пишу Вам на машинке: состояние моей руки таково, что мне трудно держать перо.

Вы правы, полагая, что мне лестно получить высокую оценку от человека молодого. Но, честно говоря, я не считаю себя "стариком". Моя писательская жизнь длится всего двадцать три года, и нет нужды говорить такому умному человеку, как Вы, что все это время было временем развития (критики склонны делить его на три основных периода), которое продолжается и сейчас. Некоторые критики упрекают меня в непостоянстве. Однако они ошибаются. Я всегда остаюсь самим собой. Я человек со сложившимся характером. Храня верность некоторым понятиям, я не являюсь рабом предрассудков и схем и никогда им не стану. Мое отношение к тем или иным предметам и речевым оборотам, мои взгляды, мои творческие методы все время менялись и впредь до известной степени будут меняться. Происходит это вовсе не потому, что я человек непостоянный или беспринципный, а потому, что я свободен. Или, точнее сказать, потому, что, сколько могу, я всегда стремлюсь к свободе.

Приступая к ответу на Ваш вопрос, я прежде всего хотел бы сформулировать некое общее положение: произведение искусства крайне редко имеет одно-единственное истолкование и совсем необязательно сводится к какому-то определенному тезису. Поэтому чем ближе оно стоит к искусству, тем более символично по своему характеру. Подобное утверждение удивит Вас, ведь Вы, возможно, решите, что я имею в виду поэтов и писателей символистской школы. Для них, однако, это не более чем литература, и мне им нечего возразить. Меня же интересует нечто большее. Вне всякого сомнения, Вы и ранее задавались этим и другими подобными вопросами. Поэтому позволю себе обратить Ваше внимание только на то, что символический подход к произведениям искусства имеет то преимущество, что позволяет взглянуть на жизнь с трех сторон и изобразить ее целиком. Все великие произведения литературы были символическими, и поэтому они сложны, сильны, глубоки и прекрасны.

Не думаю, что Вы упрекнете меня в неточности, да и относительно правды характеров и изображения моя совесть художника спокойна. Всю правду, какая у меня есть, я высказал, и никакие критики не могут повлиять на мою искренность и честность. А что до "общего впечатления", то это не мое дело. Задача критика — проявить свою честность, чуткость и ум при разборе произведения, его суд — дело совести. Если она отягощена мелочными дрязгами и опутана поверхностными представлениями, то и суждение окажется мелочным и поверхностным. Художник не вправе оспаривать чужие порывы независимо от того, возвышенны они или низменны.

Разумеется, Ваша трактовка общего смысла "Победы" и сокрытой в ней художественной тайны верна; и уж конечно, я не стремился скрыть ее за волшебной завесой искусства. Взывая к чувствам, я говорил самым понятным языком, каким только мог, и не думаю, что в Англии или во Франции найдется критик, который не разгадает моего замысла. В одном или двух случаях я просто не мог понять, чем вызваны нападки на книгу, тогда как другие критики проявили поразительную проницатель-

ность при анализе моего метода и языка. Некоторым читателям книга откровенно не понравилась, но не из-за иронии. А поскольку ирония не совсем отсутствует в книге, я счастлив, что те страницы, где она есть, не оставили Вас и Ваше воображение равнодушными. Прошу принять это длинное, многословное послание в знак искренней признательности за сочувственное отношение к моему труду. С наилучшими пожеланиями успеха на избранном Вами пути.

Эдварду Гарнету
Май 1917 г.

Дражайший Эдвард,
Вся беда в том, что я, как и ты, не знаю русского языка; не знаю даже русского алфавита. Это ты открыл мне глаза на ценность и значение Тургенева. Мальчиком, помнится, в приложении к какой-то газете я прочел "Дым" в переводе на польский, а позднее — "Дворянское гнездо" по-французски. Эти вещи мне интуитивно понравились (очень существенное, но для критических замечаний недостаточное основание), однако подобное ощущение ни в коей мере не может сравниться с осознанным восприятием литературного совершенства. Ты первый открыл мне глаза на его [Тургенева] искусство. В остальном же Тургенев для меня — это Констанция Гарнет, а Констанция Гарнет — Тургенев. Она сделала удивительную вещь — ввела его произведения в английскую литературу. Именно благодаря этому я понимаю или, скорее, чувствую Тургенева.

Но в целом я Тургенева не понимаю. Если бы я действительно понимал его, то, возможно, смог бы рассуждать на эту тему с большим или меньшим успехом. А посему, мой дорогой, не знаю даже, с чего и начать.

Насколько мне известно, ты, пожалуй, единственный человек, кто сумел понять отношение Тургенева не только ко всему человечеству, но и к самой России. И в том и в другом случае он велик. Но быть великим и в то же время столь утонченным — губительно для художника, как, впрочем, и для любого другого человека. Это не Достоевский, кривляющееся, преследуемое, про́клятое создание, это Тургенев, богато и разнообразно одаренный от природы. Абсолютное здравомыслие и глубина сознания, кристально чистое видение и необычайная чуткость, глубокий взгляд и неизменное благородство в суждениях; способность безошибочно находить самое важное, существенное в человеческой жизни и в окружающем мире; необычайно ясный ум, горячее сердце и широта чувств — и все это в нужной пропорции, без излишеств! Более чем достаточно, чтобы уничтожить любого писателя. Видишь ли, мой дорогой Эдвард, если бы мы стали показывать Антиноя в балагане, уверяя при этом, что жизнь его столь же совершенна,

Джозеф Конрад и Генри Джеймс, шарж Макса Бирбома

вершенна, как и его обличье, едва ли кто-нибудь из толпы, которая ломилась бы в соседнюю дверь, желая хоть глазочком взглянуть на двухголового соловья или на скалящего зубы испуганного великана в ошейнике, подошел бы к нему.

Я похож на тебя, мой дорогой друг... Разбит, сломлен, разрываюсь на части. Не могу заставить себя чем бы то ни было заниматься, не в состоянии ни на чем сосредоточиться. Быть может, виновата война? Или просто Конраду пришел конец? Полагаю, человеку должен однажды прийти конец. Того требуют приличия.

Однако это звучит страшно или пугающе. Думаю, скорее последнее.

Нет, мой дорогой друг, я не считаю свою небольшую книгу[1] чем-то "недостойным". Она посвящена моему сыну. Мне почему-то думалось, что ты в Италии. Твой экземпляр лежит у меня, и вскоре я отошлю его тебе. Разумеется, ничего важного в этой книге нет. Любопытно, что в ней все-таки есть? То бишь, что мне удалось сделать?

Я не видел статьи в "Нейшн". Я знал, что это не ты написал, ты ведь вроде бы освободился (на время) от литературных дел и уехал из Англии?

Откровенно говоря, мне не хотелось бы выступать в роли знатока русской жизни. Ведь это не так. Я восхищаюсь Тургеневым, но, говоря по чести, Россия для него не более чем холст для художника. Даже если бы все его герои жили на Луне, он все равно оставался бы великим мастером. Его персонажи весьма схожи с шекспировскими итальянцами. Об этом как-то никто не задумывается.

И все-таки, мой дорогой Эдвард, если ты настаиваешь, я исполню твою просьбу и попытаюсь. Не обещаю, что у меня получится! Как я тебе уже говорил, у меня почему-то все валится из рук. "Теневую черту" я закончил 15 января и с тех пор написал только два коротких рассказа. Примерно 12 000 слов. Несколько страниц я уничтожил. Всего несколько.

Таково истинное положение вещей. И оно внушает мне самые серьезные опасения.

У меня обострилась подагра, с февраля я почти все время лежал. Сейчас только оправился после последнего приступа.

Если ты приедешь и мы малость поговорим, это, возможно, взбодрит меня. Как знать? В самом деле, мой дорогой, невыносимо отказывать себе во всем, что тебе дорого.

Поразмысли над моим предложением. Джесси его поддерживает. Ведь она тебя так любит. Не говоря уж обо мне. Веришь ли ты в это? Или не веришь? Временами на меня нападают сомнения...

Джону Голсуорси
Сомерис, 6 января нового, 1908 года

Дражайший Джек,
Будь счастлив (синьоре Аде я напишу отдельно), желаю тебе здравствовать долгие годы и да не убудет слава твоя.

Что касается меня, то старая история продолжается, и ты, должно быть, уже сыт ею по горло: подагра. Я не похож на Петра Великого — не развлекаю своих друзей. Подагра. Прихватила в начале рождественских

1. "Теневая черта".

праздников, в "День подарков", и до сих пор не отпускает. По-настоящему я так и не пришел в себя после приступа, случившегося за три недели до нашего совместного обеда. С тех пор как мы переехали в новый дом, у меня не было ни одного светлого дня.

"Et le misérable écrivait toujours"[1].

Этот "несчастный" пишет сейчас повесть под названием "Разумов". Выразительно, не так ли? Пожалуй, я пытаюсь ухватить суть российских событий — cosas de Russia[2]. Непростая задача, однако в конце концов из этого, может, получится неплохая вещь. Она также может принести мне сотню фунтов, если добрейший Пинкер постарается и побегает с рукописью высунув язык... Однако я зло пошутил.

Послушай, сюжет таков. Студент Разумов (внебрачный сын князя К.) выдает полиции своего однокашника, студента Гальдина, который прячется в его квартире после совершения политического преступления (предположительно, убийства Плеве). События первой части разворачиваются в Санкт-Петербурге. (Гальдина, разумеется, повесят.)[3]

Во второй части действие происходит в Женеве. Студент Разумов, познакомившись с матерью и сестрой Гальдина, влюбляется в последнюю, женится на ней и через некоторое время рассказывает ей о том, какую роль сыграл в судьбе ее брата.

Психология развития событий, ведущих к предательству Разумовым Гальдина, к сделанному им признанию и к смерти Разумова и его жены (причина: сходство их ребенка с покойным Гальдиным), и есть главное содержание этой повести.

Возможно, ни один журнал не захочет ее взять. С тех пор как Старик удалился от дел, "Блэквуды" не очень-то спешат печатать мои произведения. Попытаюсь в "Фортнайтли". Ах, дорогой, ты не знаешь, сколь убийственна для вдохновения беспокойная мысль: "А можно ли это продать?" Нет ничего более жестокого, чем быть зажатым между душевным порывом, работой и подобным вопросом, который для меня сейчас вопрос жизни и смерти. Бывают мгновения, когда страх начисто выметает из головы всякие мысли. Это безумно мучительно. И знаешь, день ото дня напряжение только растет.

Но я должен написать эту вещь. Должен отойти подальше от "Случая", который почти перестал мне даваться.

С остальными вещами дела обстоят так же неблагополучно. "Тайного агента" следует честно признать почетной неудачей. Он не стяжал мне ни любви публики, ни литературного успеха — хоть на гран. От всего этого я прихожу в уныние. Полагаю, я глуп, если жду чего-либо другого. Полагаю также, что есть во мне нечто глубоко несимпатичное широкой публике. Взять, к примеру, романы Харди, в общем-то достаточно трагичные и мрачные, но их и раньше покупали, и продолжают покупать сегодня.

Это "нечто", я думаю, называется чуждостью.

Словом, причин для тревожных мыслей достаточно. Издадут ли большой роман журнальными выпусками? А если нет? Я бы удивился, если бы Пинкера не беспокоил подобный вопрос. Он не торопит меня, однако сгорает от нетерпения. Признаться, количество страниц, написанных за последние три месяца, ничтожно. А ведь я корпел над ро-

1. "Несчастный всегда пишет!" (*франц.*) Аллюзия на "Саламбо" Г. Флобера.
2. Русские штучки (*исп.*).
3. Этот роман был назван впоследствии "Глазами Запада". (*Прим. перев.*)

маном изо дня в день. Жить так невозможно. Я теперь стал вегетарианцем. Специально ем очень мало. Голова у меня сейчас необыкновенно ясная, но в иные минуты я невольно спрашиваю себя, а не должен ли я все это бросить. Для человека с воображением такие мысли губительны — они приходят, словно дурные знамения, откуда-то извне. Я, разумеется, борюсь с ними, покуда есть силы.

На пятидесятом году жизни я подвел итоги своей работы. Одиннадцать романов. Если бы каждый роман принес 1000 фунтов, у меня осталось бы сейчас на руках 5000 фунтов. Сложив вместе мои долги, деньги, которые я должен отработать П. (1572 фунта на сегодня), и субсидию, а также подсчитав все, что я заработал, получим сумму, приблизительно равную 650 фунтам в год. Даже если я ошибся фунтов на 100 в год, что невероятно (как бы неаккуратно я ни считал, не похоже, чтобы я занизил сумму на 1200 фунтов), это не слишком большие деньги. И вдобавок ко всему, наши с Джесси болезни (в год, когда я писал "Ностромо", я перенес шесть приступов подагры за одиннадцать месяцев) да еще тот последний год за границей, ставший роковым для Бориса.

Вот так начинается этот год...

Когда ждать твоего возвращения?

Джону Голсуорси
11 ноября 1901 г.

Дражайший Джек,

Я ничего не писал тебе о книге[1], во-первых, потому, что ее держала у себя Джесс, а читает она медленно; во-вторых, у меня накопилась целая кипа гранок, на исправление которых ушло несколько дней. Несмотря на это, я прочел твою книгу дважды — бесстрастно наблюдая за собственным впечатлением во время повторного чтения, пытаясь размышлять о восприятии книги публикой и понять, от чего зависит большой успех или, напротив, неудача.

Есть в ней нечто такое, что не позволяет надеяться на популярность. Все же автору (если он не слащавый глупец и не напыщенный мошенник) необходимо полностью владеть выбранной темой, чтобы угодить публике. Знания темы как таковой недостаточно. Определенные противоречия и несоответствия в общей концепции характера (или характеров) и самого сюжета должны быть убедительны для читателей, а не только для автора. Ты можешь не согласиться, что человек неповторим в своих так называемых странностях. Они придают его личности силу, которую никогда не даст заурядная непротиворечивость натуры. Кто-то должен докапываться до сути и верить в невероятное ради того, чтобы отыскать редкие крупицы истинного в море временного и преходящего. Прежде всего автору нужно освободиться от всякого уважения к своему герою. И в этом ты поистине достиг совершенства. Ты мастерски управляешься с людьми, к которым не питаешь уважения. К примеру, с второстепенными персонажами в "В. Р."[2]. А в этой книге, я должен признаться, лучше всех вышел Форсайт. Говорю это не без сожаления, так как очевидно, что в "Ч. из Д." не в пример больше красоты (и стиль

1. Джон Голсуорси. "Человек из Девона и другие рассказы".
2. "Вилла Рубейн".

также более яркий). Рассказ о шахте лучше всего свидетельствует о твоих сильных и слабых сторонах. Пожалуй, в нем не хочется изменить ни слова. В этом рассказе так много сильных сторон, что я бы дорого дал, лишь бы написать подобное. Честное слово. А вот твой управляющий шахты неубедителен именно потому, что чертовски совершенен в своем несовершенстве. Тебе явно необходимо, чтобы скептицизм лежал в основе произведения. Скептицизм, взбадривающий ум, укрепляющий жизнь, — это посланник правды, это путь искусства и спасения. При написании книги ты должен возлюбить мысль и даже в мелочах не отступать от своего понимания жизни. Именно в этом заключается долг писателя, а вовсе не в верности своим персонажам. Никогда не позволяй им овладеть тобой хитростью, чтобы склонить к измене себе. Относись к своим героям совершенно безразлично — в этом, отчасти, и заключается творческая сила. Сам творец должен оставаться безучастным, ибо как только с губ его сорвется крик "Да свершится!", те, кого он сотворил по своему образу и подобию, сразу же попытаются низвергнуть его с той высоты, на которой он стоит, и принизить своим почитанием. Твое отношение к ним должно быть исключительно трезвым, более независимым и свободным и менее строгим. Ты, кажется, готов ради них чересчур сблизить свое понимание истинного и ложного. Твои рассказы проникнуты изяществом. Побольше свободы — вот что необходимо сейчас твоим героям.

Ты, вероятно, недоумеваешь, зачем я повторяю эти общие места. Во-первых, о самой технике письма — а тут твои успехи феноменальны, ты почти, а может быть, и уже добился кристальной точности и ясности, — мы с тобою так много говорили, что вряд ли я могу поведать что-либо новое, доселе тебе не известное. И во-вторых, это не такие очевидные соображения — не такие уж и общие места, как может показаться. Их можно даже назвать сущностными, ибо навеяны они изучением всего написанного как единого целого. Я прочел все твои книги, и вот какие мысли — пусть обрывочные, беглые и сумбурно изложенные — они навеяли на меня.

Писатель, из-под чьего пера когда-то вышли "Четыре ветра"[1], написал теперь "Человека из Девона", который стал для меня источником огромного удовольствия. Эта книга подтверждает мои воззрения, мое мнение и мою оценку; поддерживает мою любовь к тебе, которому я верил и верю. Вот в чем все дело: *верю*. Ты достиг того уровня, когда я вряд ли смогу быть тебе чем-нибудь полезен — разве только своей верой. А моя вера в тебя сейчас крепка как никогда, независимо от того, сочтешь ли ты мои замечания убедительными или нет. Можешь не соглашаться с тем, что я сказал в этом письме, однако в главном наши убеждения сходятся.

Эдварду Гарнету
Пент-фарм, 12 ноября 1900 г.

Дражайший Э.,
Ты великолепен и великодушен.
Да! Ты затронул больное место. Деление книги на две мало связанные между собой части[2], а именно на это направлено острие твоей крити-

1. Первая книга Голсуорси, вышедшая в свет в 1897 г.
2. Имеется в виду роман "Лорд Джим".

ки, еще раз доказало мне, как поразительно глубоко ты способен проникать в самую суть вещей. Сделанный тобою разбор ярко и точно выражает словами невысказанные мысли каждого читателя, равно как и мои собственные.

Да, действительно, таков эффект, производимый этой книгой, — эффект, который ты сумел описать, тогда как другие способны только почувствовать его. Согласен, меня ожидала великая победа, а преуспел я лишь в том, что выдал себя с головой. Мало кому дано было это увидеть, однако ты заметил, как роман снова превращается в ком глины — глины, которую я извлек со дна ямы, одержимый идеей вдохнуть в это месиво великую жизнь. Я позволил своему замыслу провалиться с треском и ничего более.

Главный недостаток книги (причина и следствие) — отсутствие силы. Я не имею в виду "силу", о которой обычно говорят критики, а подразумеваю свет воображения. Мне хотелось, чтобы простые события вспыхнули ярким, ослепительным пламенем. Что у меня вышло, тебе, увы, известно. Все, хватит! Мне не хватило мощи, чтобы вдохнуть в мою глину истинную жизнь — жизнь *раскрывающуюся.*

Я был дьявольски амбициозен, однако дьявольского во мне, к несчастью, маловато. "Изгнанник" — это куча песка, "Негр" — брызги из лужи, "Джим" — ком глины. Смею предположить, что мой следующий подарок нетерпеливому человечеству обратится в камень, прежде чем я захлебнусь в грязи, которой не смогу придать сходства с жизнью, как бы ни лез вон из кожи. Бедное человечество! Поплачем о нем... Однако посмотри, как все более и более надрывно звучат мои слова! Этот пафос по сути есть своего рода победа, недосягаемая для уколов критики. Подобно философу, кукарекающему во Вселенной, я почувствую, если меня окончательно раздавят. А сейчас я чувствую себя избитым, чрезвычайно уязвленным, чрезвычайно униженным, но и только.

Таково воздействие на меня этой книги... Воздействие, сокрытое от чужих глаз. Унижение. Но не угасание. Пока еще нет. Вы все так великодушно поддерживаете меня, что я просто обязан жить. Ведь рядом всегда находишься Ты, не унывающий никогда. Я получил удивительное письмо от Лукаса. Потрясающе! Этим утром пришло письмо от Генри Джеймса. Ты втирал в мои раны живительный бальзам, покуда они не зажили. И поэтому я все еще жив. Придет время, когда у тебя более не будет сил подслащивать правду и лукавить ради моего спокойствия. Тутто мне и настанет конец.

Главное, не падай духом! Держись! Горячо молю тебя — держись как можно дольше!

Посылаю тебе письмо Генри Джеймса. Это глоток из Источника Вечной Молодости. Ну не правда ли, это писал юноша? Какое воодушевление! Удивительная личность! И его послание — частица дивного труда! Я уверен, что письмо носит очень доверительный характер. Только тебе я отваживаюсь показать эти строки — сохрани его тайну ради нас обоих. Пожалуй, вот и все. Прочел "Петербургские рассказы"[1]. Ого! Это нечто! Об этой книге многое можно сказать, но скажу только одно: она написана! Она есть! Настоящая вещь, неопровержимая, основательная и живая. Не на песке построенная. Надеюсь, что автор не откажет мне в любезности принять самые дружеские поздравления!

1. Оливия Гарнет. "Петербургские рассказы". 1900.

P. S. Умоляю, отошли мне обратно автограф Джеймса заказной почтой. Большой привет всем вам троим. Мы просто *должны* увидеться в ближайшее время.

[243]
ИЛ 7/2000

Уильяму Блэквуду
Пент-фарм, Станфорд-под-Хисом, графство Кент,
31 мая 1902 г.

Уважаемый мистер Блэквуд,
Сразу же по возвращении сажусь за письмо. Хочу поблагодарить Вас за то, что Вы столь любезно и терпеливо согласились меня выслушать. В положении, оказавшемся для меня столь болезненным ("просителем" всегда быть неприятно), Ваше дружеское отношение приобретает еще большую ценность, и я пишу прежде всего, чтобы поблагодарить Вас. Но есть и другие причины.

Признаюсь, что после того как мы расстались, я некоторое время раздумывал над своей "никчемностью"; но спешу Вас успокоить, я никогда не питал иллюзий по поводу своей значительности. Поверьте, работа никогда не вызывает у меня чувства самодовольного восторга. По моему убеждению, для человека, который собирается чего-нибудь достичь, это было бы ничем не лучше состояния опьянения. Не отрицаю, что, борясь с неуверенностью в завтрашнем дне, страдая от неопределенности будущего, я временами находил в написанном утешение, поддержку и бодрость духа. Это отнюдь не дурман — это милость Божья, которая не обходит стороною даже неудачливого романиста. Что касается остального, то в своих мучительных трудах я стремлюсь, сохраняя ясность духа, приблизиться к глубокому пониманию некоего идеала.

Уверенность в разумности этих усилий и ясность идеала помогли мне избавиться от того неприятного осадка, который, несмотря на Ваше благожелательное отношение, остался у меня после нашей беседы. Я вовсе не думаю, что Вы желали разгромить меня. Ничего подобного. Однако, надеюсь, Вам известно, какое значение я придаю Вашим словам, а ведь я уже не мальчик и у меня нет юношеского пыла, который помогает продержаться в черные дни уныния. У меня есть лишь вера в свою правоту — слабый аргумент в споре с обществом.

Я отвергаю мысль о своей никчемности, уважаемый мистер Блэквуд, и главным образом вот почему. Данному мне свыше таланту (который признан столь разными людьми как У. Э. Хенли[1] и Бернард Шоу[2], Г. Дж. Уэллс[3] и профессор Гельсингфорсского университета Ирге Хирн[4], художник Морис Грейфенхаген[5] и шкипер, написавший мне письмо о "Тайфуне" во время рейса в Персидском заливе; редактор журнала "Пэлл-Мэлл мэгэзин"[6] и очаровательная пожилая леди из Уинчестера[7]) могли вредить врожденные недостатки моего характера. Но сейчас характер

1. У. Э. Хенли (1849—1903) опубликовал повесть "Негр с 'Нарцисса'" в журнале "New Review".
2. Бернард Шоу (1856—1950) и Конрад относились друг к другу с неприязнью. См. книгу Г. Дж. Уэллса "Опыт автобиографии". Возможно, Конрад имеет в виду какой-нибудь устный комплимент.
3. См. статью Г. Дж. Уэллса (1866—1946) "Изгнанник с островов".
4. Ирге Хир, профессор Гельсингфорсского университета.
5. Морис Грейфенхаген (1862—1931) — иллюстратор "Тайфуна" в "Пэлл-Мэлл мэгэзин ".
6. Джордж Роланд Халкетт (1855—1918).
7. Мисс Харриет М. Кейпс восхищалась романом "Лорд Джим".

мой сформирован, закален опытом. Я видел жизнь в самых худших ее проявлениях и уверен в себе, несмотря на разрушительное действие вечного безденежья.

[244]
ИЛ 7/2000

Я хорошо знаю, что делаю. Брошенное вскользь в последнем письме замечание мистера Джорджа Блэквуда о том, что рассказ начинается не так, как следует, отчасти, быть может, и верное, не идет к делу, если посмотреть на этот рассказ шире. Сочиняя, я прилагал все свое умение (что есть моя первейшая обязанность), и, если учесть концовку рассказа, все предыдущие подробности оказываются уместными, а вся история обретает свое значение и ценность. Таков мой стиль, в основе которого лежат твердые представления. И я никогда не изменял ему. Призываю Вас засвидетельствовать это и спешу привести в качестве примера "Караин" и "Лорда Джима" (где этот стиль упрочился), а также последние страницы "Сердца тьмы", где разговор между мужчиной и девушкой занимает 30 000 слов повествования, убедительно передает целый отрезок жизни и превращает простую историю о человеке, который сошел с ума в Центральной Африке, в нечто значительно большее. "Юность" (которая, к счастью, Вам так нравится) существует только благодаря моей верности этой идее и стилю. Один из благожелательных критиков, говоря о "Юности", с некоторым удивлением заметил среди прочего: "В конце концов, это уже не повесть для мальчишек..."

Вот именно. Из юношеской повести благодаря идее, разработанной в полном соответствии с моим стилем, я и создал "Юность". Хотя это может повредить делу, должен признаться, что никогда не изменю своему стилю. Готов объяснить, почему я считаю, что он верен. Все свои усилия я направлю на то, чтобы лучше прочувствовать его, раскрыть его немалые возможности, достичь более высокого мастерства — иными словами, овладеть ремеслом. Вас, наверное, удивляет, почему я обо всем этом пишу Вам.

Во-первых, потому что уверен в Вашем сочувствии. Надеюсь, что это письмо займет достойное место в той биографии, которую кое-кто из моих юных сторонников обещал представить моим почитателям. Людям

Джозеф Конрад и Герберт Уэллс в 1902 г.

не мешает знать, что в XX столетии, в эпоху Безантов[1], писательских клубов и литературных агентов, существовал издатель, к которому не самый презренный из авторов мог обратиться безбоязненно. Во-вторых, я хочу утвердиться в своем намерении не писать в стол. Это не просто прихоть. В писательском, как и в любом другом ремесле, очень многое делается сознательно, с оглядкой на результат. Поэтому имею смелость утверждать, что моя судьба *не есть* цепь бесконечных и непоправимых ошибок. Я знаю, что можно было бы и не говорить Вам этого, однако хочу сказать ясно, что меня ни в коем случае не следует считать талантливым бездельником, который собирается жить за счет доверчивых издателей. Прошу простить мою вольность, но на фоне безмерно разросшегося Шерлока Холмса моя самоуверенность вполне простительна.

Я медлителен, когда дело касается сюжета. Что тут такого? А у Теккерея не бог весть какое действие разве не тонет в море болтовни? И ему ничего от этого не делается. А сам сэр Вальтер разве не писал выразительные историйки, так мною любимые? Разве Дж. Элиот, столь же непостоянная, как вкусы публики (ни на чем не способной сосредоточить свое внимание даже на пять минут), не пишет в ущерб искренности, правдивости и даже верности сути искусства? Однако это всё великие. Я не сравниваю себя с ними. Я современный писатель и скорее сравнил бы себя с композитором Вагнером и скульптором Роденом, которые в свое время вынуждены были голодать, и с художником Уистлером, о котором с пеной у рта, задыхаясь от презрения и негодования, кричал критик Рёскин[2]. Их признали. Они должны были страдать, потому что были "новыми". Я тоже надеюсь найти свое место среди лучших, пусть в задних рядах. Но все-таки свое. Мои произведения не провалятся хотя бы потому, что в их основе лежит некий определенный замысел, это во-первых, и, во-вторых, потому, что в них нет бесконечного анализа фальшивых переживаний, а сущность самих произведений заключена в действии (как бы странно подобное утверждение ни звучало в наши дни), именно в действии и ни в чем ином. В действии увиденном, прочувствованном и переданном с абсолютной достоверностью моего восприятия (которое есть основа литературного творчества), в действии людей из крови и плоти, живущих в реальном мире.

Таково мое кредо. Время покажет. Это, заметите Вы, во мне говорит чрезмерная гордыня. Ну нет. Я знаю только то, что ничего не знаю. Мне хочется думать, что иные из моих легковесных критиков держатся такого же мнения о себе. Руководствуясь подобным знанием, можно, по крайней мере, научиться смотреть на мир более внимательно. Однако довольно об этом.

Искренне преданный Вам *Джозеф Конрад*

Перевод с английского М. Красновского

1. Сэр Уолтер Безант (1836–1901) – романист, основавший в 1884 г. Общество писателей.
2. Джеймс Уистлер (1834–1903) предъявил иск Рёскину за клеветническую статью. Рёскин, постоянно нападавший с резкой критикой на Уистлера, как-то охарактеризовал один из его ноктюрнов, выставленных в галерее "Гроувнор", как "горшок краски, выплеснутой в лицо публики".

Форд М. Форд
Конрад и море

Эссе

КАК ни странно, когда сейчас, через десять лет после смерти Джозефа Конрада, я сижу в Нью-Йорке и перечитываю его сочинения, больше всего меня трогают "Тайный агент" и другие книги, не имеющие отношения к жизни моряков: "Золотая стрела", "Глазами Запада", "Ностромо" и "Сердце тьмы". Если таким будет окончательный вердикт публики о творчестве этого великого романтического поэта, его бедный дух найдет наконец успокоение. Ведь Конрад постоянно твердил, что море отнюдь не любимая его тема, он отвергал море, как отвергают опостылевшую любовницу, ненавидел его ненавистью щуплого человека, которому в штормовые морозные ночи не раз доводилось сражаться с бесконечными ярдами намокшего каната; он мечтал удалиться от моря и всех связанных с ним воспоминаний и постоянно повторял последние написанные Кристиной Россетти строки:

> Благодаренье Богу, вскоре мы пребудем там,
> Где нету моря.

Присущая Конраду причудливая восточная учтивость побуждала его приветствовать даже смиреннейшего из людей раболепными жестами, нежными прикосновениями, низкими поклонами и восхвалениями, которые прибавили бы гордости и восседающему на престоле русскому царю. Повторяю, я видел, как он разыгрывал этот спектакль в восточном вкусе перед старухой женой рабочего, перед нянькой своего сына, передо мной, перед членом палаты лордов, перед господами Госсом, Гарнетом и Голсуорси, перед родным сыном, мальчиком двенадцати лет от роду, перед бородатым, морщинистым, глуховатым крестьянином, возделывавшим земли Перта, – словом, показывал, что, уважая людей, уважает их всех одинаково. Уверовав, что каждому британцу лестно думать, будто в его жилах течет кровь викингов, Конрад, повинуясь своей прихотливой восточной учтивости, счел своим долгом бóльшую часть творческой жизни расточать хвалы морским просторам, от Тилберийских доков до Палембанга и обратно, не забывая по дороге упомянуть и Сидни-Хедс.

Он удивительным образом недопонимал (и в то же время понимал) характер англичан. Поэтому не мог не начать свой непревзойденный роман "Юность" словами:

> *Это могло случиться только в Англии, где люди и море, так сказать, проникают друг в друга: море входит в жизнь людей, а люди знают многое, а то и все – о море.*

© Л. Сумм. Перевод, 2000

Форд Мэдокс Форд (1873–1939) – английский писатель. Публикуемое эссе взято из книги "Портреты с натуры" (Ford M. Ford. "Portraits from Life". Cambridge, 1937).

Море и впрямь занимает в мыслях среднего англичанина больше места, чем в сознании жителей Иллинойса или российской глуши, однако немногим. Как и сам Конрад, все английские мальчишки моего поколения читали повести Марриета[1] и в возрасте от десяти до двенадцати лет все поголовно были капитанами боевых кораблей, а то и адмиралами флота. Но фантазиями дело и ограничивалось, а нынешние мальчишки не открывают даже "Питера Симпля". И все же, заразившись искусно разыгрываемым энтузиазмом Конрада, англичанин второго, а то и первого десятилетия нынешнего века, полистав какую-нибудь его книгу, выпячивал грудь колесом и ощущал себя суровым викингом, или потомком Дрейка, или сподвижником Нельсона, или, на худой конец, первым помощником, плывущим на австралийском клипере, чьи трюмы набиты шерстью. И словно в отместку этот англичанин требовал, чтобы Конрад писал о море и только о море.

Какая жестокая ирония судьбы! В течение многих лет почти все знакомые Конраду англичане были связаны с морем, и Конрад, с его обостренным национальным чувством, несколько переоценивал ту роль, которую море сыграло в истории английской нации — той англосаксонской мешанины, из которой она возникла.

Большинство приезжих попадает в Лондон с железнодорожных вокзалов Чаринг-кросс или Виктория, отделенных шестью десятками миль от моря и кораблей. Лондон для подобных пассажиров — это Город Лондон. Расспросите их, и, если это люди осведомленные, они признают, что слыхали краем уха, будто где-то за городом, в каком-то забытом богом углу и впрямь обретаются корабли. Так житель Миннеаполиса, перебравшийся в Нью-Йорк, не станет спорить с тем, что где-то возле Бэттери, возможно, и стоят какие-то суда. В итоге оба согласятся, что наряду с Городом Лондоном не стоит забывать Порт Лондон или Порт Нью-Йорк — смотря где происходит дело.

Но Конрад прибыл в Лондон с другой, чудесной его стороны: шестьдесят миль поднимался он между доками — в них бок о бок, словно рыбы в идущем на нерест косяке, теснились морские суда — по устью великой серебристо-серой реки. Его встретил мир роскоши, упорства, отваги, предприимчивости и справедливости, первой и последней добродетелью которого считалось умение спустить судно на воду. Итак, для Конрада столицей стал Порт Лондон, и разве что хорошенько подумав, он бы признал, что следовало бы, возможно, именовать его как Порт и Город Лондон. Конрадовское мировосприятие довольно долго грешило наивностью.

Когда он писал: "Это могло случиться только в Англии", — он выражал то, что было для него в ту минуту высшей истиной. Даже когда, оставив море, он писал "Юность" и "Сердце тьмы" в захолустной деревушке Станфорд-ле-Хоуп, среди глинистых равнин Эссекса, — здесь, недалеко от устья Темзы, он все еще оставался в пределах слышимости пароходных сирен и биения приливов...

Для писателя морская тема опасна вдвойне: когда глядишь на море с берега, оно разрезает горизонт надвое; если же берешься писать о людях, плавающих по морю, твои книги неизбежно будут зачислены в

1. Фредерик Марриет (1792—1848) — английский писатель, книги которого изобилуют описаниями морских сражений и корабельного быта. Автор "Питера Симпля" и "Мичмана Тихони".

разряд детской литературы. Таково последнее оскорбление, нанесенное человечеством капитану Марриету. А ведь Марриет, первый наставник Конрада, писал о море даже меньше его и гораздо больше — о целях и стремлениях людей. Конрад порой — и даже слишком часто — придает мрачной водной стихии человеческие черты; Марриет никогда этого не делал. Для автора "Мичмана Тихони" море было досадной обузой, порой перерастающей в угрозу; для Конрада, стремившегося соблюсти вежливость по отношению к англосаксам — потомкам викингов и клеркам, совершающим воскресные круизы, море нередко (чего уж — слишком часто) превращалось в огромное, всеобъемлющее, антропоморфное божество, грозное, капризное, смеющееся, царственное, вспыхивающее слепым гневом, замирающее в солнечном блеске. Жестокий шторм в "Питере Симпле" отнюдь не уступает буре в "Тайфуне", но никак не походит на каприз человекоподобного божества.

Марриет, понимая, что мир мужчин без женщин — это, по сути, мир без горизонта, старался вовлечь в сюжет возлюбленных своих героев. Конрад, сталкиваясь с той же проблемой, в доброй половине книг вообще не упоминал женщин, зато живописал не имеющие пола могучие волны, приписывая им и яростные порывы мужского гнева, и утонченное женское кокетство.

Но по мере того, как Конрад все более отдалялся от ненавистной стихии, все чаще в его книги проникали женщины и не имеющие отношения к морю мужчины, а в сюжеты его произведений — политические интриги и судьбы вымышленных государств. "Ностромо", великая книга, первая созданная Конрадом после того, как он решительно порвал с морем, стала первым его политическим романом и самой любимой книгой. В ней еще ощущается размах, присущий его раннему творчеству. Чтобы спланировать это произведение, Конраду понадобилась вся человеческая космогония — целая республика с механизмами управления, конституцией, интригами, коммерцией, индустрией, коррупцией — и целая вереница женщин, которую начинает портрет миссис Гулд.

В его политических романах женщины постепенно стали играть все более существенную роль, а именно политический роман все больше занимал его воображение. "Тайный агент" — о международной коммунистической организации с миссис Верлок в роли "бога из машины"; "Золотая стрела" — об интригах роялистов, причем в каждой фразе присутствует Рита, первая любовь писателя; "Глазами Запада" — о русско-швейцарском заговоре нигилистов, над которым, словно туманная дымка над городом, парит блаженно-прекрасный дух мисс Гальдин.

Однако политические мотивы отчетливо проступали и в его ранних морских описаниях малазийских эскапад. "Каприз Олмейера" обличает хищничество голландцев, вывозивших с островов пряности; в "Аванпосте прогресса" содержится разоблачение жуткой и циничной изнанки империализма, а в "Сердце тьмы" так страстно и вдохновенно вскрываются потайные пружины человеческого лицемерия, алчности, кровожадности — и конечно же героизма! — как вряд ли это удавалось какому-нибудь другому автору. В глубине души Конрад оставался приверженцем монархии и аристократии, политическая левизна вызывала у него инстинктивное подозрение, и втайне от самого себя он вкладывал во все свои книги мечту о реставрации Королевства Польского и прежней иерархии, увенчанной безответственными, бесшабашными и сверхутонченными

господами. Только в этом Конрад видел спасение человечества... Но поэт брал верх над польским паном, и он описал голландцев, богатеющих в Малайзии на золоте, каучуке и крови, равно как и мерзкого вампира Леопольда II[1], едва ли не самого подлого ростовщика из тех, чьи деяния когда-либо запечатлевали страницы истории, — все эти кошмары пересилили даже роялистские пристрастия Конрада.

Как бы то ни было, он оставался великим поэтом и великим писателем. По-моему, мало кто обладал таким же даром проникновения в противоречия человеческого характера...

Один мой всеведущий друг на днях взялся разъяснить мне причину упадка интереса к этому великому писателю в Нью-Йорке — городе, который еще пятнадцать лет тому назад покорно лежал у его ног. Он сказал, что с Конрадом покончено, поскольку в его книгах отсутствует описание массовых движений, а мир-де пошел дальше, и книги, посвященные индивидууму, не могут привлечь внимание публики, которая отныне видит мир исключительно с точки зрения этих самых массовых движений. Однако подобный взгляд на мир — очередная фаза, преходящая, как и все другие моды. На время фон в драме узурпировал права героев, но они еще вернутся, король возвратится в свои владения, ведь все мы — короли, хотя бы в стране собственной фантазии.

Кстати говоря, этот мой приятель по-прежнему считает Конрада исключительно "морским" писателем, автором книг, в которых ребячливые персонажи сражаются с тупой стихией. Ведь лучший моряк — человек, не обремененный культурой, а если случается, что романтика юности увлекает вслед за приливами и отливами сверхцивилизованного человека, подобного Конраду, она оборачивается ненавистью, как и вышло с Конрадом.

Конрад, отнюдь не обладавший классовым чутьем в современном смысле слова, к концу жизни сделался настолько чувствителен к общим и универсальным проблемам, что мог бы угодить сколь угодно взыскательным требованиям массовости. Он был буквально одержим "видением огромного города, чудовищного города, чье население превосходит население иных континентов и который в своей рукотворной мощи словно бы неуязвим для небесной улыбки или грозы... Он вмещает в себя любую страсть, любую пестроту красок и тьму, способную поглотить миллионы жизней".

Джозеф Конрад в Нью-Йорке в 1923 году

Теперь уже не Порт, но Город преследовал его. В "Ностромо" перед нами возникает огромное вымышленное государство, где беснуются на воле все человеческие страсти — и низость, и измена идеалам. В книге "Глазами Запада" Россия предстает как живая именно за счет

1. Леопольд II (1835–1909) — король Бельгии. Захватил обширные территории в бассейне реки Конго. Проводил политику колониального угнетения и грабежа.

описания массовых движений, и здесь Конрад во имя польской ненависти к русскому царю допускает даже известную снисходительность к революционерам, которым в конце концов предстоит возвратить Польше утраченную свободу. А еще у нас есть "Тайный агент", великолепный триллер, фоном которому служит сгущающаяся тьма, "способная поглотить миллионы жизней", и над всем царит вечный образ женщины-матери.

Полагаю, сейчас Конрад и впрямь вышел из моды и сделался невыгоден с коммерческой точки зрения. Я слыхал, что принадлежащие ему вещи и сувениры почти не приносят прибыли на аукционах. На днях я обзвонил дюжину книготорговцев и нигде не сумел раздобыть его книги. Даже издатели ответили мне, что не могут предоставить мне полное собрание его сочинений, — правда, потом это все же как-то удалось сделать. Но Конрад к нам вернется. Всех великих людей постигает подобное посмертное забвение, которое длится от тридцати до шестидесяти лет, а то и дольше, когда речь идет о гении. (В 1663 году Сэмюэл Пипс[1] все еще толковал о "Гамлете" как о "варварской и устаревшей пьесе"). Но я уверен, что в конечном счете Конрад возвратится и получит признание не благодаря своим морским декорациям, а благодаря произведениям "сухопутным". "Ностромо" окажется важнее, чем "Лорд Джим", хотя "Негр", единственный "густонаселенный" роман о море, всегда будет считаться произведением настоящего мастера, ибо литературные приемы Конрада всегда были настояны на его неистощимом здравом смысле. Этот человек тратил три дня на две завершающие книгу фразы, и дело тут не столько в сверхскрупулезности, сколько в тонком понимании ремесла — ведь именно последний абзац оставляет послевкусие во рту у читателей, открывает последнюю тайну повести. И не следует забывать о неповторимой наивности Конрада, о страстном, не знающем себе равных любопытстве к мельчайшим подробностям и величайшим вершинам человеческого характера. Тому, кто пожелает стать великим писателем, недостаточно заявить: "Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо", — нужно заслужить право написать на форзаце каждой своей книги: "Человеческое дороже мне, чем все богатства Индии". Конрад заслужил это право.

Перевод с английского Л. Сумм

1. Сэмюэл Пипс (1633—1703) — английский чиновник адмиралтейства. Вел шифрованный дневник, где достоверно отразил эпоху Реставрации.

Бертран Рассел

Джозеф Конрад

Эссе

С ДЖОЗЕФОМ Конрадом меня познакомила наша общая приятельница леди Оттолин Морелл. Это произошло в сентябре тысяча девятьсот тринадцатого года. Много лет я с восхищением читал Конрада, но никогда не отважился бы искать с ним встречи, если бы нас не представили друг другу. В его поместье, находившееся неподалеку от Ашфорда в графстве Кент, я отправился, томясь каким-то беспокойным ожиданием. Удивление — вот что я испытал прежде всего: Конрад говорил по-английски с очень сильным акцентом, а его облик никак не вязался с морем. Он был до кончиков ногтей аристократ, польский шляхтич. К Англии и морю он питал самые что ни на есть романтические чувства. Море влекло Конрада с детства. Когда он заявил родственникам, что избрал стезю моряка, они попытались настоять на том, чтобы он поступил в австрийский флот. Но он мечтал о приключениях и тропических морях, о таинственных реках, окруженных темными лесами, а служба на австрийских кораблях конечно же ничего такого не сулила. Намерение Конрада получить место на английском торговом судне ужаснуло его близких, однако переубедить юношу оказалось невозможно.

В своих книгах Конрад предстает перед нами строгим моралистом, человеком, который отнюдь не сочувствует революционерам. Почти обо всем мы с ним судили по-разному, но в чем-то самом главном наши убеждения поразительно сходились.

У нас сложились совершенно особые отношения — ничего похожего в моей жизни больше не было. Мы редко виделись, не встречались, бывало, годами. Внешне жили совсем по-разному, однако разделяли определенный взгляд на человеческую жизнь и человеческую судьбу, и это сблизило нас с первой встречи. Думаю, простительно процитировать здесь отрывок из его письма, которое он прислал мне вскоре после нашего знакомства. Я понимаю, что приводить подобные слова нескромно, но уж очень точно выражается в них то, что и я чувствовал по отношению к нему: "...глубокое, исполненное восхищения чувство, которое останется неизменным, даже если Вы никогда не увидите меня вновь или забудете о моем существовании уже завтра, usque ad finem[1]".

Из написанного Конрадом я больше всего люблю страшную повесть под названием "Сердце тьмы", в которой говорится о слабом человеке —

© М. Красновский. Перевод, 2000

Бертран Рассел (1872—1970) — английский философ, логик, математик, общественный деятель. Публикуемое эссе взято из книги: "Портреты по памяти" (Bertran Russell. "Portraits from Memory and Other Essays". London, 1956).

1. До бесконечности (*лат.*).

идеалисте, обезумевшем от опасностей тропического леса и одиночества, которое он ощутил среди дикарей. Эта вещь, как мне думается, лучше всего раскрывает жизненную философию Конрада. Не знаю, пришелся ли бы ему по душе такой образ или нет, однако цивилизованная и хоть сколько-нибудь нравственно приемлемая жизнь, по-моему, представлялась ему опасной прогулкой по едва застывшей лаве, которая в любой миг может разверзнуться и поглотить неосторожного. Разнообразные формы крайнего и столь свойственного человеку безумия были очень хорошо известны Конраду — это и убедило его в необходимости порядка. Пожалуй, вопреки Руссо Конрад полагал, что "человек рождается в оковах, но может стать свободным". Не слепые порывы и бездумные поступки ведут человека к свободе, но умение подчинить их главной цели — так, мне кажется, сказал бы Конрад.

Равнодушный к политической борьбе, он, однако, имел политические пристрастия. Самыми сильными из них были любовь к Англии и ненависть к России, что нашло свое отражение в "Тайном агенте"; ненавистью к России, и царской, и революционной, еще больше проникнут роман "Глазами Запада". Такая нелюбовь к России была для поляка традиционной. Она зашла так далеко, что он не смог принять Толстого и Достоевского и как-то раз признался, что из всех русских романистов восхищается только Тургеневым.

Если не считать любви к Англии и ненависти к России, политика его не занимала. Его интересовала душа человека, столкнувшегося с безразличием природы и враждебностью себе подобных, а также борьба со страстями — возвышенными ли, низменными ли, но равно ведущими к гибели и разрушению. Больше всего он размышлял об одиночестве. В одном из самых характерных его произведений, повести "Тайфун", капитан — простая душа — спасает корабль за счет своего непоколебимого мужества и суровой решимости. Но вот шторм миновал, и он пишет длинное письмо жене, где рассказывает о происшедшем. Рассказывает, как если бы не сделал ничего необычного — лишь выполнил свой долг. Однако у читателя, которому известно все, что пережил и совершил капитан, складывается совсем другое впечатление. Тайком вскрывший конверт стюард — единственный человек, который знает содержание этого письма; жена не дочитывает его до конца, посчитав скучным.

Кажется, воображением Конрада неотступно владели мысли об одиночестве и страхе перед чуждостью мира. Об этом страхе написаны "Изгнанник" и "Сердце тьмы", им наполнена повесть "Эми Фостер" — невероятно трогательная история словацкого крестьянина, корабль которого терпит крушение на пути в Америку. Уцелев после кораблекрушения, герой попадает в одну из кентских деревушек. Все в деревне боятся чужака и всячески досаждают ему, лишь Эми Форстер, глупая и некрасивая девушка, приносит несчастному еду и в конце концов становится его женой. Но когда муж в горячечном бреду начинает говорить на своем родном языке, она хватает ребенка и убегает — ее пугает его чуждость, и он умирает в одиночестве. Порой я думаю, что Конрад, подобно этому крестьянину, был очень одинок среди англичан и лишь благодаря невероятным усилиям воли справлялся с этим чувством.

Мировоззрение Конрада никак нельзя назвать современным. В современном мире существуют две философии: одна, восходящая к Рус-

со, отметает понятие порядка как нечто избыточное, другая нашла свое выражение в тоталитаризме, где порядок насаждается сверху. Конрад, приверженец древней традиции, признавал лишь самодисциплину. Он презирал разболтанность, но ненавидел порядок, навязываемый извне.

Мне были очень близки подобные убеждения. Во время нашей первой встречи разговор с каждым словом становился все более и более откровенным. Казалось, мы оба проходили сквозь толщу поверхностных фраз, пока не достигли сокровенного пламени правды. Ничего похожего я больше в жизни не испытывал. Мы смотрели друг другу в глаза, потрясенные и опьяненные тем, что вступили вместе в заповедную зону. Нас переполняло чувство, похожее на страстную любовь — такое же сильное и всеохватное. Я ушел потрясенный и долго не мог прийти в себя.

Все годы, пока шла война и после, во время моего пребывания в Китае, откуда я вернулся в 1921 году, я не получал от Конрада никаких известий. В том же году родился мой первенец, и мне хотелось, чтобы Конрад стал его крестным отцом, но, по возможности, без официальной церемонии. Я написал ему: "С Вашего позволения я желал бы назвать своего сына Джоном Конрадом. Моего отца звали Джоном, моего деда звали Джоном и моего прадеда также звали Джоном; а к имени Конрад я отношусь с глубоким уважением". Он благосклонно отнесся к моей просьбе и подарил сыну чашку, как и принято в подобных случаях.

Мы редко виделись: бóльшую часть года я проводил в Корнуолле, а здоровье Конрада все ухудшалось и ухудшалось. Правда, я получил от него несколько чудесных писем; особенно замечательным было то, где говорилось о моей книге, посвященной Китаю. Конрад писал: "Мне всегда нравились китайцы, даже те, что пытались убить меня (а заодно и других) во дворе особняка в Шантабуне; и даже тот малый (он, правда, поменьше), который в Бангкоке украл ночью все мои деньги, но перед тем, как исчезнуть в дебрях Сиама, почистил и аккуратно сложил мою одежду. Китайцы вообще сделали мне немало добра. И если не считать беседы с секретарем Его Высочества Цзеном на террасе случайной гостиницы и поверхностного знакомства с поэмой «Невежественный китаец», это все, что я знал о китайцах. Но по прочтении Вашей необыкновенно интересной книги меня посетили самые мрачные мысли о судьбе этой страны. Такой взгляд на будущее Китая, — продолжает Конрад, — никого не оставит равнодушным, — и тут же добавляет, говоря о моих надеждах на международный социализм: — Смысл подобных вещей мне не ясен. Ни книги, ни разговоры не смогли победить мою уверенность в том, что миром правит рок. И хотя человек сумел подняться в воздух, — говорит далее Конрад, — он не парит, как орел, а летает, как жук. А Вы,

Бертран Рассел. Джозеф Конрад

должно быть, замечали, как отвратителен, смешон и беспомощен жук в полете". В этих пессимистических высказываниях было куда больше здравого смысла, чем в моих вымученных и неверных надеждах на счастливое разрешение китайского вопроса. Необходимо сказать, что будущее только подтвердило его правоту.

Это было последнее письмо. Встреч тоже больше не было. Как-то раз я увидел Конрада на улице: он увлеченно беседовал с незнакомым человеком, стоя у дома моей бабушки, который после ее смерти превратили в артистический клуб. Не желая прерывать серьезный, как мне показалось, разговор, я прошел мимо. А после смерти Конрада сильно пожалел, что не отважился тогда подойти к нему. Дома этого уже нет – его разрушили во время последней войны. Имя Конрада, полагаю, сейчас стало забываться. Однако его благородный образ горит в моей памяти яркой звездой, увиденной словно на дне колодца. Мне очень хотелось бы донести ее свет и до других.

Перевод с английского М. Красновского

Стефан Жеромский

Джозеф Конрад

Эссе

ОДИН из величайших мастеров слова — Джозеф Конрад Коженёвский завершил свой земной путь.

Его жизнь и писательский труд свидетельствуют о могучей, поистине беспримерной силе воли. Семнадцатилетним юношей он покинул родную землю, город, глубоко погруженный в рутину прошлого и лишь изредка сотрясаемый тревогами общественной мысли, ступил на палубу иностранного судна, избороздил дальние моря и океаны и стал моряком, матросом, офицером и, наконец, капитаном корабля. Уже будучи взрослым, он отважился писать на языке, которого в детстве совсем не знал, на языке, с которым познакомился лишь в зрелые годы, и стал первоклассным прозаиком, великолепным стилистом, мэтром и авторитетом для тех, кто владел тайнами этого языка, безупречно отшлифованного за долгие столетия. Конрада можно без преувеличения назвать завоевателем, конкистадором, бесстрашным властелином духовных богатств, которые он стремился познать, дабы сделать их всеобщим достоянием и претворить в новые ценности. Во множестве замечательных произведений Конрад поведал людям, незнакомым с морской стихией, о том, почему он покинул родину, что пережил среди бурных волн безбрежного океана и что видел на далеких островах "twixt land and sea"[1]. Это сказания свидетеля нашего времени, которому в годы его бурной юности довелось видеть земной шар в разных ракурсах, при самом разном освещении солнца и луны, который мерил земной круг и в тропическую жару, и при бледном мерцании северных звезд, который в течение нескольких десятилетий боролся с неистовством дикой экзотической природы, неизменно приглядываясь к различным проявлениям варварства и подлости человека и к бесконечным людским несчастьям. Море было для Конрада мечтой детства, и море стало главным содержанием его повествований.

С непревзойденным мастерством передал он все великолепие и коварство океана. В самых знаменитых его произведениях море — сцена, на которой мелькают трагические, смешные и грустные тени актеров. Превосходная в своей простоте, содержательности и честности книга "Зеркало морей" отражает все самое правдивое и существенное, что переживает, чувствует и думает брошенный в морскую бездну чело-

© Г. Языкова. Перевод, 2000

Стефан Жеромский (1864—1925) — польский писатель. Публикуемое эссе взято из книги "Элегии и прочие заметки на литературные и общественные темы" (Stefan Żeromski. "Elegii i inne pisma". Warszawa—Krakow, 1928).
Печатается с небольшими сокращениями.

1. "Между сушей и морем" (*англ.*) (1912) — слова, ставшие названием сборника новелл Конрада.

век. Говорят, будто этот чужеземец был первым, кто заставил прирожденных мореплавателей-англичан по-новому взглянуть на море. Трудно судить, так ли это, но верно одно: он поведал им легенды, которых они не знали, отобразил сокровенные чувства и тайны сердца, породнившегося с рассекающим морские волны кораблем. Кто не помнит его рассказа о судне, наделенном дикой, бешеной, вскормленной морской стихией душой? Оно бросается на портовые сооружения, сокрушая и превращая их в груду обломков, подпрыгивает, наносит удары, словно взбесившийся пират, с непонятной яростью силясь стряхнуть с себя ненавистных людей.

Джозеф Конрад любил и воспевал корабли. Для него судно — живое, дорогое и почитаемое существо, его родной дом и странствующая частица суши, частица всего того, что осталось вдали и ждет его возвращения, его хозяин и друг, благодетель и защитник. После многих лет вынужденного пребывания на суше старый моряк произнес лишь одно слово, завидев в порту бесчисленные пароходные трубы и мачты, но в этом возгласе была заключена вся его жизнь: "Корабли!"

Разбросанное по всем морям земного шара морское товарищество, в сущности, было отчизной Джозефа Конрада. Во время долгих путешествий к бесконечно удаленным берегам он, внимательный и острый наблюдатель, почитатель моря и знаток его норова и капризов, постиг морскую душу во всей ее глубине и запомнил все, что моряки говорили и делали. Так возникла несравненная галерея портретов, написанных с реальных людей: капитан парохода "Нянь-Шань" Маквир (повесть "Тайфун"); спасающий разбитую барку капитан из романа "Лорд Джим", пьяница, вроде бы только путающийся у всех под ногами, а по сути, самый настоящий герой. Портреты моряков с парусника "Нарцисс", судов "Патна", "Тремолино" и других — вот подлинная семья, вот народ поэта. Он помнит их всех, уважительно относится к каждой их черте: к порокам и странностям, к мечтам и глубоко затаенным страстям, — он любит их жизнь, их трудные дни и беспокойные ночи. Он любит каждого моряка в отдельности и всех вместе, где бы они ни странствовали.

В самом начале войны, в 1914 году, я имел честь познакомиться с Юзефом Конрадом Коженёвским и, как мне казалось, обрести его расположение; однажды после долгого разговора эта благосклонность как будто достигла предела, но чувствовалось, что чего-то все же не хватает. И тут знаменитый писатель наклонился ко мне, хлопнул по колену, многозначительно подмигнул, и шепнул на ухо: "О-го-го! А ведь пан наверняка был моряком!"

К сожалению, этого достоинства у меня не было, а потому поблекли и другие. Некоторые, так сказать, сухопутные произведения Конрада, к которым относятся "Тайный агент", "Приключение", в какой-то мере "Ностромо" (прекрасный роман о серебряных рудниках в Южной Америке), лишены этой вышеупомянутой "портретности", все они как бы написаны под чьим-то влиянием: вроде бы на подлинные шедевры, но шедевры уже известные. В этих книгах Джозеф Конрад меньше похож на себя — в них мало говорится о честном и достойном труде моряка и куда меньше подлинной поэзии.

На мой взгляд, лучшим и самым необычным есть и всегда будет роман "Лорд Джим". Главное в нем — терзания духа в застенках совести, которая гонит человека по свету, от моря к морю, от залива к заливу, с

перешейка на затерянные в океане скалистые острова, не давая утихнуть тревоге и внутренней боли. Поистине великое творение!

Один из самых проницательных и тонких польских эстетов Вильям Гожица[1] заставил меня задуматься о тайне "Лорда Джима": говоря со мной о Конраде, он спросил, не кажется ли мне, что этот роман является невольной исповедью. Нет ли в этой притче о несчастливом юноше, который скитается по чужим краям в надежде утишить голос совести, скрытого намека на совсем иные духовные искания и муки? Не может ли быть так, что эта искусно построенная история рассказывает о предательстве иного свойства, о нарушении и забвении обязательств совсем другим человеком?

Ныне, когда эта победоносная, богатая событиями, прекрасная жизнь уже завершена, когда в трудах писателя уже ничего нельзя изменить, пора, наверное, хотя бы бегло, в общих чертах познакомиться с ее истоками, с ее польским началом. Полагаю, что, если вернуться к прошлому, показать его необыкновенное благородство, достоинство и красоту, многое станет понятнее. Во всяком случае, даст хоть какой-то ответ на вопрос Вильяма Гожицы.

Жизнь Джозефа Конрада, моряка, офицера английского торгового флота, романиста и публициста, охотно читаемого в обоих полушариях англосаксонского мира, в общем, достаточно хорошо известна и наверняка будет еще изучаться и переосмысляться заново. Постепенно откроются все истоки его творчества и испытанных им влияний. Однако его польское начало представляет для Запада своего рода загадку, ибо Джозеф Конрад и сам стремился в какой-то мере укрыть его в тени забвения, лишь изредка вспоминая в своих публицистических статьях о той части земного шара, где находится его родина. Между тем английские критики также указывают на таинственные, славянские, сознательно скрываемые им самим черты его души, на влияние родного языка, давшего мощный импульс для поиска нового выразительного стиля, ритмики, образности и силы, которые так характерны для возвышенной и щедрой английской прозы Конрада. Критик Ричард Кёрл, автор монографии о Конраде, столь высоко оценивает второй период творчества писателя, что сравнивает его с Гюставом Флобером, мастером из мастеров, безмерно обогатившим французскую прозу. Он пишет: "Музыкальность прозы Конрада — отнюдь не только развитие и расширение возможностей английской прозы, это вообще новая мелодика, романтическая, захватывающая музыкальность иной культуры".

Думается, у нас есть лишь один способ оценить влияние Польши на душу английского писателя: узнать мир его родных и близких, который был хорошо знаком семнадцатилетнему юноше. Быть может, сильные, глубоко трагические семейные переживания и стали мощным толчком, заставившим Конрада устремиться на поиски чего-то нового и навсегда покинуть родину. Да и не он один рвался из тогдашнего застенка. Поэт и пламенный певец январского восстания Мечислав Романовский писал в отчаянии:

Сокол, орел! Дайте мне крылья!
Душен мне дол с пеплом и пылью!
С вами я лучше ввысь полетел бы,

1. Вильям Гожица (1899—1959) — польский литератор, переводчик, выдающийся театральный режиссер.

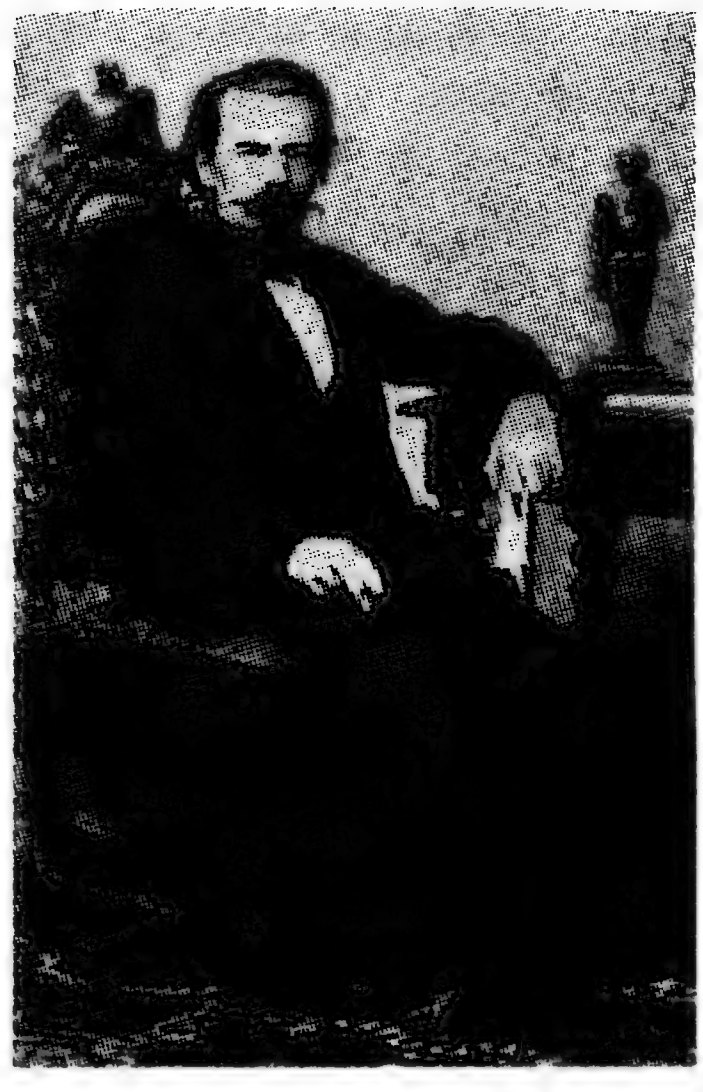
Молнией в туче жить я хотел бы!
Тут, как в могиле, сердце томится.
Сбросьте мне крылья, гордые птицы![1]

Что уж тут говорить о юноше, который видел вокруг себя одни могилы!

Кроме автобиографических заметок Джозефа Конрада, разбросанных в публицистических статьях "Визит в Польшу", "Первые вести" (сборник "Заметки о жизни и литературе"), в книгах "Зеркало морей", "Из воспоминаний", и кроме хранящихся в Ягеллонской библиотеке, а также среди тайных актов (которые недавно были опубликованы в России и теперь находятся в "Цитадели"[2]) и писем его родителей к родным и друзьям, самым богатым источником сведений о роде Коженёвских и малолетнем Теодоре Юзефе Конраде Коженёвском являются "Воспоминания" его дяди, брата матери, Тадеуша Бобровского, изданные во Львове в 1900 году. В первом томе этих воспоминаний обычно осуждающий "красных" и всякого рода радикалов Тадеуш Бобровский дает такой портрет отца Джозефа Конрада – Аполло Наленч Коженёвского:

"Порывистый, открытый, искренне любящий людей, но неумелый, порою даже беспомощный в практических делах. В своих суждениях о людях он был неумолим и на словах, и на бумаге, но в повседневной жизни, пожалуй, был даже слишком снисходителен – по-видимому, для равновесия, – о чем я ему не раз говорил, а может еще и потому, что у него двойная система отсчета: одна для людей маленьких, простаков, а другая – для великих мира сего... Сердце у него было мягкое и отзывчивое, а, может, еще и потому, переполненное сочувствием к бедным и угнетенным... Он обладал незаурядным поэтическим даром, его по праву можно отнести к числу самых талантливых учеников Красинского (стоит вспомнить "Семь слов на кресте", остававшиеся в рукописи), а его переводы из Виктора Гюго и Гейне заслуживают названия выдающихся, так великолепно в них воссозданы стиль и фактура первого и горькая ирония второго. Его оригинальные произведения – пьесы "Комедия" и "Ради наживы" – пользовались немалым успехом у читающей вольнолюбивой публики..."

Аполло Наленч Коженёвский, отец Джозефа Конрада



Во втором томе "Воспоминаний" приводится, в свою очередь, и характеристика матери Конрада:

"Старшая сестра моя отличалась большой красотой, великосветским обхождением, возвышенным умом и сердцем, она была гораздо образованнее обычных наших дам, однако характер у нее был сложный и угодить ей было нелегко: в ту пору она больше требовала, чем могла и хотела делать для других... Только позднее, когда она соединила свою судьбу с любимым че-

1. Перевод С. Кирсанова.
2. Цитадель (*польск.*) – варшавская тюрьма. В настоящее время – музей.

ловеком, черты ее ума и сердца, чувства и рассудка развились в полной мере. В самых тяжелых жизненных обстоятельствах, связанных с трагедией народа и общества, она сумела выстоять и до конца сохранить верность своему гражданскому долгу; будучи любящей матерью и женой, разделила изгнание мужа и снискала глубокую признательность и уважение как среди своих, так и среди чужих, достойно представив польскую женщину.

В июле 1855 года моя сестра Эвелина Бобровская, — продолжает далее Тадеуш Бобровский, — вышла замуж за Аполло Коженёвского. Сначала молодые поселились в Лучинце, куда переехала и мать Эвелины Теофилия Пильховская. Через год Аполло Коженёвский обосновался с женой в деревне Деребчинка, которую арендовал у Теодора Собаньского. Здесь 6 декабря 1857 году появился на свет Теодор Юзеф Конрад Коженёвский"[1].

Во втором томе "Воспоминаний" Тадеуш Бобровский рассказывает о дальнейшей судьбе этой супружеской пары и их малолетнего сына:

"Первой жертвой стал Аполло Коженёвский. Сблизившись со сторонниками освободительного движения[2], он отправился в Варшаву, якобы для литературных занятий, даже объявил подписку на ежемесячный журнал "Слово" — нечто вроде "Ревю де дё монд". Он занял видное место в варшавском подполье, однако вскоре, в октябре 1861 года, был арестован, заключен под стражу и осужден..."

Далее следует подробное описание пути в ссылку Аполло Коженёвского, его жены и их сына, маленького Конрада, — сначала в Пермь, а затем в Вологду. На предпоследней станции под Москвой ребенок расхворался, но жандармы не разрешили задержаться и "отсрочить ссылку". Пока доехали до Нижнего Новгорода, пани Коженёвская так ослабела, что на остановках ее выносили из кибитки на руках.

"В Вологде в тогдашней польской колонии были главным образом ксендзы из Королевства и Литвы, — пишет Тадеуш Бобровский, — сестра моя оказалась двадцать второй, а ребенок — двадцать третьим ссыльным".

Эвелина Бобровская, мать Джозефа Конрада

Со времени пребывания в Вологде сохранились письма Аполло Коженёвского к близким, отправленные на родину. Частично они опубликованы в журнале "Тыгодник илюстрованы", частично хранятся в Ягеллонской библиотеке. Эти письма — подлинное сокровище польской литературы. Главное действующее лицо их — маленький, шестилетний мальчик Конра-

1. Тут допущена неточность. В документе, заключающем краткую историю семьи Коженёвских, Тадеуш Бобровский пишет: "Теодор Юзеф Конрад Коженёвский родился в Бердичеве 3 декабря 1857 года".
2. Имеется в виду конспиративная деятельность по подготовке январского восстания 1863 года.

дек, изгнанный в край цинги и стужи. Тревогой и беспокойством о нем проникнута каждая грустная пожелтевшая страница...

В 1863 году Коженёвским разрешили перебраться из Вологды в Чернигов.

"Моей сестре, – пишет автор "Воспоминаний", – которая считалась лицом, сопровождающим мужа, было разрешено "по семейным обстоятельствам" на несколько месяцев приехать ко мне. Ее здоровье, уже тогда, видимо, сильно подорванное, требовало прежде всего длительного отдыха, а затем и заботливого лечения, но ни того ни другого осуществить не удалось, ибо спустя несколько месяцев тогдашний наш правитель генерал-губернатор Безак ни под каким видом не разрешил сестре остаться дома, а на тот случай, если бы она вздумала оправдываться болезнью, поручил исправнику отправить ее в больницу в Киев, о чем, дабы избежать этого крайнего обстоятельства, мне доверительно сообщил сам исправник. Поэтому сестре пришлось в первые дни осени уехать в сопровождении матери в Чернигов.

Дядя мой Адольф Пильховский, сосланный осенью 1861 года в так называемом "административном порядке" (то есть без суда, причем лицам этой категории предписывалось в течение трех лет распродать все имущество, как водится, за бесценок, был направлен в Оренбург", – продолжает далее невозмутимый narrator possessionatus[1]".

По недостатку места мы не можем, к сожалению, следовать за ним и рассказать о том, что он пишет о младшем представителе семьи, родном брате матери Джозефа Конрада – Стефане Бобровском, бесстрашном политическом деятеле, члене Народного правительства, заговорщике и эмиссаре, погибшем 2 апреля 1863 года на дуэли с неким Грабовским. Бобровский, двадцатидвухлетний юноша, гений восстания, один из его преждевременно угасших светочей, погиб от руки соотечественника на полпути к цели.

Его гибель, – сообщает Тадеуш Бобровский, – мы держали в секрете от матери вплоть до осени 1863 года; но во время переезда из Киева в Чернигов она случайно услышала на станции, как один из попутчиков сказал другому: "Сдается мне, что это мать убитого на дуэли", – и тут несчастная узнала о трагедии! Как-то осенью 1873 года – дело было уже в Кракове – незнакомая женщина принесла ей окровавленную рубаху, прядь волос и прощальное письмо.

Джозеф Конрад в четырехлетнем возрасте в Чернигове

Мать Джозефа Конрада умерла в Чернигове, отцу разрешили выехать за границу. Он переехал в Краков и здесь в 1869 году умер. Опекуном малолетнего Конрадека стал дядя Тадеуш, к которому Конрад всегда испытывал самые сердечные чувства и которому посвятил свой первый роман "Каприз Олмейера". Во всяком случае, об этом свидетельствует посвящение "Т. Б."

1. Рассказчик – богатый землевладелец (*лат.*).

О своем пребывании в Кракове, о первой школе на Флорианской улице, о болезни, смерти и похоронах отца рассказывает сам Конрад – с горечью, но очень сдержанно. Отрывки из этого рассказа я привел в предисловии к первому тому собрания его сочинений. По-видимому, когда он писал, пред ним снова предстал этот зачарованный круг побежденного рыцарства: отец с матерью, брат матери, два брата отца, наконец, последний, самый младший – Стефан Бобровский. Хорошие и плохие, добродетельные и ущербные, ангелы этой могучей и проигранной битвы стояли перед ним полные скорби, опершись на свои мечи. Именно этот круг, этот лук скорби, чудовищно, до предела натянутый и с великим трудом удерживаемый, кажется, и вытолкнул его некогда из отчизны.

В очерке "Первые новости", написанном в 1918 году, Джозеф Конрад рассказывает своим читателям, как библиотекарь Ягеллонской библиотеки (наш замечательный земляк, один из выдающихся, преждевременно угасших умов, доктор Юзеф Коженёвский) сообщил ему во время пребывания в Кракове в 1914 году, что в библиотеке хранится довольно толстая пачка писем Аполло Коженёвского, в которых частенько речь идет и о нем, малолетнем Конрадеке. Эти письма, написанные между 1860 и 1963 годами, были адресованы близкому другу, в чьих бумагах они и были обнаружены. В библиотеке Джозеф Конрад был со старшим сыном, по чьему адресу он замечает: "The attention of that young Englishman was mainly attracted by some relics of Copernicus in a glass case"[1]. А о себе говорит: "I saw the bundle of letters..."[2] Вот так, в ту самую минуту, когда он прижимает к груди пачку отцовских писем – последнее послание былого круга, – он именует своего сына англичанином...

Ныне все это стало прошлым и обратилось в прах. В Джозефе Конраде мы чтим великого писателя и прекрасного человека. Да будет ему пухом земля, которую он выбрал и которая после тяжких трудов дала ему успокоение. Мы возлагаем на его могилу цветы наших свободных теперь полей, цветы, выросшие на останках мучеников и ангелов свободы, с верой, что чтим его достойно.

1924

1. Внимание этого молодого англичанина было главным образом сосредоточено на стеклянной витрине, где хранились оставшиеся после Коперника раритеты (*англ.*).
2. Я увидел пачку писем... (*англ.*).

Мария Кунцевич
Открытие Патюзана

Эссе

МОЯ первая встреча с Конрадом состоялась в 1915 году во Влоцлавеке благодаря панне Жанетте.

Панна Жанетта шестью годами раньше меня стала читать романы, совершать путешествия на скерневицком поезде и пароходе фирмы "Фаянс", любоваться заходом солнца. Она окончила курсы Милковского в Варшаве.

Шла первая мировая война. Во Влоцлавеке это выглядело примерно так: если к вечеру слышался грохот снизу, бабушка переставала молиться: "Ага, пушки! Не иначе как москали бьют по немцам из-за Вислы". А то вдруг из кухни, запыхавшись, вбегала кухарка: "Ах Боже мой, Пресвятая Богородица, какой-то казак чуть не въехал на кобыле в лавку мясника. Прямо по ступенькам. Да не успел, немцы уже у самой "Кокошки" (так называлась окраина). В конце концов немцы город взяли. Самое большое здание – Польскую торговую школу – превратили в госпиталь. Полковой аптекарь подстрелил курицу школьного сторожа. Директор школы (то был мой отец), облачась во фрак, отправился с жалобой к новоиспеченному советнику. Немец-советник, примеряя новую для себя роль "культуртрегера", поехал к полковому лекарю. Немецкий врач – генерал, натянув белые перчатки, – явился с торжественными извинениями к директору польской школы. В мире шла война, но влоцлавский мирок оставался прежним. По воле Провидения, враги Польши сами истребляли друг друга, и дамы из женского клуба твердили, что все остальное Комендант[1] вскоре уладит ко всеобщему удовольствию. Поэтому мы с панной Жанеттой все так же неспешно прогуливались по бульвару в тени куявского собора, любуясь Вислой на манер героев Жеромского.

Но однажды она протянула мне французскую книгу в мягкой обложке. "Лорд Джим", перевод с английского, – сказала она и, понизив голос, добавила: – Конрад недавно был в Закопане, но вернулся обратно в Англию". "Как это? Во время войны?" – удивилась я. "Карьерист! – скривила губы Жанетта. – У таких всегда свои люди в посольстве..." Я украдкой взглянула на имя: признаться, что впервые слышу о нем, я сочла неприличным.

Вернулась домой и принялась за чтение. Читала весь день, всю ночь, еще день, еще ночь. О Боже! Только теперь для меня началась мировая война. Потому что именно он, неведомый прежде Конрад, открыл мне мир и человека. Человека tout court[2]. Не поляка, москаля или немца.

© Г. Языкова. Перевод, 2000

Мария Кунцевич (1897–1989) – польская писательница. Публикуемое эссе взято из сборника "Живой Конрад" (Maria Kuncewicz. "Konrad żywy". London, 1957).

1. Речь идет о Юзефе Пилсудском (1867–1935).
2. Как такового (*франц.*).

Человека, который борется с миром. Не с Россией или Германией, а с целым миром. И самое удивительное — с миром, который находится не на карте, а в его собственном сердце.

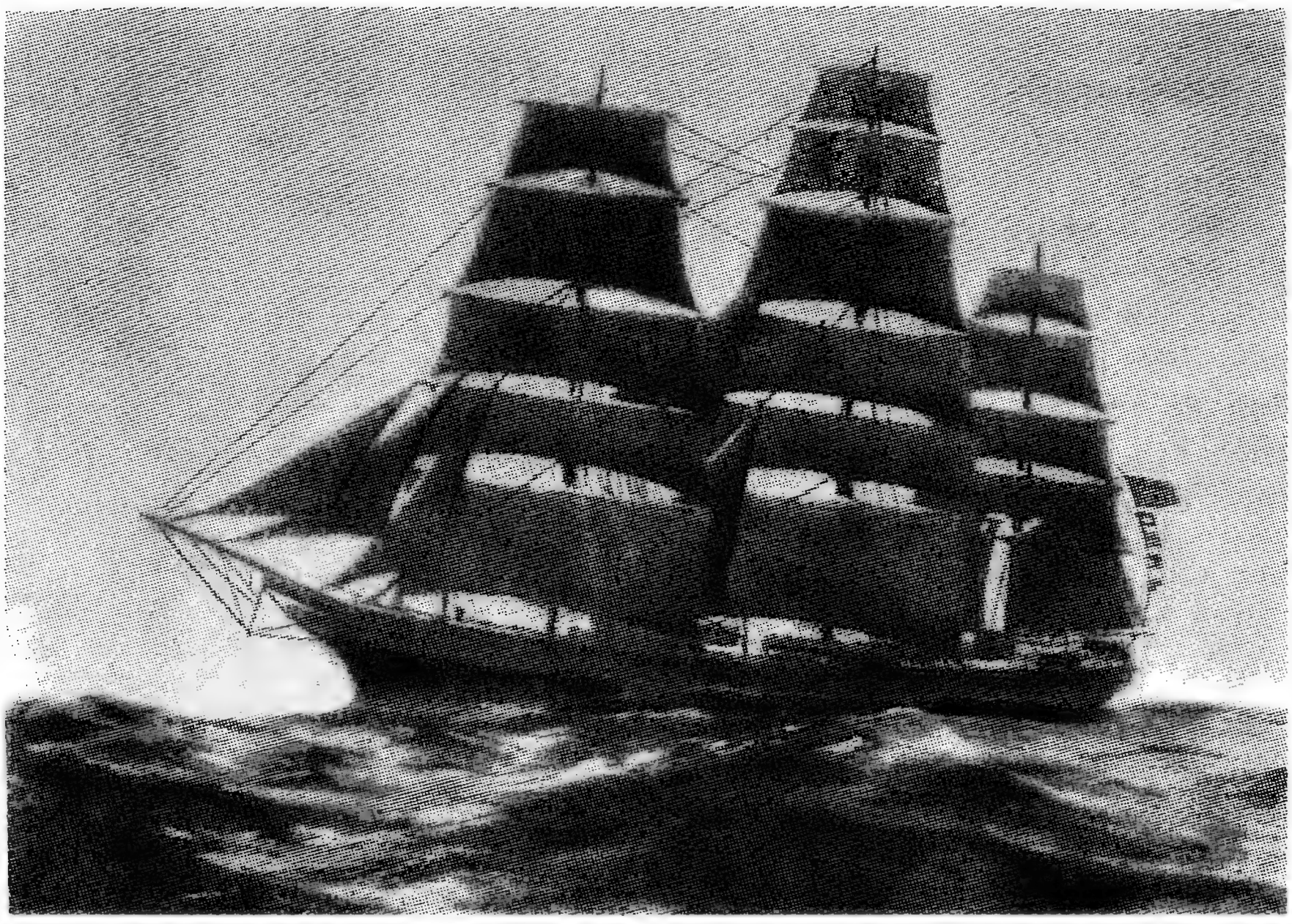
Когда через два дня мама сказала: "Ну, наконец-то ты опомнилась от этого чтения", — я удивилась. От чтения? О нет, от путешествия! Путешествия в Патюзан — страну, которая принадлежала только мне. То было путешествие в одиночество. Даже не путешествие, а военная кампания. Завоевание внутренних миров (о которых я прежде не имела понятия), где цену и характер победы человек устанавливает сам.

Помню, как, возвращая панне Жанетте "Лорда Джима", я робко спросила: "А зачем этот англичанин приезжал в Закопане?" — "Коженёвский? Англичанин! — возмутилась панна Жанетта. — Он поляк! Только пишет по-английски, под псевдонимом". Помню охватившее меня чувство гордости: поляк... В Патюзане... И вслед за этим горечь: карьерист.

Прошло лет десять, а может, и больше. Я жила в Варшаве. Мы стали независимыми. Свободными от комплексов. Обрели международный статус. В Варшаве процветал ПЕН-клуб, а в нем — Анеля Загурская. Одним из основателей ПЕН-клуба был Голсуорси, нобелевский лауреат и большой поклонник Конрада. Герберт Уэллс, получивший премию Антония Слонимского, тоже был большим поклонником Конрада. К числу почитателей Конрада принадлежал и обладатель множества наград Андре Жид. Так что Конрада в Польше амнистировали. Правда, к тому времени он уже умер и больше не делал "карьеры".

Племянница Конрада Анеля Загурская породнила его с польской речью. Наверное, нигде в Европе нет таких переводов Конрада. Как это ей удалось? Немолодая, голубоглазая старая дева, необыкновенно элегантная и вежливая, никогда не покидавшая пределы тесных городских комнаток и шляхетского круга, сочетавшая в себе фривольность с бо-

Парусник "Торренс", на котором Джозеф Конрад плавал первым помощником в 1891—1893 годах



Мария Кунцевич. Открытие Патюзана

гобоязненностью, дружившая с вольнодумцами и прелатами, — экзотика дальних странствий, морские бездны и шквалы были ей так же чужды, как резеде морские анемоны.

[264]
ИЛ 7/2000

В те годы после более чем векового перерыва мы возвратились на Балтику, в провинцию, к холодному морю. Вообще-то возвратились к нулю. Поляк, который "сеет и пашет, а на море носа не кажет", даже при Ягеллонах не приобщился к морской традиции. С помощью обитателей полуострова Хель, а также морского (и речного) пароходства морской словарь в те годы только-только начал проклевываться. Я так и вижу, как пани Анелька в шляпке с вуалеткой цвета резеды сидит на очередном приеме у какого-нибудь морского (или речного) волка где-нибудь в военном министерстве или морском департаменте при министерстве торговли и просит что-то прояснить, помочь найти технический термин... Вижу, как она роется в старых словарях и ищет слова на букву "М" (море), "О" (океан) и "Д" (джунгли)... А потом задумчиво глядит на крыши домов по другую сторону улицы Хожей (а может, Вильчей) и вдруг торопливо хватает вечное перо (или нет, садится за машинку "ундервуд"), чтобы скорее записать то, что так долго искала и что отдавало бесконечностью и скукой, чужим портом, тропическими лесами, победой одиночки и ностальгией. То, чего нет ни в словарях технических терминов, ни в словарях польского или английского языков. То, что называется магией единственно верного слова на единственно верном месте.

Каким образом резедово-лавандовая Анеля Загурская нашла дорогу из Варшавы в Патюзан? Только теперь, путешествуя почти двадцать лет по разным странам, я начинаю это понимать. Просто Патюзан есть везде, потому что везде существует одиночество. Даже в американском Капитолии. Даже в партии коммунистов. Главное в книгах Конрада вовсе не экзотика. Не мореходство. И не бегство. А универсальный, лишенный примет времени дух одиночества — иначе говоря, Лорд Джим, которому старая дева с улицы Хожей была, видимо, вовсе не чужой.

Ранней весной 1938 года я впервые посетила Англию в качестве туристки. Вдохновителем моих путешествий по закоулкам восточного и западного Лондона, по магнолиевым лабиринтам Кью-гарденс и самшитовым зарослям Хэмптон-корт был Феликс Топольский, художник, старый лондонец с двухлетним стажем. Он-то и отвел меня к Ретингеру[1].

Невысокий, узенький каменный дом на одной из улочек поблизости от Пиккадилли-сёркус. Здесь у входа не звонили, а громко кричали, задрав голову к небу и стараясь перекрыть гул машин. Квартирка, заваленная документами, канцелярскими папками, кипами бумаг, засыпанная окурками, была еще и чьей-то конторой. Приятелем Топольского оказался Юзеф Ретингер. "Знаешь, это тот самый друг Конрада", — шепнул мне Феликс. Я ничего не знала, но мне припомнилась панна Жанетта и "свои люди" в посольствах. Я дипломатично промолчала.

Втроем мы направились в "Кафе-Роуяль". Ретингеру обо мне было известно только то, что год назад на линкоре "Полония" между Стамбулом и Хайфой я флиртовала с занятным англичанином, фамилия которого была записана у меня в блокноте. Ретингер непременно хотел знать фамилию и профессию этого англичанина. Разумеется, поинтересовался и его клубной карточкой. Получив все сведения, он нелестно отозвал-

1. Юзеф Иероним Ретингер (1888–1960) — польский литератор и политический деятель.

ся о моем знакомстве. С тех пор я ни разу с ним не разговаривала, хотя во время войны нередко встречала его в обществе генерала Сикорского, а после войны — в тех огромных залах с хорошей акустикой и звукопоглощающей стенной обшивкой, где чаще всего обсуждалась какая-нибудь очередная утопия.

Когда-то, играя роль "серого кардинала", Ретингер, кажется, пытался установить свои порядки в Мексике. Говорят, что порою он располагал огромными суммами, но денег на обед ему частенько не хватало. Рассказывали, что он прыгал с парашютом где-то на территории Польши и сломал ногу. Почему Конрад доверял его политическим взглядам? Почему психологу и романтику нравился политик-практик? Конрад родился на окраине Польши, Ретингер — в Кракове, но, может быть, они посещали — правда, в разные годы — гимназии, похожие одна на другую как две капли воды. Встреча их произошла в графстве Кент. В графстве Кент — так ли? Подозреваю, что, скорее всего, они встретились в Патюзане. И хотя принадлежали к разным кланам, оба присягнули на верность Лорду Джиму.

В следующий раз я приехала в Англию в конце июня 1940 года в качестве displaced person — иными словами, лица, утратившего право проживания сперва в Польше, а потом во Франции. В Англии, даже в те времена, места для одиночества хватало. А вскоре все лица подобного рода получили в бюро регистрации иностранцев пропуска в Патюзан, и нас оставили в покое.

Но зато мы не хотели оставлять в покое туземцев. Хотя в августовском туманном воздухе Лондона днем и ночью шла битва за Великобританию, группа польских писателей в один из таких дней пригласила английских коллег к "польскому очагу". Народу собралось много.

С расстояния в более чем десять богатых опытом лет я вижу, каким необычным был тот вечер. Очутившись тогда за границей, мы не сразу сумели понять и свою новую роль, и тех, кто жил с нами рядом. Островитяне, в свою очередь, не понимали, что слово foreigner[1] может относиться и к ним. Для многих встреча эта была освещена не столько заревом взрывавшихся бомб, сколько блеском оживленных взглядов. Свалившиеся с Луны незнакомки в экстравагантных варшавских и парижских шляпках с польской непосредственностью угощали цейлонским чаем хозяев Империи, под которой ходуном ходила земля.

Я помню фортепиано, стоявшее посреди зала, а возле него Тонио Собаньского. Двумя годами раньше мы вместе выступали на страницах еженедельника "Вядомости литерацке" против модернизации старинной кондитерской Веделя. Собаньский, ныне уже покойный, а в 1940 году служивший на Би-би-си, стоял у фортепиано, исполняя роль посредника между нами и Империей.

Помнится, что пришельцы с Луны и хозяева Империи были разделены некой нейтральной зоной, где под аккомпанемент взрывов дрожало фортепиано, а в руках Тонио Собаньского — список наших экзотических фамилий. Всякий раз, когда произносилась очередная такая фамилия, по группе польских poets, novelists and essayists[2] проносился возбужденный шепоток, между тем как ангел-хранитель-всего-неведомого

1. Иностранец (*англ.*).
2. Поэты, романисты и эссеисты (*англ.*)

прикрывал своим крылом глаза англичан. Фамилии были трудные, но еще труднее были наши языки, поэтому обе стороны вежливо молчали.

Позднее наступила раздача крохотных бутербродов, отнюдь не по-

хожих на сандвичи; вспоминаю, как поблескивали при этом из-под ши-рокополой соломенной шляпы глаза Генриетты Лесли.

А немного погодя Хью Уолпол сбежал с этого почти безмолвного вечера и вместе с Тонио Собаньским поехал на Би-би-си, где заявил перед микрофоном, что группа знаменитых соотечественников Конрада прибыла в Лондон в поисках *свободы слова.*

В начале второй мировой войны в Англии писали о поляках как о нации, у которой не было Квислинга[1]. Однако английские писатели относились к нам с почтением скорее как к соотечественникам Конрада. Того самого Конрада, которого Элиза Ожешко некогда поносила за предательство. Отчего такое расхождение? По-видимому, оттого, что в Польше вызывает подозрение писатель, который сторонится общения, а в Англии, напротив, — писатель, бегущий от одиночества.

С большими извинениями и экивоками пишущее сообщество Англии приглашало иногда своих собратьев из страны, у которой не было Квислинга, на устраивавшиеся по карточкам обеды. Расскажу о двух таких приемах.

Первый обед.

Десмонд Маккарти, превосходный критик и эссеист, тогдашний президент английского ПЕН-клуба, хотел щегольнуть знанием некоторых польских проблем. От Гордона Крэга он слышал о Выспяньском[2]; коротко, своими словами пересказал содержание и фабулу его "Свадьбы"! И посулил поставить нам после войны в Кракове "водка". Потом, подперев жилистой рукой лицо римлянина-алкоголика, задумался... "Конрад дома пил виски, но анекдотов про пьяниц не терпел. Помню, как он всегда возмущался Бернардом Шоу, который при первом же знакомстве похвастал, что отец у него был пьяница. "Подумайте только! Впервые меня видит! И такое говорит о собственном отце!" Видимо, в 1941 году Десмонд Маккарти разделял возмущение Конрада. "Ах! — вздохнул он, — Шоу — ирландец... И в самом деле, кому нужны такие подробности?"— и взглянул на нас с искренним сочувствием, должно быть полагая, что мы, соотечественники Конрада, тоже страдаем от бестактности ирландца.

Второй обед.

Герберт Уэллс, небольшого роста, розовощекий, с васильковыми глазами и тонким голосом, тоже гордился тем, что знал Конрада. Вспомнив о нем, он просиял: "Гениальный писатель! Но по-английски говорил скверно. Акцент! Акцент!" Сам он так и не избавился от следов кокни, жаргона лондонских простолюдинов, и, быть может, поэтому охотно осуждал чужое произношение. "Боже, до чего же он был замкнутый, как устрица. Мы этого не могли понять! Поляк, русский — в те времена мало кто чувствовал разницу, славянский писатель, и ладно, стало быть, открытая душа, весь нараспашку, Достоевский, богема... Как-то раз приезжаю к Конраду. Вид у него, как всегда, торжественный. Но вижу — явно

1. Видкун Квислинг (1887—1945) — премьер-министр Норвегии, с 1942 года сотрудничавший с германскими оккупантами. Казнен как военный преступник.
2. Станислав Выспяньский (1869—1907) — польский писатель, драматург, художник, театральный деятель.

на что-то злится. Через минуту не выдерживает: "Какая бестактность! И это называется Англия? Мне сегодня дважды звонили по телефону, и оба раза – незнакомая женщина". Уэллс рассмеялся, должно быть желая показать, что он куда более континентален, нежели беженцы с континента. Но в глазах его промелькнуло нечто похожее на волнение. "Джуэл! О, Джуэл!" – подсказала мне упрямая память. Я вернулась к себе в гостиницу и прочла одну фразу из "Лорда Джима": "... в доме мелькнула белая фигура, раздалось тихое восклицание, и детское, но энергичное маленькое личико с тонкими чертами и внимательными глазами выглянуло из мрака, словно птица из гнезда..."[1] Жену Конрада звали Джесси. Его дом в графстве Кент назывался Кейпл-хаус. Но одновременно Конрад жил на Малайских островах, в доме Лорда Джима, где женщину звали Джуэл – драгоценный камень. Она никогда не звонила незнакомым мужчинам.

Нет уже в живых Десмонда Маккарти, нет Герберта Уэллса. Но Бертран Рассел жив. В его книге 1956 года "Портреты по памяти" есть воспоминания о Конраде.

Он пишет:

> *Первой моей реакцией было удивление... В образе жизни Конрада ничто ни в малейшей степени не напоминало о море. Он был польским шляхтичем с головы до ног. Его любовь к морю и Англии была романтической – но с соблюдением дистанции, необходимой для того, чтобы ничем не осквернить это чувство.*

И еще:

> *Политика занимала его мало. Его интересовала прежде всего человеческая душа в ее столкновении с равнодушием природы и нередко – с враждебностью другого человека, извечное противоборство скрытых страстей – злых и добрых сил души, – ведущее к разрушению и гибели. Трагедия одиночества поглощала большую часть его мыслей и чувств.*

А также следующее:

> *В современном мире существуют две философии. Одна идет от Руссо и отвергает всякую дисциплину как нечто излишнее; другая находит свое наиболее полное выражение в тоталитаризме, который считает необходимым навязывать дисциплину извне. Конрад был сторонником давней традиции: он считал, что дисциплина – внутренняя потребность человека. Он презирал отсутствие дисциплины, но чисто внешнюю дисциплину ненавидел.*

Как видим, английский дворянин и большой оригинал Бертран Рассел оценивал польского дворянина очень высоко. Однако читатель-поляк, в особенности если он и сам дворянин, знает, что отмеченные выше черты, за исключением разве "сухопутного" образа жизни, вовсе не типичны для польского дворянина. Ибо как ни часто можно было встретить польского дворянина-романтика, "равнодушие природы и неповторимость человеческой души" крайне редко составляли предмет его романтических помыслов. Зато страстью, едва не стоившей ему порой жизни, чаще всего становилась политика, с чем он отнюдь не пытался

1. *Дж. Конрад* "Лорд Джим". Перев. А. Кривцовой.

бороться, а с великолепным презрением к внутренней дисциплине всячески разжигал эту страсть, и это была не трагедия одиночества, а скорее драма общего сговора под лозунгом: "А ну, навались всем миром, братья и други!"

И вот еще что пишет о Юзефе Коженёвском лорд Рассел: "Он был, как может убедиться каждый, кто прочтет его книги, очень и очень строгим моралистом и по своим политическим взглядам нимало не симпатизировал революционерам. Во многом мы смотрели на мир по-разному, но в чем-то очень важном были близки".

Что это было такое, можно догадаться по пересказу одной долгой беседы, которую вели эти столь несхожие меж собою люди при первой их встрече в британской Ultima Thule[1]:

> *Казалось, что мало-помалу, отбрасывая пласт за пластом, мы устремляемся вглубь и наконец добираемся до самой сердцевины огня. Ничего подобного я прежде не испытывал. С ужасом и упоением смотрели мы друг другу в глаза, чувствуя, что вот наконец-то очутились вместе в тайных глубинах. Волнение это было столь же сильным, как самая страстная любовь, и вместе с тем всеобъемлющим. Я ушел ошеломленный и с трудом вернулся к повседневности.*

"Сердцевина огня" – только так я могу перевести "the central fire". В этих воспоминаниях Рассел передает только общее от состоявшегося разговора. Философ, математик, представитель одного из самых старых дворянских родов Англии и романист, польский шляхтич, родившийся под Бердичевым, вместе добрались до "сердцевины огня".

Что же такое огненная сердцевина души? Что такое Патюзан на земле? Об этом знают те, чьим уделом стало одиночество, или кое-кто из тех, подобно Лорду Джиму, сошли со страниц книги.

Переводы с польского Г. Языковой

1. Край света (*лат.*) – здесь имеется в виду деревушка, где жил Дж. Конрад и где его навещал Б. Рассел.

Джозеф Конрад: краткая летопись жизни и творчества

1857 Родился 3 декабря в Бердичеве в польской дворянской семье.

Отец — Аполло Наленч Коженёвский, литератор, поэт, переводчик, мать — Эвелина Бобровская, дочь богатого землевладельца. Наречен при крещении Юзефом Теодором Конрадом в честь дедов Юзефа Коженёвского и Теодора Бобровского, а также героя драматической поэмы А. Мицкевича "Дзяды".

1861 Переезд семьи в Варшаву. Участие Аполло Коженёвского в конспиративной деятельности по подготовке восстания за независимость Польши. Арест и судебный процесс.

1862—1864 Аполло Коженёвский отбывает ссылку в Вологде вместе с женой и сыном.

1865 В связи со слабым здоровьем жены Аполло Коженёвский добивается перевода в Чернигов.

Апрель Смерть Эвелины Коженёвской от чахотки.

1868 Отъезд отца и сына во Львов.

1869 Переезд в Краков. Смерть отца от чахотки.

1871—1872 Годы учебы в краковской гимназии св. Анны и у частных учителей.

1874 С согласия опекуна Тадеуша Бобровского и при его финансовой поддержке уезжает в Марсель, чтобы стать моряком торгового флота.

1875 Первое плавание на Гаити на борту парусника "Мон-блан".

1876 Стюард на паруснике "Сент-Антуан", совершающем рейсы на Мартинику, Гаити, в Венесуэлу и Колумбию.

1877 Участвует в контрабандной доставке оружия "карлистам" — сторонникам возведения на испанский престол дона Карлоса.

1878. Февраль Получает огнестрельное ранение — по одной версии, в результате попытки самоубийства, по другой — дуэли.

Апрель Нанимается простым матросом на английский корабль, который завершает плавание в порту Лоустофт. Впервые ступает на землю Англии.

1879 Матрос на борту клипера "Дюк-оф-Сазерленд" и других судов, совершает рейсы в Сидней, Геную, Палермо.

1881 Второй помощник на барке "Палестина". На пути в Бангкок судно получает повреждение во время шторма и возвращается в Фальмут на многомесячный ремонт.

1882—1883	Морские переходы в Бангкок и обратно на борту "Палестины". Пожар на судне у берегов Суматры. Команда на шлюпках и на попутном судне добирается до Сингапура.
1884	Второй помощник на паруснике "Нарцисс", совершающем рейсы из Бомбея в Дюнкерк.
Декабрь	Сдает экзамен на звание первого помощника капитана Британского торгового флота.
1886	Получает британское гражданство.
	Сдает экзамен на звание капитана Британского торгового флота.
	Пишет свой первый рассказ "Черный штурман".
1887	Первый помощник на паруснике "Хайленд форест", который совершает рейс на Яву. Контужен упавшей во время шторма реей, лечится три месяца в госпитале в Сингапуре.
Август—сентябрь	Первый помощник на пароходе "Видар", совершающем рейсы вдоль берегов Борнео и Целебеса.
1888—1889	Капитан парусника "Отаго". Во время рейса на остров Маврикий проводит корабль через опасный Торресов пролив.
Март	Отказывется от командования парусником.
Сентябрь	Снимает квартиру в Лондоне, приступает к работе над романом "Каприз Олмейера".
1890	В качестве капитана парохода "Руа-де-Белж" совершает трудное и опасное путешествие по реке Конго; проходит с караваном 200 миль вглубь материка, до Киншасы. Заболевает малярией.
1891. Февраль—май	Упорно лечится в больницах Лондона и Женевы от малярии и ревматизма, однако здоровье подорвано навсегда.
Ноябрь	Принимает должность первого помощника на пассажирском клипере "Торренс".
1892—1993	Совершает на "Торренсе" рейсы в Аделаиду. Во время плавания завязывает знакомство с одним из пассажиров — начинающим юристом Джоном Голсуорси, дружба с которым продолжается всю жизнь.
Ноябрь	Первый помощник на пароходе "Айдова", идущем в Галифакс.
1894. Январь	Возвращение в Лондон. С этого времени навсегда прощается с приевшейся ему морской жизнью. Отныне приключения перекочевывают на страницы книг. Начинается спокойная оседлая жизнь, наполненная литературным трудом, борьбой с болезнями, заботами о хлебе насущном.
Апрель	Отправляет рукопись "Каприза Олмейера" в "Издательство Фишера Анвина", где знакомится с критиком Эдвардом Гарнетом, который становится его литературным консультантом и близким другом.

1895	Литературный дебют: первый роман "Каприз Олмейера"; выпущен под псевдонимом "Джозефонрад".
1896	Второй роман — "Изгнанник". Восторженная рецензия Г. Уэллса.
Март	Женитьба на Джесси Джордж, дочери лондонского книгопродавца, и переезд в Станфорд, графство Эссекс. Навсегда поселяется в провинциальной Англии.
1897	Роман "Негр с 'Нарцисса'"; одобрительная реакция критики.
1898. Январь	Рождение первенца — сына Бориса. Работа на новеллой "Лорд Джим", перерастающей в большой роман.
Осень	Знакомство с молодым писателем Фордом Мэдоксом Хьюфером (впоследствии Фордом Мэдоксом Фордом), перерастающее в дружбу, и начало совместной работы над романом "Приключение".
Октябрь	Переезд в Кент, в дом "Пент-фарм"; вблизи живут Форд М. Форд, Генри Джеймс, Стивен Крейн, Герберт Уэллс, с которыми поддерживает дружеские связи.

Фасад дома Джозефа Конрада "Пент-фарм"

1899	Окончание работы над романом "Сердце тьмы".
1900—1902	Работа над повестью "Тайфун", рассказами "Фальк" и "Эми Фостер", повестью "Юность".
1903	Сборник "Тайфун" и другие рассказы.
1904	Работа над автобиографической книгой "Зеркало морей".
Октябрь	Роман "Ностромо".
Февраль	В результате несчастного случая жена Конрада повреждает коленную чашечку и становится инвалидом.
1905	Работа на романами "Тайный агент" и "Случай".
1906	Август. Рождение второго сына — Джона.
1907	Сентябрь. Роман "Тайный агент". Начинает писать роман "Глазами Запада".
1908	Сборник "Шесть повестей".

Джозеф Конрад с женой Джесси и сыновьями Джоном и Борисом в 1908 году

1909 Переезд в Олдингтон, графство Кент. Разрыв отношений с Фордом М. Фордом.

Окончание работы над рассказом "Тайный сообщник".

1910 Ухудшение состояния здоровья.

1911 Завершает работу на рассказом "Фрейя семи островов", работает над романом "Случай".

Октябрь Роман "Глазами Запада".

1912 Роман "Случай". Становится популярным писателем, улучшается материальное положение.

Декабрь Знакомство с критиком Ричардом Кёрлом и польским литератором Юзефом Ретингером, которые становятся его близкими друзьями.

1913 Знакомство с Бертраном Расселом.

1914 По приглашению Ретингера посещает с семьей Польшу, где его застает первая мировая война. С трудом добирается до Генуи, откуда отплывает в Англию.

1915 Роман "Победа". Завершена работа над повестью "Теневая черта".

1917 Март. "Теневая черта".

1918	Завершает работу над романом "Спасение".
	Переезд в большой дом "Освальдс" в Бишопсборне под Кентербери.
1919. Август	Роман "Золотая стрела".
1920	Роман "Спасение".
1921	Выезжает на Корсику, где работает над романом о наполеоновской эпохе "Ожидание". Работает над историческим романом "Корсар".
Март	Сборник "Заметки о жизни и литературе".
1923	По приглашению американского издателя Ф. Даблдея посещает США..Многочисленные встречи с читателями.
1924	С благодарностью отказывается от титула лорда, предложенного ему премьер-министром лордом Рамси; по мнению одних критиков, потому, что никогда не забывал о том, что он натурализованный англичанин, к тому же сохранивший сильный польский акцент; по мнению других — принадлежа к польской аристократии, не желал изменять ей, приняв титул другой страны.
3 августа	умирает от сердечного приступа в своем доме в Бишопсборне. Похоронен на католическом кладбище в Кентербери.
1925	Сборник "Рассказы понаслышке". Роман "Ожидание".
1926	"Последние очерки".

Основные экранизации произведений Конрада

1. "Глазами Запада" [1936]. Режиссер Марк Аллегре [Франция].
2. "Дуэль" [под названием "Дуэлянты", 1977]. Режиссер Ридли Скотт [Великобритания].
3. "Из-за долларов" [под названием "Смеющаяся Анна", 1954]. Режиссер Герберт Уилкокс [Великобритания].
4. "Изгнанник" [1951]. Режиссер Кэрол Рид [Великобритания].
5. "Лорд Джим" [1965]. Режиссер Ричард Брукс [США].
6. "Тайный агент" [под названием "Саботаж", 1936]. Режиссер Альфред Хичкок [Великобритания].
7. "Победа" [1940]. Режиссер Джон Кромвель [США].
8. "Сердце тьмы" [под названием "Апокалипсис сегодня", 1977]. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола [США].
9. "Скиталец" [1966]. Режиссеры Теренс Янг и Джанкарло Дзаньи [Италия].
10. "Теневая черта" [1976]. Режиссер Анджей Вайда [Польша].
11. "Тайный агент" [1976]. Режиссер Кристофер Хэмптон [США].
12. "Сердце тьмы" [1994]. Режиссер Николас Роег [США].
14. "Ностромо" [телесериал, 1996]. Аластер Рейд [США].
15. "Эми Форстер" [под названием "Выброшенный на берег", 1997]. Режиссер Бибан Кидрон [США].

Майкл Скаммелл

Переводя Набокова, или Сотрудничество по переписке

Об авторе

Майкл Скаммелл, автор книги "Солженицын, биография", в настоящее время заканчивает книгу "Космический репортер. Жизнь Артура Кёстлера". Скаммелл был основателем и первым редактором лондонского журнала "Index On Censorship" ("Каталог цензуры"); среди множества переведенных им с русского языка книг значатся такие, как "Преступление и наказание" Федора Достоевского, "Детство, отрочество, юность" Льва Толстого, "Города и годы" Константина Федина, "Мои показания" Анатолия Марченко, "Построить замок" Владимира Буковского, а также "Дар" и "Защита Лужина" Владимира Набокова.

В 1962 году Скаммелл, еще только начинавший карьеру переводчика, познакомился в Нью-Йорке с Набоковым и после второй их встречи в Голливуде согласился перевести на английский язык русский шедевр Набокова — роман "Дар". Затем последовал перевод "Защиты Лужина". Работа над переводами заняла три года, они стали итогом совместных усилий, осуществлявшихся целиком и полностью по переписке. В своих коротких воспоминаниях Скаммелл рассказывает о том, что представляла собой совместная работа с одним из величайших романистов столетия.

В настоящее время Скаммелл — профессор отделения перевода и публицистики нью-йоркского Колумбийского университета. Он является также вице-президентом Международного ПЕН-клуба и президентом Американского ПЕН-центра.

Переводчики суть призраки литературы, невидимки в масках, прикидывающиеся другими людьми. Занятие странноватое, особенно если надетая вами маска принадлежит еще живому писателю, а Набоков, когда я его переводил, был куда как жив. Попытки сымитировать столь разностороннего стилиста любому показались бы делом не из легких, и уж конечно они превышали возможности переводчика едва-едва начинающего, каким я тогда и являлся. Но я был молод, нахален и очень хотел попытать свои силы. Полагаю, Набоков ценил во мне новичка, достаточно податливого, чтобы подчиняться его прихотям и прислушиваться к тому, что он говорит. А когда я в некотором отношении заартачился, сотрудничество наше прекратилось.

Я познакомился с ним почти сорок лет назад, совершенно случайно. Я учился в аспирантуре на отделении русской литературы Колумбийского университета и осенью 1959 года снимал комнату у русской эмигрантки, которую звали Анна Фейгина. Поначалу я казался Анне нестерпимо высокомерным и до того уж несносно "английским", что ей не терпелось

© Michael Scammell, 2000
© С. Ильин. Перевод, 2000

избавиться от меня. На мое счастье, она не могла себе этого позволить — я был единственным, кто откликнулся на ее объявление.

Моя замкнутость порождалась более неуверенностью в себе, чем национальными стереотипами поведения, а периодические приступы высокомерия объяснялись комплексом скорее неполноценности, чем превосходства, что Анна скоро и поняла. "Я очень довольна моим новым квартирантом, — написала она своей двоюродной сестре вскоре после моего вселения к ней. — Порядочный, добрый, скромный человек и все время работает"[1]. Конечно, цитировать это письмо — нескромность с моей стороны, но это необходимо для прояснения дальнейшего. Особенно сильное впечатление произвело на Анну то, что я усердно занимался русским языком, прожил несколько парижских месяцев в семье русских эмигрантов и довольно бегло говорил по-русски и по-французски. "Короче говоря, я здесь таких больше не видела. К тому же он притащил с собой целую библиотеку".

Письмо Анны хранится ныне в "Коллекции Берга" Нью-Йоркской публичной библиотеки, где я не так давно его и прочел, но в то время я плоховато представлял себе, как она ко мне относится. Впрочем, знакомство наше понемногу становилось все более близким. Низкорослая от природы да еще и согнутая артритом, Анна казалась совсем маленькой, морщины ее добродушного личика нередко углубляла гримаса боли, вызванной резким движением. Одна из причин, по которой она взяла жильца, сказала мне Анна, состояла в том, что, живя одна, она боялась, случись с ней сильный приступ, оказаться беспомощной. Я заверил Анну, что бояться ей нечего. Я вырос в английской рабочей семье, в обстановке довольно суровой и в случае чего — наркотики тогда еще не получили повсеместного распространения, а встретить вооруженного человека можно было далеко не на каждом углу — всегда смогу о ней позаботиться.

Анна увлеченно слушала мои рассказы. Дочь богатых еврейских родителей, концертирующая пианистка по образованию, она могла бы сделать блестящую карьеру, если бы большевики не вынудили ее перебраться в Берлин. Подобно многим русским эмигрантам, она бежала от нацистов во Францию, а оттуда, в самый канун второй мировой, чудом успела выбраться в Америку. Она знала, что такое лишения и нужда, но плохо представляла себе классовую систему английского общества, которую я столь яростно обличал перед нею.

О русской литературе мы с ней беседовали на кухне. В одном из наших разговоров я выразил восхищение дерзким исследованием Набокова, посвященным Гоголю, и с большой похвалой отозвался о романе "Пнин", любовном изображении рассеянного русского ученого, пытающегося прижиться в американском университете. Рассказал я и о моем интересе к литературному переводу — я даже попробовал перевести кое-что из Чехова и Лермонтова. Под конец той осени я похвастался моим первым издательским договором на перевод романа "Города и годы", модернистского произведения советского писателя Константина Федина. При слове "советский" Анна покривилась, но успех мой был ей приятен. Теперь я знаю, что она писала о наших разговорах своей двоюродной сестре.

В феврале 1960-го Анна неожиданно пригласила меня к обеду. Такого еще не случалось. При всем множестве наших дружеских бесед я ни разу еще не переступал порога двери, ведшей в ее гостиную и иные комнаты. В назначенный вечер я постучал в эту дверь, вошел и был торжественно представлен высокому, отеческой внешности джентльмену с эдвардианскими манерами, сочной английской шепелявостью и крепким рукопожатием, а также изящной даме с безупречно уложенными совсем седыми волосами: мистеру и миссис Набоковым. Высоченный молодой человек

1. По понятным причинам письма цитируются в обратном переводе с английского. (*Здесь и далее — прим. перев.*)

примерно одних со мной лет, выбравшись из низкого кресла, назвался их сыном Дмитрием.

Анна приходилась Вере Набоковой кузиной, и не просто кузиной, а, по существу, старшей сестрой. В Берлине, перед тем как Вера вышла за Владимира, они жили в одной с Анной квартире. Анна же и перепечатала первый роман Набокова, "Машеньку". Они отдыхали втроем, собирались вместе обзавестись летним домиком, вообще прожили в близком соседстве большую часть своих европейских лет. Именно Набоковы вытащили Анну в Америку из оккупированной Европы. Вера была той самой двоюродной сестрой, которой писала обо мне Анна, и вот почему ее письма хранятся теперь в "Коллекции Берга".

Я был бы рад сказать, что у меня сохранились живые воспоминания о той первой встрече, но, увы, это не так. Мне запомнились глубокие кресла, восточный ковер, вазы с цветами, стол, уставленный тонким фарфором. Все остальное тонет в тумане. Набоков грелся в лучах недавнего успеха "Лолиты". Этот роман обратил его в мировую знаменитость и к тому же сделал богатым. Стенли Кубрик заплатил огромные деньги за право на экранизацию, и Набоков только что возвратился в Нью-Йорк, проведя роскошные полгода в Европе — то была его первая поездка туда после поспешного бегства от нацистов в 1940 году. Теперь он направлялся в Голливуд, чтобы написать для Кубрика сценарий. Однако для моего ближайшего будущего куда более важным оказалось то, что Набоков буквально на днях договорился с издательством "Патнам" о публикации английских переводов всех его ранних русских романов.

Вскоре после того обеда Анна как-то мельком поинтересовалась, не могу ли я дать ей один из моих переводов для пересылки Набокову. Я вручил ей перевод чеховского рассказа "Гусев". Спустя какое-то время из Голливуда пришло письмо от Веры, сообщавшей, что у них с мужем нет сейчас под рукой русского Чехова, так что сравнить мою работу им не с чем, но не хотел бы я перевести три страницы из четвертой главы последнего русского романа Набокова — из "Дара"?

"Муж предлагает перевести на пробу кусочек из его книги лишь потому, что Вам не составит труда позаимствовать ее у моей кузины, и мы сможем тогда проверить Ваш перевод по экземпляру, который у нас с собой. Муж попросил добавить, что это трудное место" ("куда более трудное, — добавила она от себя, — чем Чехов"). Вера написала, что они готовы заплатить мне по шести долларов за страницу — порядочный по тем временам гонорар — и что издатели нередко просят мужа назвать им подходящего переводчика.

Названные три страницы открывались стихотворением, на которое меня попросили не обращать внимания, а собственно текст начинался словами: "Сонет — словно преграждающий путь, а может быть, напротив, служащий тайной связью, которая объяснила бы *все*, — если бы только ум человеческий мог выдержать оное объяснение. Душа окунается в мгновенный сон — и вот, с особой театральной яркостью восставших из мертвых, к нам навстречу выходят: с длинной тростию, в шелковой рясе гранатного колера, с вышитым поясом на большом животе о. Гавриил и с ним, уже освещенный солнцем, весьма привлекательный мальчик: розовый, неуклюжий, нежный". Да, на Чехова это определенно не походило.

Прошел месяц, прежде чем я отправил в Голливуд три переведенных мной страницы — не потому, что они были так уж трудны (хотя трудны они были), но потому, что мне приходилось отвлекаться на учебу в аспирантуре. Вера поблагодарила меня за перевод. "Муж находит его совершенно чудесным". Набоков исправил "pomegranate"[1] на "cerise"[2], а после на "crimson"[3], "wide stomach"[4] обратился в "big"[5], впоследствии он внес и другие изменения, однако в опубли-

1. Гранатовый (*англ.*).
2. Светло-вишневый (*англ.*).
3. Малиновый, темно-красный (*англ.*).
4. Пространный живот (*англ.*).
5. Большой (*англ.*).

кованном тексте начальный мой вариант этого куска остался вполне узнаваемым. Вера поинтересовалась, не соглашусь ли я перевести четвертую главу до конца. Их сын Дмитрий намеревался сам перевести большую часть романа, но он только что получил стипендию, которая позволит ему заниматься пением в Милане — в "Ла Скала", — и сомневается, что сможет справиться со всей книгой. "Если это предложение приемлемо, я хотела бы добавить кое-что еще: муж всегда сохраняет за собой право производить в законченном переводе любые изменения. И еще — он хочет, чтобы переводчик как можно точнее следовал оригиналу".

Предложение Веры изумило меня сильнее, чем можно было предполагать. Вера отчасти лукавила, когда писала, что Набоков, если ему понравится мой перевод, сможет предложить мои услуги издателям. О том, что я мог стать переводчиком самого Набокова, ею ни слова сказано не было. Меня испытывали, не поставив об этом в известность. Но я был рад, что выдержал испытание, да и последняя оговорка Набокова меня не смущала. Я хоть и не слышал тогда о его предписании переводчикам "следовать рабским путем", однако твердо верил, что переводчик обязан по возможности меньше замешиваться между автором и читателем. Как переводчик, я был рабом по инстинкту и потому оказался ближе к идеалу Набокова, чем сам то сознавал.

Стояло уже начало лета 1960 года. Я перебрался в расположенную строго на север от Сан-Франциско рыбацкую деревушку Саусалито, в которой, как уверяли меня друзья, я смогу познакомиться с поэтами-битниками и их свитой. Как это ни странно, но в самый тот миг, когда я попал в поле притяжения великого мандарина американской прозы, меня повлекло к прямо противоположному полюсу — к литературному авангарду. В качестве начинающего автора двадцати пяти лет от роду, я предпочитал "страстную" прозу Д. Г. Лоуренса, молодого Сола Беллоу и задыхающегося Керуака холодному барочному великолепию Набокова. Разумеется, "Лолита" на свой манер также не лишена страсти, но на меня она тогда производила впечатление торта с мороженым, называемого "запечённой Аляской": горячее, сладкое безе снаружи, ледяное мороженое внутри. По правде сказать, мастурбационные монологи Гумберта Гумберта очаровывали меня куда меньше, чем я тогда осмелился бы признаться.

Для поэтов-битников в Саусалито было уже поздновато (а для хиппи рановато). Я обосновался в комнате, снятой у еще одной русской эмигрантки, и вел одинокую холостяцкую жизнь, трудясь над "Городами и годами". Вскоре Вера связалась со мной, чтобы сообщить о возникшем у Набоковых "еще лучшем", чем прежний, плане. Не переведу ли я целиком другой роман Набокова — "Защиту Лужина"? Это книга о бездомном шахматном гении, она короче и проще "Дара", однако перевод нужен "как можно скорее". Я запротестовал. Мне необходимо сначала закончить "Города и годы", а после вернуться в Нью-Йорк и подготовиться к устным экзаменам на ученую степень. Вера ответила новым предложением: Дмитрий с головой ушел в занятия музыкой, так не перевести ли мне главы "Дара" со второй по пятую, переработав заодно переведенную Дмитрием первую так, чтобы она не сильно отличалась от моего перевода?

Вера уже считала само собой разумеющимся, что я переведу по меньшей мере один, если не два романа, но я все еще оставался несговорчивым новичком. Нужно помнить, что Набоков, хоть и обретший мгновенную славу, еще не был тогда литературным гигантом, каким мы его ныне знаем. Написанные им по-русски девять романов, несколько дюжин рассказов, несчетное множество стихотворений и пригоршня пьес оставались совсем неизвестными англоязычному миру (и мне в том числе), между тем как "Бледному пламени", "Аде", "Память, говори" и остальным его произведениям только еще предстояло увидеть свет. Та его проза, с которой я был знаком, нравилась мне чрезвычайно, но о какой бы то ни было любви к ней не шло и речи.

И все же мне польстило внимание Набокова, да и шесть долларов за страницу значили для бедствующего аспиранта совсем не мало. Вера прислала мне проект договора. Документ, отпечатанный ею на полутора страницах, оказался на диво простым. Я обязывался в течение одного календарного года представить полный перевод "Дара", переработав заодно сто с чем-то страниц, переведенных Дмитрием. Меня смутило лишь поставленное Верой условие, что перевод должен быть "точным, верным и полным". Какое, хотел бы я знать, определение сможет дать суд словам "верный" и "точный"? Я не опасался осложнений, которые могли бы между нами возникнуть, однако "предпочел бы, чтобы эти слова были либо вычеркнуты, либо определены верно и точно".

Последняя нахальная фразочка показалась мне тогда не лишенной остроумия – в ней уже содержался намек на тон, который я усвоил в последующей нашей переписке. Подобно многим неуверенным в себе людям, на бумаге я был куда резче, чем при живом общении. Вера, показав себя человеком терпеливым, попросту выбросила слова, против которых я возражал, никак этого не прокомментировав. Набоков сохранял за собою право вносить "любые изменения и/или исправления в текст", какие он сочтет "необходимыми или желательными", а также право распоряжаться переводом по своему усмотрению. Меня это устраивало. В августе 1960-го мы подписали договор.

В конце лета я купил первый мой автомобиль и, не придерживаясь сколько-нибудь обдуманного маршрута, покатил в Лос-Анджелес – то был начальный отрезок моего трансконтинентального пути домой. Путь этот пролегал через Мандевилл-каньон, где Набоковы проводили начало той осени; они пригласили меня к завтраку. Мы сидели на приятной террасе, окруженной гибискусами, пальмами и какими-то субтропическими кустарниками, которых я опознать не смог. Набоков, не ведая о трудностях, которые нас ожидали, пребывал в приподнятом настроении и говорил о том, как он доволен своим сценарием "Лолиты". Он горячо одобрил мой замысел – написать диссертацию о структуре "Анны Карениной" – и исповедался в пылкой любви к Толстому.

Прошло полгода, прежде чем я смог приступить к переводу "Дара", переводу, который вопреки моим ожиданиям вылился в долгую совместную работу с автором. Переводить этот роман я начал в Нью-Йорке, но большую часть работы проделал в Англии, в Саутгемптоне, заканчивал книгу в Париже и Милане, а перевод последней главы отправил почтой из Любляны, города в тогдашней Югославии. Тем временем Набоковы перебрались из Лос-Анджелеса в Ниццу (проведя зиму в доме на Английской набережной), потом в Италию, в Стрезу, потом в Шампе, что в Швейцарских Альпах (Набоков ловил там бабочек), потом в Женеву и, наконец, в Монтрё. Какое-то время мы обсуждали возможность встречи, которая позволила бы нам вместе поработать над текстом, но встреча эта оказалась в конечном итоге невозможной, так что пришлось ограничиться перепиской.

Таковая означала в моем случае переписку с Верой. Набоков, как всем известно, "никогда не писал писем". Исключения из названного правила существовали, о чем свидетельствует знаменитая переписка с Эдмундом Уилсоном. Но в общем и целом утверждение это верное. Как показала в написанной ею биографии Веры Стейси Шифф, то был удобный для Набокова способ не только сэкономить время, но и возвести еще один барьер между собой и внешним миром. Что до меня, то, как я потом выяснил с помощью "Коллекции Берга", Набоков снабжал мои письма и списки посылаемых мной вопросов примечаниями, а Вера отвечала мне, нередко в точности воспроизводя целые предложения из его заметок. За три года нашего сотрудничества я получил всего три письма, подписанных самим Набоковым.

Бóльшая часть переписки касалась вопросов технических. Особен-

но оживленные споры вызвала английская транслитерация русских имен и букв, которой Набоков посвятил так много страниц в предисловии к своему переводу "Евгения Онегина". Прочитав переведенную Дмитрием и выправленную Набоковым главу, я имел наглость заметить, что "в вашей транслитерации русских букв... в особенности русских гласных, царит полный хаос". Я возражал против смешного для английского уха написания "Chehov", принятого Набоковым вместо привычного "Chekhov", я написал ему, что предпочитаю написание "tsar" немецкому (и, увы, американскому) "czar", я оспорил множество других написаний, показавшихся мне либо неуклюжими, либо комичными, либо просто галлицизмами.

Набоков мягко отвечал на мою критику через Веру, он согласился с "tsar" и с многими иными моими предложениями и даже прислал мне описание принятой им в "Онегине" системы транслитерации. Однако в том, что касалось "Chehov'a", и он, и Вера оказались непреклонными. "Муж абсолютно настаивает на "Chehov" (не "Tchechov" — наполовину германизм, не "Tcheckov", не "Tschekhov" и т.п.). Он заверяет вас, что смешное впечатление, которое "Chehov" производит на англичанина, ничуть не существенно: будучи почти правильным — в большей мере, чем прочие, — это написание станет со временем и более приемлемым... Он также заверяет вас, что "Tschekhov", "Tcheckov" и т.п. кажутся русскому человеку еще более смешными, чем "Chehov" англичанину".

И тон, и содержание этой маленькой лекции меня взбесили, и после натужно вежливого обсуждения всех за и против, присущих различным системам транслитерации, я не удержался от ответного выпада: "Отвечая на [мое предложение], Вы приводите пять нелепых написаний фамилии Чехова и последовательно отвергаете их — ни слова не говоря о том, что *я* их вовсе не предлагал и что мне они могут казаться не менее смехотворными, чем Вам. Мое предложение, а именно то, которое я использую выше, даже не упомянуто... Надеюсь, в будущем Вы не станете порицать меня за чудовищного, мифического Tschekhov'a".

Но и это не все. "Вы говорите в Вашем письме, — продолжал я, — что совершенно не важно, насколько смешным представляется англичанину "Chehov", поскольку другие варианты русскому человеку кажутся еще более смешными. Простите, но мне казалось, что русский слух следует ублажать по-русски и что это издание предназначено для англоязычного мира". Я понаписал еще многое в том же роде, и в следующем своем письме Вера очень мило извинилась передо мной. Но от "Chehov'a" не отказалась.

Несколько позже мы сцепились по поводу Толстого — на сей раз не фамилии, а названия одного из его произведений. Я написал ей, что моя диссертация будет посвящена структурному анализу "Анны Карениной". "Anna Karenin, умоляю (не Anna Karenina)!" — ответила Вера. Я знал, что она имеет в виду. Стоящее на конце фамилии "а" обозначает женскую форму фамилии Каренин и, строго говоря, в английском существовать не может. Но я опять заупрямился. "Конечно, по существу Вы правы, но... Анна вошла в английскую литературу, да и в мою жизнь тоже как Каренина, Карениной она и останется". Затем я (имитируя Набокова) подробно разобрал обе фамилии и невинно добавил, что использовать форму "Каренин" это "все равно что точно переводить Пушкина, полностью разрушая размер". Знал бы я, насколько уместным окажется это легкомысленное замечание.

Еще одно затруднение было связано с вопросом о том, какой язык следует использовать в переводе — собственно английский или американский? Для подчеркнуто правильной прозы Набокова вопрос этот значил меньше, чем для писателя, пользующегося языком разговорным, возникая, однако ж, куда чаще, чем я того ожидал. Я похвастался (неосновательно, как я теперь думаю), что "ни один из этих диалектов" не доставит мне затруднений, однако, встречая на одной и той же

странице и "tram", и "streetcar"[1], я прихожу в замешательство — и затем пожаловался: "Вы исправили мои англицизмы на американизмы, а мои американизмы на англицизмы — в какую сторону Вам предпочтительней двигаться?" Выяснилось, что меня этот вопрос волновал сильней, чем Набокова: "Американский английский, пожалуйста, во всех тех случаях, когда между ними двумя существует значительное расхождение. В целом, однако, муж считает, что идиомы должны быть более-менее нейтральными. Он не возражает против появления "tram" и "streetcar" на одной странице.

К концу июля 1961 года я закончил четвертую главу, а в середине августа подбирался уже к концу пятой. Вера написала мне, что ее муж "поражен быстротой, с которой Вы работаете". Оглядываясь назад, я теперь и сам поражаюсь. Я бы солгал, сказав, что испытывал "вдохновение". Напротив: проза Набокова меня нимало не трогала. Я был слишком молод и слишком невежествен. Ее барочные ритмы казались мне вычурными, манерными и искусственными, а метафоричность однообразной. Вместо того чтобы облагораживать искусство, уподобляя его природе, Набоков уподоблял природу своду созданных искусством эффектов. Это обращение обычного порядка вещей отчасти и порождало его оригинальность. В игровой вселенной Набокова жизнь подражала искусству, а не наоборот. Все в ней выглядело хитроумной уловкой, приемом — подход, который стал доставлять мне наслаждение лишь в зрелом возрасте. А в то время он не вызывал во мне никакого отклика, будучи полной противоположностью спонтанности и романтизму, которые я так ценил в моих любимых писателях.

Все остальное — и очень немалое "все" — сводилось к построению романа как чарующей головоломки, ларца с секретами, разбираясь в котором зачарованный читатель открывает все новые и новые потайные отделения. В определенном смысле то была метафора самой работы переводчика — ведь каждый текст представляется ему чередою препятствий, которые он обязан преодолеть. А при переводе "Дара", повествовательная ткань которого намеренно усеяна ловушками и капканами, трудности удваивались и у меня случались минуты, когда я всерьез сомневался в своей способности справиться с ними: "Текст Вашего мужа полон таких нюансов, настолько обилен уменьшительными, увеличительными, редкими словами, архаизмами, сленгом и т. д., — писал я Вере еще в начале работы, — что я отчаиваюсь передать по-английски и десятую их часть. Похоже, бледное подобие это лучшее, что мне по силам произвести на свет". Однако сражение с текстом сильно задевало мой соревновательный инстинкт, а накапливавшийся опыт позволял мне совершенствоваться.

На синтаксическом уровне переводить Набокова оказалось на удивление легко. Его русский язык был насыщен отзвуками французского и английского, в построении фраз присутствовало нечто, отзывавшееся латынью, — как у Толстого. В отличие от Чехова и в особенности от Гоголя с Достоевским, которых я переводил позже, Набоков строил предложение так, что его было не сложно разобрать и построить заново, и это в огромной мере ускоряло работу. Нечеловеческие трудности возникали лишь на лексическом уровне, и вот тут мне и впрямь приходилось туго. Одна из проблем состояла в том, что у меня не было под рукой достаточного количества достаточно разнородных английских словарей, которые позволили бы разрешать самые запутанные из проблем, между тем как ответы Набокова на мои вопросы пестрели пометками "см. в "Уэбстере", "см. в O.E.D."[1] и так далее, что бросало не лишенный интереса свет на его собственный стиль работы. Словари были для Набокова тем, чем являются для некоторых авторов Гомер или Библия. Но даже имейся в моем распоряжении куча справочников, мне никогда не

1. Трамвай – у англичан и американцев, соответственно.

1. Оксфордский словарь английского языка в 20-ти томах.

удалось бы сравниться с Набоковым в том, что касается его богатого, своеобразного языка.

Помимо прочего, мне приходилось спешить с переводом сильнее, чем хотелось бы, дабы поспеть к оговоренному нами сроку, к 1 августа. Обилие ошибок, объяснял я Вере, порождено более спешкой, чем невежеством. Под конец времени у меня осталось так мало, что пятую и последнюю главу я вынужден был забрать с собой в Европу и почтой отослать перевод из страны, которая была тогда Югославией. Вера написала, что посылку вскрыли на таможне, но пересечение ею границы обошлось без потерь.

В конечном итоге выяснилось, что спешил я напрасно. Набоков, занятый тяжелой, изнурительной работой, которой требовало завершение "Бледного пламени", коему предстояло теперь выйти в свет раньше "Дара", сообщил мне, что еще несколько месяцев он не сможет взяться за мой перевод. Поскольку времени у меня прибавилось, я предложил вернуть мне две последние главы, чтобы я смог их переработать, но Вера ответила, что в этом нет никакой нужды. Я все еще надеялся пройтись по переводу вместе с Набоковым, мы переписывались, сговариваясь о встрече в Англии либо в Нью-Йорке, но до завершения "Бледного пламени" окончательная договоренность все равно оставалась невозможной.

Между тем Набоков продолжал отвечать на разного рода вопросы, заданные мною по поводу трудностей, с которыми я столкнулся в более ранних главах. В одном месте я попытался передать по-английски ритмические построения повествователя: "'Crying' immediately suggested lying and dying under sighing pines on a silent night. 'Waterfall' prompted my muse to recall some long forgotten ball. 'Flowers' called for hours about bowers which were ours"[1] — и так далее, хватило почти на страницу.

Набоков, внимательно прочитав то, что я предлагал, прислал мне следующее: "*Letuchi* (flying) immediately grouped with *tuchi* (clouds) over the *kruchi* (steeps) of the *zhguchey* (burning) desert and of *neminuchey* (inevitable) fate"[2] — и т.п. Уклоняться от рабского пути не полагалось ни на минуту. Тот, кто знаком с экстравагантным набоковским переводом "Евгения Онегина" (и в особенности с комментариями к нему), легко узнает применный здесь принцип. Набоковский вариант сохраняет куда большую верность буквальному смыслу оригинала, но меня и поныне угнетает утрата и английского ритма, и словесной игры.

В третьей главе я столкнулся с характерным для Набокова вихрем присвоенных бабочкам названий и пребывал в совершенном замешательстве, пока Набоков не прислал мне список эквивалентов: "Malayan Hawkmoth, Swallowtale, Painted Lady, Amandus Blue, Freya Fritillary"[3] и т.п. (столь же прекрасных по-английски, как и по-русски). Чуть позже, вознамерясь сколь можно лучше справиться с пространным описанием сбора грибов, я промаялся несколько дней и перерыл несколько словарей, чтобы точно передать это место, но, возвращая мне выправленный текст, Набоков выкинул оное целиком. Хождение по грибы — занятие континентальное, для англосаксов оно ничего не значит, и потому Набоков, руководствуясь не очень для него характерными прагматическими соображениями, попросту изъял всю эту сцену.

Совместная работа с ним, пусть даже по переписке, была сама по себе дополнительным образованием. Помню, одна страница вернулась ко мне

1."'Плачущий' сразу приводил на ум человека, лежащего в безмолвной ночи, умирая под вздыхающими соснами. 'Водопад' предлагал музе припомнить некий давно позабытый бал. 'Цветам' взывало к часам, проведенным в беседке, принадлежавшей лишь нам". Место в "Даре", о котором тут идет речь, выглядит так: "'Летучий' сразу собирал тучи над кручами жгучей пустыни и неминучей судьбы. 'Небосклон' направлял музу к балкону и указывал ей на клен. 'Цветы' подзывали мечты, на ты, среди темноты".

2. Дословный перевод первого из приведенных в предыдущей сноске набоковских предложений.

3. Малайский сумеречник, махаон, репейница, голубянка Аманда, нимфалида Фрейя (*англ.*).

с длинным перечнем русских синонимов на полях, синонимов глаголов, обозначающих свечение, – к ним были присовокуплены и английские эквиваленты: "glimmer, glow, gleam, shine, twinkle, sparkle, dazzle, coruscate"[1] и так далее. Я получал небольшие уроки касательно глаголов, описывающих движение (одна из сложностей русского языка), обширные наставления по ботанике, зоологии, энтомологии и по всевозможным разделам естествознания.

Меня часто спрашивают, зачем вообще Набокову понадобился переводчик на английский язык. В конце концов, автора "Под знаком незаконнорожденных", "Подлинной жизни Себастьяна Найта", "Пнина" и "Лолиты" вряд ли можно счесть неумехой в том, что касается английской прозы. Я и сам задал ему этот вопрос, когда посетил его в Лос-Анджелесе, в ответ он привел две причины. Во-первых, драгоценное время было необходимо ему для того, чтобы писать свои английские вещи. Как-никак, Набокову, когда он добился литературной славы, уже перевалило за шестьдесят. Вторая причина, сказал он, состоит в том, что он оберегает себя от соблазна не просто перевести свои книги на английский язык, но еще и переделать их.

Обе названные причины по преимуществу верны и в отношении "Дара". По временам набоковские исправления граничили с переработкой, и все же Джейн Грейсон, профессор из Англии, специально изучавшая этот вопрос, утверждает, что в целом он не пытался переписать этот столь много для него значащий роман, но занимался творческой переработкой моего буквального перевода. В этом легко убедиться, говорит Грейсон, сравнив перевод "Дара" с переводами таких более ранних романов, как "Король, Дама, Валет", "Камера обскура" или "Отчаяние" (все они поначалу выполнялись Дмитрием), которые Набоков позволил себе в значительной мере переписать заново.

1. Тускло светиться, блистать, сиять, мерцать, искриться, слепить, сверкать (*англ.*).

Моя задача состояла в том, чтобы обратить русскую прозу Набокова в более или менее гладкую английскую, не свалившись в бездну буквализма и не соскользнув в трясину истолкований. Меня заклинали воспроизводить оригинал со всей верностью, на какую я способен, "творчество" же запрещалось определенно. Таковое оставалось прерогативой Набокова, что он и подтвердил в одном из редких подписанных им самим писем ко мне:

"Помимо исправления очевидных ошибок, мне пришлось повозиться с множеством неточностей. В нескольких случаях сделанные мной изменения сводятся к упрощению и прояснению или же отражают мои собственные стилистические пристрастия. Я прекрасно понимаю, что странность оборотов в некоторых Ваших предложениях порождена желанием сохранить в каждой мелочи верность оригиналу, о чем я сам же Вас и просил; но по временам Вам мешает незнание точного значения русского слова, в особенности это касается омонимов и слов, обманчиво схожих... Я проставил на полях восклицательные знаки... просто для того, чтобы привлечь Ваше внимание к этим изъянам. Книга очень трудна для перевода и во многих случаях Вам удалось найти умные и изящные решения. В целом Вы проделали очень хорошую работу".

Впав в эйфорию, связанную с относительным успехом моего перевода "Дара", и предвкушая нашу предполагаемую встречу, я попытался втянуть Набокова в переписку более личного свойства. В одном из писем я задал ему вопрос о писателях, которые, как мне казалось, могли оказать на него влияние, включая Андрея Белого и русских формалистов. Я также упомянул о моей любви к французскому художнику Жану Дюбюффе и спросил у Набокова, что он думает о сделанных тем коллажах из крыльев бабочек. Ответ Набокова был краток.

"Джеймс Джойс. Я очень люблю "Улисса". Белый. "Петербург" – один из трех-четырех величайших романов нашего времени. "Бравого солда-

та"[1] я не читал. Роб-Грийе. Лучший из французских писателей – не надо только читать его манифесты. Шкловский. Я вроде бы помню его статью об "Онегине". Знаком не был. То, что называют "формализмом", содержит черты мне отвратительные. Коллаж из бабочкиных крыльев – смехотворное уродство".

К этому времени я уже согласился перевести еще один роман Набокова, "Защиту Лужина" (по-английски название было упрощено – "The Defence"[2]). Между тем я женился и обратился к Вере – впервые – с просьбой об авансе, который позволил бы мне снять квартирку в Нью-Йорке. Вера немедленно прислала мне деньги. В денежных делах она отличалась неуступчивостью, но по отношению ко мне всегда проявляла щедрость. С другой стороны, и я был до того неопытен и наивен, так радовался, регулярно получая плату за столь приятную работу, что, когда дело доходило до денег, никаких особых требований своим работодателям не предъявлял. Тем не менее Вера настояла на том, чтобы я принял дополнительную оплату за проверку переведенной Дмитрием первой главы "Дара", и неизменно оплачивала мои почтовые расходы. Позже, когда "Нью-Йоркер" напечатал большую главу романа (вместе с первой, переведенной Дмитрием), Вера прислала мне чек на порядочную сумму – мою долю издательского гонорара, – что стало полной для меня неожиданностью. Человек реалистический скажет, что я всего лишь получил то, что мне причиталось, но я, будучи в то время совершенным новичком, страшно обрадовался нежданному-негаданному дополнительному вознаграждению.

"Защиту Лужина" я начал переводить весной 1962 года, вскоре после женитьбы, однако работа подвигалась медленно. Я уже преподавал тогда русский язык и литературу в Хантер-колледже да еще и трудился, помимо перевода, над диссертацией. Будучи слишком занятыми, чтобы позволить себе медовый месяц, мы с женой перенесли его на лето. Мы сняли бывший фермерский дом в Бруклине, на побережье Мэна, и большую часть проведенных там двух месяцев я отдал окончанию перевода. Солженицын как-то сказал мне, что в *свой* медовый месяц читал Карла Маркса. Я переводил Набокова. Не знаю, кому из нас выпала более трудная работа, но моя, безусловно, оплачивалась лучше.

"Защита Лужина" была, как и говорила Вера, и короче, и проще "Дара", так что к июлю 1962-го я перевод закончил. Набоковы уехали отдыхать. Где они находятся, я не знал. Мы с женой решили прокатиться по Канаде и посетить Всемирную выставку в Сиэтле. Я взял с собой машинописный экземпляр перевода, рассчитывая получить известие о том, куда его следует переслать. В Сиэтле меня настигло письмо от Веры, сообщавшее, что они ловили бабочек в Церматте, но теперь перебрались во Францию – не могу ли я послать туда перевод?

На этом этапе мои отношения с Набоковыми были чрезвычайно сердечными. Встретиться лично, чтобы поговорить о переводе "Дара", нам так и не удалось. Вера написала, что они надеялись повидаться со мной в июне, во время их недолгого пребывания в Нью-Йорке, но я к тому времени уже уехал в Мэн. Может быть, мы сможем свидеться в другое время? Мы обсуждали также перспективу перевода других русских романов Набокова. В предвидении таковой я в последнее время колебался, не решаясь подписать договор на "первый американский перевод" "Преступления и наказания" Достоевского, однако Набоков сказал: действуйте! Первые два перевода его русских произведений выйдут еще не скоро, так что у нас будет время, чтобы подумать о будущем.

У меня были все основания для довольства собой и, отправляя "Защиту" из городка Уолла-Уолла, штат Вашингтон, я среди прочего написал в сопроводительном письме, что мы

1. Вряд ли речь идет о Швейке. Скорее всего, подразумевается носящий это название и опубликованный в 1915-м роман английского писателя Форда Мэдокса Форда (1873 – 1939).
2. "Защита" (*англ.*).

собираемся посетить первое в нашей жизни родео. Вера ответила: "Приятно было услышать, что Вы получаете столько удовольствия от поездки на Запад. Надеюсь, впрочем, что родео ненавистно Вам не менее нашего — со всеми его болванами на бедных, нарочно мучимых лошадях... с несчастными, ополоумевшими от страха телятами. Почти так же отвратительно, как коррида".

Сам того не зная, я затронул чувствительную струну: любое проявление жестокости к животным Вере было ненавистно. Однако что-то в ее гувернантском тоне рассердило меня, и я отослал ей пылкую речь в защиту боя быков и родео, закончив довольно резко: "Возможно, это как-то связано с мужским темпераментом и мужскими чувствами. Предполагается, что в большинстве из нас (мужчин) есть нечто от садиста, — я, во всяком случае, время от времени ощущаю в себе эту черту. Хотелось бы знать, согласен ли с Вами Ваш муж, впрочем, если так, у него имеется по меньшей мере один знаменитый предшественник — Д. Г. Лоуренс ("The Plumed Serpent")[1]. Я, со своей стороны (говорю это без малейшего озлобления), решительно не понимаю, зачем нужно насаживать бабочек на булавки".

Выпад насчет бабочек, сделанный с озлоблением или без оного, был непростителен, да и навряд ли существовало достаточно оснований для сравнения Набокова с Д. Г. Лоуренсом или для обращения к нему с вопросами насчет садизма. В ответ на мое ребяческое послание я получил отповедь еще более гневную: "Жестокость есть, вероятно, худшее из зол, существующих или когда-либо существовавших в мире, и, по моему мнению, человек обязан, как он только может, бороться с нею — и в себе, и вовне себя. Садизм же — худшая разновидность жестокости. Да, мой муж согласен в этом со мной от начала и до конца... Кстати, Вы, надеюсь, не думаете, что человек, пребывающий в здравом уме, насаживает на булавки живых бабочек? Простите, если то, что я написала, показалось Вам нравоучением, но я считаю, что логика замечательно дисциплинирует ум. Что касается Вашей аргументации, то она позволяет очень быстро дойти до оправдания нацистских лагерей уничтожения и советской ЧК".

Вера явно вышла из себя, но я был слишком самоуверен и слеп, чтобы понять это. "Если логика не способна провести различие между исправительно-трудовыми лагерями и родео, вряд ли стоит рекомендовать ее в качестве орудия, — ответил я ей. — Уверен, совершаемые вокруг нас жестокости вызывают во мне те же чувства, что и в Вас. Верно, я использую бабочек в качестве разграничительной черты — поскольку предпочитаю живую бабочку мертвой (бабочки все-таки умирают, не так ли?), — а для Вас эта черта пролегает по телятам, которых ловят арканом и валят на землю (правда, они остаются живыми)".

Мне нечем оправдать ни мои провокационные замечания насчет священных бабочек, ни резкость тона, однако в то время все же нашелся, о чем я и не подозревал, человек, за меня заступившийся. Вера, когда ей требовалось выяснить что-либо относительно меня или моих дел, по привычке писала Анне. Например, после нашей первой встречи в Нью-Йорке Владимир пришел к заключению, что я гомосексуалист, и пребывал в этом заблуждении почти целый год, пока Анна не сообщила ему о моей помолвке. Теперь Вера написала, чтобы пожаловаться на мои не отличающиеся сдержанностью письма. Анна ответила, что и она, Вера, и Владимир принимают их слишком близко к сердцу. "Вы совершенно забыли, что ему всего двадцать пять не то двадцать шесть лет, а Вы много старше. Вы забыли, а может быть и не знали, что он происходит из небогатой, и, что еще важнее, почти нищей семьи". Далее Анна приводит подробности моего прошедшего среди английских рабочих детства, почерпнутые ею из наших кухонных бесед, и добавляет: "Не думаю, что ему вообще случалось бывать в хорошем обществе".

Видимо, Вера пожаловалась и на мои переводы, поскольку Анна пишет: "Помилуй, откуда ж ему знать

1. "Оперенная змея" (*англ.*).

русский так хорошо, чтобы удовлетворить требованиям Володи? И с какой стати вы надумали отдать ему такую важную книгу? Я часто этому удивлялась, да только ни разу не спрашивала". И далее Анна еще раз защищает меня от обвинений в жестокости: "Что касается его высказываний о садизме, я не вижу в них ничего глупого, а только вспоминаю, что ему всего-навсего двадцать пять".

Оставаясь в полном неведении об их переписке, я продолжал писать Вере как ни в чем не бывало. Я давно уже питал честолюбивый замысел полностью перевести "Петербург" Белого (в то время существовал лишь сокращенный перевод). И послал Набокову письмо, спрашивая, не согласится ли он написать предисловие — его имя придало бы переговорам с издателями совсем иной характер. Набоков ответил, что это "чудесный проект" и "очень хороший выбор книги для перевода", но он слишком занят, чтобы даже думать о предисловии. Мне и в голову не пришло просто-напросто попросить, чтобы он порекомендовал меня какому-нибудь издателю, хотя, возможно, что в то время он ответил бы мне отказом.

В октябре 1962-го у нас родилась дочь. Вера прислала подарки, в том числе маленький суконный плащик для девочки, ставший с тех пор нашей семейной реликвией. Следующим летом мы перебрались в Англию. Я намеревался считать гранки "Дара" и "Защиты", о чем мы с Набоковым договаривались прежде, однако он написал мне, что в этом нет необходимости; на том наша переписка и прервалась.

Впрочем, не обошлось и без эпилога. Вскоре после переезда в Англию я отправил редактору журнала "Энкаунтер" письмо, в котором высказал предположение, что опубликованное Мэри Маккарти на редкость подробное и благожелательное истолкование "Бледного пламени" (романа, оставившего меня равнодушным), скорее всего, вдохновлено, если наполовину не написано, Набоковым. Это было глупое, бестактное — и совершенно ошибочное утверждение. Набоков поразился проницательности Мэри и отозвался о ней с большой похвалой. Годы спустя я извинился перед Мэри за мое нахальство, выяснилось, что оно ее весьма позабавило — сомневаюсь, однако, что и Набокова тоже.

Через некоторое время я и сам попал в западню, вроде уготованной мною Мэри. В 1969 году один из друзей прислал мне экземпляр "Сатердей ивнинг пост" со статьей романиста Герберта Голда. Голд заменил Набокова на посту преподавателя в Корнелле и впоследствии брал у него интервью для "Пари ревю". В своей статье Голд, упомянув о хорошо известной склонности Набокова к мистификациям, заявил, что стоящее на титульных листах и "Дара", и "Защиты" имя "Michael Scammell" с первого же раза показалось ему придуманным. "Scammell" это, скорее всего, никакая не фамилия, а анаграмма французского слова "маска": "Le masque". Набоков сам перевел свои романы, укрывшись под прозрачным псевдонимом.

Со временем Голд получил от Набокова заверения насчет того, что я существую в реальности, однако это его рассуждение хорошо иллюстрирует обезличенность переводчиков и мою в частности. Когда появилась статья Голда, я как раз перевел за роскошное вознаграждение на редкость плохой роман ("Тысяча заблуждений" небесталанного советского диссидента Валерия Тарсиса) и пытался придумать, что бы такое сделать, чтобы не связывать с этой книгой мое имя. Ухватившись за высказанное Голдом мнение о моей фиктивности, я подписал перевод псевдонимом "Michel Le Masque" — имя это и по сей день значится во всех каталогах.

Вот так уже замаскированный переводчик обзавелся дополнительной маской. Приятно сознавать, что величайший мастер маскировки оказался, сам того не ведая, косвенно причастным к изобретению совершенно мифического переводчика. И не менее приятно думать о том, что наши ставшие под конец колючими отношения завершились шуткой.

Перевод с английского Сергея Ильина

Берил Бейнбридж
Beryl Bainbridge
[р. 1934]. Английская писательница.

Автор романов *Сладкий Боб* [*Sweet William*, 1975; рус. перев. 1994], *Молодой Адольф* [*Young Adolf*, 1978], *Апология Уотсона* [*Watson's Apology*, 1984; рус. перев. 1994] и др. Роман *Мастер Джорджи* [*Master Georgie*] издан в Англии в 1998 г. [London, Duckworth].

Ингеборг Бахман
Ingeborg Bachmann
[1926 –1973]. Австрийская писательница, лауреат многих литературных премий.

Автор сборников стихов *Отсроченное время* [*Die gestundete Zeit*, 1953–1957], *Призыв к Большой Медведице* [*Anrufung des Grossen Bären*, 1956], романа *Мáлина* [*Malina*, 1971] , драм *Цикады* [*Zikaden*, 1955], *Добрый бог из Манхэттена* [*Der gute Gott von Manhattan*, 1958] и др. В *ИЛ* публиковались ее стихи [1965, № 12; 1974, № 3], рассказы [1996, № 9].
Рассказ *Смерть придет* [*Der Tod wird kommen*] взят из Собрания сочинений И. Бахман, т. 2. Рассказы изданы в 1978 г. в Германии [Ingeborg Bachmann. *Werke. Zweiter Band. Erzählungen.* München, R. Piper & Co. Verlag].

Переводчики

Е. Суриц
[Елена Александровна Богатырева]
Переводчик с английского, французского, немецкого и скандинавских языков. Лауреат премии *Инолит* [1994].

Переводила романы Дж. Остин, У. Голдинга, Дж. Стейнбека, К. Гамсуна, пьесы А. Стриндберга, Э. Ионеско, сценарии И. Бергмана и др.
Ее переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Анатолий Михайлович Гелескул
[р. 1934]. Переводчик, лауреат премий *ИЛ* [1993] и *Инолиттл* [1995].

В его переводе публиковались стихи испанских поэтов Х. Р. Хименеса, А. Мачадо и др.; польских — А. Мицкевича, Б. Лесьмяна, Л. Стаффа, К. К. Бачинского; французских — П. Верлена, Г. Аполлинера. В *ИЛ* в его переводе печатались стихи С. Вальехо [1983, № 8], Канте хондо [андалусская песенная поэзия] [1986, № 7], поэзия испанских мистиков [1993, № 11], стихи поэтов Арагона [1995, № 5], П. Верлена [1996, № 7], Ф. Гарсиа Лорки [1998, № 6], К. И. Галчинского [1999, № 9], эссе Х. Ортеги-и-Гассета [1998, № 3].

Серафима Евгеньевна Шлапоберская
Переводчик с немецкого и французского языков.

В ее переводе изданы романы Х. фон Додерера, Б. Фришмут, Г. Гессе, Ф. Мориака, рассказы и повести Ф. Кафки, Р. Вальзера, Ф. Фюмана, И. Бахман, Э. Кестнера, сказки В. Гауфа, письма Г. Флобера и др.
В *ИЛ* были опубликованы ее переводы повести *Легенда о святом пропойце* Й. Рота [1996, № 1], рассказов И. Бахман [1996, № 9].

Дмитрий Анатольевич Иванов
[р.1966]. Литературовед, кандидат филологических наук, переводчик с английского.

В его переводе опубликован роман И. Макьюэна *Дитя во времени* [Аграф, 2000].

Леонид Юльевич Мотылев
[р. 1955]. Переводчик с английского, лауреат премии *Инолит* [1999]

В его переводе издавались произведения Р. Киплинга, А. Конан Дойла, Г. Э. Бейтса, П. Акройда, И. Б. Зингера, А. Грея и др. Неоднократно публиковался в *ИЛ*.

Инна Максимовна Бернштейн
Переводчик с английского.

В ее переводе изданы произведения Г. Мелвилла, Т. Мэлори, И. Во, Дж. Апдайка, Дж. Сэлинджера, В. Притчетта и др. В *ИЛ* публиковались ее переводы романов А. Мердок *Черный принц* [1974, № 8 —11, совместно с А. Поливановой), Т. Вулфа *Костры амбиций* [1991, № 10, 11, совместно с В. Бошняком], повести Гр. Грина *Десятый* [1986, № 12], рассказа Ш. Алекси *Феникс, что в Аризоне* [1996, № 10], а также статьи *Концепция с вопросительным знаком* [1996, № 9], *Английские имена в русских переводах* [1998, № 4].

Сергей Борисович Ильин
[р. 1948]. Переводчик с английского, лауреат премии *Иллюминатор* [1999]

В его переводе издавались романы и рассказы В. Набокова, произведения Дж. П. Донливи, Т. Уайлдера, Н. Марш, Ф. Рота и др. В *ИЛ* были опубликованы романы *Вообрази себе картину* Дж. Хеллера [1998, № 2], *Осень в Петербурге* Дж. М. Кутзее [1999, № 1], *Здесь курят* К. Бакли [1999, № 12], *Серебристый свет. Подлинная жизнь Владимира Набокова* Ч. Кинбота [1999, № 12]

Александр Яковлевич Ливергант
[р. 1947]. Литературовед, переводчик с английского, кандидат искусствоведения.

В его переводе издавались романы Р. Чандлера, Д. Хэммета, У. Тревора, рассказы Д. Кольера, Дж. Тэрбера, Ш. О'Фаолейна, эссе, статьи и очерки Б. Шоу, Дж. Б. Пристли, Г. Честертона и др.
Его переводы неоднократно публиковались в *ИЛ*.

Михаил Аркадьевич Красновский
[р.1976]. Переводчик с английского и иврита.

В журнале *Литературная учеба* [1998, № 3] был опубликован его перевод рассказа Т. К. Вулфа *Слава и поэт*.

Любовь Борисовна Сумм
Кандидат филологических наук, переводчик с английского, немецкого, латыни.

В ее переводе издавались произведения св. Франциска Ассизского, Г. К. Честертона, К. С. Льюиса, Р. Онианса.

Гильда Владимировна Языкова
Переводчик с польского.

В ее переводе были изданы произведения М. Кунцевич, Я. Ивашкевича, Т. Ружевича, А. Рудницкого, В. Маха, З. Налковской, Г. Сенкевича и др.

«АНГЛИЯ» Британские книги

МОСКВА, Хлебный пер., 2/3, м. Арбатская. Тел.: (095) 203-5802
С.-ПЕТЕРБУРГ, Набережная р. Фонтанки, 40. Тел.: (812) 279-8284

Часы работы: **пн., вт., ср., пт. с 10 до 19**
чт. с 10 до 20
сб. с 10 до 18
вс. с 11 до 17
без перерыва

РЕГУЛЯРНО В КУЛЬТУРНО-ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ

- Авторские чтения
- Лекции специалистов и ведущих переводчиков по английской и американской литературе
- Детские праздники
- Английский дискуссионный клуб и многое другое

Информацию о наших мероприятиях вы можете получить по телефонам: 203-58-02 и 203-44-03

Мы также выполняем индивидуальные заказы на любые книги, изданные в Великобритании и в США

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

БИБЛИОТЕКАМ И УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЯМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ!

В оформлении обложки использован фрагмент картины Дж. М. У. Тёрнера [1775–1851]
Яхта, плывущая к берегу

Художественное оформление и макет Андрей Бондаренко, Дмитрий Черногаев

Компьютерная верстка Виктор Дзядко

109017, Москва,
Пятницкая ул., 41.
Тел. 953-51-47; факс 953-50-61;
E-mail inolit@rinet.ru

В INTERNET электронный дайджест журнала находится по адресу:
http://www.infoart.ru/magazine/inostran

В Москве журнал можно приобрести в редакции, а также в книжных магазинах:
"Ad Marginem" —
1-й Новокузнецкий пер., д.5/7
"Англия" —
Хлебный пер., д.2/3
"Графоман" —
ул. Бахрушина, д.28
"Летний сад" —
ул. Большая Никитская, д.46
"Мир печати" —
ул. 2-я Тверская-Ямская, д.54

Журнал выходит один раз в месяц.

Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 30.06.2000.
Формат 70x108 1/16.
Печать офсетная.
Бумага газетная.
Усл. печ. л. 28,35.
Усл. кр.-отт. 31,0.
Уч.-изд. л. 26,72.
Заказ № 1631
Тираж 12 900 экз.
Отпечатано с готовых диапозитивов полиграфической фирмой "Красный пролетарий", 103473, Москва, Краснопролетарская ул., 16.

живопись скульптура графика

[redacted]

галерея современного искусства, москва

В одном из уютных особняков Замоскворечья
разместились ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ МОЛОДОЙ ГАЛЕРЕИ

линия-арт

Среди ведущих авторов Галереи известные московские художники, представители поколений 60-х, 70-х и 80-х годов

МИХАИЛ РУДАКОВ ▫ ВАЛЕРИЙ ВОЛКОВ ▫ АНАТОЛИЙ ЗВЕРЕВ ▫ ВЛАДИМИР ЯКОВЛЕВ ▫ ИГОРЬ КИСЛИЦЫН ▫ АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ ▫ ОЛЬГА БУЛГАКОВА ▫ СЕРГЕЙ АЛФЕРОВ ▫ ЛЮДМИЛА ПОПЕНКО ▫ ОЛЕГ СЛЕПОВ ▫ КАТЯ МЕДВЕДЕВА и др.

Галерея открыта для посетителей по предварительным заявкам с 12 до 20 ч.

Тел./факс 953-3624, 201-2603

[8] 2000

В следующем номере:

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД "ПОЛЬСКОЕ СОЗВЕЗДИЕ" — ВИСЛАВА ШИМБОРСКАЯ, ЧЕСЛАВ МИЛОШ, СЛАВОМИР МРОЖЕК, СТАНИСЛАВ ЛЕМ, КШИШТОФ КЕСЛЁВСКИЙ, РЫШАРД КАПУЩИНСКИЙ, ГУСТАВ ХЕРЛИНГ-ГРУДЗИНСКИЙ, ТАДЕУШ РУЖЕВИЧ, ЕЖИ ПИЛЬХ, ОЛЬГА ТОКАРЧУК / 13 РАССКАЗОВ ИЗ КНИГИ АЛЬДО НОВЕ "СУПЕРВУБИНДА" / "В СТРАНЕ МАГИИ": ПРОЗА АНРИ МИШО

ИНДЕКС 70394

Библиотека
журнала
«Иностранная
литература»

ИЛЛЮМИНАТОР

В нашей новой
книжной серии
“**Иллюминатор**”
читайте лучшие
произведения
мировой
литературы
в лучших
переводах

005. Джулиан Барнс “История мира в 10 ½ главах”. **006**. Марек Хласко “Красивые, двадцатилетние”. **007**. Малькольм Брэдбери “Профессор Криминале”. **008**. Кадзуо Исигуро “Остаток дня”. **009**. Алан А.Милн “Двое”.

По вопросам оптовых закупок обращаться в редакцию журнала “Иностранная литература”
Факс: (095) 953 5061, e-mail: inolit@adicom.ru

ISSN 0130-6545 “ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА”, 2000, №7, 1-288